

ISSN 0130-7673

НОВОЫЙ МИР

2

1989

2

НОВОЫЙ
МИР

1989



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 2

Февраль, 1989 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЛЕВ ОЗЕРОВ — Мастерской старинной школы, стихи	3
БОРИС ЕКИМОВ — Пастушья звезда, рассказ	5
ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ — Сверстнику, стихотворение	33
ИГОРЬ ТАРАСЕВИЧ — Земляные яблоки, рассказ	34
ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ — Свеча закона, стихи	53
МАРИЯ АВВАКУМОВА — Свидание, стихи	55
ВЛАДИМИР НАБОКОВ — Изобретение Вальса, драма в трех действиях. Предисловие С. Зальгина	58
ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ — С волшебным фонарем, стихи	96
АНАТОЛИЙ НАЙМАН — Рассказы о Анне Ахматовой. Продолжение	98
ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ — 1984, роман. Перевел с английского В. Гольшев	132

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МИХАИЛ ЛЬВОВ — Четыре стихотворения. Публикация А. А. Глобы. Предисловие Марка Соболя	173
ДАНИИЛ АНДРЕЕВ — Роза мира. Фрагменты Публикация и комментарий А. Андреевой и Б. Чукова Предисловие С. Джимбинова	176

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ПЕРЕПИСКА В И ВЕРНАДСКОГО И П. А ФЛОРЕНСКОГО. Публикация, вступительная статья и примечания П. В. Флоренского	194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

ИГОРЬ КЛЯМКИН — Почему трудно говорить правду. Выбранные места из истории одной болезни	204
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ЛЕВ ТИМОФЕЕВ — Феномен Вознесенского. Опыт анализа одного поэтического мотива	239
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
М. Злобина. Версия Кёстлера: книга и жизнь.	257
<i>Политика и наука</i>	
Вс. Вильчек. Зигзаги и ловушки теории.	265
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Павел Басин.— Виктор Курочкин. Записки народного судьи Семена Бузыкина. ♦	
С. Ларин.— Русская общественная библиотека имени И. С. Тургенева. Сотрудники. Друзья. Почитатели; Русская эмиграция. Журналы и сборники на русском языке. 1920—1980. ♦	
И. Зорич.— П. К. Чудинов. Иван Антонович Ефремов. 1907—1972	269
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ЛЕВ ОЗЕРОВ



МАСТЕРОВОЙ СТАРИННОЙ ШКОЛЫ

* * *

В семнадцатом веке я был переписчиком нот.
Я рано почувствовал горький обычай длиннот
И все норовил оборвать, сократить и пресечь
Витийственно важную пустопорожнюю речь.
Но я переписывал ноты у знатных господ
И мог подорвать свой, увы, незавидный доход.
Помалкивал я, покорился и только в ночи
Брал трепетно в руки скрипичный с басовым ключи,
И вход открывал в тайники уязвленной души,
И жадно писал и писал в напряженной тиши
Все то, что из сердца рвалось, что таил и берег,
Потом сокращал у себя — это делать я мог,
Так рано почувствовав: жизнь — это страшный цейтнот.
В семнадцатом веке я был переписчиком нот!

* * *

Мастеровой старинной школы,
Хранитель древнего огня,
Ты пестуешь свои глаголы,
Как прежде холили коня.

Свои эпитеты голубишь,
Свои сравненья бережешь,
Но красноречия не любишь,
Не чтишь возвышенную ложь.

Не терпишь ловкого притворства
И лесь стараешься отсечь
И предпочесть прямую речь
Всем ухищреньям стихотворства.

Гравюра на самшите

Мир, он контрастен при полной луне.
Тень кипариса на белой стене.
Где-то в конце затененной аллеи
Белая дверь в эту пору белее.
Сырость, что веет за белой стеной,
Утром сулит нам истому и зной.
Пена белесая в мгlistом уборе.
Фосфоресцирует Черное море.

В черном провале белеет стена.
 Не из окна этот взгляд, а со дна
 Моря глядит одинокое око
 То ли художника, то ли пророка.

* * *

Виолончельный звон пчелы —
 Непостижимая наука.
 Мне близость жалящего звука
 Трудна, как въедливость пилы,
 Как пыль строительного стука,
 Как стрекот лживой похвалы,
 Как гневное упорство дрели,
 Пронизывающей меня.
 Я слышал их из колыбели.
 Меня те звуки на пределе
 Замучили и одолели
 На склоне жизненного дня.

Роман в трех частях, с эпилогом

Нескладница жизни. Она в разводе.
 Он женат. Теща больна.
 Куртка легкая не по погоде.
 Рыжая крашенная седина.
 Негде встречаться. Зал ожидания.
 Суетно. Смутно. Старый подъезд.
 Метели надсадное завыванье.
 Кинотеатр на триста мест.
 Тревожно. Что-то должно случиться.
 Жена нападает на тайный след.
 И наконец городская больница.
 Можно встречаться. А жизни нет.

* * *

Старик Гомер не ведал окулистов,
 Хотя был слеп, он в пенье был неистов
 И двадцать строк гекзаметра подряд
 Произносил — огромен был заряд
 Его поэм, собрание аэдов
 Могло бы их поднять, векам поведав.
 Старик Гомер не ведал полумер,
 Гекзаметром орудовал Гомер,
 А это был размер для великанов.
 В ту пору не было еще романов,
 Еще морская ширь рождала стих,
 Скорей всего для слуха, не для книг.
 А слух был чуток, слушатель — спокоен,
 Школяр, ремесленник, философ, воин.



БОРИС ЕКИМОВ

★

ПАСТУШЬЯ ЗВЕЗДА

Рассказ

1

Поселок был невеликий. Назывался он нынче городом, но, как и в прежние времена, люди строились и жили в своих домах. Лишь на окраине поднимался табунок неказистых кирпичных двухэтажек. Десяток двухэтажных домов, разбитая асфальтовая дорога с редкими автобусами — вот и все городское.

Тимофей провел в этом поселке, считай, всю жизнь. А за год что могло измениться?..

Приехал он поздно вечером, ночевал у старшей сестры. Она жила одиноко. Долго не спали.

— Братушка...— удивлялась сестра.— Да как же так?.. Нежданно-негаданно.

Тимофей уехал год назад, продал хатенку и подался к сыновьям доживать. Теперь вот вернулся.

— Братушка...— охала сестра.— Может, тебя обидели чем? Ты уж не таись.

— Ничем меня не обидели. Приехал — и все. На лето. Попасусь. А там...

— Братушка...— качала головой сестра.— Люди скажут, прогнали. Разве людям...

Она и сама не верила, что брат приехал просто так. Уехал ведь навсегда. Прощались. А теперь — вот он.

— А на лицо ты прямо помолодел,— хвалила она.— Сытенький... Гладкий.

Тимофей усмехался. Переваляло ему за пятьдесят. Всю жизнь он пастушил. Степное солнце и ветер много лет палили, сушили его, словно степной карагач на юру.

— Смеись, смеись...— убеждала сестра.— Хорошеликий стал, прямо на завид. Тьфу, тьфу, не сглазить. Погонишь скотину, враз свернешься. Опять будешь как дрючок. Да и чего еще гнать,— спохватилась она.

В прежние времена поселок — тогда еще совсем невеликий — имел четыре стада на четыре конца одних лишь коров. Телят пасли отдельно. Овечек да коз тоже наособь. Теперь одно малое коровье стадо, голов на полсотни едва-едва набирали.

— По хуторам поспрошаю. Там скотины поболее,— вслух думал Тимофей.

— Мое дите...— горестно качала головой сестра.— А где жить будешь? Чужие углы отирать? Чего ж там у вас приключилось? Родной сестре не хочешь открыть?..— Она заплакала.

Телом полная, в густой седине, на лицо еще приглядная, она была на пять лет старше Тимофея, но вынынчила его девчонкою на своих руках. Теперь она плакала оттого, что случилась беда и брат таит ее, не открывает.

— Чего ты ревешь? — укорил ее Тимофей. — Нет беды, так давай кличь ее. Тебе русским языком говорю: занудился я там. Думаешь, это легко — чужая сторона? Побуду лето.

Он вышел во двор покурить. Все было здесь, как грезилось ему, как мечталось: осколок луны белым камушком лежал на обочине, но на земле и без него было светло, потому что цвели сады.

Весна пришла поздно, а потом накатило тепло и распустилось все разом: вишни, яблони и высокие груши. Теперь было не разобрать, что там цветет в ночи. Да и к чему разбирать? Не все ли одно?.. Белый кипень вставал над землей, серебрясь в луне. Смыкались деревья, что росли перед домом, в палисаднике и в саду. Серые заборы — ненадежный заплот — словно пропали. И сливался весенний цвет от двора ко двору в один белый душистый разлив, бесконечный.

Светила земля, а над ней, отвечая весеннему часу, сияли сады небесные, распуская цветок за цветком и роняя лишние. Там, наверху, было торжественней и краше, чем на земле. Небосвод горел не только белью простой, но играл, маня, волшебным разноцветьем. Там было краше. Краше, но холодней. И никто не бродил под душистыми ветвями, не обрывал весенних цветов.

Тимофей вернулся в дом. Сестра разбирала постель.

— Так и не скажешь ничего? — с обидой спросила она.

— Ты почему к детям не идешь? — вопросом ответил он ей. — Они же кличут тебя.

Сестра сказала задумчиво:

— Я — баба, хозяйка. А ты — мужик. Хату продать поспешили. Принял бы вдову какую и жил...

Потушили свет и легли. Сестра ворочалась, что-то спросила издали. Но Тимофей уже крепко спал. Последний раз таким глубоким и легким сном спал он год назад здесь же, под этой крышей. Он спал, и снились ему добрые видения из прошлой жизни: молодость, пастушество, малые дети, покойная жена.

Жена болела недолго. А когда приехали сыновья ее хоронить, то к судьбу Тимофея решили одним разом. Бобылем мужику жить неладно, тем более в старости. И хоть был еще Тимофей крепок, стадо пас и зарабатывал хорошие деньги, но пора пришла загадывать наперед. Вся жизнь он пастушил, этим семью содержал, детей поставил на ноги, но добрые люди говорили, что пенсия ему не выдать. И теперь, когда жена умерла, решили хату продать. Тимофею ехать с детьми, селиться у них и пристроиться на какую-нибудь посильную работенку, чтобы хоть малый, да был стаж, а значит, и пенсия.

В подмосковном городе, где жили сыновья, работы было хоть отбавляй. Устроили Тимофея дворником в своих же домах. Работа оказалась нетрудной, на сыновей да невесток жаловаться было грех. Томила лишь скука.

В поселке зимою тоже немного дел. Но день проходит не видя, в малых заботах. Тимофей ходил в магазин, ждал, когда молоко привезут и хлеб, толковал с мужиками да бабами, к сестре ходил новости собирать, по соседям. А вечером собирались в лото и карты играть. Весело, допоздна сидели. У сынов была забава одна — телевизор. Первая программа, вторая, третья. Кино ли, хоккей, что другое, вроде и разное, но Тимофею все казалось на одно лицо.

Он томился, рано ложась в постель. Но спалось ему плохо. Детям он не жаловался, молчал, но за весь год добром так и не выспался. За окном проходила улица, шумели машины. За стенами со всех сторон тоже шумела жизнь: телевизоры, магнитофоны, проигрыватели, топот. Наверху ругались каждый день допоздна, плакали детишки. Тимофей задремывал, просыпался, лежал, слушал и ждал утра. Спасибо, что по дворницкой работе подниматься приходилось рано: снег убирать, посыпать тротуары. Днем Тимофей додремывал. А ночью мутился.

Когда же пришла весна и грачи, прилетев, стали расхаживать у домов, на обтаявших пригорках, Тимофей и вовсе покой потерял. Он глядел на черных птиц, и казались они ему родней. В поселке сейчас солнышко, первая зелень, грачиный гвалт, скворцы заливаются — все вспоминалось, и вовсе сон уходил.

Тимофей терпел, терпел, а потом решил. Не слушая резонов, сговорился он на работе о подмене, добро что дворнику летом райское житье. Сговорился, сел на поезд и теперь был здесь.

Утром проведали покойников — жену да отца с матерью, — поспешили на могилках. С кладбища воротились, и Тимофей не мешкая собрался в дорогу.

— Пожил бы, передохнул, сколь не виделись... — уговаривала сестра.

Но Тимофей скорее хотел приступить к делу. Он пошел на автовокзал, где роился хуторской народ в ожидании рейсов. Там обо всем можно узнать, расскажут.

Утро встало весеннее, ясное, а Тимофей одет был в дорогу: телогрейка, ватные брюки, сапоги, а сверху брезентовый плащ с кашпошном, за плечами вещмешок. На автовокзале под развесистыми тополями с редким, еще молодым листом Тимофей уселся на скамейку и огляделся.

Его заметил немолодой кавказец с подбритыми усами. Он прошелся возле Тимофея раз да другой, присел рядом:

— Работу ищешь?

— По скотьему делу, — ответил Тимофей. — Скотину пасу. У вас на хуторе людям пастуха не надо?

Тимофей угадал собеседника по обличью. В округе по хуторам чабанил пришлый народ, занимаясь овцами.

— Пас?

— Всю жизнь.

— Пьешь?

— Не боле, чем ты, — резко ответил Тимофей и отвернулся.

Усач посмеялся высоким, клокочущим смешком и сказал:

— А я много пью. Приходится. Такая жизнь. Ко мне пойдешь пасти овечек? Плачу восемьдесят рублей, на моих харчах.

Теперь засмеялся Тимофей.

— Чего? Мало? А ты сейчас лучше и не найдешь. Люди уже наняли, пасут. Ладно, деловой разговор, напрямую. Начнешь пасти, неделю погляжу. Если можешь, получишь сто двадцать рублей. Кормлю хорошо, есть где спать. Раз в неделю баня, бутылка водки. До зимы. Согласен?

Он, конечно, прав: пастухов на хуторах уже наняли. Хотя как знать... Соблазняла определенность. Не нужно куда-то ехать, спрашивать, узнавать. Ударил по рукам — и шабаш. Сто двадцать он обещает, еще тридцать набавит. Да на его харчах. Конечно, в последние годы Тимофей зарабатывал много более и сейчас мог бы. Но какой уж день тяготили дорога и неизвестность. Хотелось приступить к месту.

— Сто пятьдесят — и по рукам, — предложил Тимофей.

— Ты с документами? Паспорт есть?

— Есть.

— Договорились. Сейчас будет машина, поедем.

Ждали недолго. Подкатила белая «Волга». На шоферском месте за рулем сидел чернявый мальчишка. Тимофей удивился, сказал:

— Ты погляди... Сам рулит? Вот это малец!

Хозяин усмехнулся довольно:

— Наследник. Джигит.

Мальчишку Тимофеевы слова оскорбили. Он презрительно поглядел на нового работника, нарочито громко спросил у отца:

— У него вшей нет? А то разведет.

«Сам ты гнида», — хотел было ответить Тимофей, да стерпел. Нанявшись в работники, не стоило с первых шагов ругаться.

Поехали. Завернули к сестре. Тимофей попрощался, не зная, до какой поры, может, до осени.

— Ну и все... — сказал он хозяину.

Мальчишка сидел за рулем важно, с отцом говорил не по-русски, на своем языке. Остановились у одного магазина, у другого. Мальчик выходил, делал покупки, укладывая их в багажник.

За поселком, у моста через Дон, мальчишка посигналил постовому милиционеру-гаишнику, поднял руку, приветствуя его. Постовой помахал ему в ответ.

Машина загудела натужней, пошла в гору, на мост. Впереди открывалось холмистое задонье. Позади оставался поселок. Тимофей оглянулся, мелькнула короткая растерянность: как-то быстро случилось все, не зря ли он согласился?.. Но передумать было поздно. Белая «Волга», легко обгоняя ползущие в гору грузовые машины, поднялась на увал и, свернув, побежала накатанной степной дорогой, старинным шляхом на Клетскую, Усть-Медведицкую и другие хутора и станицы задонья, вперед и вперед.

Ехали, ехали и наконец свернули с грейдера, и скоро в пологой, стекающей к Дону балке открылся хутор.

Стояли над дорогой дома, цвели сады, могучие груши, разлапистые яблони, вишневая гущина вскипала белым и розовым. А людей не было видно, и разноголосые хуторские дворняги не лаяли, не гнались за машиною вслед.

Близ Дона, на взгорье, остановились возле просторного дома с верандою. Поодаль, на пологом крыле балки, виднелись кирпичные, под шифером скотьи постройки, базы да загоны.

Вышли из машины. Хозяин сказал:

— Бери вещи, пойдём.

Ухватив рюкзак и брезентовый плащ, Тимофей зашагал вослед хозяину от дома через глубокую теклину, заросшую шиповником и цветущей бояркой. За теклиной на просторной, выбитой овечьими копытами пустоши стояли низкие овечьи кошары, базы с крепкой огорожей, ряды железных корыт — поилок, деревянных кормушек. Сбоку, под самой горой, прилепился жилой вагончик на железных сварных санях.

Хозяин подниматься на ступени не стал, показал на левую часть вагончика:

— Там будешь спать. Оставляй вещи. Сейчас покушаешь, поедешь к отаре.

В тесном коридорчике, большую часть которого занимала железная печка, Тимофей отворил левую дверь и очутился в комнатке, где места хватало для двух кроватей да навесного столика.

Тимофей снял ватные брюки, одевшись полегче и телогрейку прихватив, поспешил вослед хозяину, который ушел к дому.

Там, во дворе, под легким навесом у стола и газовой плиты хлопотал мальчик. Он поставил перед Тимофеем шкварчащую жаровню с мясом и картошкой, вареные яйца, молоко, выставил и ушел.

Утром у сестры Тимофей хорошо позавтракал, не зная, придется ли обедать, и теперь есть не хотел. Но впереди был день.

К отаре снова повез его сын хозяина, сменив «Волгу» на юркий «Запорожец». Пробирались едва заметной колеей, а кое-где напрямую, степью. Скоро увидели отару. Она паслась в полгоры над глубокой, к Дону сбегавшей балкой. Овцы машины не испугались, а вожак отары, большой рогатый козел, поспешил к «Запорожцу» и мальчику.

— Васька, Васька... — потрепал его за холку хозяйский сын. — Молодец, Васька... — И угостил конфетой.

Козел похрумкал, понюхал брошенную на землю обертку и вернулся к отаре. А сверху, с горы, вприпрыжку сбегала к машине молодая женщина. Лицо ее было от солнца и ветра укутано белым плат-

ком по-донскому, по-старинному, одни глаза глядели. Женщина сбегала к машине, раскуталась, спросила весело:

— Смена приехала?

Хозяинский сын, словно не видя ее, говорил Тимофею:

— Поить внизу. Рано не пригоняй, овца к вечеру лучше пасется. Да не засни, а то растеряешь, тут волки есть.

Тимофея, человека уже пожившего, пожилого, учил чернявый мальчишка уверенным тоном. Казалось, все это игра и сейчас он озорно рассмеется. Но мальчик не смеялся, говорил наставительно, ровно.

Рассмеялась женщина.

— Лом-Али... Хозяин молодой,— игриво сказала она, покусывая яркие, пухлые губы.— Ты почему мне ни «здравствуй» не сказал, ни «бог помощь»?

Мальчик зыркнул на нее, нахмурился, коротко бросил:

— Поехали. Хватит болтать.

Женщина засмеялась и, повернувшись к Тимофею, посоветовала:

— По-над балками иди и иди. Зеленка есть, овцы хорошо ходят. До третьей горы дойдешь, она приметная, двоепупая, тогда поворачивай и гони в степь напрямую.

Она влезла в машину и еще что-то говорила там весело. Нахмуренный мальчик завел автомобиль и тронулся с места.

Тимофей поглядел вслед уехавшим, покачал головой, тут же забывая о них. Звук машины истаял и смолк. Весенний, но уже по-летнему жаркий день мягким зноем своим, теплым ветром, острым духом молодой зелени, птичьим пением — всем, что было в нем, заставил забыть мальчишку и все иное.

Овечья отара неторопливо, вразброд тянулась над балкою, пробираясь меж кустами боярки и паклинка. Молодая трава, мелкие ветки с зеленым листом — все нынче было скотине по нраву и в пору.

Тимофей обошел отару и стал подниматься в гору. Овцы с изломом Васьюкою во главе неторопливо обтекали гору, разбредаясь по изволоку, и видны были хорошо. Тимофей поднялся наверх. Ветер шуршал в низких травах, посвистывал в голенастых, высоких стеблях сухого сибирька, далеко внизу синела вода. Дон поворачивал здесь огромной пологой дугою и уходил вниз, к Цимле. Луговое задонье открывалось на многие километры: густое займище, озера, речные старицы и протоки, слитые полой водой в одну голубую вязь, желтые развodia сухого камыша да чакана, огромный луг, за ним поля и поля, два хутора живых, Рюминский да Камышевский,— просторная земля, а небо — вовсе бескрайнее.

Тимофей кинул телогрейку, встал и вздохнул облегченно. Долгий путь кончился. Коршун кружил над головой, жаворонки пели со всех сторон, взлетая и опускаясь к земле, ветер дышал в лицо запахом пресной воды и молодой зелени, божья коровка, сияя под солнцем алостью, торопилась по сухой былке вверх и вверх, а потом улетела.

Сыновьям и невесткам был странен его отъезд, сестра думала о худом. Они и теперь, верно, горевали о нем, родные люди. Горевали, но не могли понять. Да что родные... Сам он, оставляя поселок, разве думал о плохом. Жить возле детей, пенсию хоть малую, да заработать... «Отдохнешь»,— говорили сыновья. А разве они были не правы?

В этих краях скотину пасли с апреля и порой до нового года. Встаешь до света. Еще чуть развиднеется, звезды на небе, и горит над головою самая яркая, Пастушья, звезда. Поднялся и пошел. И домой приберешься лишь к ночи, тоже со звездой. У добрых людей воскресенье — праздник и суббота. Пастух жди зимы. Весеннее ли ненастье, летнее пекло, когда к вечеру от жары темнеет в глазах и корочка соли запекается на губах. Или осенний дождь с утра до ночи, а самый сильный он на рассвете. Лупит по крыше, льет. Постоишь на крыльце, вздохнешь и пошел. День ото дня, год от году — считай, полвека. Вон там, на этих полях, лугах, в займищах, прошла его жизнь. Тимофей

стал глядеть в луговое задонье, которое открывалось с холмистых круч. Ближнее виднелось ясно, далекая даль туманилась для сторонних глаз. А Тимофей все видел: Березовый лог, Питомник, Семикурганы, куда с дедом Максаем скотину гоняли, Калмыцкую пустошь и Суходол, где три года Тимофей пас телят уже один, хоть и мальчонкою. Потом была долгая жизнь, но вся здесь, в один огляд: Назище, Бугаково, Кусты, Лучка, Пески, Скорodin бутор, Троиленское, Бирючье, Чебачий затон да Щучий проран, Линево, Карасево — дуга, курганы да балки, озера, приречные места, займища, старые хутора, их сады да левады, все исхоженное, свое.

Даже коршун, что кружит высоко, он всю жизнь там кружит, сторожуя. И коршун, и крикливый полосатый лунь: «Ки-ки... Ки-ки...», пестрая гагарка у земляной норы, пестрый же удо́д — пустушка с длинным кривым клювом, малый жаворонок. Вот вспорхнул он, поет. Может, такой же, как Тимофей, седоклокий, тоже старик. Может, знакомец. Сколько их спасалось возле Тимофея, когда желтоглазый кобчик уже доставал их на лету. Падали рядом и давались в руки. И малое сердце колотилось отчаянно, а потом успокаивалось в человеческих руках.

День прошел незаметно. С вечерней зарею Тимофей пригнал овец на ночлег. Над кошарами, над базами, над овечьим тырлом стояла розовая от закатного солнца пыль. С горы спускалось лавиной темное козье стадо, неторопливо брели к базам коровы, летошние быки да телки, вторая отара грудилась у поилок. Скрипели отворяемые ворота, людские голоса вздымались над скотьим мыком и бляньем: «Кызь-куда! Кызь-куда! Бырь-бырь! Ар-ра!» Садилось солнце, пыль оседала, от близкой реки наносило пресным теплом.

Ужинали во дворе хозяйского дома под навесом. Старинные могучие груши в белом цвету смыкались ветвями над головой. Через открытые ворота мимо веранды пробитая колея вела к базам да сараям, где стояли белая «Волга», красный «Запорожец», мотоцикл да мотоллер с кузовом — машинный двор.

Сели за стол втроем: Тимофей, хозяин, свежесвыбранный, пахнущий одеколоном, и сухонький костлявый мужичонка с темным старческим лицом и пышной седой шевелюрой.

— Это наш Чифир,— представил его хозяин, поглаживая черные, аккуратно подбритые усы. Усы были густы и темны, в коротких же волосах на голове сквозила просесть.— Овечки как кормятся? — спросил он.

— Жаловаться грех,— ответил Тимофей.— Конечно, трава еще редковатая. Видно, холода стояли.

— Холодная весна,— подтвердил хозяин.

— Я и гляжу... Но пошла зеленка и старюка есть. Берет овца, жаловаться грех.

Молодая женщина в легком коротком платье быстро накрыла стол, наливая горячий борщ в тарелки.

— Алик! — крикнул хозяин.— Ты где?!

— Иду-у! — издали, от базов, откликнулся сын.

Пахло свежесваренным борщом. Он даже на погляд был хорош, красный от помидоров и сладкого перца. Тимофей похвалил:

— Чую наш борщок.

— Зинаида у нас молодец,— поддержал его хозяин.— Повар высшего класса,— и, глянув на молодую женщину, не выдержал, цапнул ее рукой.

Зинаида увернулась. Тимофей, в городском житье наскучавший по привычной еде, хлебал жадно. Там, у детей, было, конечно, не голодно. Но борщ, какой всю жизнь дома варили, не получался.

— Варишь по-нашенски. Сама-то откель будешь? — спросил Тимофей.

— С Арпачина,— назвала Зинаида старинный большой хутор.

Там теперь размещалась центральная усадьба колхоза.

— С Арпачина? У нас там много родни. Ты чья будешь-то?

— Лифанова по мужу.

Тимофей задумался, но не вспомнил.

— Либо приезжие? А родов чьих? По отцу-матери?

— Мелешкиных.

— Так бы и говорила. Мелешкиных? Это каких? Ивана Архипыча или бабы Лукешки?

— Левона Тимофеевича,— тихо ответила женщина.— Помер он.

— Левона. Это Феня твоя мать. Бабу Акулину я знаю, ее сеструшка у нас в соседстве, Анна Аникеевна крестила брата моего, Василия,— говорил Тимофей и теперь уже по-другому на женщину глядел, по-родственному.

Зинаида была молода, хороша собой: чистое лицо, сбереженное от солнца и ветра, пухловатые губы, тронутые помадой, светлые волосы, сплетенные в толстую короткую косу, руки и ноги, женская стать — все было налитое, крепкое.

— Так что, считай, родня,— с улыбкой закончил Тимофей.— Потому и борщ твой сладкий.

— Родня значит родня,— согласилась Зинаида.— Буду по-родственному тебя кормить, с добавкой.

Тимофей и хозяин ели в охотку, а третий их сотрапезник, Чифир, вздыхал да ерзал, потом сказал нерешительно:

— Надо бы налить за знакомство. Все же новый человек. По русскому обычаю обязательно надо.

— По русскому обычаю? — переспросил хозяин.

— Да, да,— подтвердил Чифир.— Это у нас ведется.

— Раз так, нальем по рюмке,— согласился хозяин и тут же принес водки, разлив ее в малые стаканчики.— Но ты, Чифир, тоже для знакомства, будешь стих читать. Он у нас стих складывает,— объяснил Тимофею хозяин.

Зинаида засмеялась, уходя к плите.

— Водку не трогай, сначала стих читай,— приказал хозяин.

Чифир, покашиваясь на желанное питье и шумно нюхая его, торпливо заговорил:

Пасем овечью породу
Посереде донской степи.
Всему кавказскому народу
Даем в своих краях свободу.
Пусть нас кавказцы поминуют
И водку чаще наливают!

Закончил он и, ухватив стаканчик, выцедил его, прижмуриваясь и морщась.

— Во! — горделиво сказал хозяин.— Какие у нас люди...

Подошел хозяйский сын Алик, стал выговаривать:

— Чифир, надо глядеть. Два ягненка хромают, камень попал, растерло, а ты не глядишь. Чай свой жуешь да глупости болтаешь.

Чифир пожал плечами.

— Вроде не хромали.

— Как не хромали, я-то увидел.

— Ты молодой, а у меня глаза плохо глядят.

— Очки купи,— ответил Алик и отцу объяснил: — Я помазал черной мазью, надел чулок.

Отец покивал, одобряя.

Зинаида сказала, посмеиваясь:

— А если тебе правда, Чифир, очки... Будешь как профессор.

— Себе одень,— отозвался Чифир.— На то самое место. Чтoб в потемках не заблудиться.

Горячего борща нахлебались вдоволь, ели мясо, яйца, запивая кислым да пресным молоком.

После ужина Чифир с Тимофеем отправились к себе, к вагончику. Там возле ступеней лежала коряга. На нее уселись и закурили.

— Тебя звать-то как? — спросил Тимофей.

— Ты чего, не слышал? Чифир.

— Но Чифир — это ж не имя. Настоящее-то как?

— Вот оно и есть настоящее. Другое я забыл. А может, его и не было.

Тимофей лишь плечами пожал, а Чифир спросил:

— У тебя выпивки нет? Налил каплю. Лишь раздражил.

— Откуда у меня?

— Ну, может, в запасе.

— Не запасаясь.

Чифир стал охать, поглаживая колено, постанывать.

— Что с тобой? — спросил Тимофей.

— Зашиб коленку.— Чифир засучил штанину, обнажая иссохшую плоть.— Растереть бы одеколоном, да нету. Растереть бы, завязать, и до утра прошло.— Он говорил и глядел на Тимофея жалобно.

— Одеколон есть, тройной, для бритья. Не жалко, бери растирай. У меня мать-покойница тоже ноги тройным растирала.

Тимофей принес из вагончика пузырек одеколona, сам же вернулся в жилье. А когда он снова вышел, то Чифир уже довольно покрывал, пустой флакон валялся рядом.

— Выпил? — удивился Тимофей.

— Изнутри растер,— ответил Чифир.— Теперь полегчает. Еще нету?

— У меня ларек, что ли?

— Садись тогда, покурим. Ты на меня не обижайся. Это ты вроде для знакомства поставил. Куплю — отдам. За Чифиром не заржавеет. Садись.

Тимофей послушно сел, Чифир продолжал:

— Ты не думай. Я не какой-нибудь чурбан. Есть у меня, конечно, имя. Но про это молчок. Жена меня ищет, понимаешь? Желает засадить. Такая вот, вроде нашей Зинки. Стерва. А дочек я люблю, у меня две дочки. И они меня уважают. Я им шлю письма, чтоб знали отца. Стихи придумываю. Вот послушай:

Дорогие мои дочурки,
Я пишу вам издалека.
Я сижу у горячей печурки,
Не могу приехать пока.
Но люблю вас со всею силой,
Как не любит вас стерва мать.
Вспоминаю, как на руках носил вас,
И мечтаю снова обнять.

Чифир декламировал, размахивая руками, седые длинные волосы падали на лицо.

— Я тебе еще буду читать,— пообещал он.— У меня их целая тетрадь. Мы с тобой дружно будем жить, душа в душу. И мы всем покажем мужскую дружбу.

Лицо у Чифира было в мелких морщинах, словно жатая бумага, зубы прокурены, черны.

— Ты за сколько нанялся?

— Сто пятьдесят,— ответил Тимофей.

— Ты с паспортом?

— Конечно.

— Был бы у меня документ, я бы тоже не меньше брал. А без документа они хозяева.

— У тебя паспорта нет?

— В том-то и дело. Был бы паспорт, я бы...

— А где же он?

— Кто его знает. Может, тоже не было,— уклончиво ответил Чифир.

— Так ты напиши заявление в милицию. Заплатишь штраф, и дадут документ.

Чифир поглядел на Тимофея, покачал головой и сказал:

— Дура ты, дура деревенская. К легавым, значит, пойти. Да-а... С тобой поговори, ты научишь...

Тут же, у вагончика, сложен был простой очажок из камней. Чифир разжег огонь, поставил на камни жестяную консервную банку с водой.

— Чифирнем...— потер он руки.— Дело душевное. А то все учат да учат. Щенок этот учит. Эта стерва тоже влезает,— вспомнил он застольное.— Тоже мне хозяйка. Очки... У хозяина баба уехала домой,— объяснил он.— Там у них дом, старики. Ну, она и уехала с детишками. А эту шалаву, Зинку, сакманить прислали, на окот. Она и засакманила, командиршей стала. Мало старика, так она щенка к себе приманивает.

— Да он дите еще,— заступился Тимофей.

— Дите... Погляди, как он на нее зырит. А она виляет перед ним. Шалава она шалава и есть. Вроде моей. Тоже с одним связалась, а чтоб я не мешал, меня упрятать. Но нет...— погрозил он пальцем.— Номер не пройдет.

Закипела вода в банке. Чифир высыпал тюбик чая и глядел на темное варево, принюхиваясь.

— Чифирнешь? — спросил он у Тимофея.

— Нет, нет...

— Ну гляди...

Чифир уселся на землю, откинувшись к дереву, подтянул баночку, жадно нюхал. Тимофею сделалось не по себе, и он ушел в вагончик, стал устраиваться на ночлег. А когда недалгое время спустя с полотенцем и мылом он вышел на волю, Чифир уже словно подремывал, прикрыв глаза, и что-то бормотал. Тимофей осторожно обошел его, горюя: «Беда, беда...»

Вечер был теплый. Алая заря отыграла на воде, и в закатной стороне небо светило нежной зеленью. Ярче дневного, сочной выделось займище на том берегу, тополя и вербы с молодой листвой.

А здесь лежал тихий хутор в белой пене цветущих садов. Он словно дремал, уютно устроившись в ложбине меж высоких холмов. Вставали из белой кипени колодезные журавцы и столбы с оборванными проводами. Ни собачьего бреха, ни человеческого говора. Лишь голуби сизари стонали по-весеннему страстно да высоко в небе со щebetом носились ласточки, обещая добрую погоду.

Что-то знакомое чудилось Тимофею в этих домах, в могучих грушевых деревьях, в мягких очертаниях холмов. Что-то знакомое, давнее. А может, то разлука была виной, и теперь всякий клочок земли стал дорог.

С полотенцем через плечо пошел Тимофей вниз по избитой овечьими копытами дороге.

Над Доном висела вечерняя тишина. Похрустывали под ногами пустые панцири улиток, их пестрая россыпь тянулась далеко вдаль. Вечерние берега глядели в покойную воду, и стремились навстречу друг другу в ясном отражении займищные тополя и зеленые холмы с белыми меловыми осыпями. Пролетела тяжелая гагарка, села на бугре и стала звать кого-то детским жалобным плачем: «А-га-га! А-га-га». Долгий крик ее отзывался эхом, потом стихал. А она снова звала: «А-га-га! А-га-га!»

Тимофей обмылся, закурил и увидел поодаль, на берегу, склоненного над удочками человека. Увидел и угадал мальчика, сына хозяина. Рядом с ним темнела машина, а мальчик сидел на корточках, замерев. Чернели хлысты удилищ.

Тимофей, сам заядлый рыбак, хотел было подойти, но раздумал. Не по нраву был ему хозяйский сынок, молодой, да из ранних. В машине за рулем, в разговорах, всеми повадками он был Тимофею неприятен. Но теперь, в сумеречной полумгле, он показался бесприютным и одиноким, даже кольнула жалость. Хотя дело обычное: вечер, рыбалка — ребячья забава. Сам Тимофей и до сей поры рыбалить любил.

В распадке меж холмами было уже темно. В доме хозяина горел свет. В кошаре, стойлах и загонах было тихо. Лишь вздыхали коровы да мягкий топ доносился от козьих и овечьих базов. Гремели цепями сторожевые собаки. Их было три, огромные волкодавы.

В густеющей мгле, в тиши снова закричала гагарка: «А-га-га! А-га-га!» Плач ее разбудил в душе давнее, и Тимофей разом понял, почему эта горстка домов, сады, старые груши, голубей воркованье, крутые лобастые холмы — все знакомо. Это был хутор Каменнобродский, родина отца и деда. И он здесь родился и недолго жил, несмышленым еще, а потом его увезли. Но гостили здесь раз или два, тоже в ранней младости. Приезжали, переправлялись с луговой стороны на пароме. Здесь был паром через Дон, на тросу. Такой же вечер, сумерки, покойная вода, и гагарка так же кричала: «А-га-га! А-га-га!» Старинные могучие груши-дулины окружали дедово подворье хороводом. «Карагод... — как дед говорил. — Дулины наши, как девки, карагод ведут...»

Минуя хозяйский двор, Тимофей пошел улицей хутора. Неподалеку ясно виделись, белели во мгле высокие храмины груш, может быть, те самые, что хороводом стояли на дедовом подворье.

2

По утрам на заре над скотьей толокою, над базами, над всей тихой округой вздымались овечье бляенье, козьи вопли, мычанье коров и телят. Коров доила Зинаида наскоро, набирая молока лишь себе, телятам — остатнее. Верхом на лошади хозяин угонял коровий гурт наверх, на гору, там скотина паслась день-деньской. На мотоцикле, прыгая по буграм и колдобинам, наметом гнал козью орду хозяйский сын Алик. Козы тоже паслись без особого догляда на холмах. Далеко уйти они не могли, глубокие балки отрезали им путь. Позавтракав, вводил свою отару Тимофей в долгий до вечера путь. Чифир угонял своих овец. На загоны ложилась тишина. И теперь до вечера в кошаре под шиферной крышею лишь свиньи похрюкивали да в сетчатых вольерах суматошили куры, покрякивали утки и важно разгуливали индюки, охраняя свое голенастое потомство. Кружили под помещьем коршуны, набалованные сладкой домашней дичью, осторожное воронье сидело поодаль, приглядываясь. Но птичья молодежь быстро росла, и люди не дремали: сам хозяин, Алик, а то и бедовая Зинаида выходили с ружьем, паля в белый свет для остратки.

Тимофей вел свою отару не торопясь, овечий вожак, мудрый козел Васька, шел впереди, выскивая корм повкуснее. Иногда он шастал в кустах, хрумкая молодыми ветками, порою ложился передохнуть. Без вожака овцы не уходили, рассыпаясь вокруг для пастьбы. При нужде козла можно было и подогнать, сказав ему: «Вперед, Васька! Вперед...» Поглядев на чабана умными, навывкате глазами, козел соглашался, кивал бородкой, неторопливо обходил отару, коротко мекал и шел вперед. Овцы послушно шагали вслед своему вожаку. Тимофей лишь поглядывал, чтобы не отбилась, не ушла в балку, в кусты овечья шайка.

Он поднимался в гору и стоял там, опершись на посох. Можно было кинуть телогрейку и лечь, отара была как на ладони. Но с детства, с первых шагов пастушества, приучил его дед Максай: «Сел на

землю — уже полпастуха, лег — вовсе нет пастуха, а стоишь, костыликом подперевшись, значит, на месте пастух».

Далеко внизу, за Доном, на той стороне, расстилалась просторная луговина. Там и сейчас пасли коз да коров. Ясно были видны далекие стада, их маковая россыпь. Там много лет назад начинал пастушить и Тимофей под рукою у деда Макся. В десять лет пошел. Семья — немалая, время — военное, голод. Отец из госпиталя вернулся еле живой. Хочешь не хочешь, а старший сын и в десять годков — казак, подмога. Пошла мать еще зимой к деду Максаю, старинному пастуху. Он дальней родней доводился. Сговорились.

И ранней весной, в марте месяце, оставил Тимофей школу и пошел к деду Максаю в помощники. Платили тогда хозяева пастухам деньгами, молоком да картошкой. Третья доля — подпаску.

Дед Максай сплел своему помощнику ременный кнут, научил оглушительно хлопать. Сверстники-ребятишки Тимофею завидовали: кнут в руках, пастушья сумка через плечо и воля. Завидовали ребятишки, соседские бабы говорили матери: «Тебе ли не жить теперь... Подмога». Мать лишь губы поджимала. Сердце болело у нее, когда чужие ребятишки бежали в школу, игрались на улице, а Тимошка еле домой добирался к вечеру. А в непогоду и вовсе... Весенняя промозглая слякоть, дожди, одежда никакая: на плечах — старенький пиджачишко, на ногах — чирки раскисшие да мешок на голову вместо плаща. Промокало все насквозь. В осеннюю пору Тимофей приходил черный, продубевший от холода. Мать сдирала с него прилипшую ледяную одежду, ставила ноги в чугуны с горячей водой. Раздевала и плакала. Тимошка молчал. Поднимется утром, оденется, поставит в сумку банку кислого молока да пяток желудевых лепешек сунет — и пошел.

А потом помер дед Максай. Бывший подпасок заменил старика теперь уж до века. Пошла, покатила жизнь, за летом лето, под Пастушьей звездой, которая светила и теперь на склоне годов.

К полуденному часу Тимофей пригонял овец на тырло, к донской воде, в тень береговых тополей и верб. Туда приезжал на «Запорожце» Алик, привозил обед.

В аккуратном синем джинсовом костюмчике, ладно причесанный, смуглый, по-восточному красивый, старше своих лет он не гляделся: по-детски светили глаза, свежие губы, кожа лица с легким румянцем — все говорило о нежном возрасте. И потому с какой-то неловкостью говорил с ним Тимофей. «Дите дитем, — думалось ему, — а гутарит как деловой...»

— Волков не видал? — спросил Алик.

— Бог миловал.

— В Осиновке на базу порвали овечек, и Чифир божится, что видел сегодня, отогнал.

— Чифир, он... — усмехнулся Тимофей. — Ему верить.

— В Набатове у лесников тоже напали, — настаивал Алик. — На острове были козы, овцы. Вырезали наполовину.

— Это беда... — вздыхал Тимофей. — Беда...

Ему доводилось в жизни своей встречать волков не раз, но все в давние годы.

Алик уехал. Встревоженный Тимофей стал оглядывать заросшие дубком, вязом да чернокленом балки, глухую путань шиповника и тернов по низине. Весь день пас он овец осторожно, стараясь держаться открытых мест, побаиваясь. Здесь, в задонье, в глухих буераках, серые водились всегда. Нынче на безлюдье зверья много прибавилось. И не только волков. Сейчас по весне среди бела дня мышковали неприглядные, облившие лисы. Они шарили по зарослям, на открытых местах вскидывались на дыбки, выглядывая поживу. В глухих топких падинах дикие свиньи лакомились сладкими молодыми побегами камыша. Иногда они выходили на отрожье к дубам прошлогодних же-

лудей поискать. Лосей в последние годы поубавилось, но появились косули, стройные, легкие, с золотистым мехом. Порою они неслышно выплывали из-за кустов, и Тимофей затаив дыхание глядел на них. За долгий день то и другое зверье можно было повидать. От волков бог еще миловал.

В конце дня, направляя отару к хутору, к дому, в пологом выходе балки Тимофей заметил чужих овец. Опасаясь смешать отары, он подал голос: «Ар-р-ря! Ар-ря!» — и стал поворачивать свою отару, уводя ее в сторону. «Ар-ря! Ар-ря!» — кричал он, но чабан не отзывался. Не упреждал Тимофея ни хозяин, ни Алик об иных овцах. Далеко, за четыре горы, стояла соседняя чабанская точка. Чужая скотина паслась кучкой, Тимофей подошел к ней. Это были бараны, голов сотня, а может, и больше. Отара не отара, лишь малая часть ее. Тимофей вышел на гору, покричал, позвал. Не было никого. С холма на холм тянулась поlynковая целина, за ней неширокая полоса смородины да вязков, дальше черные пашни, сочная зелень озимки. Не видно было ни человека, ни скотины. Дело понятное: ушла от своей отары шайка баранов, и чабан не заметил. Когда ушла, где — ведает бог. Тимофей долго не раздумывая, подогнал чужую баранту к своей и повел к дому, к хутору, чтобы оповестить хозяина. А уж тот дальше объявит о приبلудной скотине.

На хуторе у дома хозяина стояла машина. Хозяин собирался уезжать, но, заметив отару, прежде срока идущую к ночлегу, дождал ее, крикнул Тимофею:

— Что случилось?!

— Бараны чужие приبلудились. Боле сотни голов, — объяснил Тимофей. — Не кинешь их. Смешал, гоню пораньше. Может, ищут люди.

Хозяин собрался в гости. Был он в костюме, в белой рубашке, чисто выбрит. Выслушав Тимофея, он покивал головой и, шагнув к отаре, разом углядел барана с чужой метою, двумя скрещенными восьмерками на спине.

— Веди, но не загоняй на баз. Отделим.

Тимофей напоил отару. Подошли хозяин с Аликом. Хозяин встал у приоткрытых ворот база, пропуская мимо себя овец и отделяя баранов от скрещенными восьмерками на спине.

— Либо и правда волк разогнал где... — говорил Тимофей, помогая хозяину. — А может, чабан рот разинул, заснул. Теперь кинутся. Магарыч с них... — посмеивался он.

— Будет магарыч, — коротко пообещал хозяин, пропуская мимо себя овечек и отстраняя баранов.

Алик и Тимофей тянули за витые рога приبلудных прочь из серого овечьего потока, текущего на баз к ночному отдыху.

Баранов отделили. Хозяин достал из кармана деньги, пачку сигаретных четвертных, и подал Тимофею:

— Держи магарыч. Бутылка — на ужин.

Тимофей не понял, отстранился.

— Это я вроде в шутку, — проговорил он. — Хозяин, мол, найдется. Вроде с него... А это зачем?..

— Я — хозяин, я — твой хозяин. Я даю, ты бери. И больше ничего не знаешь. Я — хозяин.

Клопочущий голос был строг. И глаза из-под кепки глядели строго. Рядом стоял неулыбчивый мальчик. Тимофей перевел взгляд с отца на сына и все понял.

— Мне чужого и на дух не надо, — отстранил он деньги. — Скольکو пас, слава богу, не польстился. А как же.. Люди где-то плачут, а мы кукарекать будем от счастья, — говорил он, слабо, но все же надеясь убедить. — На чужих слезах не расцветешь. У нас всегда ведется...

— То — у вас, а это — у меня, — прервал его длинную речь хозяин. — Берешь?

— Нет, нет,— отмахнулся Тимофей.— Господь с тобой.

— Гляди. Деньги будут у меня. В любой момент заберешь. Но запомни: не было баранов. Не было,— повторил хозяин.— Ничего к нам не приходило. Никаких баранов...— развел он руками и на сына поглядел.

Тот кивнул головой, подтверждая.

— Лом-Али,— обратился хозяин к сыну и что-то проговорил на своем языке.

Мальчик быстро погнал баранов от кошары через падину по хуторской улице.

— Не было баранов, запомни,— еще раз повторил хозяин и, повернувшись, пошел прочь.

Тимофей остался возле кошары у загона. Скрылся во дворе хозяин, пропали из глаз среди хуторской зелени бараны и мальчик, хозяйский сын. Словно и впрямь не было ничего. Просто вечер, солнце к закату, дневная усталость в ногах.

За ужином не было ни хозяина, ни сына его. Зинаида, разогрев еду, сказала:

— Вы здесь сами управитесь. Я с огородом занялась, уж доделаю.

— Какой огород? — спросил Тимофей.

— Да понемногу копаю, чтоб зелень была своя на еду.

Отужинав, Тимофей пошел поглядеть Зинаидин огород. Потянулся за ним и Чифир.

Забазья, левады, как всякое место, брошенное людьми, в первые годы зарастало коноплей, крапивой да репьями. Лето за летом дикие травы буйно вскипали тут, к осени умирая. И теперь вздымалась над землей непролазная чащоба сухих стеблей, старник, а меж ними новая зелень.

Зинаида расчистила и вскопала за сараями невеликий лафтак земли. Радовали глаз ровные гряды, зеленые строчки помидорной да капустной рассады, тугие перья лука-сезуна, робкие стрелки чеснока. Молодая женщина возилась у гряд. Увидав мужиков, она поднялась, одергивая платье.

— Кое-чего понемногу...— объяснила она.— За всем не наездишься на хутор.

— Правильно,— одобрил Тимофей,— по-хозяйски. Картошечки бы посадить.

— Уж не до картошки,— отмахнулась Зинаида.

— А чего... Руки-ноги есть. А семена?

— Найдем.

— Невеликие труды. Вскопаем, посадим.

Принесли лопаты да грабли, убрали сухие бурьяны.

— Давай подождем,— предложил Чифир.— Бензину линуть — и хорош.

— Польшнет,— ответил Тимофей,— и хутор спалим.

— Больше места будет свободного,— усмехнулся Чифир.— Еще спасибо скажут.

Тимофей поглядел на хутор, вздохнул.

Земля хорошо копалась, распадаясь под лопатой темной влажной россыпью.

Подступала весенняя ночь с долгой зарею, со светлым небом, с парным теплом от земли и пряным духом цветения.

Сады отцвели. Высокие груши, раскидистые яблони, вишни да терны стояли в зелени, растеряв белый цвет и озерняясь дробью плодов. На смену им уже поднялась вскипая вторая волна весеннего цвета: распустила белые зонтики калина, гроздь душистой акации отдыхали от гудливой твари лишь в ночи, на пустошах колючий лох отворял свой невидный желтенький цвет, задошлаиво-пряный, расцвела сирень. Сирени на хуторе было много. В прежней

жизни ее сажали в палисадниках, гордясь друг перед другом. И свою, и привозную белую, даже персидскую. Теперь сирень задала, пышно росла, закрывая окна домов. Некому ее было ломать. По весне она цвела яростно, заливая хутор тугими махровыми кистями и тонким духом, словно бабьим ли, девичьим праздничным.

Посадили два ведра картошки.

— Хватит,— сказала Зинаида.— Ночь на дворе.

— Налей с устатку,— заканючил Чифир.— Я знаю, у тебя есть бутылка.

Черноликий, усохший телом, похожий на больного мальчонку, он глядел умоляюще.

— Мой хороший,— жалеючи покачала головой Зинаида.— Да куда же в тебя ее лить. Отдохни чуток. А за труды твои пускай тебе доброе нынче приснится.

— Чего доброе? — петушился Чифир.— Баба, что ли? Вроде тебя.

— Да хоть и баба,— с мягкой улыбкой ответила Зинаида.— Хоть и я, коли днем не надоела. Эх вы, мужики...— задумчиво протянула она, уходя с огорода к дому.

Невеселое, свое плеснуло в душе Зинаидиной. Это было так явственно, что даже Чифир понял и полез за куревом.

Проводили молодую женщину взглядом. Закурили.

— Вот моя тоже с армянном спуталась,— вспомнил Чифир,— потом жалела, да позано. За мной она жила — горя не знала.

Тимофей рассеянно слушал, уже не в первый раз, печальную повесть прежней жизни Чифира.

Отсюда, из глубины хозяйского двора, с левады, хутор был виден по-иному. Дальняя усадьба, стоящая чуть на отшибе, под горой, показалась знакомой. Не там ли дед проживал? Не там ли он, Тимофей, появился на свет?

Крутое плечо холма, а под ним, в затишке, дом среди грушевых деревьев. У подножия холма били два родника, оправленные в дикий камень. Из них брали воду, поили скотину в дубовых колодах.

Тимофей пошел к усадьбе напрямую, через левады. Рядом поспешал Чифир.

— Она ведь со мной горя не знала. Приду с работы — все сделаю. Сам варил, сам девчат купал. Накупаю их, посажу в кровать, они сидят, чистенькие мордашки, аж светятся. Я все умел: борщ варил, даже суп харчо. Плов умел делать. Казан достал специальный для плова.

Тимофей не слушая шагал и шагал к усадьбе. Чифир семенил рядом, боясь отстать. Прошлое, вся жизнь его нынче в голове трезвой так ясно поднялась. И носить в себе эту боль было горько и невозможно. А кому рассказать? Лишь этому человеку.

— Я и шить умел. Ей-богу, правда... Сам научился. Машинку швейную купили, жена не захотела. А я помаленьку начал, и пошло...

Усадьба деда, а может, вовсе не она, но такая похожая, лежала в ночном оцепененье. Огромные кусты сирени вздымались перед окнами, смутно выдвигались тяжелые кисти. В полутьме дом стоял словно живой, лишь спящий Тимофей шагнул во двор через поваленные ворота и разом узнал узкую веранду, по-старинному — галерею, что тянулась вдоль стен. Могучие груши обступали двор, родники из подножия холма, верно, сочились и теперь, камышовые заросли хоронили их.

Посреди двора на ветхой колоде Тимофей сел. Чифир пристроился рядом. Речь его, торопливая, сбивчивая, с захлебом, лилась и лилась.

— Вот, ей-богу, клянусь отцом-матерью, она придет, говорит, нет ничего в магазинах. Я сажусь и шью. Такие платья сошью девчатам. Сам расчерчу мелом, скрою. Сошью платьишки, одену. Выйдут

во двор как куколки — все люди завидуют. Я и ей шил. Как-то за Волгу собрались, она говорит: не в чем ехать. Я такой сарафан ей сшил, никто не верил.

Очнувшись от своих дум, Тимофей стал слушать, не поверая, что там правда, что выдумки. Он понимал, что все там жизнь, которая была и уже не вернется. И человек, тот, что рядом, белого света не жалеет, лишь память у него порой просыпается, как сейчас, — и только.

Жалость до слез резанула Тимофея. Была бы водка, он бы отдал ее Чифиру. Пусть пьет, пусть напьется, забудется, и слова перейдут в горячечный бред, потом в тяжкий сон. Но водки не было, и Тимофей сказал:

— Ты уж дюже не горься... Я тоже теперь вроде сирота... Не горюй, парень. Мы еще живые, руки-ноги целые, в силах. Будем жить. Хуторок пригожий. Добрый хутор. Дедов домок подладим, подлатаем. Чего нам этот абрек... Мы с совхозом договоримся, возьмем свою отару и будем жить. Оформим тебе документ. А как же... И пойдет дело. Летом здесь воля: сады, река. Приедут к нам на гости ребятишки, внуки мои, твои дочки. В городе тоже не дюже сладко. А здесь воля. Детвора любит...

— Да-да... Дочки мои очень любят природу, цветы...

— А цветов у нас хоть залейся, сам видишь. Сирень, а по степи сколь цветут. Им поглянется.

— Понравится, конечно, понравится!

— Их отсюда и не утянешь, — уверенно сказал Тимофей. — Раз покушают — и все. Будут купаться, рыбалить. Груши здесь, яблоки, сливы, вишни, в огороде все дуром прет — господний рай. Летом у нас будет гостей со всех волостей. А в зиму будем овечек кормить, глядеть за ними. А там снова лето.

— Да, да... Снова лето...

В тихой, светлой ночи хутор дремал без огней. Где-то рядом прокричала сова высоким плачущим зовом, ей ответили лаем да бряцаньем цепи сторожевые собаки кошар. От грейдера с горы к хутору спустилась хозяйская «Волга», следом за ней, осторожно тараща желтые глаза, пробирались тяжелые грузовики, попыхивая приторной гарью. Услыхав гул машин, Тимофей поднялся и все понял. Машины приехали за баранами.

На краю хутора «Волга» посигналила. Ей ответил высокий голос хозяйского сына. Машины подъехали. Началась погрузка.

Тимофей пошел к своему дому, на покой и от греха подальше. Чифир, ничего не видя и не слыша, спотыкался рядом.

— Они приедут... Они поймут... И она поймет... Душа в душу...

Никто его не слышал.

По донским балкам, теклинам да отрожьям, в густых тернах, в колючем шиповнике допевали вечернюю песнь соловьи, над водою, в теплых заливах и старицах отвечали им слитным гулом водяные быки, лягушачьи жаркие трели разгорались все яростней.

Короткая весенняя ночь в светлых сумерках, холодея, торопилась к утру, к тяжелой росе. Пастушья звезда уже поднималась с востока.

3

Как-то вечером после ужина нечаянно собрались на рыбалку. Тимофей сидел у вагончика, курил, поглядывая на хутор. Мимо проходил Алик. И в эту минуту от дома, с веранды ли, со двора, раздался залистый смех Зинаиды, вторил ей, похохатывая, хозяин Алик резко повернулся и стал глядеть в другую сторону, на реку. Тимофей поднялся и сказал, тоже на воду глядя:

— Играет рыба? Сазаника бы поймать, посладиться.

— А ты умеешь ловить? — повернулся к нему Алик.

— Было бы чем, — усмехнулся Тимофей.

— У меня есть! Все есть! — крикнул Алик и побежал к дому. Умел ли он ловить рыбу?..

В давнем детстве, в пастушестве он старался пасти у воды и в полуденные часы, когда отдыхает скотина, ухитрялся наловить рыбы. Плеел из конского волоса лески, добывал да ладил из проволоки крючки и ловил. Сам кормился, иной раз и домой приносил. Мать удивлялась: «Откуда?» «Хозяева дали», — отвечал он, даже матери боясь откнуться.

Алик примчался с целым ворохом удочек, донок, спиннингов.

— Весь Дон можно перетягать с такими снастями, — изумился Тимофей. И заторопил: — Время ждать не указывает, пошли.

Взяли пару удочек да донок, червей копнули и поспешили вниз, к воде. Алик, забегая наперед и заглядывая Тимофею в лицо, спрашивал нетерпеливо:

— А мы поймаем, точно?

— Такими удочками стыдно не поймать. Руки нам надо оторвать, если не поймаем, — твердо говорил Тимофей.

На Дону было еще светло. Вода, как и небо, горела закатным огнем — алым и розовым. Тимофей, глянув вдоль берега, заспешил к недалеким тополям над водой, к косе возле них. Там должна быть и глубина и рядом — мель. Наскоро по-своему настроив крючки да грузила, Тимофей проговорил:

— С богом...

Забросили. И сразу пошла братья крупная золотистая красноперка с яркими плавниками.

— Ура! — закричал было Алик, выудив первую.

— Ты чего... — прищипнул на него Тимофей. — Распугаешь.

Мальчик, поняв, закусил губу. Красноперка ловилась одна за другой. И тут же, рядом, закинув донки, вытащили двух хороших подлещиков.

Стемнело. Потухла заря. На реке загорелись огни бакенов, на берегах — створные сигналы.

— А ты говорил, не поймаем, — весело пенял мальчику Тимофей. — Здесь такие места.

— У меня не получалось... — признался Алик.

— Ничего. Тут рыбы много. Лещи, судаки, бершики, сазан есть. Но его, парень, не сразу возьмешь. Сазана надо с привадой. Можно попробовать на макуху. Сазан на макуху идет.

Они поднимались в гору, к жилью. Дверь вагончика была закрыта, видно, Чифир уже спал.

— Ну, забирай улов, тащи, хвались, а я спать, — сказал Тимофей, и взгляд его упал на хозяйский дом.

Там было темно. Тимофей понял, что туда же, на темные окна, глядит и мальчик.

— Жарехи охота. Либо сейчас и нажарим? Чего утра ждать, — в минуту передумав, сказал Тимофей.

— Нажарим! Давай нажарим! — обрадовался Алик.

Включили свет под навесом у кухни. Быстро почистили и разделали рыбу.

— По весне я всегда сазанов ловил на той, на луговой, стороне, — рассказывал Тимофей. — Луга зальет Тепленькая водичка. Сазан туда и приходит Здоровые бывают, прямо поросята. Гоняешь за ними, с ног валят. Какого и прищучишь Раньше сазана много водилось. Такой бой на заре. Вскинется над водой, огнем горит Один да другой. Так и назывался — сазаний бой. А сомы, они по яминам да бучилам стоят Ночью выходят. Икру мечут, бывает, и днем. Трут-ся у карши, их видать Черные, лобастые. Сомы обязательно воз-ем. Ночью на меляках поставим закидные на раковую шейку. А может, попробовать на квок? Но это лодку надо. Квочку сделать можно. У меня сосед, Паша Басов...

Шкварчала на сковороде рыба, закипал чайник. Ночная тьма обступала легкой навес.

После рыбы и чая решили день-другой готовить снасти и заняться ловлей сомов, а может, и сазанов.

Пора было расходиться. Вышли со двора. Над холмами вставала луна. В ночи, в лунном обманчивом свете, хуторские дома, плетневые да мазаные сараи, камышовые крыши — все казалось не брошенным, а живым. Будто на ночь уснуло все и пробудится с петушиным криком.

Степная тишина стекала с холмов в долину. Хутор тонул в немоте, в молодой зелени садов, в последнем весеннем цвете.

Алик провожал Тимофея к вагончику.

— Иди ложись...— говорил Тимофей.

— Отца нет,— сказал Алик.— Надо поглядеть скотину. Отец всегда на ночь глядит.

— Это по-хозяйски,— одобрил Тимофей.

Он остался у вагончика, дожидаясь, пока Алик закончит обход. Стоял курил. Алик вернулся:

— Завтра я обед не привезу. Возьмешь с собой на день. Я поеду за бичами. Надо кошары чистить, навоз вывозить.

— За какими бичами? — не понял Тимофей.

— Пьяниц на станции наберу. Они за водку все сделают,— объяснил Алик и пошел к себе.

Тимофей вел отару целиной. Справа начинались отрожья балок, слева невдалеке, за лесополосою, сочно зеленела озимь хлебов. Местами лесополоса прореживалась, а то и пропадала, и тогда зеленя лежали совсем рядом. На них поглядывал, стараясь свернуть ненароком, вожак отары — козел Васька. Но Тимофей упреждал его криком:

— Куда, нечистый дух? Кызь-куда!

Козел пснимал.

Уже близ хутора и стойла увидел Тимофей хозяйских коров и бычат на хлебах. Они вольно паслись там, в зеленях. Тимофей испугался, хотя его вины тут быть не могло. Вины, конечно, не было. Но век он скотину пас и знал, что самое страшное — упустить ее в хлеба. И потому, завернув овец к балке, Тимофей кинулся выгонять коров. Хлеба стояли не больно густые и еще невысокие, но после твердой земли по мягкому бежать было неловко. Тимофей спешил и раньше поры закричал.

— А ну пошли! Куда пошли!!

Обычная скотина, послушная, с которой Тимофей всю жизнь провел, поняла бы свой грех и подалась с поля. Но это был вольный гурт, набалованный. Коровы глядели непонимающе, а несколько бычков и телок-летошниц, взбрыкивая, играясь, подались в глубь зеленой, дальше от человека.

— Куда пошли! Куда! — кричал Тимофей, стараясь завернуть скотину, а она уходила вскачь.

Бегал он за коровами долго. А когда, устав и взмокнув, наконец выгнал их на целину, пришлось к своей отаре бежать. Широко рассыпавшись, с Ваською во главе, овцы, не поднимая голов, стригли и стригли сочную зелень озимки.

Тимофей чуть не плакал от обиды и отчаянья. Хлебов было жаль и страшила расплата. Потраву, конечно, заметят, заметят, и будет беда. Дважды за жизнь упускал он скотину в посеvy. Еще мальчишеско не углядел, так вместе с матерью находились и наплакались, да еще спасибо лесхозное было поле и лесник — родня. И к малым летам снисхождение. А когда в годах на Россоши потравил край кукурузного поля, то платил деньги немалые.

А теперь и вовсе кто он?.. Припишут всю потраву, попробуй докажи. Он собрал свою отару, коров с молодняком и подался на хутор к дому.

Солнце еще не садилось, когда подогнал он скотину к базам. Хозяин вышел встревоженный.

— Что случилось?

Алик выбежал следом.

— Беда,— ответил Тимофей,— беда... Скотина в озимые зашла, потравила много. Моей вины нет. Я гнал овечек целиной, гляжу, скотина в хлебах. Пока туда да сюда...

— Чего озимые? При чем озимые? — не понимал хозяин.— Чего случилось, говори!

— Я ж говорю, потравили озимые. Хлеб, озимые, зеленыя...— толковывал Тимофей.— Теперь начальство углядит. Большой лафтак у дороги, на виду. Скотина паслась. А пока я бегал, гонял ее, и овцы зашли. Много потравили.

— И все? — спросил хозяин.

— Куда ж боле...

Хозяин пожал плечами, на сына поглядел. Тот засмеялся, сказал Тимофею:

— Зачем выгонял? Пускай пасутся.

— Как пускай? — по-прежнему не понимал Тимофей.— На хлеба, на озимые... Начальство увидит...

— Ерунда! —отрезал хозяин и пошел во двор.

Тимофей загнал скотину на базы, но в себя не сразу пришел. Его колотил нервный озноб. Он запер скотину, присел возле ограды, курил.

От сараев, от птицы подошла Зинаида с полным ведром яиц. Она поглядела на Тимофея, спросила:

— Дядя Тимоша, ты часом, не захворал?

— Захвораешь...— ответил Тимофей и рассказал обо всем, что случилось.

Зинаида поставила ведро, присела рядом.

— Не бойся,— сказала она.— Ничего не будет. Здесь из хлебов не вылазят. И осенью и весной. Вроде положено. Уж никто и не глядит.

— Неужто правда? — не верил Тимофей.— А я умом не накину. Хлеба... Да у нас лишь коснись.

— Это у вас. А здесь вроде привычно. Наш чабан с начальством хорошо живет, ему позволяют.

Зинаиде Тимофей поверил. Он, правда, и раньше еще поверил словам хозяина, и не столько словам, сколько лицу его, спокойной усмешке. Но доходить стало лишь сейчас, вот здесь.

Зинаида сказала:

— Идти надо... А вот присела, так бы и сидела до ночи.

— Уморилась... — посочувствовал Тимофей.— Долгий день.

— Уморилась,— со вздохом призналась Зинаида.— Дело за дело цепляет. Вроде и рано встаю и все рысью, а никак... Коровы, свиньи да птицы... Много всего...

— Хозяйство большое,— рассудил Тимофей.— Уморит. Варить на всех, доить да обиходить. Ты как числишься? — поинтересовался он.— От хозяев?

— Нет, я приписана от совхоза. На сакман послали, вот и прилипла. Где она в совхозе, бабья работа? Поищи. А здесь денежка идет зимой и летом.

— От дома далеко...— сказал Тимофей.— Свое-то хозяйство тоже рук просит.

— Там мать, дочка при ней.

— Без мужика живешь?

— А как ты угадал?

— Да чего угадывать... Мужик бы сюда не отпустил.

— Какой у меня мужик был,— с горечью сказала Зинаида,— тот бы куда хочешь отпустил, лишь бутылку посули.

— Дюже не горься,— вздохнул Тимофей.— Бабочка ты молодая, всем на завид. Найдешь себе человека, даст бог, работающего да приглядного, в пару...

— За одного приглядного бог уже пихнул,— сокрушенно покачала головой Зинаида.— Еле опомнилась от приглядного... Нет уж, красоту не лизать. И с дурненькими люди живут в ногу. Кому что написано... Я тут, дядя Тимоша, свет увидела,—призналась Зинаида.— Никто не зашумит, руку не подымет. От своего-то родненького таких чубуков натерпелась, вспомнишь — душа вянет.

Она задумалась, глядела в отрешении. Большие, темные бабьи руки лежали на коленях.

— Зинаида, Зина! — позвал ее от дома голос хозяина.— Ты где?!

— Иду! — откликнулась женщина, поднимаясь.— Либо наскучал? Пошли повечерям, дядя Тимоша,—пригласила она.— Горяченького покушай, пока не остыло.

После ужина Алик сказал Тимофею:

— Порыбалим? Червяки есть, тесто есть.

Тимофей согласился. Самое время было уйти на Дон.

Пошли на место уже привычное. За меловым обрывом, в устье просторной балки стояли три тополя. В подножии их — тяжелая, обмытая водою карша, занесенная песком. На ней удобно было сидеть.

Вечер ложился покойный. Наверху, на холмах, еще звенели жаворонки. В тополях, в засохших вершинах, заливались скворцы. Над тихой водой, над алой вечерней зыбью летали крикливые крачки.

Алик забросил удочку. Тимофей готовил закидушки. Он отошел чуть в сторону и позвал мальчика шепотом: «Алик...» — прижимая пальцы к губам. Алик подкрался осторожно. Тимофей шепнул: «Гляди...» — и показал рукой. Мальчик увидел сразу. Там, возле берега, охотилась за рыбой змея. Она ныряла, быстро вертела хвостом, чтобы не всплыть, шарила под камнями. В одном месте было пусто, в другом — неудача. Наконец она учуяла добычу. Хвост ее закрутился быстро, взбивая воду воронкою. Она вынырнула, держа в пасти большого пескаря, и поплыла к берегу трапезничать.

— Здорово! — удивился Алик.

— А как же...— ответил Тимофей.— Всяк по-своему.

Алик ловил на удочку. У Тимофея на донки клевало плохо.

Редкие облака в небе отгорели аlostью и притухли. Вода словно подернулась пеплом, похолодела. Ветер стих. Прошла моторная лодка, с трудом раздвигая гладкую воду. Погогие волны лениво расходились к берегам. Смолкли птицы.

— Алик,— спросил Тимофей,— а ты в школу не ходишь? Ты в каком классе? Мои внуки еще учатся. Или распустили на каникулы? Вроде рано.

— Э-е...— махнул рукой Алик.— Поставят отметки. Некогда учиться. Дедушка заболел, мама уехала. У нас дом. Там тоже кому-то нужно быть. Хозяйство. Кто будет отцу помогать?

— А возьмут да на другой год оставят.

Алик лишь засмеялся.

Тимофей вспомнил свое:

— А я вот желал учиться. Думал, хоть классов бы пять-шесть и в ФЗО или ремеслуху. Была гакая раньше учеба. Там кормили, одедали и специальность давали. Но не пришлось.

— Почему не пришлось? — спросил Алик.

— Скотину пошел пасти. Отец больной. Ребятишек четверо. Какая учеба...

— Ну и правильно,— одобрил Алик.— Мой отец тоже не учился. А дом у нас самый лучший. В два этажа, сад, бассейн есть и фонтан, виноградник. А теперь я буду дом строить.

— Отделяешься? — насмешливо спросил Тимофей.— Тесно с родителями?

Алик его шутки не принял.

— Строить не быстро. Землю купили. Надо начать. Дом все равно нужен будет.

— Зря ты об учебе не думаешь,— посетовал Тимофей.— Ученье, оно... Ученым людям дано. Им везде дорога. Мои сыны повыучились, слава богу. Один — инженер, другой...

— Выучились! — перебил его Алик.— Они выучились, а ты у нас пасешь! Почему так?!

— Да я же не от нищеты пасу. Меня дети не обижают, кормят. Это мне вроде не сидится под крышей, отвык.

— А учителя в школе выучились? У нас мясо просят. В совхозе директор выучился, зоотехник выучился, а к нам приезжают за мясом, водку пить. В районе начальники, милиция — все выучились, и тоже — к нам. Все едут. Потому что у нас все есть. Семь сотен овец, двести коз,— считал мальчик,— пятьдесят свиней, индюки, бычки, коровы. Осенью будет пух, мясо, деньги. Работать надо, а не учиться. Деньги зарабатывать,— с гордостью сказал мальчик.— Дом строить, машину покупать, две, три машины. Тогда тебя уважают и все завидуют. Нам все завидуют. И дома и здесь.

— Так-то оно так...— проговорил Тимофей.— Без денег, конечно, нельзя. Но и на них лишь надежду иметь тоже опасно. Тебе тем более...

Тимофей глядел на мальчика, в красивое лицо его, видел огонек задора в глазах, и просыпалась неприязнь, но он пересилил себя.

— Гутаришь, как старичок какой,— посмеялся Тимофей мягко.

На закидушке звякнул колокольчик. Тимофей подсек и почувал тяжесть большой рыбы.

— Дай я...— срывающимся шепотом попросил Алик.

Тимофей передал ему удилище и, чуя, как натянулась леска, сказал:

— Попусти. А то оторвешь. Попускай, попускай, катушка большая. Добрый лещина... Попускай и подбирай слабину, играй с ним.

Сначала рыба сильно уходила вглубь и вглубь, потом встала. Алик подтягивал ее, наматывал катушку. Потом был снова рывок. До звона натягивалась леска.

— Попускай, попускай...— шептал Тимофей.

Он понял, что на крючке не лещ, но молчал об этом. И напрягся, словно сам держал удилище.

Снова рыба рванула, пошла вглубь, а потом сникла и почти до берега шла послушно. Леска вдруг ослабла.

— Подбирай! — крикнул Тимофей, испугавшись, что чиркнет умная рыба прослабшую леску плавником и перережет.

Алик успел убрать слабину. Рыба — тяжелый сазан — плеснулась рядом с берегом и снова потянула вглубь, бросалась из стороны в сторону. Леска брунела, разрезая воду.

Лишь на пятый раз, ослабев, сазан лег плашмя на воду. Алик выволок его на сушу и упал рядом с ним, выпуская из рук удилище. Сазан звучно почмокивал круглым усатым ртом.

Темнело. Земная зелень, небесная, водная синь выцветали, обращаясь в дымчатый сумрак, который густел вдали, и, пробивая его, вспыхнул на реке белый огонек бакена. Вспыхнул, погас, снова вспыхнул и ровно замигал, отсчитывая время вечернее, а потом ночное до завтрашнего утра.

Лето наступало зеленое. Перепадали дожди. День за днем солнце светило не скупясь. Трава поднималась на глазах. Даже далекие пески за Доном, обычно голые, желтые, нынче гляделись весело в зеленом пуху

Выбирая время, Тимофей с Аликом рыбачили вечерами да в полдень, когда овцы отдыхали на стойле от дневной жары.

Как-то Алик предложил Тимофею:

— Возьми мой приемник. Скучно целый день одному. Будешь его слушать.

Тимофей в ответ рассмеялся:

— Галды не хватало? Чего там слушать? Песни? Я лучше сам песняка сыграю. Пчелочка золотая, что же ты жужжишь...— пропел он шутливо.— А новости ихние, они мне и на понюх не нужны. У нас своих новостей хватает. Вот волков надо опасаться. Добрые зверюжки нас не обходят: то зайца спугнешь, то лисица, косули, такие приглядные. Некогда скучать, ты уж сам слухай.

Когда-то сыновья, повзрослев, на первые заработки купили и подарили отцу приемник, им тоже казалось, что день-деньской в одиночестве в степи скучно. Подарку Тимофей был рад, но на пастыбе приемник не пригодился. Однажды положил в сумку, включил, малость послушал и выключил. И уж больше не брал. На попасе в степи и впрямь своих новостей хватало, успевай слушать и глядеть. И прежде и теперь, в месте новом, высоком, откуда далеко было видать.

Обычно отару пускал Тимофей в полгоры, а сам поднимался выше и стоял, грудью опершись на высокий посох. Глядел на овечек и вокруг. Здесь, в задонье, пасты было не в пример легче: скотина как на ладони. Там, далеко внизу, в годы прежние было тяжелее. На лугах в жару нудятся коровы, овод им досаждаёт, и они, задержав хвост, мчатся куда-то, ища спасенья. Здесь, наверху, дул ветер, отгоняя летучую тварь.

По лесистому займищу тоже пасты непросто. Коровы разбредаются, всех не увидишь. Отобьется далеко в сторону, потом ищи. Корову Подольцевых Рябуху Тимофей помнил и теперь. Отчаянная была коровенка, бедовая. Так и лезла куда не следует. Другую, такую натурную, давно бы перевели. Но время стояло голодное. У Подольцевых четверо ребятешек росли без отца. Держались на Рябухе своей. Доилась она хорошо, и долго, считай, до нового телка, из нее молоко тянули. Пахали на ней. Зимой ездили за Дон, набирая дров. За плагу отдавали людям внаем.

Однажды в займище, что виднелось отсюда сочным пятном, подольцевская Рябуха пропала. Тимофей сбился с ног, изодрался среди кустов и наконец к вечеру наткнулся. Рябуха тонула в грязи прибрежной бочажины.

Он сам чуть не потонул вместе с нею. Сначала ломал хворост, ветки, мостя грязь. Тащил за рога, звал, упрашивал: «Рябуня, Рябуня... Еще чуток...»

Выбрались они ночью. Их уже искали. Рябуха ушла домой сама. Тимошку тянули мать да сестра. А утром нужно было снова идти чуть свет.

Туда, в зеленые лога, уходила с Тимофеем невеста, а потом молодая жена. Неделю — на работе, а выходной — с Тимофеем. Тоже сумку через плечо, костылик в руки — и пошла. Годы молодые, а Тимофей рано уходил и возвращался ночью усталый. Добрые люди женихались в кино да на танцах. Пастухова невеста шла со стадом. Над ней смеялись, родители были недовольны. Тимофей жалел свою нареченную. Роста она была невеликого, в девичьей худобе и работала много. «Отдохни,— говорил он ей,— отдохни в выходной». Но она не слушала и уходила.

И весь день пели для них голосистые жаворонки, взлетая из-под ног в поднебесье и падая вниз. Скрытная кукушка тихим ныряющим летом подбиралась близко и долго считала их счастливые года. Важный угод, хвалясь, распускал нарядный гребень. Все птицы гостили у них. И целый день светила им серебряная Пастушья звезда, никому больше не видимая. Она стояла над душными логами и над песчаными пустошами, где в жаркий полдень томит и пьянит голову чабрецовый дух, и над пологими степными курганами, где гуляет и студит голову горький полынный ветер.

В обычную пору вышел Тимофей с отарою на вершину холма, лежащего перед хутором. Еще было время не торопясь пройти пологим склоном, спуститься вниз и покормить овец в хуторской низине, а уж потом к ночлегу.

С холма открывалась просторная долина, стекающая к Дону. По увалам, по изволокам, в теклинах да падинах курчавились боярка, шиповник да барбарис, редкие дубки, дикие яблони, черноклен да вязы. Земля, еще не спаленная солнцем, зеленела молочайником, свистухой, мягко серебрилась полынком, кое-где струились по ветру редкие ковыли.

Селенье лежало внизу. Череда домов, летние кухни, сараи, сады. Издали, сверху, хутор гляделся словно живой — все зеленело в нем, шиферные крыши светили под солнцем. Над домом деда кружили голуби, словно кто-то гонял их, забавляясь.

И снова в который раз подумалось Тимофею о том, что неплохо бы поговорить в совхозе да взять себе отару или стадо молодняка. Пусть помогут, а жить здесь можно, особенно людям пожилым. Пастушью скотину, пчелами заниматься, картошку сажать. Так и текла бы жизнь артелью. Бабку бы какую найти, хозяйство править. Не скучали бы...

По дороге к хутору от грейдера вниз бежала машина, крытый брезентом «уазик». На таком ездили директор совхоза да районное начальство.

Машина, прокатив по хутору, остановилась у чабанского дома. Люди из нее не вышли. Навстречу со двора уже спешил хозяин. Потом он вернулся в дом и вышел с ружьем.

Директор совхоза всегда чудил. Он не просто брал птицу или еще чего, а стрелял из ружья, не покидая машины. Подавали ему ружье, подкатывали машину к индюкам ли, гусям ли, курам, и директор стрелял их, словно дичину. Зинаида брала подбитую птицу и успевала ощипать, пока директор с хозяином отмечали стаканом-другим успешную охоту.

Так было и нынче: ружье — в кабину, далекие выстрелы: пу! пу! Слышно было, как клекочет испуганная птица.

Тимофей неторопливо вел отару, солнце склонялось к холмам. В хуторе у кошар снова стреляли. Видно, затевалась гульба.

Алик на мотоцикле приехал за коровами да козами. С горы напрямую к стойлу гнал свою отару Чифир. Его порою звали веселить приезжих. Он читал стихи про дочурок, злодейку жену, зарабатывая стакан-другой. Потому и спешил.

Тимофей повел отару не улицей, а стороной, загнал ее. Во дворе у хозяина шумели. Чифир уже был там. Издали было слышно, как он голосит:

Дорогие мои дочурки!
Я пишу вам эти стихи.
У своей горячей печурки
Вы простите мои грехи!

Хохот покрывал его голос:
— Простим! Вали еще!

Жену-злодейку ненавижу
И, будет случай, удавлю!

А вас, дочурки, не обижу,
Я вас без памяти люблю!

И снова хохот.

Алик прогнал сначала коз, а потом коров. Тимофей помог загонять. Кормили свиней, засыпая им ведрами дробленку. Сразу и птице зерна подсыпали. У вольеров еще летали перо да пух, кровью была обрызгана земля. Птица испуганно жалась по углам.

Пора было ужинать, но к гульбе, к чужим пьяным людям идти не хотелось. Тимофей попросил Алика:

— Принеси чего-нибудь. Тут поедим.

— Водки надо? — спросил Алик.

— Ну ее... — отказался Тимофей.

Алик принес кастрюлю лапши, жареную курицу. Тимофей уселся на ступенях вагончика, мальчик внизу на колоде.

Звякая ведрами, пробежала к коровам Зинаида.

— Вечеряете? — спросила она. — Бог в помощь.

— Управляемся, — ответил Тимофей.

Следом за нею появился один из пьяных гостей. Он шел нетвердо и звал:

— Зина! Иду к тебе... Буду ощипывать, как курицу. Зи-на! Ты где? Где Зина? — остановился гость перед Тимофеем и Аликом.

— Подоила. В дом ушла, — сказал Тимофей. — Там ищите.

Гость поверил, развернулся и пошел к дому, возглашая:

— Буду ощипывать! Готовься, Зина!

— Теперь поздно уедут, — сказал Алик. — Может, на Дон сходим?

— Пойдем, — ответил Тимофей.

Появился пьяный вскудлаченный Чифир.

— Где Зинка? — спросил он.

— Доит, — ответил Тимофей. — Чего она тебе? Чалься к нам.

Чифир пошagal к коровьему загону, что-то бормоча.

— Иди отсюда! — крикнула на него Зинаида. — Твоих только поганых рук не хватало! Иди, говорю!

— Чифир! — громко позвал Тимофей. — Отстань от нее.

Зинаида вышла с молоком, следом плелся Чифир.

— Ты кто мне? Свекор?! В четыре глаза за мной глядишь, — ругалась Зинаида. — Сопел бы вприжмурку, а то считает чужие грехи. Наплетете: на вербе — груши, а люди потом молву волочат...

— Зинка, я серьезно... — убеждал Чифир. — Хочешь, я стих сочиню?

— Иди спи. Напился на чужбинку, вались. Без тебя тут не знаешь куда хорониться.

— Зинаида! Зина! — спешил от дома хозяин. — Тебя ждем.

Он оттолкнул Чифира и повел молодую женщину ко двору, что-то ей втолковывая.

Тимофей с Аликом пошли к реке. Звуки гульбы стихли, когда спустились к Дону.

Прошел буксирный теплоход. Три большие волны с шумом набежали на берег. Потом долго поплескивали мелкие.

Вода успокоилась, и на вечернюю реку снова легло отражение белой осыпи холма и зеленой его вершины с низкими деревьями, кустами. Рыба ловилась плохо.

— Мать письма пишет? — спросил Тимофей.

— Пишет, — ответил Алик.

— Скучаешь по ней?

Алик вздохнул, сказал:

— Она, может, приедет. Дедушке получше будет, поглядит за хозяйством, а она приедет.

— Дай-то бог,— искренне пожелал Тимофей.— Я вот уж сам дед, а об матери помню. Жалела меня. И твоя об тебе горюет, думает: как он там, мой сынок...

Рыба клевала плохо. Может, погода портилась. Поймали пяток окуньков — и словно отрезало. Недвижно лежали поплавки на воде.

— Нынче-то коровы не в зеленях паслись? Не на хлебе? — спросил Тимофей.

— Нет,— ответил Алик.

— Ты уж не гоняй в хлеба. Хлеб травить — это великий грех. Раньше, бывало, корочку сосешь и сосешь, сладкая. Сеструшка моя из-за куска хлеба в петлю лезла, еле вытянули, отходили.

— Как в петлю? — не понял Алик.

— Ну как... По карточкам тогда хлеб давали, по норме. Сто, сто пятьдесят грамм на душу. Сеструшка за хлебом пошла, карточки все при ней. Она их утеряла. Ну и все. Пришла молчком и в сарай, в петлю. Спасибо меньший братишка увидел да зашумел. Отходили. А карточки добрые люди принесли,— мягко сказал Тимофей, и даже теперь, через столько лет, слезы подступили к глазам.— Нашли и принесли...

Помолчали.

— А нам с тобой либо сомами заняться? — вслух подумал Тимофей.

— Сумеет? — спросил Алик.

— Как будем ловить. Там, пониже, поворот реки и должно быть сомовье бучило. Яма такая, сомы там в прохладе любят... Лежат, развалясь,— показал он потягиваясь.

Алик оставил удочку, придвинулся.

— А на что ловить?

— Это дело серьезное. Надо шнур, крючки большие, а насадка — ракушка, воробей жареный. Доброе дело сом. Забалычим и станем с картошкой есть да водичку попивать. Здоровучие бывают сомы. Я пацаном чуток не до смерти напугался.

Над потемневшей рекой возле берега шумно плеснуло.

— Вполне возможно, и он... — понизив голос, сказал Тимофей.— Вышел на охоту.

Смотали удочки, пошли к дому.

— Перетяжку я проверял с лодки. Ночью проверял. Перетяжку поставили, сами на берегу костер жгем. И проверяем. Ребята послули, я один поплыл. Светло, луна большая. Поднимаю перемет, гляжу, рыбу сымаю. Потом тяжело пошло, неподъемно. Чую — прямо карша. Тяну ее, тяну А по воде светло, луна. И вдруг прямо под носом вылезит из воды — лоб, глаза маленькие и усы, блестит все. Господи — водяной! Руки мои опустились, и я в лодку упал. Упал — еле дыхаю. Отдыхался, пришло на ум: да это же сом. Понял и боюсь. Но все же вытянул. Еле перевалил в лодку. Сомы, они ленивые, не бьются.

На взгорье остановились. Стемнело. На том берегу, где-то в старице, в озерке, крякал селезень. Позовет и смолкнет. Плескалась раз за разом у берега большая рыба. Потемнела вода. В займище на той стороне густела мгла. А небо лежало светлое, малое облачко, словно птичье перо, светило высоко над землей.

Тимофей у своего вагончика поставил удочки, сел покурить. В хозяйском дворе шумели. Обойдя кошары, базы, встал возле Тимофея Алик. Он глядел в сторону дома, слушал голоса.

— Не уехали... — посетовал он.— Орут.

— Ну и спи у меня,— сказал Тимофей.— Койка есть, матрас есть, одеяло. Спокойненько переночуем.

— Зина! — закричал вдруг Чифир, выбегая из вагончика. Он споткнулся на пороге и рухнул на землю.— Зина!! — звал он, поднимаясь.— Зина!

Лицо его было в крови. Тимофей схватил Чифира.

— Зачем она тебе?! Иди ложись!

Но Чифир рвался из рук.

— Она жена моя! Законная! Перед богом!

Что-то смешалось в его бедной голове, что-то запуталось.

— Зина! — кричал он. — Зина!

Подошел от двора хозяин, спросил:

— Чего орешь? Напился — спи.

— Где Зина?!

Он рванулся и побежал.

— Пускай, — сказал хозяин. — Где-нибудь упадет, проспится!

— Зина! Зина!! — слышался уже издали, из хутора, громкий зов. — Ты где?!

— Я у Тимофея посплю, — сказал Алик отцу.

— Ну и спи. А то там... — Он повернулся и пошел ко двору, к дому.

— Ложись... — сказал Тимофей, трогая мальчика за плечо. — Ложись.

Он устроил Алика, сам вышел на порог. Шумели во дворе. А где-то на хуторе вдали кричал Чифир:

— Зина! Зина!

Тимофей вернулся к мальчику. Тот еще не спал.

— Мама меня укладывала, — вспомнил Алик, — песню пела...

И он запел вполголоса на своем языке, потом смолк, прошептал:

— Я ночью летаю к ней. Как засну, так лечу и лечу. Она меня ждет, и сестренки ждут. Каждую ночь...

И он тоже снова запел сам себе на своем языке. Тимофей помог ему, тоже негромко:

Ты, овсенка-дуда,
Иде ты была?..
Иде я была,
Коней стерегла...

Когда это было?.. Давным-давно, словно не в этой жизни, а в полузабытой сказке пела мама над ним нехитрую песню. Потом он, правда редко, над своими ребятами... Давным-давно... А помнилось все, до единого слова.

А иде эти кони?
За воротами стоят.
Ты овсенка-дуда,
А иде те ворота?
Волна унесла, волна унесла.
Овсенка-дуда, а иде та волна?
Быки выпили, быки выпили...

Мальчик ткнулся лицом в Тимофееву руку и замер. У Тимофея перехватило горло, но он пересилил себя и шептал, склоняясь все ниже и ниже:

А иде те быки?
За бугры ушли, за далекие.
А иде те бугры?
А их ветер стоптал.
А ветер иде?
Уморился и спит.
Уморился и спит
И табе велит,
Табе велит...

Мальчик, засыпая, вздрогнул. «Полетел... — подумалось Тимофею. — Ну и нехай... Хоть так...»

Он вышел покурить. «Беда, беда... — повторил он неслышно. — Беда, беда... Вот они, и деньги, и машины, и дома, и все на свете... Беда, беда...»

С порога он увидел зарево. Над хутором вставало пламя. Забыв обо всем, Тимофей бросился бежать.

Горело одно подворье, а рядом другое, занималось третье. Ярко и неслышно полыхали солома и чакан крыш. Трещал пулеметной очередью шифер, разлетаясь огненными брызгами. И где-то там, у огня, кричал Чифир:

— Зина! Зина! Все равно найду!!

— Чифир! Чифир! — еще издали стал звать Тимофей. — Чифир! Это я!

Он уже подбегал к полыхающему дому, когда раздался крик:

— Найду!!

Темная человечья фигура бросилась в горящий дом. И раздался вопль. Он был протяжен и страшен. Тимофей встал. А горящий дом рухнул, обрывая крик. Взметнулись тучи искр, улетаая во тьму. Рядом полыхали кухня, сарай, соседние дома.

Вставало зарево, освещая склоны холмов, изрезанные падинами да балками. В неверном свете они казались бездонными. Хутор горел.

На другой день Тимофей хоронил Чифира.

Хозяин с утра сказал:

— Не было никакого Чифира. Ты понял? Бродяги ночевали в хуторе, подождли. Чифира никакого не было. Гони отару.

— Чифира не было, баранов не было... Чего ни коснись — ничего не было... — горько усмехнулся Тимофей.

— Тогда уходи, — перебил хозяин Тимофея. — Плачу деньги, и уходи. Чифира никакого не знаю, тебя... тоже никакого не знаю. К вечеру чтобы не было...

Обгоревшее тело Чифира Тимофей отыскал в погребной яме на пепелище, завернул его в одеяло и унес.

Хуторское кладбище лежало на взгорье. На нем давно не хоронили. Подгнивали и падали кресты. Могильные бугорки заросли полынью и уходили в землю. Тимофей выкопал могилу, схоронил Чифира, вернулся в вагончик.

Уложив вещевой мешок, он решил идти в поселок не дорогой и грейдером, а над рекою, по Дону. Он не хотел встреч с людьми, попутных машин, быстрой дороги. Идти не торопясь, шагать и шагать над водой. Не успеет до вечера, тоже не беда, заночует, костерик разожжет.

Напоследок Тимофей заглянул в жилище Чифира, думая найти там какой-нибудь след прошлой жизни. Может быть, адрес, чтобы жене сообщить, детям... Но в комнате было пусто и чисто, подсыхал свежесметанный пол.

Закинув за плечи рюкзак, Тимофей зашагал мимо кошар и базов, не оглядываясь на черное пепелище. Над Доном, над кручами холмов, в затишке было жарко. Тимофей прошел недолго и почувал усталость. Позади лежала бессонная ночь, просило тело покоя. В устье балки, чуть поднявшись на взгорок, в тени Тимофей лег отдохнуть. И заснул.

Проснулся он под вечер, испуганно вскинувшись. Показалось ему, что пасет он скотину и заснул. Он вскинулся, сел и сразу пришел в память, успокаиваясь. Чуть слышно шелестела мягкая, молодая листва деревьев, куст шиповника светил розовыми цветами.

Рядом по земле тянулася муравьиная тропа: светлая нить набитой дорожки, а по ней — живая черная прядь муравьев. Муравьи спешили друг за дружкой. Наверх — порожнем, а вниз — с ношею травяных семян. Их беззвучное движение завораживало. Неслышно, безостановочно они шли и шли. Текла и текла нескончаемо живая нить. Это была жизнь чужая, непонятная. Она теплилась рядом, бок о бок, но словно в мире ином, не видя Тимофея и не зная о нем. Таинственная, странная жизнь: заботы, неустанный бег даже на ис-

ходе дня. И не ведают, что склонилось над ними и следит то ли добрая сила, а может — смертная тень.

Вдруг повеяло холодком. И почудилось, что кто-то иной, великий вот так же склонился над людской муравьиной кучею, наблюдая ее. Сам Тимофей, хозяин, бедный Чифир, не больно счастливая Зинаида, сиротливый мальчонка, а рядом еще и еще... Все в заботах, в суете муравьиной, голову некогда поднять: дела и дела. А кто-то склонился, глядит... Вот так же.

Тимофею вдруг стало страшно. Он явственно чуял этот взгляд. Хотелось вскинуть голову и увидеть... Но медленно распрямлялась спина.

Вечерело. Солнце уходило за гору. Смолкли птицы. Тимофей развел на берегу костерик, вскипятил в котелке воду, заварив доброй жменей сухих ягод шиповника и розовыми лепестками цвета. В терпком, душистом питии не хватало привычной горечи.

Можно было уходить. По вечерней прохладе не спеша идти и идти. Но Тимофей решил остаться и провести на берегу ночь, потому что более он сюда не вернется, лишь будет вспоминать кучерявую зелень займища на том берегу, тихую вечернюю воду, удушливо-пряный запах цветущего лоха, обрывистый берег, изъеденный сотами птичьих нор. Там уже успокаивались верткие ласточки-береговушки, золотистые щурки да голубые сизоворонки.

И ясно вдруг вспомнилось, что возле хутора, где-то здесь, проходила через Дон каменная гряда, мелководье почти от берега к берегу. Там хорошо ловилась стерлядь в давние времена, когда еще не было плотины у Цимли.

Вспомнилось лето ли, осень — теплая пора. Он мальчонкою у деда в гостях. Так ясно увиделось: Дон неширокий, плетенная из чакана кошелка у деда в руках — стерляжий перемет проверяют. Течение быстрое, на гряде трудно стоять. И выплывает из светлой воды стерлядка, чудо-юдо остроносое, в золотистой кольчуге, с костяными бляшками.

Это было здесь, от хутора недалеко, вниз по течению.

Сверху, под горой, послышался голос мотора. Невдалеке от балки и Тимофеева становья, где вода подступала к обрыву, мотор смолк. Шелестящие, похрустывающие по мелкому камню и ракушке шаги приближались.

Это был мальчик Алик, хозяйский сын. Он подошел к костру, сел у огня. И Тимофей теперь уже вслух продолжал свои мысли:

— Раньше в голову не вошло, лишь ныне вспомнулось. Наш хутор звался Каменнобродским, потому что поперек Дона каменная коса. К осени на быках переезжали. И на этой косе всегда стерлядка держалась. Ты ее на лицо видал?

— Нет, — ответил мальчик, — лишь на картинке.

— Картинка — ерунда. Стерлядка на личность до чего приглядная... Прогонистая, носатенькая и без солнца горит, светит. Ловили ее на переметы. Так и назывался: стерляжий перемет. Шнур, на нем поводки, на конце крючок самодельный, без бородака, острючий, прям жало. А сверх крючка пробка. На быстрой воде, на перекате стерлядка играет с пробкой — и на крючок.

Словно и не было позади вчерашней ночи, беды, нынешнего расставания. Словно обычным вечером у костерка собрались они.

— Время тогда голодное. В колхозе вовсе не платили. По весне стерлядкой спасались. Сетей нет, и ниток нет их сплести, а переметы — полегче. Бабаля потом вспоминала: «Стерлядь и стерлядь.. Утром несет дед, а я его корю: когда уж мы до добрых харчей доживем, обрыда твоя стерлядка». А теперь бы поглядеть на нее, — по смеялся Тимофей, — поискать, может, остался перекат?

— Ты же уходишь... — сказал Алик, поднимая на Тимофея глаза.

— Да, да...— вспомнил Тимофей.— Сам понимаешь, нельзя мне оставаться,— проговорил он виновато.

Мальчик вздохнул, стал ворошить палкою угли костра. Лицо его в неверных отблесках угасающего пламени было печальным.

— Ты не горюй! — воскликнул Тимофей.— Не горюй! Я далеко не уйду, я тут, наблизи, на той стороне, в Рюмине, наймусь или в Камышах, а может, в поселке. Буду пасть. А ты набегай. У тебя лощадка железная, незаморенная. Ты набегай, мы по озерам побродим.

— Правда? — спросил Алик.— Ты не уедешь в город?

— Не к спеху туда,— сказал Тимофей.— Все озера с тобой пройдем: Нижнее, Среднее, Бугаково, Некрасово, Линево, Карасево. Назмище. Там наша воля. Поглядишь, какие места. Вроде и рядом — а все другое. Птица чудная есть: кулик-сорока. Нос у нее долгий и краснющий, как морква. А телом — сорока. Цапги — чапуры, по-нашему. Журавли — на Назмище. Ты журавлей видал?

— Нет.

— Повидаешь...

В затухающий костер мальчик бросил сухого плавника, и вспыхнуло пламя, раздвигая зыбкие сумерки летней погожей ночи

— Уйдем на Лучку, на Старицу... Там теплые воды. Сплетем пару вентерей. Нам много не надо. Лишь на погляд да ушицу сварить. Линей будем брать. Нашего линия из воды вынешь — он золотой, светит. И враз пеплом подернется, потемнеет. Кто не видал, не поверит... Уйдем на озера, там камыши, пески...

Мальчик прилег у костра: в языках пламени, в жарких углях выделись ему далекие золотые озера в окружении камышей и песков. Над огнем, наклонясь, сидел Тимофей, рассказывал, и послушные ему, из зыбкой глуби озер поднимались сказочные золотые рыбы и вновь уходили. Осторожные ночные птицы вздымались и реяли рядом, овевая лицо, и звали за собой.

Это был сон, золотой сон, когда лишь забудешься, вскинешь руки во сне и поднимает тебя над землей: сначала кружишь осторожно и низко, еще не веря, потом, осмелев, вздымаешься выше и выше, испытывая дух. И наконец, поверив, смело устремляешься в полет. Все выше и выше. Далеко внизу — золотые озера, золотой огонек костра, над ним человек склоненный, что-то бормочет, усыпляя и сам затихая. Уходит. Послушное легкое тело стремительно мчит, набирая высоту и скорость. Вперед и вперед... Где-то там, далеко, у синеющих гор, ждет его мама.

ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ

★

СВЕРСТНИКУ

С каждой новой могилой
Не смиренность, а бунт.
Неужели, мой милый,
И тебя погребут?
Четко так молоточки
Бьют по шляпкам гвоздей.
Жизни точные точки
И твоей и моей.
Мы ведь сверстники, братство
И седин и годин.
Нам пора собираться:
Год рожденья один.
Помнишь детское детство?
Школа. Вместе домой.
Помнишь город в наследство —
Мой и твой, твой и мой?
Мерли кони и люди,
Глад и мор, мор и глад.
От кронштадтских орудий
В окнах стекла дрожат.
Тем и кончилось детство.
Ну а юность — тюрьмой.
Изуверством и зверством
Зрелость — тридцать седьмой.
Необъятный, беззвучный,
Нескончаемый год.
Он всю жизнь, безотлучный,
В нашей жизни живет.
Наши раны омыла
Свежей кровью война.
Грохотала и была,
Хохотала она.

...О чистые слезы разлуки
На грязном вагонном стекле.

О добрые, мертвые руки
На зимней промерзшей земле...

«Замороженный ад» —
Город-морг, Ленинград.

Помнишь смерть вурдалака
И рыдания вослед?
Ты, конечно, не плакал.
Ну и я — тоже нет.
Мы ведь сверстники, братья.
Я да ты, ты да я.
Поколенью объятья
Открывает земля.
Поколенью повинных —
Поголовно и сплошь.
Поколенью невинных —
Ложь и кровь, кровь и ложь.
Поколенью забытых
(Опечатанный след).
Кто там кличет забытых?
Нет и не было! Нет!

Четко бьют молоточки.
Указанья четки:
«У кого там цветочки?
Эй, давайте венки!»
В строй вступает могила.
Все приемлет земля.
Непонятно, мой милый,
Это ты или я.

Март — апрель 1984
Переделкино — Москва.

ИГОРЬ ТАРАСЕВИЧ

★

ЗЕМЛЯНЫЕ ЯБЛОКИ

Рассказ

...А как всякое семя чем совершенней и зрелее само собою, тем и лучший плод приносит, то кажется и о картофеле то же заключить можно...

А. Болотов¹

Водяная колонка чернела в темноте, как надгробие. Славик постоял еще некоторое время рядом, прислушиваясь. Тихая, чистая ночь лежала вокруг. Из далекого — метрах в трехстах — вагона уже не долетало ни звука, лишь окна тепло светили в темноте да с другой стороны, со станции, глухо докатывались шумы разной путевой жизни — мерного, вкрадчивого движения составов на формировке, перестука колес, резкого скрежета передвигающихся стрелок. Еще очень сильно колотилось в ушах сердце, его торопящиеся удары заглушали все — и мысли тоже. Решившись, лишь бы скорей, Славик рывком сбросил свитер, рубашку, подумал, не снять ли еще и штаны, но штанов снимать не стал, а только сдернул майку, сложил, приплясывая от холода, всю одежду на бетонное основание колонки и, нагнувшись под краном, начал не глядя нашаривать над собой ручку. Ручка долго не поддавалась, но вдруг ледяная струя в кулак толщиной разом дала Славiku в тощий хребет. Славик со сдавленным криком рывком распрямился и, больно ударившись, ссадил спину об оголовки крана. Удивляясь, как это он сдерживается, чтобы не заорать, Славик простоял под струей намеченные пять секунд, чуть поворачиваясь и расплескивая воду свободной рукой по всему телу. Одежду у дурака сразу промочило насквозь. Весь мокрый, он отскочил, как ошпаренный кот, от колонки. Вода звонко продолжала литься. Через мгновение ручка сама, словно у робота, с медленным щелчком встала на место, и тут же все стихло. Тело схватило панцирем. Тихонько подвывая, Славик натянул одежду. Стало еще хуже. Мокрые майка и свитер сжали сведенное тело в тиски, холод проник до мозгов. Славик хотел было побегать, чтобы согреться, вовремя вспомнил, что этим он нарушит нормальное развитие ожидаемого заболевания, и, сжимая кулаки, чтобы не замочить штанов изнутри тоже, размеренным шагом двинулся к вагону. Кровь в жилах останавливалась, ноги были чугунные, в ушах звенело. Громада автобуса, что возил их на поле, а теперь, расслабясь, ночевал, заслонила звезды. Надо было посмотреть, нет ли кого в автобусе — могла заниматься парочка, и остатки сознания говорили, что мешать не стоит. Славик залез, железная коробка накрепко накренилась. Коляска накренилась. Болотов тяжело начал вылезать, откинутая подножка уперлась в землю.

¹ Болотов А. Т. (1738—1833) — русский просветитель и мемуарист, основоположник отечественной агрономической науки.

«Суглинок,— мельком подумал Болотов, ставя ботфорт в грязь,— хорошо».

Господину капитану не исполнилось и двадцати пяти, был он легок, подвижен, но дорога утомила — устал. Отстранив дрожащего от вечерней сырости лакея, он пошел по дорожке к дому, чернеющему сквозь ветки, старался держаться прямо.

Ехали долго. Кучер поспешал к жене, пробормотал, не прикажут ли, дескать, их благородие своротить с большой Тульской дороги еще опричь Ярославцева, где обыкновенно, едучи из Москвы, поворачивали. Подъехали от Хмырова, а не от Яблонова, кучер не обманул — дорога оказалась короче, полевая, лесная, наезженная. Одно — горела ось у кареты, запах жженого сопровождал всю дорогу, останавливались, чинили. Теперь же в воздухе висел благоуханный ночной аромат позднего лета.

Болотов остановился в тишине, перекрестился. Не было видно, как радостно дрожит его белеющее в темноте лицо.

— Господи, — сказал Болотов, — благодарю тебя, господи. Привел домой.

Сзади раздались стук и говор. В ворота въезжали отставшие повозки, люди прыгивали наземь. По двору задвигались факелы. За темными стеклами загорелась в ответ свеча.

— Что, что? — быстро спрашивал Болотов через несколько минут, выдергивая руки у припадающей к ним старухи. — Что? В поле ночуют? Хорошо! Артамон-садовник? Что? Когда?.. Третьего дни? Упокой его душу...

Опять перекрестился. Желвак дрогнул на молодой щеке. Громко ступая, Болотов прошел в комнаты. За ним, торопясь, зажигали новые и новые свечи.

— Огня, — сказал он не оборачиваясь, — еще огня!

В красном углу встал на колени пред святынями, что самые прадеды и предки почитали особо. Усталость навалилась на плечи. Медленно встал, в пояс поклонился месту, где стояла кровать умирающей матери.

— Господня воля и со всеми нами!.. Алена, постарайся — мне что поужинать... Скажи — людей кормить.

Старуха повернулась:

— Тотчас, батюшка. — Побежала, семена, прочь.

Он подвигал плечами, потянул носом — гниль, пыль. Заходил по комнатам, открывая окна. Выбрал только две, пригодные к жилью. В третью, переднюю, велел переносить книги из повозки, остальное — к завтраму. Дотронулся рукой до первого сундука с книгами — ласкал.

— Сюда!.. И сюда. Эка, дурень! Во, во, во... Сюда.

Люди пытели под тяжестью, стучали о половицы. Алена принесла, сторонясь от сундуков, ужинать: студню холодного, пирог с рыбой, оловянный штоф. Болотов так же потянул носом над штофом.

— Яблочная, барин, — сказала Алена, кланяясь.

— Убери сие. Воды подай.

Поодаль валялись обломки стульев, ни одного целого. Повел взглядом, взял с тарелки кусок пирога, начал жевать.

— Добра вдосталь прибавил господь. — Старуха оглядывалась на сундуки. — Военное дело известное.

Он усмехнулся.

— Во, во, во... Подите все.

Доносились со двора голоса — люди распрягали. Слышно было, как повели лошадей. Взошел лакей, опустился на колени, хотел снять сапоги, Болотов опять, как и по приезде, отстранил его.

— Слушай, — сказал, жуя. — Что я хочу чрез себя славы добавить святой Руси посредством земляных наук, тебя нарекаю отныне не Абрамом, а Святославом.

Лакей испуганно смотрел снизу вверх. Раздался шорох, и из шороха вышла крыса, поводя усами, бесстрашно остановилась в колеблющейся полосе наиболее яркого света. Лакей позавидовал смелости поганого зверя.

— Имя бог дал, сударь,— робко пробормотал с полу.

Болотов перекрестился.

— Богу не противлю... Кыш! Завтра благодарственный молебен отслужим господу, святой водой окропим наше обиталище.. Кыш! Господи, прости Кыш, поганая!

Он потянулся к снятой перевязи за шпагой, вскочил, опрокинул еду. Несколько свечей пыхнули и погасли. Заколотил шпагой по половицам.

— Напрасно, сударь,— недовольно сказал лакей, взглянув на забрызганный грязью зеленый офицерский сюртук хозяина.— Час поздний, извольте почивать.

«Ночь стирать,— мелькнуло в голове у лакея,— утром гладить». Принял мундир, шпагу взял под мышку, подхватил оба сапога от барина, не дал им стукнуть в пол, дунул на остатние свечи.

— Покойной ночи, сударь. Гутен нахт.

— Шпагу положь,— усмехнулся Болотов,— крыса контрсикурс сделает.

Растирая грудь под рубахой, опять усмехнулся — теперь бедности своей. «На бога ли роптать,— подумал,— другие хуже живут, не в пример мне недостаточней»; усмехнулся, посмотрел из темноты вперед.

Партер рядов на пятнадцать — двадцать был заполнен слушателями; на полированной фанерной трибуне, выкатив живот, стоял человек без пиджака, в зеленом галстуке на красной ковбойке. Билеты на вечер распространялись по учреждениям, но кто возьмет бесплатный, много дураков, что ли? Уж считали — недобор, придут два человека. Но умники нашлись, закупили билеты в кассе. С восьмого по двенадцатый ряд места были платными, и сейчас на них сидели покойно ожидающие библиотекариши и десяток тощих очкастых студентов. Единственный мужчина в зальчике — бородатый молодой человек, свесив голову и выбросив на стороны длинные ноги в джинсах, уже спал. Соседки косились, переговаривались.

— Мы, туляки,— говорил человек на трибуне, надуваясь и еще больше выпячивая живот,— недаром землю топчем. Болотов — наш, тульский.— Он потрогал зачесанную от ушей лысину.— Болотов...

— Болотов,— закричал кто-то от дверей старческим фальцетом,— не Болотов, а Болотов надо произносить!

— А! — Человек на трибуне отмахнулся.— Не мешайте, товарищ!.. Заслуги Болотова на почве земледелия трудно переоценить. Яблочко андреевское, в честь Андрея Тимофеевича названное, на рынке почему, кто знает? То-то... Но яблоки что! Хлеб-то наш насущный! Картошечка рассыпчатая! Наша картошечка, тульская, товарищи! Лучше тульской картошки и в мире нет!

Человек несколько откинулся на трибуне, видя перед собою великое достижение далекого земляка и ощущая собственную, кровную к нему причастность. Откинувшись, он тут же нагнулся вперед и как бы понюхал что-то перед носом. Зачесанная на лысину лакированная прядь отвалилась и, черная, встала торчком, словно воронье крыло.

— Тульская картошечка! — Он даже слюну слотнул.— На подсолнечном масле... С помидорчиками... Да! А помидоры-то! Картошка что! — Он радостно развел руками, словно удивляясь, что есть еще такой важный пункт, как помидоры, и не в силах уже выразить свой восторг словами.— Помидоры!

Несколько мгновений, сам ставши с лица красным, как помидор, он похватал ртом воздух и вдруг начал аплодировать. В зале нехотя похлопали в ладоши тоже — тут и там.

— Да! Но помидоры что!

— Ну вот, уже и помидоры что,— делая сучью морду, громко произнесла интеллигентная дама в первом ряду и негодуя поворачиваясь к соседке,— только ведь сказал: картошка что!

Человек вроде бы даже обрадовался и, снова нагнувшись и упершись животом в трибуну, вперился в говорившую. Воронье крыло медленно, как ставень под ветром, закрылось.

— Да! Уважаемая! Да! К тому и подвожу! Вот ведь, товарищи! — Он характерным жестом оратора протянул вперед раскрытую руку и свел ее в кулак перед собой, словно муху поймал.— Насаждая, значит, наши замечательные тульские сады и выращивая замечательную нашу тульскую картошку, Андрей Тимофеевич Болотов на почве земледелия изобрел садовую тележку!

С открытым ртом и выпученными глазами оратор сунулся вперед и несколько времени молчал, словно потрясенный значением свершенного. Все слушали.

— Болотов...

— Да говорю вам — Болотов! — закричали опять от входа.— Болотов!

У дверей стоял сморщенный старичок в толстовке, похожий на мультипликационного, на глазах превратившегося в человека гриба боровика — без бороды только. Смотрел старый гриб довольно злобно.

— Болотов! — Он даже ногой топнул.— Болотов, я вам говорю!

Выступающий заметнo подумал, что бы на это сказать, но затруднился и пожал плечами.

— В процессе... э... работы...— Он стал говорить медленно и с меньшим энтузиазмом.— Андрей Тимофеевич...— Он нерешительно взглянул на старичка. Тот, приготовясь, ждал.— Андрей Тимофеевич...— повторил оратор...

— Болотов! — крикнул старичок.

— Андрей Тимофеевич усовершенствовал свое изобретение, и мы с вами теперь имеем, товарищи,— туляк снова разгорячился и петушком выгладывал с трибуны,— мы имеем теперь садовую тачку, которая с успехом применяется во всех областях нашей с вами деятельности! Вот замечательное изобретение нашего земляка Андрея Тимофеевича... Болотова! — победно выкрикнул он

Старичок затрясся и пошел к президиуму. Оратор несколько ступевался, но не отступил, а, наоборот, вцепился в трибуну мертвой хваткой. Старичок, кипя, остановился рядом, выстрелил в него взглядом и поворотился к залу.

— Товарищи! Вас обманывают! Надо говорить — Болотов! — жидко закричал старичок.

Зал переговаривался.

— Ну почему? Почему?

— Потому что хозяин был, вот почему! — закричал старичок оратору в лицо.— Хозяин был, вот почему! Понимаете? Хозяин!

— Но, товарищ...

— Я саженцы привез из Ярославля,— с ненавистью продолжал старичок,— понимаете, да? Понимаете? Из Ярославля! Я иду, они говорят: воды давай, воды давай пить! Понимаете?

— Кто говорит?

— Саженцы! — закричал старичок, извиваясь от злобы.— Саженцы! Привитые! Я чувю, понимаете? Когда по саду иду, чувю. Понимаете, нет? А говорите — Болотов!.. Болотов, Болотов!

Туляк подумал и снова обратился к залу:

— Среди нас, товарищи, присутствует потомок нашего великого земляка. Попросим, товарищи! — Он опять энергично захопал.

Все, перехлопывая, начали оборачиваться вокруг себя, отыскивая потомка. Спящий молодой человек в бороде проснулся и нехотя поднялся на ноги.

— Вот скажите: вы Болóтов или Бóлотов?

— Как ваша фамилия?! — бешено закричал старичок.

— Крамер,— сказал молодой человек.— Я по женской линии потомок. От дочери.

Библиотекарши уже смеялись.

Старичок хотел что-то выкрикнуть, но только аккуратно принял сверток с ребенком и, изобразив на лице умиление, чуть покачал его взад-вперед.

— Дочь?

— Дочь Елизавета, ваше сиятельство,— четко подтвердил Болотов, шагнул к старику — в парадном мундире, при шпаге; мундир не надевал, почитай, с приезда, но теща просила: губернатор будет — так в мундире встречать, неотменно уважить. Теще Болотов мирволил. Мундир резал под мышками.

— Хорошо... Дочь... Хорошо.

Старичок неопределенно улыбнулся и, потоптавшись, протянул ребенка, нянька подхватила его, положила обратно в зыбку.

— Благоволите милость оказать,— так же четко сказал Болотов, ощущая тесноту одежды,— откушать чем бог послал.

— Чаю! Кушать — уволь, сыт. Да так и растрясло по твоим дорогам. Чаю выпью. Веди.

«Твои дороги-то, не мои,— подумал Болотов.— Растрясло! В венской-то коляске четырехместной? Ба! Ба! Ба! Губа не дура. Чай китайский — дорогонькое дело. А взвару морковного как? Отведаешь?»

— Пожалуйте сюда, ваше сиятельство!

Губернатора ждали двое суток, притомились, ожидаючи. Решили — нет, приедет вдругорядь; которые гости разъехались, остались одни домашние. Жена стояла рядом без души, не молвила слова, только кланялась.

Губернатор приехал по межевым делам. Надобно было составить сводный рескрипт, а Болотова, словно повивальную бабу по роженицам, с межеваньем таскала уже по всей округе; управлялся он с этим делом ловко, общий тон находил со всеми. Сначала сосед, брат двоюродный Матвей, попросил помочь — у него с дальним помещиком, Раевым, вышла баталия, никак не могли свести между, потом сам Раев, в пьяном виде каявшись за непотребную ругань с болотовской фамилией, упросил настроить план владений, рассудить с соседями — у Болотова была собственное изобретения астрология. Слух пошел: Андрей Тимофеевич ладно меряет, межевщики сударыни ему внемлют. Слух пошел, пошло, поехало, на собственные заботы недоставало часу.

В тот год он снабдил себя первую каретою, купив ее за пятьдесят рублей у Полонского,— купил далеко, двадцать три версты от Дворянинова, но бывал там часто, с Полонским водил дружбу, говорили о сельском деле много и не однажды. Купил карету, велел подладить где что, изнутри обить алым триком — вышло хоть куда. Заодно, присмотрев, купил у друга дворовую девку за пятнадцать рублей — цена немалая,— лакей уж так, так просил бабу — жениться, а подходящей Болотов не находил у себя. В карете ездил, верхом не жаловал кататься — хватало на службе верховой езды. Что ж, трястись приходилось по колдобинам, как иначе? А коляска венская легка, легка! Хороша! Да и бог с нею! «Мы сами,— подумал,— покрепче станем губернаторских мощей, нам возок ладный, прочный нужен». Ступал, глядя в расходящиеся фалды расшитого кафтана старичка.

— А это, извольте попробовать, ваше превосходительство,— тинктура, продляет жизнь человека до пределов ее,— угощал за столом настойкой шалфея с шловником на простом хлебном вине.

— Выдумщик, батюшка Андрей Тимофеевич.— Губернатор опасно тянул из полрюмки коричневую пряную жидкость.— Чертовым яблоком не кормишь старика? Наслышан о межеванье твоём менее, чем о корнях, преданных анафеме справедливо. Так ли, нет?

Болотов молчал, только скулы играли.

— Отвечай, господин капитан. Показывай, имеешь чертово яблоко на столе? Где?

— Извольте, государь мой,— сухо сказал Болотов,— извольте пробу сделать. Вот,— кивнул официанту, тот сунулся с ложкой, гость испуганно закрыл рукой тарелку:

— Стой!

Блюдо с жареным картофелем стояло прямо против губернатора. Старик хотел было, принимая содержимое блюда за грибки, сунуть туда двузубую серебряную вилку.

— Эк ты,— он сокрушенно покачал головой,— чуть не обмишурился на старости лет. Стой, погоди. Пробуй сам допрежь меня!

— Бог с вами, ваше сиятельство! — Жена тихо ахнула — впервые после «добро пожаловать», сказанного в лакейской при встрече, прозвнесла что-то.

Болотов, не глядя на жену, улыбнулся.

— Извольте...— в который раз повторил и вдруг, не пожелав называть титулом,— извольте, князь,— сказал кратко.

Официант положил ему пару ложек.

— Стой!

Губернатор приподнялся как был — с запровленной за ворот салфеткою, указал вилкой:

— Пусть человек пробу сделает...

Официант взглянул на барина.

— Нет! Зови другого! — взволнованно сказал старик.— Этот привычный.

— Святослав! — крикнул Болотов в открытую дверь. Тот вошел, сидел в соседней зале.— Ешь!

Лакей задрожал.

— Ешь!

— Ешь, голубчик,— сказала жена, и тотчас лакей бухнулся перед нею на колени.

— Государыня матушка, заступитесь, не велите чертов корень есть! Велите пороть, есть чертово зелье не велите!

— Вона что! — закричал губернатор.— Вона!

Болотов, забывшись, захохотал:

— Пошел, дурак! Отдам тебя в рекрутский набор, в сей год объявленный. Пошел!

— Эка! Не ест! — Губернатор быстро, как гусак, переваливаясь, обежал вокруг стола.

Официанты расступились, и Болотов встал тоже. Старик бросил на пол салфетку и наклонился над блюдом.

— Как, бишь, зовешь его?

— Картофелью.

— Ась?

— Картофелью, ваше сиятельство.— Болотов обернулся: — Чернил! — Крупно написал на салфетке по-немецки: «Die Kartoffeln».

Губернатор чуть отвел салфетку от сморщенного лица, посмотрел дальнорезкими глазами, потом через лорнет.

— Вона пруссаки тебя научили как! Во-она!

— По-французски, ваше сиятельство, она прозывается ле помм де терр.— Уголки губ у Болотова дрогнули.— Сами извольте видеть, ваше сиятельство, сие означает яблоки земли, а не чертовы яблоки. Земляные,— он усмехнулся,— а не чертовы. Ле помм де нотре терр².

² Яблоки нашей земли (франц.).

— Хм... Ле помм де терр,— старичок развел золотыми обшлагами,— же нэ с па. Ва пур он ди, мон пер³. Французы и лягушек варят. Наше дело российское.

— О благе отечества радею, одна мысль.— Болотов сел.— Сколько могу, насаждаю просвещение. Извольте,— снова сказал,— извольте попробовать, ваше сиятельство.

И жена сказала:

— Вкусно ведь, ваше сиятельство.

— Хэ-хэ-с.— Губернатор обернулся к ней, поклонился.— Прекрасному полу завсегда о вкусном ведомее бывает...

Жена незнамо с чего покраснела. Старик расплылся, довольный. Был он стариком любопытным. Любопытство превозмогло страх.

— Сам-то ел? — ворчливо, для порядка, спросил, усаживаясь.

— Третий год потребляем всем семейством, ваше сиятельство.

— Nun, las ich Dein Buch «Anweisung dem Ver waltens»,— вдруг заговорил губернатор на отличном немецком, видимо, полагая, что о делах благоустройства следует говорить на этом языке, —ich las es, gut, ja gut. Doch, mein Lieber, wi lest Die aber, dass ein Adeliugerim Boden, zu graben beginut gleich dem gemeinen Pobel? Sag ich Dir, tatsacheian ist es nicht, Sag ich Dir, tatsachlich nicht.

— Selbst graben sole mannicht, Purst.

— Lanbst Du von alleine die Aufkearung in Russland einburgen die Aufkearung in Russ lang einburgen Konnen? Ei ne lange Deschichte ist es, mein Zi eber, sehr lauge⁴.

— Трудов не боюсь, ваше сиятельство,— твердо сказал Болотов по-русски,— всю свободную землю, и старые дачи, и межеванье скончаем приобретенные, все на благо и с помощью божьей засажу картофелью.

— С помощью божьей — хорошо... Хэ-хэ-с...

— Конопляник дедовский,— Болотов в волнении положил кулаки на скатерть, дышал глубоко,— конопляник сведу под корень, все поле засажу картофелью... Одно яблоко земляное величиной,— поднял сжатую руку,— с кулак величиной дает сам-тридцать урожай, ваше сиятельство... Яблоко земляное разрезаю на шесть долей... вот так... Ранней осенью даст земля годный плод, только что разве с хлебом сравнимый!

Он сунул со стуком вилку в блюдо, отправил жареное земляное яблоко в рот, начал есть, кивнул официанту. Тот — каменный, взгляд пустой — шагнул, положил их сиятельству новой пицци, отступил за спинку стула. Старик пожевал губами, почмокал, как вампир, поднял желтую руку, со страхом опустил на язык промасленный кусок, медленно свел челюсти, выпучил глаза, на глаза навернулись слезы. Славику было жалко себя. Он стоял в стороне от ребят, в стороне ото всех, и от этого большое утреннее поле представлялось еще большим, далеким. Поле было такое большое, что казалось, оно смотрело на людей не издали, не снизу, а даже откуда-то сверху, из быстро надвигающихся друг на друга ситечек облаков. Какими маленькими были и кучка людей на краю тоскливого проселка, и две картофелекопалки, и кривой параллелепипед автобуса! Поле лежало сырое, могучее, неоглядное. По краям, где кончался взор, текла размываемая далеким дождем дымка; она неуклонно приближалась, охватывая рукавами горизонт, и вот-вот собиралась закрыть небо здесь, перед ними, спрятать поле, уберечь в неприкосновенности, но — напрасно. От

³ Яблоки земля... Не знаю Пусть говорят, батюшка (франц.).

⁴ Читал я твою книгу «Наказ для управлятеля»... Читал, хорошо, хорошо. Однако что же, батюшка, хочешь, чтобы дворянин в земле копал, словно подлая чернь? Не дворянское дело, право, не дворянское

— Самому копать не следует, князь.

— Ты один, что ли, будешь просвещение насаждать в России? Долгий труд, батюшка мой, долгий труд. (Нем.)

судьбы не уйдешь. Вздутому черному пласту земли предстояло терять кусок за куском, выворачиваться наизнанку, ежиться под возникающими одна за одной дырами, развязывать скрытые под лицевой стороной картофельные узелки — сдать, всю важность потерять. Студентам назначена была победа.

Руководил ими ассистент с пухлым розовощеким лицом игрушечного гольфа. Эту магазинную физиономию несколько портила лишь ясно читаемая на ней мысль о карьере — ассистент боялся, что студенты, конечно, будут вечерами пить, и предаваться блуду, и, совсем уж плохо, ходить в деревню на танцы, — неизбежны конфликты с деревенской молодежью, проще говоря, кому-нибудь голову разобьют, а ему отвечай. Имело значение и то, в чем он побоялся бы признаться и самому себе — хотелось взять студентов в ежовые, взять просто так, для блезиру, хотелось распорядиться, как адмиралу на мостике, отдавать резкие, отрывистые приказы и, сурово хмурясь, выслушивать катящееся эхом, стихающее вдали «есть!.. есть!.. есть!». Хотелось выглядеть отцом-командиром, взрослым, важным, как большое поле, — ассистент был мальчишкой. О том, как наладить работу по уборке, он как-то, собственно, не подумал.

На бригады всех разбили еще в деканате по списку. Славик попал во вторую. Бригадир у них был длинный и тощий парень, которому чрезвычайно шла его фамилия — Шест.

Поселили студентов в отцепленном вагоне, загнанном в самый дальний, за пакагазами, тупик. С диким шумом и криком, как Мамаева орда, ввалилась толпа в вагон; побросали рюкзаки по полкам, высыпали снова под осенний воздух деревни, чистый какой воздух, хоть пей его глотками, если не боишься горло застудить — холодный воздух, ледяной, предзимний. Приехал, переваливаясь и задевая задком дорогу, разбитый автобус. Так-то сразу и на работу надо было отправляться. Автобус привез здешнего агронома. Агроном в ватнике, резиновых сапогах, залепленных грязью, с открытым горлом — видна была красная шея, — помалкивая, напряженно и недовольно глядел на помощничков. Он объяснил, что надо делать: выбирать, стоя на комбайне, сор из подаваемых транспортером клубней, очищать их от земли, железок.

— Руками? — пискнул кто-то из девочек.

— Руками, — спокойно сказал агроном.

Еще надо было идти за агрегатом, вытаскивать из земли оставшуюся картошку — комбайн подбирал не чисто.

— В час дня обед, — почему-то насмешливо сказал агроном и повел большим кривым носом, — на вас пятьсот га. — Он выговаривал чисто, правильно, совсем по-городскому, Славик даже удивился. — Пятьсот га. Всего-навсего. Уберете — уедете.

Работа началась буднично, просто. Не успели, кажется, и осознать, что начали. Приехали на поле, вылезли, постояли — Славик в стороне, — посмотрели на уходящие вдаль черные сырые борозды, на дождевое небо. С рокотом выплюхнулся сизый дымок из трубы тракторишки, прицепной комбайн качнулся и, мелко дрожа и покачиваясь, пошел. Огромный круг транспортера, торчком стоявший поперек комбайна, завертелся. На полку полезли картофелины — в землю. Девочки со смехом стали их трогать руками в перчатках. Сразу же завопили:

— Подкова! Подкова! — Подняли над головами ржавый железный полукруг. — Прибьем к вагону!

Тут подъехал «уазик», кто-то вылез животом вперед, агроном подошел, выслушал приехавшего и повернулся. Долетело резко и с добавлением матерка произнесенное слово «межа»:

— Межа-то! Ёкэлэмэн!

— Стой! — закричал агроном. — Сто-ой!

Облегченно, словно уборка, едва начавшись, вот и кончилась, погрузились в автобус и приехали на другое поле, такое же черное и дикое в своей обнаженности. «Уазик», мощно поддаваемый колесами, вывернулся следом. Сидящий за рулем достал сложенную карту, агроном, наклонившись, сунул в нее нос.

— Ну правильно, от Дворянинова налево — наше, направо — Знаменское, — слышалось. — Им тут до зимы пластаться.

— А спрос, ёкэлэмэнэ? Запашем? — сказал сидящий. — А спрос? С меня? Двести лет назад небось все перемерили. А мне отвечать?

Студенты, уже подавленные непривычной обстановкой, молчали. Скрежеща, к новому полю подползали оба трактора с комбайнами.

Ассистент подошел, послушал разговор. Они с агрономом враз — так же — обернулись в поле, потом снова сунулись в карту. «Межа», — долетело. И знакомое слово «зачет».

— Зачет... Двести га Знаменскому...

Агроном обернулся еще раз и махнул рукой.

— Давай! Давай!

Против ожиданий земля оказалась не рыхлой, ноги не очень проваливались. Грязь лежала поверху и сразу, конечно, облепила сапоги, но под нею, на глубине пяти-шести сантиметров, был совершенно сухой желтоватый суглинок. Срезанный пласт черной земли отвалился, и плоские полосы следа на ней вывернули из суглинка рассыпанные камешки картофелин.

— Пошли, пошли, пошли, — скороговоркой сказал ассистент, словно артельный на пристани, — вот пошли, вот пошли.

Он первым ступил на чистый след, нагнулся, подхватив из привезенной стопки плетеную корзину, со стуком бросил в нее первую картофелину.

— Пошли, Шест!

Переламываясь в середине, Шест начал нагибаться, за ним остальные, и Славик, очнувшись, пошел тоже. Он сразу двинулся, согнувшись крюком, подволакивая ноги, полагал, что каждой картофелине кланяться — себе дороже. Комбайн опережал. Так, волоча корзины, прошли минут за двадцать по краю все поле. Тракторишка тяжело выполз на дорогу с другой стороны, девчонки, стоящие на приступочках, завизжали — комбайн кренится.

«Еще смеются, сучки», — подумал Славик. Спину ломило нещадно. Он поднял голову, голова закружилась, в глазах стало синее. Вдалеке так же, как вороны за плугом, шли за комбайном из первой бригады. Начавшаяся было изморось спала, воздух очистился, поспежел. Славик вдохнул — заболело горло, распрямылся — в коленях что-то натянулось, колени выпрямились с трудом, выгнулся, прогнулся назад — в спине сам по себе, кажется, начал биться пульс. Славик вытаращился. «Фуу! — Остановился в позе рыболова, уперев руки в ляжки. — Спекся!»

— Эй, Славик, Славик! Не отставай! — Шест, оглянувшись, сделал рукой приглашающий знак. — Давай! Славик!

Стиснув зубы, Славик двинулся следом, теперь уже решив раз за разом нагибаться. Трактор развернулся и снова съехал на поле, девчонки опять завизжали. Теперь комбайн двигался навстречу оставшим подбиральщикам.

— Догоняйте! — кричали девчонки.

Славик шел по отведенной ему полоске от силы в полметра шириной, уже пропуская мелкую картошку и нагибаясь за самой крупной. Картошка была хороша.

— Оставляешь! — доброжелательно сказал Шест.

Славик еще чуть-чуть отстал и начал наступать на картофелины сапогом, а потом наловчился, подбирая одну, тыкать в соседнюю указательным пальцем, и клубень навсегда уходил в землю, родившую его, чтобы сгнить и раствориться в ней, и воронка от быстрого

движения Славикова пальца тут же затягивалась, словно живая, оставляя все шито-крыто. Славик пыхтел. Уже и живот болел, и ноги дрожали. «Слабый я»,— думал Славик, передвигаясь, как во сне, а потом вообще перестал думать, только глядел в расплывающуюся под взглядом желтую глину. Картофелины тоже хитро поглядывали из нее Славиков в глаза, рябили. Голова начала гудеть. В висках пульсировала кровь. Славик уже ничего не сообщал. Спотыкаясь и загребая носками, он плелся позади всех, корзину давно бросил, она несуразно торчала из межи. Бригада прошла поле из конца в конец, повернула. Славик столкнулся с работающими нос к носу и остановился. Мимо проскрежетал комбайн, оттуда кинули в Славика картофелиной, но не попали, картофелина шмякнулась под ноги и, хлюпнув, ушла в глину — притяженье земли нарастало с каждой секундой, верхний слой ее уже не расплывался по поверхности, затягивая наносимые людьми раны: следы Славиковых сапог и следы утопленных им клубней, ясно видимые, вытягивались вдали в одну неровную цепочку пунктира.

— Эй, ковыряльщики! — кричали с комбайна.

— Ты что? — спросил Шест, и на узком лбу его отпечаталась волнистая, как в поле, борозда.— Сачкуешь?

— Ковыряльщики, вашу мать! — кричали с уходящего комбайна.

Девчонки смеялись: «Ха-ха-ха-ха!» Оттуда опять бросили картофелиной и опять не попали, Славик же догадливо улыбнулся — чуть, как улыбаются с экрана убитые в киноатаке артисты, так же подогнул ноги, повернулся с улыбкой на лице и сполз в грязь: сначала встал на колени, потом повалился на бок, выкинув руку открытой ладонью вверх, глаза уставились в осеннее небо.

— Ты что? А ну вставай! Тебе плохо?

— Один готов, ха-ха-ха-ха! — Комбайн уплывал в зенит, и против света нельзя было рассмотреть отдельных фигур на нем, снизу в глазах у Славика все сливалось в окруженный ореолом, фосфоресцирующий,двигающийся, кричащий, скрежещущий ком.

Славик дал себя поднять, стоял весь запачканный.

— Что с вами? Что с вами? — напряженно спрашивал спавший с лица ассистент.— Что? Где?

Он прибежал сюда от первой бригады — помстилось, что студент попал под колеса или еще под какие там шестерни, хуже не придумаешь. В первый-то день!

— Голова закружилась,— сказал Шест.

— Голова,— жалобно сказал Славик.

Ребята двинулись дальше, наполняя корзины.

— Ну...— Видно было, что ассистент испытывает горячее облегчение.— Пойдите посидите на травке. Дойдете сами? Дойдете? — Теперь также ясно было видно, что начальник чувствует некоторую подозрительность: здоровый с виду малый, что такое? — Посидите немного и давайте присоединяйтесь, вон куда первая бригада вышла — третий ряд проходят, видите? Надо работать!

Славик послушно посмотрел вдаль, кивнул и поплелся на опушку.

— Вечерком медсестра вас посмотрит, а пока освободить не могу! — крикнул ассистент вдогонку.

Уменьший Славик обернулся:

— Что вы! Я здоров! Я сейчас!

— Вот и хорошо...

Передышка оказалась кстати. Славик сто лет не занимался физкультурой — в институте был записан в «облегченную группу», которая в отведенное для занятий время, переодевшись в треники, сидела в раздевалке, каждый занимался кто чем,— физического труда не знал с детства и теперь, полчаса пройдя за комбайном, истратил

все имеющиеся в запасе силы. Представляться было легко — Славик стал опустошенным, как бутылка.

— Если я заболею, к врачам обращаться не стану,— устало сказал Славик, вытирая со лба испарину, словно отвечал ассистенту на его поминание медсестры.— Как же-с, сударь!

Ассистент не слышал, его спина в штормовке маячила уже далеко-далеко у края поля.

По опушке вела залитая водой, разбитая колея. Славик машинально, сидя на гребне, вымыл сапоги в лужице, по голенищам потекла желтая жижа. Он подержал в луже растопыренные пятерни, вымыл и руки тоже, думая, что сидеть неудобно — спина требовала отдыха, а спинки не было, только жухлая трава, шелестящий лес да поле вокруг. Спинка была жесткой, красный дерматин обтягивал фанерные полукресла без подкладки. Кому как, разве радикулитчику — пожестче, а нормальный человек долго сидеть на таком стуле не мог. Да и скучно — посмеялись, ладно, домой пора. Вечер уже, собственно, заканчивался. Туляк демонстрировал диаграммы — рост урожая картофеля в области — и подбил бабки:

— Все это, товарищи, будет написано в моей книге об Андрее Тимофеевиче, которая скоро поступит на прилавки книжных магазинов. Книга ждет своего читателя, товарищи! Там будут и практические советы. Практические! Мысли нашего замечательного земляка не потеряли, товарищи, своей актуальности и по сегодняшний день...

Он доверительно поднял брови и сунулся вперед. Воронье крыло опять отвалилось.

— Возьмем, скажем, статью Андрея Тимофеевича о навозе. Так и называется — «О навозе». Ну что, мы с вами теперь не знаем, что ли,— потряс протянутой вперед открытой ладонкой,— что навоз земле необходим? Необходим, и ша! Точка! Болотов об этом уже тогда говорил...

— Поливать надо,— буркнул с места старичок.

Все, улыбаясь, повернулись к нему — думали, что, когда было произнесено «Крамер» и старичок, выпучившись, замахал руками и быстро-быстро под хохот сел в дальний ряд на свободное кресло, был он разбит окончательно и больше не вякнет.

— Поливать надо.— Старичок перегорел и потому говорил тихо.— И что вы все: Болотов, Болотов... Неверие в творческие силы народа это есть, вот как! Неверие в силы! — Он, видимо повторял услышанную от кого-то фразу.— Наш народ навозец в поле-то отродясь вывозит! Эх вы-и... Ваши книги! Земля сама говорит. Эх вы-и...

Старичок махнул рукой и, поджав губы, отвернулся.

— Я тоже написал книгу,— неожиданно сказал потомок Болотова и выпятил бороду вперед.

— К-как? — Оратор даже отступил на полшага.— О чем?

— Говорю же — о Болотове! А вы не имеете права писать. Кто вы такой?

— Я-а? — Он вбирал ртом воздух.— Это вы не имеете права писать. Вы... фамилию Андрея Тимофеевича... Я... двадцать лет занимаюсь картошкой! Да я!..

— Мы все с рожденья занимаемся картошкой.— громко сказала сучья дама в первом ряду.— Едим ее. Я лично — больше двадцати лет. Больше! — Она гордо посмотрела вокруг, словно вызывая противника, желающего оспорить число ее лет, занятых картошкой.

— Правильно! Ха-ха-ха-ха! Хи-хи-хи!

— И я больше двадцати!

— А я меньше! Жареной занимаюсь!

— Пюре! Пюре! Пюре!

— Товарищи! — Туляк, покрытый красными пятнами, воздел ру-

ки к плафону.— Написать об Андрее Тимофеевиче... Тише! Об Андрее Тимофеевиче...

— Болотове! — мстительно крикнул оправившийся старичок.

—...может каждый! Оно конечно. Товарищи!

— Ура! — кричали снова развеселившиеся.— Все напишем!

—...но, товарищи, моя книга уже включена в тематический план!

Я уже аванс,— нерешительно закончил туляк,— получил...

— Аванс отобрать! — дико сказал старичок из своего ряда.

— Ха-ха-ха-ха! Правильно!

Оратор отступил еще на шаг и непроизвольно взялся за карман, как будто полученный аванс еще лежал там в неприкосновенности. Воронье крыло само по себе приподнялось и с другой стороны лысины. Оба крыла заточили над ушами, словно рожки.

— Хи-хи-хи-хи! Ха-ха-ха-ха!

Потомок Болотова встал, постоял некоторое время на месте,— вокруг смеялись, девушка в очках, дергая его за рукав, что-то не переставая говорила ему, он не слушал. Широко шагая, вышел вон.

Туляк потянулся вслед с трибуны, словно удержать хотел:

— Послушайте... Послушайте... Тише!

Кто-то уже и свистнул. В дверях белела растерянная физиономия билетерши.

— Тише!

— Ха-ха-ха-ха!

— Отдай аванс! — бешено, как и полчаса назад, закричал старичок.— Отдай, паразит! Продайся!

— Ха-ха-ха-ха! Ого-го-го!

— Сколько должен получить? Ну! Ну!

Долговязый староста отшатнулся от коляски и закрыл лицо локтем, ожидая удара,— в руке у Болотова действительно был хлыст,— приехал сам-друг, без кучера, любил так ездить по ближним деревням.

— Ну!!!

— В-восемь рублей,— запинаясь, сказал староста.

— Врешь!

Болотов соскочил с коляски, и староста, еще отступив, споткнулся и упал в дорожную пыль на спину. Рубаха задралась, открылся желтый впалый живот с черным, выпирающим узелком пупка и обтянутые кожей ребра. Болотов замахнулся хлыстом — разозлился впрах, злоба требовала выхода.

— У! Бездельник!

Хлыст взвил пыль в нескольких сантиметрах от лежащего. Тот дернулся, отполз на локтях, как кузнечик. Лошади дернулись тоже, вороной трехлеток — молодой — задрожал.

— Тпруу!

— Простите, господин,— сказал староста.

— Веди его сюда! Живо!

Быстро перекрестившись, староста вскочил на ноги, бросился, показывая черные пятки, бежать по улице.

— Стой! Подь сюда!

Тот вернулся, глаза из-под косм смотрели опасливо.

Болотов сложил хлыст, кинул в коляску. Вороной храпнул и переступил на месте.

— Тпру!.. В деревне грязь, беспорядок!.. Деревня на оброке, оброк где? А? Ведь убрались, вижу. Потачку вам братец мой дает!

— Сегодня как есть соберем! К завтраму мыслил отправлять, господин.

— Мыслил? — Болотов захохотал.

Староста чуть оправился, знал: барин хохочет — отпустило.

— От талалаи! Талалаи негодные! Некому вас перепороть, чтобы вы были умнее, и строились, и жили порядочнее. Хлеба стоит у вас скирдов целые тысячи, а живете вы так худо, так бедно, так бес-

порядочно! Вот следствия и плоды безначалия, мнимого блаженства и драгоценной свободы. Одни только кабаки и карманы откупщиков наполняются вашими избытками, вашими деньгами, а отечеству один только стыд вы собою причиняете⁵.

Староста, открыв рот, слушал не понимая, перекопился глупой усмешкой.

— Охо-хо... В самую вас кабалу, в барщину на шесть ден! Пошел! Веди Святослава!

Два мужика, хлопая ступнями по пыли, привели лакея. Был он связан пенькой по локти, кафтан разодран и потому, вероятно, не снят. Понизу кафтана болталось исподнее — в крови. Панталоны, видать, оставались до поры целыми, сгодились мужичкам. На лицо Болотов и смотреть не стал — морда лакея стала одним сплошным кровоподтеком. «Дурак,— подумал Болотов.— Эх, дурак». Прислонился к коляске.

— Ну? Что, брат? Отчего ты от нас ушел? Какая тебе была изгона?

— Что ж, сударь,— прошептал лакей, стоя на коленях.— Бес попутал, виноват.

— Бе-ес? Это что у меня в пузыре сидит?

Лакей медленно поднял голову, заплывшими глазами посмотрел на хозяина, медленно усмехнулся разбитыми губами. На губах проступила кровь.

В кабинете Болотова лежал на шкапе воловий пузырь с водою, где, самым барином вырезанный искусно, заключался деревянный черт или же бес — с руками и ногами, с хвостом. Болотов угощал гостей игрушкой, особливо любил попов страшить. «Иди вниз! — говорил и нажимал исподволь рукою сверху — черт опускался.— А теперь пожалуй вверх!» — нажимал снизу. Тот, покачиваясь, всплывал как живой. Попы творили знаменье...

— Ну, бездельник! Отвечай.

— Как же-с, сударь... Сами в позапрошлом годе изволили сказать — в рекрутский набор... Тяготы не могу перенести... Испужавшись того, и ушел...

Лакей поднял связанные руки и вытер губы запястьями.

— Развяжи! — крикнул Болотов.

Мужик выгащил из-за спины серп, тыча в связанного бородой, перерезал пеньку. Лакей упал на выставленные вперед руки, руки подломились, он со стоном оперся на локти, так встал — раком.

— Ждал, покуда ушли рекруты, тогда хотел сам прийти,— сказал в землю.

— Так я поверил, досада битая! Эх, дурак! В позапрошлом годе не послал и, могло статья, в этом не послал бы. Обедаешь картофелью?.. Нет, брат, ты ушел, чтоб лыну дать!

— Счастлив, сударь, умереть в Дворянинове...

— Ба, ба, ба! А староста тебя продал майору Раеву за восемь рублей. Думал, не узнаю. За сие еще бит будет...— Достал трубку, высек огонь.— У Раева в государыневу службу отписывают осмнадцать душ. Как взмыслил еще с ним договариваться? Для того он и брал тебя, дурака,— работников своих не давать.

Повернулся к коляске садиться, но вспомнил:

— А женка? А? Из горничных ее на барщину! И пороть, пороть, пороть!

Болотов сунул трубку в зубы, снял треуголку, досадливо поправил подвитые волосы. С волос, как пыль, полетела пудра — дунул ветерочек. Нахлобучил шляпу, поглядел на желтые, сиреневые склоняющиеся тени летнего вечера в мягкой пыли. Скособоченный са-

⁵ Подлинный текст А. Болотова. Спб. 1872, т. III, письмо 154.

рай, крытый дранью, торчал на улице; подумал: как балдырь. «Как и не ушел из него? — еще подумал. — Плечом нажать — всего дела».

— Ну вот что, бездельник, самый бездельник. Как отеческой земле от делов твоих не слава, а один урон добывается, возвращаю тебе прежнее твое имя — Абрам, а святое имя Святослав отдаю для божьего распоряженья.

Разбитую морду лакея свернула судорога. Он, кажется, собрался улыбнуться, но не в силах был сделать этого — лицо горело. Слов, голоса уже не стало — лакей ничком пал на землю и зарыдал, глотая пыль. Вместе со слезами опять закапала кровь, в горле, в нутре что-то захрипело, содрогнулось, кровавая рвота выплеснулась под башмаки Болотову. Тот отступил, верхняя губа брезгливо поползла в сторону.

— Какие резоны тебя оставлять — не мыслю. Сии резоны мне неизвестны. А женку твою — небось, небось — оставляю. Горничная добрая, отдам за Семена-садовника.

Лакей молча лежал лицом вниз, неподвижно, только спина под кафтаном дрожала.

— Ну, будет располагаться тут, будет!.. Крупом прядаеть, чисто жеребец. Подыми его, — кивнул мужику, — ну-к. Во, во, во! Встань. Отвечай, зачем растверживал враки, нелепицы? Мужикам говорил о картофели? Что говорил? Говорил — яблоки земли есть отрава су-щая, продовольствовать ею нельзя?

Колени у лакея снова подогнулись, он с силой рухнул — аж ударило — перед Болотовым. В стороны полетели брызги блевотины — попал в середину ее точно-точно, рядом взвилось и повисло облачко пыли. Ветерок унес его и, словно поднявшись только для этого, опять стих. Перепачканный в земле, крови и рвоте, огромный червяк корчился, тянул «ыыыыыыыы» на одной ноте. Болотов еще более скривился. Глаза глядели без сожаления.

— Дурак! Талалай! Что ж, не распроведаю я про твои враки? Добро! Эти грозы слышали мы давно.

Сегодня он расположился ехать к обедне в здешнюю церковь, но, приехав в деревню двоюродного брата, принял наводить порядок — братец хозяйствовал не шибко. Не одну десятину — незнамо сколько отхватил Раев у Матвея. Перемеривали долго. Сам Раев и попался — штраф государынины межевщики наложили аховый. Дело прошлое — прошло, а должного хода дел у Матвея все не было. Староста, шест долговязый, много себе воли стал брать, самоуправствует. И, ишь ты, что удумал — покрывать бегунов на свою выгоду. «Старосту пороть, — подумал, — пороть, поставить за соху — круто, за самую ра-боту».

Повернулся и вдруг увидел, как они смотрят. Староста опустил длинные, как у обезьяны, руки, и взгляд костлявой обезьяны из-под надбровных дуг тоже был, кажется, костляв — тверд и глянец, как отполированная кость. Широкие ладони медленно раскачивались у колен. Оба мужика — незнакомые, их он не помнил у Матвея — смотрели так же тяжело, исподлобья, голубые глазки обоих буравили из-за заросших скул удивленные болотовские глаза. Босые ноги с огромными, широко расставленными пальцами, с огромными же черными ногтями на них вросли в пыль и пустили корни в деревенскую улицу — так крепко, не сдвинуть, стояли они на земле Лакей затих и смотрел, как и привык за десять-то лет, — снизу вверх, но без боязни. В земле, в крови, с открытой ненавистью в открытх глазах, сочащихся злыми слезами, он сейчас походил на самого, господи помилуй, вурдалака. Болотов содрогнулся. Его собственный враждебный взгляд, троекратно отраженный, сейчас ударил ему навстречу. За минувшее мгновенье что-то случилось. Бес пробежал, мимоходом искажил тупые и покорные мужицкие лица, нанес на них грозную и

паскудную, по всему виду, мысль, хлестнул по теплому воздуху резкой освежающей струей холода.

Болотов рефлекторно отступил к коляске, но тут же с внутренним бешенством пересилил себя, шагнул вперед, сжимая хлыст, напрыгся. Новый камзол треснул в плечах, и сразу же, словно по сигналу, такой же распадающийся треск послышался в небе, синее небо дрогнуло и, взрезанное кривой огненной полосой, упало за деревню. Бахх! — прямо в душу ударило сверху. Хлынул ливень. Бахх! — ударило еще раз. За единый миг земля превратилась в текущее масло. Ветер сорвал ставень с ближней хаты, бросил под ноги; кони захрапели. Не чуя тела, Болотов успел вскочить в коляску, прежде чем они понесли. Подсознанием, что ли, боковым зрением заметил: староста кричал ему что-то, поднимая обнажившуюся и заблестевшую от воды руку, — вспомнил об этом потом. Люди исчезли, как не было их. «Бог вас разберет! Пропадите!» — подумал так или хотел подумать? Темные взгляды мужиков сделали темным чистое небо. Без парика, с развевающимися волосами, с хлопающими за спиной полами, Болотов пролетел по улице — стоял в коляске на дрожащих, задеревеневших ногах. Ужас плескался теперь в его остановившихся глазах, но барского страха не видел никто. В жизни такой грозы, такого гнева небесного не бывало. Серые избы стали совсем одноцветными за темной стеною влаги — даже если бы он захотел, не различил бы сейчас, не выделил бы ни одной на сером фоне округи, ни порядка, ни беспорядка не смог бы сейчас заметить, все смолкло и до поры умерло под вселенским шумом. Жуткая мелькнула мысль — не успел сотворить крестного знаменья. Хотел оторвать руку от вожжи — как раз в сей момент трянуло на буераке, кони вылетели за околицу и понесли по краю созревшей ржи, роняя на упряжь голубую, тут же смываемую дождем пену.

— Господи, — шептал в оцепенении, — господи, спаси и сохрани, не допусти погибели!

Молния, описав над головой изломанную дугу, прошла, казалось, в полуметре. Волосы встали дыбом. Ветла на краю поля, у реки, вспыхнула, как пороховой трут, вся сразу. Бахх! — еще раз прогремело сверху. Бросил вожжи, вцепился во что-то руками, закрыл глаза. Сил уже не было думать. Разлегся, расслабился: болен, болен. И наконец-то станционная медсестра, стуча по полу резиновыми сапожками в грязи, пробежала по вагонному коридорчику, тяжело дыша, бежала сейчас от станции под дождем и все не могла остановиться. Еще не отдышавшись, она быстро смерила Славик у давление — оказалось, так себе, в пределах нормы — и температуру. Вот температура с утра была порядочная — тридцать восемь и четыре. «Эх, перестарался», — сладко подумал Славик, снизу вверх глядя, как перекатываются у медсестры под белым халатом и наброшенной старрой «болоньей» полненькие, крепкие на взгляд груди. Славик лежал в поту.

— Ну что? — спросил ассистент из тамбура.

— Что, что, — ворчливо сказала сестра, собирая причиндалы, — жар. В больницу надо.

Ассистент, как кавказец, зацыкал языком — сокрушенно и растерянно:

— Ц, ц, ц, ц! В первый день! Ц, ц, ц, ц!

— Эй, симулянт! — закричали из коридора девочки. — Ковыряльщик-симулянт! Выходи гулять! Ха-ха-ха-ха!

Ребята заржали тоже:

— Дождичком помочет — оклемаешься. Давай, давай!

— Ну! — Ассистент повернулся к ним. — У парня температура, что тут за шутки! Идите к себе в купе, раз не работаем.

— А что нам делать? Можно на станцию?

— Какая станция в такой дождь! — возбужденно закричал ассистент. — Идите отдыхать! И никаких карт и спиртного! Понятно?

— Понятно...

Медсестра хмуро улыбнулась кошачьей мордочкой:

— Я сейчас позвоню, машина придет, но не знаю, во сколько времени. Может, на автобусе вашем? Это Казакова автобус?

— Мы не знаем. Митей его зовут. Димой. Не поедет он по грязи, сказал уже. Покрышки у него лысые.

Она снова улыбнулась, отчего-то посвежев:

— Я поговорю. Ничего. Ничего у него не лысое, в самый раз.

Перед закутанным Славиком в последний раз прошел, разворачиваясь, проклятый вагон. Сквозь наплывающую на автобусные стекла воду Славик смотрел в черную масляную землю, которая уже не впитывала дождя, представлял, как заливает черный дождь черное картофельное поле, как поднимается мутная пленка — выше выше не пройти, не проехать ни на чем. «Ой-ей-ей, — подумал Славик. И еще подумал: — Слава тебе, господи» Почему-то захотелось произнести это слово, и обязательно с гаканьем, с хаканьем, словно на Полтавщине. Он тихонько сказал:

— Хосподи... Хосподи...

Прикоснулся губами к холодному стеклу — все тело свернуло холодом, лицо было ледяным, а губы горели. Не чуя тела, прижал к губам тыльную сторону ладони. Яблоки, побитые ливнем, лежали на земле. Далеко за домом, куда хватал взгляд, тянулся его сад, нижний сад — так обозначено было на плане. И везде взрыхленная земля не принимала золотых плодов — яблоки парили над нею и не пачкались в расплывающейся грязи. Господь бросил бусинки тяжелого богемского стекла на его усадьбу, украсил ее рассыпанным цветным ожерельем — воля твоя! Облегченные деревья, весело-зеленые, омытые, свежие, прямо как воткнутые, торчали перед ним.

— Господи, господи, — сказал Болотов. — Воля твоя!

Задевая носками порожек, слез с коляски. Хотел крикнуть людей — дом вымер и, черный от дождя, стоял одинокий, как и он, Болотов. Горло не послушалось. Зачем-то повернулся — взмыленные лошади тихо фыркали. Ища сочувствия, провел рукой по нежным, дышащим паром ноздрям любимца вороного, конь всхрапнул и отшатнулся — с ладони, исполосованной вожжой, густо текла темная кровь. Дорога в следах копыт и колес одиноко тянулась вдаль, к картофельному полю, которое он проехал, не заметив словно.

Болотов стянул с себя камзол, тяжелый от влаги, бросил наземь, остался в одной кружевной у ворота рубахе, мокрой тоже. Широкий пояс с серебряной пряжкой задубел и резал под ребра. Опустив руки, один пошел по дороге назад, прочь от дома. Сырой ветер подхватил разгоряченное холодное тело, потянул к земле. Он опустился в меже на колени — колени на добрую пядь вдавило в глубину, оперся руками о насыпной горбик посадки — руки ушли в землю по кисть. Первое ощущение после минуты столбняка — резко щиплющая боль в ладонях. Теперь кровь с них текла в землю, питала земляные яблоки живым творящим соком. Медленно вытащил руки из земли — были, как у эфиопа, черно-серые. Розовым проступала просачивающаяся кровь. Так — стоя на коленях — поднял черные руки к продуктому небу. Мокрая рубашка хлопала по спине, обжигаяще липла к коже — не чувствовал.

— О, вы, — хрипло сказал Болотов, непонятно кого называя на «вы», — вы, вы...

Черты крепкого круглого лица обострились.

Бог, несомненно, в этой открытой пустоте смотрел страшными глазами откуда-то сверху — Болотов чувствовал взгляд за спиной, но не смел обернуться. Необычайно чистым был воздух с растворенным бесовским запахом серы. Бог или дьявол послал грозу на взлелеян-

ный сад, сорвал ветви с деревьев, усыпал золотыми яблоками родившую землю, а здесь, в поле, сломал и пригнул к ней серые стебли побегов от таких же золотых, но невидимых в толще плодов? Кто? Кто?

— Вы,— повторил Болотов, начиная дрожать — холод постепенно проникал в сердце.

Округа молчала, только ветер все посвистывал, раскатываясь на верхотуре. Там быстро-быстро двигались облака, уходя прочь от проклятого места и оставляя небо совершенно чистым. Пустота летела в глаза Болотову и, мучая, ввинчивалась в мозг. Одна мысль оставалась — сам виноват. Странная эта, непонятная мысль вдруг успокоила. Можно было принять наказание как должное, исправить нераденье — ошибок он не прощал никому, а себе, себе? Да, не могло провиденье в одночасье разрушить все, что возвращал годами. Что-то он сделал не так, облыжно судил о делах своих. Рухнул ничком, кулаки мягко хлопнули по грязи. Силы оставили его, ноги конвульсивно задергались, квадратные носки ботфортов ушли, словно корни, в почву. Она, почва, земля, оказалась совсем рядом, в верхушке от ресниц. Каждый ее кристаллик, оплывший, омытый ливнем, был виден ясно и лежал твердо и тяжело, словно могильный камень. Любая трещина, извилина в нем стала громадной и пресекала жизнь Болотова, как жизнь лежащего под камнем. И отпечатывались на земляных окатывах свежие человеческие ступни. Здесь прошел кто-то уже после дождя — прямо по ботве, наискось.

Медленно встал, разглядывая след. Небо прекратило свой полет и отвердело. Холод свел мускулы, но волна гнева, поднимаясь изнутри, погнала холод вон. Преодолевая последний страх, резко повернулся, вновь становясь самим собою. За спиной на опушке подступающего к полю березняка стояла та же четверка: староста, с хмурой улыбкой выжимающий полы рубахи, оба мужика, мокрые впрах, с бород капала вода, лакей, черный и страшный. Это их взгляды, словно божьи, только что сверлили ему затылок, их темные взгляды наслали на него, Болотова, божий гнев — там, в деревне, здесь, в поле, в усадьбе, они видели сейчас барское его унижение и только что, вот только что, попирали босою пятой его, Болотова, поле с картофелем. Это перед ними и был он виноват?

Тоже страшный и грязный с головы до пят, шагнул навстречу, грудь вздымалась от дыхания, впервые в жизни не знал, что сказать.

— Больно круто берете, господин,— тихо, но ясно проговорил староста, не отступая. Он, видимо, все-таки боялся и неосмысленно взялся за нательный крестик, выбившийся из-за ворота серой от влаги рубахи.— Послабже, как все будем земляное яблоко варить...

Болотов задохнулся, вымазанная рука поднялась, чтобы ударить, и бессильно повисла.

— Простите, сударь,— сказал лакей.

Как и при виде родного дома, Болотов молча пошел от мужиков прочь, все убыстряя и убыстряя шаги, как по наледи, разъезжаясь по грязи каблуками. Дорогу развезло вконец. Издалека, маленький, обернулся через плечо.

— Ну,— слабо сказал и прокашлялся,— ну... прощай. Бог с тобой! Возвращайся в Дворяниново...

Ветер подхватил слова, понес в поле, прочь от дороги. Небо совсем вычистилось, а земля, земля тоже прощала, словно не замечая терзавших ее. Земля лежала безнадежно покорная, как брошенная насильниками женщина, и смотрела в небо равнодушными широкими глазами. Но нет! И великая мощь чувствовалась в ее молчаливом ожидании. Годы пройдут, века пройдут, а земля, приняв чужое семя, будет родить и родить, все ожидая своего, родного, вечного, от силы, а не от слабости прощая царапающих ее кожу людей. Что там, в глу-

бине, за второй, третьей, четвертой пядью? Что? Кто виноват перед нею? Она невиновна.

Болотов неуклонно шел по дороге, стараясь ступать в размазанные следы автобусного протектора. Грубо отпечатавшиеся рубцы от колес придавили грязь, и нога на этих местах скользила меньше. В разлившемся озоне ясно чувствовался бензиновый запах. Автобус проехал здесь только что, сразу после дождя, и Славик мог бы заметить стоящих на обочине мужиков, все еще сторожко придерживающих его за плечи — не убеги бы, — себя самого, грязного, окровавленного, возвращающегося к преданному им полю, мог бы увидеть, как Шест, посмеиваясь, выжимает полы стройотрядовской штормовки. Но Славик глядел в другую сторону и только вдруг увидел неизвестно откуда взявшегося агронома, потерянню идущего следом. В одной рубашке, весь вымокший, тоже грязный, агроном машинально ступал в автобусную колею и шел и шел, опустив руки, глядя себе под ноги. На мгновение Славiku показалось сквозь стекло, что над каблуками у агронома звездчатые шпоры. Славик через силу усмехнулся шпорам. Перед взглядом проехал огромный старый дом с забитыми окнами, черный от влаги. Во дворе усадьбы коричневел ржавый, искореженный остов не то автомобиля, не то коляски, лежали штабель вагонки, прикрытый толем, да куча выломанных из фундамента кирпичей.

От фанерных стен районной больницы пахло сыростью.

— Что, не принимаешь картошечку-то? — весело спрашивали у Славика.

Славик только вымученно улыбался — сил не было, жар поднимался выше.

— Ничего, на ноги поста-а-вим! Помучаем только чуть-чуть, а? Хорошо? Помучаем и поставим, на место вернем, еще потрудишься для пользы народного хозяйства.

— А мы его даром и не отдадим, — слышался тенорок Шеста.

Славик, растопыривая ноги, пополз с больничной кушетки в сторону, уперся в крашеную стену.

— Эка!

Через секунду, вдохнув от сунутой под нос ватки, Славик склонился над полом, напрасно дергаясь всем телом, — ничего не выходило, только слюна. От этого заболело почему-то в промежности.

— Прос-тите... пожалуйста, — выдавил Славик сквозь слюну

— Простить не могу, — прозвучал твердый бас. — Банки!

Со Славика сдернули свитер и зачем-то штаны тоже. Раздался смешок — пациент был в кальсонах, и тут же Славик ощутил анестезирующую прохладу на ягодице, и тут же в нее всадили шприц. Слово сильные пальцы горячими щипками начали тянуть кожу на спине, над головой замелькал огонь на конце стеклянной палочки — ставили банки.

Шест вышел и из коридора, ухмыляясь, заглядывал в процедурную.

— Эх ты, дурень! — Медсестра снисходительно улыбалась тоже. — Разве ж можно болеть?

Несмотря на муки, Славик сумел оценить пикантность замечания. Анальгин и банки — арсенал больницы, — естественно, наталкивали на подобные сентенции: лечить нельзя, так и болеть не стоит.

— Ну разве можно болеть? — Медсестра разговаривала с ним, как с собакой, не ожидая ответа. — Ну разве можно?

— Можно, — косноязычно сказал Славик, упираясь губами и носом в простыню — лежал навзничь. Жар, конечно, не отпустил сразу, но казалось, что стало легче.

— Ну? — Медсестра удивилась и посмотрела с явным неодобрением. — Смотри какой, — классически выразила она свое отношение к Славiku.

Через минуту он остался один.

— А теперь что? Мне начальству доложить надо,— слышался через дверь голос Шеста. — Теперь куда его?

— В расход,— отвечал тот же тяжелый бас.

Славик лежал неподвижно. За дверью возникали еще новые голоса, шаги, прокатилась больничная тележка.

— Селезневу сто пятьдесят,— странно сказал бас.

— Хи-хи Я серьезно. Куда теперь?

— В расход.

— Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! — Слушательницы повскакивали с мест.

Туяк отступал и, бледнея, руками, как от привидения, отмахивался.

— Я запрещаю! — потрясая кулачками, почему-то кричал старичок. — Запрещаю!

Он рванул себя за ворот толстовки, пуговицы брызнули. Под серым материалом оказался другой — удивительный какой-то, расширенный желтыми нитями красный бархат. Старичок вразлет поднял над собой серые полы, показывая настоящее оперение.

— Запрещаю! Проверить!

— Черт знает что такое! Пойдем! Маша! Маша!

У выхода образовалась пробка. Билетерша отчего-то не желала выпустить народ и, вцепившись руками в косяк, некоторое время стояла живот в живот с напиряющими. Наконец прорвало, и все, смеясь, посыпались на улицу.

Двести лет у дома, где приключилась лекция, располагался овощной лоток. Первая же вылетевшая на него толстая женщина с расширенными от страха глазами попыталась было затормозить, тыча руками в воздух, но не сумела и, обняв продавца, рухнула, подмяв его, на пустые ящики. Оба заорали. Падая, продавец поддел ногой столик с весами, и весы бухнули в асфальт и, зазвенев металлическими частями, рассыпались. Продавец, извиваясь под толстухой, заматерился, но услышан не был — хохот стоял по всей улице вниз, по направлению стока, веером катились, подскакивая плоды земледелия — желто-зеленые ядреные яблочки, розовый первый картофель, пыльная кособокая свекла, толстая и крепкая, как крестьянские пальцы, морковь, огурцы и помидоры.



ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ



СВЕЧА ЗАКОНА

* * *

Я знаю землю, где впотьмах
Горит свеча закона.
За кругом света бродит страх
И слышен рев дракона.

Но есть светлейшая страна
Иной красы и стати.
Свеча закона там бледна
Пред солнцем благодати.

Там жизнь от страха не дрожит,
Дракон лишен простора.
Но далеко она лежит,
Сокрытая от взора.

Туда, туда я рвусь, мой друг.
О как душа страдает!
«Не преступи мой светлый круг!» —
Закон предупреждает.

Очевидец

Вела дорога прямо на вокзал,
По сторонам носился птичий щебет.
Отец надел медали и сказал:
— Пойдем смотреть — товарищ Сталин едет!

Мелькнул товарищ Сталин вдалеке:
Глаза, усы, неполная улыбка,
И трубка в направляющей руке,
И змейка дыма — остальное зыбко.

Пришли домой, схватил отец ремень,
Стал сына бить так, что летели клочья.
— Я бью, чтоб ты запомнил этот день,
Когда увидел Сталина воочью!

От ужаса и боли сын ревел,
И мать кричала:— Люди, заступитесь!—
Один сосед ребенка пожалел
И на отца донес, как очевидец.

Отца на Север увели с крыльца.
 Об этом сын не говорит ни слова.
 Отшибло память. Он забыл отца.
 Но Сталина он помнит как живого.

Откровение обывателя

Смотрим прямо, а едем в объезд.
 Рыба-птица садится на крест
 И кричит в необъятных просторах.
 Что кричит, мы того не возьмем
 Ни душою, ни задним умом.
 Теснотой и обидой живем.
 Заливается ночь соловьем,
 День проходит в пустых разговорах.

Заскучаю — и муху ловлю,
 Жаль, что быстрой езды не люблю
 И нельзя провалиться на месте.
 Мне поведал проезжий во мгле:
 «Перестройка идет на земле!»
 Мне-то что! Хлеб и соль на столе,
 И летает жена на метле.
 Я чихал на такое известье!

Жизнь свихнулась, хоть ей не впервой,
 Словно притче, идти по кривой
 И о цели гадать по туману.
 Там котел на полнеба рванет,
 Там река не туда повернет,
 Там иуда народ продает.
 Все как будто по плану идет...
 По какому-то адскому плану.

Кем мы втянуты в дьявольский план?
 Кто народ превратил в партизан?
 Что ни шаг, отовсюду опасность.
 «Гласность!» — даже немые кричат,
 Но о главном и в мыслях молчат,
 Только зубы от страха стучат,
 Это стук с того света, где ад.
 Я чихал на подобную гласность!

Мне-то что! Отбываю свой крест.
 Бог не выдаст, свинья недоест.
 Не по мне заварилась каша.
 Рыба-птица на хрип перешла,
 Докричатся до нас не могла.
 Скучно, брат мой! Такие дела,
 Особливо когда спохмела...
 Жаль души, хоть она и не наша.



МАРИЯ АВВАКУМОВА

★

СВИДАНИЕ

Старухи на слайдах

На фоне сосен-вековух, на фоне сосен
снимаешь трех родных старух — снимаешь осень
трех ангелиц с глазами птиц, в аду воскресших...
Трех дьяволиц, трех буйволиц земель окрестных.

Идут к финалу тяжбы их с судьбою гиблой,
у этой — сам мужик затих, у той — зашибло.
Но после всех селянских битв (так не бывает?)
у них и тело не смердит и дух сияет!

Снимаешь трех родных старух... Старух — на слайды!
Принарядились в прах и пух — ну хоть на свадьбы!
И полунищий разнобой их одежий
тебе — как дикий дух квасной, как флаг на бане.

Ты, как с луны в родную грязь, на них свалилась.
Ты никогда б не собралась: душа взмолилась...
Чтоб в эту темень — ни ногой, она когда-то
внесла, измывшись над собой, шальную плату.

* * *

Блажен, кто прожил как невежда.
Блажен, кто вовремя увял.
и кто на костыле надежды
нагорных тайн не штурмовал.

Похищение

Ты ж и т ь похищена была
из забытья пространства игрек;
и вот участвовать должна
в противных разуменью играх,
с цыганщиной таких же вот
душой — нездешнею — сливаться
и, чтоб при всех не разрыдаться,
в клешне ладони мучить рот.

Не травы тут в лугах растут —
недоуменные вопросы.
А в самый зной на них идут
блаженно блестящие косы...
И, сброшенная под откос,
до поздних звезд в себя приходишь.
и смысла ищешь, и находишь...
Но ты жива ли? — вот вопрос.

Сквозь ржавчину и патину
уже ты ничего не помнишь,
лишь по ночам, как чайка, стонешь,
не долетая в ту страну.
...Ты т у т обречена ту-жить
(веревочка куда вьется)
и под конец принять, обжить
и, ненавидя, полюбить (!)
все то, что жизнью здесь зовется.

Памяти В. Шаламова

Черное яблоко в черном окне...
Первые белые мухи...
Боже всевышний, избежать бы мне
участи черной старухи!

Уж погулял градобой-мордобой.
Яма какая-то после.
Красное яблоко, взгляд золотой,
что же они сотворили с тобой,
голова песьи?!

...Черное яблоко красит ли дом?
Много ли в этаким свете?
Зубы вонзить — нет желанья ни в ком.
Выбросить — смелости нету.

Крестный ход

Ни двора... Все сковано морозом.
Грозным мором выморено круто.
Ни клейма, чей знак глубок и розов.
Ни клейма, ни лошади, ни крупа.

Только в ночь спасения Христова,
вдоль дороги прыгая, как утки,
чтоб не утопить в грязи обутки,
выстонав молитвы два-три слова,
обойдут деревню две-три тетки —
освятят родимую деревню:
скот, углы, кусты, родню болота...
все живое... много ли всего-то!

Встанешь этот крестный ход послушать,
худо станет. Не глядела б лучше.
Небесина холода полна.
Чем же эти люди виноваты,
что не разгребешь беды лопатой?
Чья же это все-таки вина?

Свидание

Земля с Юпитером¹ в особых отношениях:
в бескрайних вечерах на знак огня,
в небесной карте сделав искривленье,
щетиною людей топорщится она.

¹ Ю п и т е р — знак огня.

И он прольет пророческие миги
в наш темный ум, полузвериный нрав,
букв муравейники с глухим названием «книги»
своим внекнижным знанием поправ.

...И ослепит глазницы наших хижин,
что закопались в землю от чудес,
дух потрясения, воздух чернокнижья,
сомнения темный лес.

* *
* *

Ты говорила со звездой.
Ты что ей говорила,
покуда льдистою слезой
она сквозь ночь скользила?

Услышать что хотела ты
обочь толпы убогой,
обочь безглазой и глухой,
набитой всякой требухой,
стобрухой и сторогой?..

Пока курортник тяжелел,
угрюмо веселился,
твой взгляд пространство ододел
и в свете растворился.

Счастливая! Тебе дано —
оттуда черпать силы.
А тем, другим, всю ночь темно,
невыносимо было.

Солдатка

Ни валко и ни шатко
и всюду належке.
Держись, держись, солдатка
с сосулькою в руке.

От «Беломорканала»
на пальцах рыжина,
но нет в глазах оскала,
и людям не должна.

На шлепанцах заплатка,
пальтишко поползло...
Держись, держись, солдатка,
стяжателям назло.

Таким, как ты, награда
уж то — что стол, кровать..
Таких учить не надо,
как жить и умирать.

* *
* *

Мы слишком гордые,
чтоб счастье жизни знать.
Откуда это в нас, залубенелых?
Какая ты была, таинственная мать,
под зарослями прядей поседелых?

И мы вот так уйдем,
не поняты никем,
с наперсток глубины не взяты.
Куда? к кому? зачем?..
Зачем скажи зачем
мы были горделивы так и святы?



ВЛАДИМИР НАБОКОВ

★

ИЗОБРЕТЕНИЕ ВАЛЬСА

Драма в трех действиях

ТЕАТРАЛЬНЫЙ НАБОКОВ

Набоков известен нам как ученый-энтомолог. Как поэт. Как прозаик. Как литературовед-эссеист. Но вот мы узнаем его еще и как драматурга. Им написано четыре пьесы, с одной из них, «Изобретение Вальса», читатель познакомится на страницах «Нового мира», три другие, насколько мне известно, увидят свет в тех наших изданиях, которые мы называем театральными, то есть имеющими к театру непосредственное отношение.

Почему наша редакция остановилась на «Изобретении Вальса»? Дело в том, что, будучи написанной в Париже в 1938 году на русском языке, она никогда и нигде не шла и впервые увидела сцену спустя пятьдесят лет, в 1988 году в рижском театре. Поставил ее режиссер Адольф Шапиро. Такая вот интересная судьба художественного произведения, она сама по себе привлекает внимание и публикаторов и читателей.

И еще одна особенность этой судьбы, которую, правда, можно объяснить даром предвидения автора. Пьеса эта по содержанию своему антивоенная, а напечатана она была за год до начала второй мировой войны. Это ли не предвидение? Пьеса, по существу, отождествляет войну с терроризмом — опять-таки интересная и серьезная мысль. Пьеса показывает, как трудно приходят к общему языку тем более к общим действиям, те, кто подвергся агрессии и шантажу. В общем, по мысли и сюжету это очень глубокое произведение, особенно если учесть время его написания.

Что касается рижского театра, поставившего ее, так нужно сказать — он сделал очень и очень многое. Блестящая, но точная фантазия А. Шапиро, сдержанная, где-то на границе фарса и все-таки реалистическая игра актеров, неожиданная, но убедительная работа художников — оформителей сцены, на которой генералы генштаба выступают в полной форме и при всех регалиях, но выглядят куда как убого.. Тут же в кабинете военного министра вдруг по воле режиссера появляется и полуодетая шансонетка, причем отнюдь не глупая, а, пожалуй, и поумнее генералов, — все это создает интересное и поучительное зрелище. Поучительное и для зрителя, и для нашей современной, отнюдь не бедной театральной жизни в целом.

С. ЗАЛЫГИН.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Кабинет военного министра. В окне вид на конусообразную гору.
На сцене в странных позах военный министр и его личный секретарь.

Полковник. Закиньте голову еще немножко. Да погодите — не моргайте... Сейчас... Нет, так ничего не вижу. Еще закиньте...

Министр. Я объясняю вам, что под верхним веком, под верхним, а вы почему-то лезете под нижнее.

Полковник. Все осмотрим. Погодите...

Министр. Гораздо левее... Совсем в углу... Невыносимая боль! Неужели вы не умеете вывернуть веко?

Полковник. Дайте-ка ваш платок. Мы это сейчас...

Министр. Простые бабы в поле умеют так лизнуть кончиком языка, что снимают сразу.

Полковник. Увы, я горожанин. Нет, по-моему, все чисто. Должно быть, давно выскочило, голько пунктик еще чувствителен.

Министр. А я вам говорю, что колет невыносимо.

Полковник. Посмотрю еще раз, но мне кажется, что вам кажется.

Министр. Удивительно, какие у вас неприятные руки...

Полковник. Ну хотите — попробую языком?

Министр. Нет, гадко. Не мучьте меня.

Полковник. Знаете что? Садитесь иначе, так света будет больше. Да не трите, не трите, никогда не нужно тереть.

Министр. Э, стойте... Как будто действительно... Да! Полегчало.

Полковник. Ну и слава Богу.

Министр. Вышло. Какое облегчение... Блаженство. Так о чем мы с вами говорили?

Полковник. Вас беспокоили действия.

Министр. Да. Меня беспокоили и беспокоят действия наших недобросовестных соседей. Государство, вы скажете, небольшое, но ух какое сплоченное, сплошь стальное, стальной еж... Эти прохвосты неизменно подчеркивают, что находятся в самых амикальных с нами отношениях, а на самом деле только и делают что шают к нам шпионов и провокаторов. Отвратительно!

Полковник. Не трогайте больше, если вышло. А дома сделайте примочку. Возьмите борной или — еще лучше — чаю...

Министр. Нет, ничего, прошло. Все это, разумеется, кончится громовым скандалом, об этом другие министры не думают, а я буду вынужден подать в отставку.

Полковник. Не мне вам говорить, что вы незаменимы.

Министр. Вместо медовых пряников лести вы бы лучше кормили меня простым хлебом добрых советов. О, скоро одиннадцать. Кажется, никаких дел больше нет...

Полковник. Позвольте напомнить вам, что в одиннадцать у вас назначено свидание...

Министр. Не помню. Ерунда. Оставьте, пожалуйста, эти бу маги...

Полковник. Еще раз позвольте напомнить вам, что в одиннадцать явятся к вам по рекомендации генерала Берга.

Министр. Генерал Берг — старая шляпа.

Полковник. Вот его записка к вам, на которую вы изволили ответить согласием. Генерал Берг...

Министр. Генерал Берг — старый кретин.

Полковник. ...Генерал Берг посылает к вам изобретателя... желающего сделать важное сообщение... Его зовут Сальватор Вальс.

Министр. Как?

Полковник. Некто Сальватор Вальс.

Министр. Однако! Под такую фамилию хоть танцуй. Ладно. Предлагаю вам его принять вместо меня.

Полковник. Ни к чему. Я знаю этих господ, изобретающих винтик, которого не хватает у них в голове... Он не успокоится, пока не доберется до вас — через все канцелярские трупы.

Министр. Ну, вы всегда найдете отговорку. Что ж, придется и сию чашу выпить... Весьма вероятно, что он уже дожидается в приемной.

Полковник. Да, это народ нетерпеливый... Вестник, бегущий без передышки множество верст, чтобы поведать пустяк, сон, горячечную мечту...

Министр. Главное, генерал мне уже посылал таких. Помните дамочку, выдумавшую подводную спасательную лодку?

Полковник (*берется за телефон*). При подводной же. Да, я помню и то, что свою выдумку она впоследствии продала другой державе.

Министр. Ну и помните на здоровье. Дайте мне трубку. Что, пришел... как его... Сильвио... Сильвио...

Полковник. Сальватор Вальс.

Министр (*в телефон*). Да, да... Превосходно... Пускай явится. (*К полковнику*.) Мало ли что дураки покупают. Их она объегорила, а меня нет-с, вот и все. Продала... Скажите пожалуйста! Ради Бога, не двигайте так скулами, это невыносимо.

Полковник. Тут еще нужна будет ваша подпись на этих бумагах.

Министр. Я расстроен, я сердит... Завтра уже газеты поднимут шум вокруг этой шпионской истории, и придется выслушивать всякий вздор... И я недоволен официальной версией... Надобно было составить совсем по-другому...

Входит Сальватор Вальс.

Вальс (*к полковнику*). Вы — министр?

Полковник. Господин министр готов вас принять.

Вальс. Значит, не вы, а — вы?

Министр. Присаживайтесь... Нет, если вам все равно, не рядом со мной, а насупротив.

Пауза

Вальс. А! Как раз видна гора отсюда.

Министр. Итак... я имею удовольствие говорить с господином... с господином... Э, где письмо?

Полковник. Сальватор Вальс.

Вальс. Ну, знаете, это не совсем так. Случайный псевдоним, убудок фантазии. Мое настоящее имя знать вам незачем.

Министр. Странно.

Вальс. Все странно в этом мире, господин министр.

Министр. Вот как? Словом, мне генерал пишет, что у вас есть нечто мне сообщить... Открытие, насколько я понял?

Вальс. В ранней молодости я засорил глаз — с весьма неожиданным результатом. В продолжение целого месяца я все видел в ярко-розовом свете, будто гляжу сквозь цветное окно. Окулист, который, к сожалению, меня вылечил, назвал это оптическим заревом. Мне сорок лет, я холост. Вот, кажется, все, что могу без риска сообщить вам из своей биографии.

Министр. Любопытно, но, насколько я понял, вы пришли ко мне по делу.

Вальс. Формула «насколько я понял» — вы уже дважды ее повторили — равняется прямому утверждению своей правоты. Я люблю точность выражений и не терплю обиняков, этих заусениц речи.

Полковник. Позвольте вам заметить, что вы занимаете время господина министра именно обиняками. Господин министр очень занятый человек.

Вальс. А неужели вам до сих пор не ясно, отчего подступ мой столь медлителен?

Полковник. Нет, — отчего?

Вальс. Причина проста, но болтлива.

Полковник. Какая причина?

Вальс. Ваше присутствие.

Министр. Но-но-но... вы можете говорить совершенно свободно в присутствии моего секретаря.

Вальс. И все-таки я предпочитаю говорить с вами с глазу на глаз.

Полковник. Нагло-с!

Вальс. Ну, каламбурами вы меня не удивите. У меня в Каламбурге две фабрики и доходный дом.

Полковник (к министру). Прикажете удалиться?

Министр. Что ж, если господин... если этот господин ставит такое условие... (К Вальсу.) Но я вам даю ровно десять минут.

Полковник выходит.

Вальс. Отлично. Я вам их возвращу с лихвой — и, вероятно, сегодня же.

Министр. Ох, вы выражаетесь весьма замысловато. Насколько я понимаю, то есть я хочу сказать, что мне так сообщили, вы — изобретатель?

Вальс. Определение столь же приблизительно, как и мое имя.

Министр. Хорошо, пускай приблизительно. Итак, я вас слушаю.

Вальс. Да, но, кажется, не вы одни... (Быстро идет к двери, отворяет ее.)

Полковник (в дверях.) Как неприятно, я забыл свой портсигар, подарок любимой женщины. Впрочем, может быть, и не здесь... (Уходит.)

Министр. Да-да, он всегда забывает... Изложите ваше дело, прошу вас, у меня действительно нет времени.

Вальс. Изложу с удовольствием. Я — или, вернее, преданный мне человек — изобрел аппарат. Было бы уместно его окрестить так: телемор.

Министр. Телемор? Вот как.

Вальс. При помощи этого аппарата, который с виду столь же невинен, как, скажем, радиошкэф, возможно на любом расстоянии произвести взрыв невероятной силы. Ясно?

Министр. Взрыв? Так, так.

Вальс. Подчеркиваю: на любом расстоянии — за океаном, всюду. Таких взрывов можно, разумеется, произвести сколько угодно, и для подготовки каждого необходимо лишь несколько минут.

Министр. А! Так, так.

Вальс. Мой аппарат находится далеко отсюда. Его местонахождение скрыто с верностью совершенной, магической. Но если и допустить пошлый случай, что наткнутся на него, то, во-первых, никто не угадает, как нужно им пользоваться, а во-вторых, будет немедленно построен новый, с роковыми последствиями для искателей моего клада.

Министр. Ну кто же этим станет заниматься...

Вальс. Должен, однако, вас предупредить, что сам я ровно ничего не смыслю в технических материях, так что даже если бы я этого и желал, то не мог бы объяснить устройство данной машины. Она — работа моего старичка, моего родственника, изобретателя, никому не известного, но гениального, сверхгениального! Вычислить место, наставить, а затем нажать кнопку — этому я, правда, научился, но объяснить... нет, нет, не просите. Все, что я знаю, сводится к следующему смутному факту: найдены два луча, или две волны, которые при скрещении вызывают взрыв радиусом в полтора километра, кажется, полтора, во всяком случае не меньше... Необходимо только заставить их скреститься в выбранной на земном шаре точке. Вот и все.

Министр. Ну что ж, вполне достаточно... Чертежей или там объяснительной записки у вас с собой, по-видимому, не имеется?

Вальс. Конечно, нет! Что за нелепое предположение.

Министр. Я и не предполагал. Напротив. Да... А вы сами по образованию кто? Не инженер, значит?

Вальс. Я вообще крайне нетерпеливый человек, как правильно заметил ваш секретарь. Но сейчас я запасся терпением, и кое-какие запасы у меня еще остались. Повторю еще раз: моя машина способна путем повторных взрывов уничтожить, обратить в блестящую ровную пыль целый город, целую страну, целый материк.

Министр. Верю, верю... Мы с вами об этом еще как-нибудь...

Вальс. Такое орудие дает его обладателю власть над всем миром. Это так просто! Как это вы не хотите понять?

Министр. Да нет, почему же... я понимаю. Очень любопытно.

Вальс. Все, что вы можете мне ответить?

Министр. Вы не волнуйтесь... Видите ли... Простите... очень надоедливый кашель... схватил на последнем смотрю...

Входит полковник

Вальс. Вы отвечаете мне кашлем? Так?

Министр (к полковнику). Вот, голубчик, наш изобретатель рассказал тут чудеса... Я думаю, мы его попросим представить доклад. (К Вальсу.) Но это, конечно, не к спеху, мы, знаете, завалены докладами.

Полковник. Да-да, представьте доклад.

Вальс (к министру). Это ваше последнее слово?

Полковник. Десять минут уже истекли, и у господина министра еще много занятий.

Вальс. Не смейте мне говорить о времени! Временем распоряжаюсь я, и, если хотите знать, времени у вас действительно очень мало.

Министр. Ну вот, потолковали, очень был рад познакомиться, а теперь вы спокойно идите, как-нибудь еще поговорим.

Вальс. А все-таки это удивительно! Представьте себе, что к жене моряка является некто и говорит: вижу корабль вашего мужа на горизонте. Неужели она не побежит посмотреть, а попросит его зайти в среду с докладной запиской, которую даже не собирается прочесть? Или вообразите фермера, которому среди ночи пришли сказать, что у него загорелся амбар,— неужели не выскочит он в нижнем белье? И, наконец, когда полководец въезжает во взятый им город, неужели бургомистр волен гаркнуть ему, чтоб он представил на гербовой бумаге прошение, коли хочет получить ключи города?

Министр (к полковнику). Я не понимаю, что он говорит.

Полковник. Уходите, пожалуйста. Все, что вы сообщили, принято к сведению, но теперь аудиенция окончена.

Вальс. Я черпаю из последних запасов. Я говорю с вами идеально точным человеческим языком, данным нам природой для мгновенной передачи мысли. Воспользуйтесь этой возможностью понять. О, знаю, что, когда представляю вам доказательство моей силы, вы мне выкажете куда больше внимания... Но сначала я хочу позволить себе роскошь чистого слова, без наглядных пособий и предметных угроз. Прошу вас, переключите ваш разум, дайте мне доступ к нему — право же, мое изобретение стоит этого!

Министр (звонит). Мы вполне его оценили, все это весьма интересно, но у меня есть неотложное дело... Потом, попозже, я опять буду к вашим услугам.

Вальс. Отлично. В таком случае я подожду в приемной. Полагаю, что вы меня скоро пригласите опять. Дело в том...

Вошел слуга Горб.

Полковник (к Горбу). Проводите, пожалуйста, господина Вальса.

Вальс. Невежа! Дайте по крайней мере закончить фразу.

Полковник. А вы не грубите, милостивый государь!

Министр. Довольно, довольно.

Вальс. Какой у вас прекрасный вид из окна! Обратите внимание, пока не поздно. *(Уходит.)*

Министр. Каков, а?

Полковник. Что ж, самый дешевый сорт душевнобольного.

Министр. Экая гадость! Отныне буду требовать предварительного медицинского освидетельствования от посетителей. А Бергу я сейчас намылю голову.

Полковник. Я-то сразу заметил, что — сумасшедший. По одежде даже видно. И этот быстрый волчий взгляд. Знаете, я пойду посмотреть — боюсь, он наскандалит в приемной. *(Уходит.)*

Министр *(по телефону)*. Соедините меня с генералом Бергом.

Пауза.

Здравствуйте, генерал. Да, это я. Как поживаете нынче?.. Нет, я спрашиваю, как вы нынче поживаете... Да, я знаю, что люмбаго, но как — лучше? Ну, весной всегда так бывает... Кто?.. А, мне еще не докладывали... Этой ночью? Жаль! Слава Богу, что умер во сне, бедняга... Да, я пошлю моего полковника... Ну, конечно, достойна пенсии. Только этим не занимается мое министерство. Думаю, что ей дадут... Да я же говорю вам, что это не я решаю, я тут совершенно ни при чем... Ах Боже мой! Хорошо! Хорошо, постараюсь. Послушайте, генерал, я, между прочим, хотел вам сказать относительно вашего протеже, словом, про этого изобретателя, которого вы ко мне послали... В том-то и дело, что он был у меня, и оказывается, что это просто-напросто умалишенный.

Входит полковник и передает министру в машинальную руку письмо.

Понес такую дичь, что пришлось его выпроводить чуть ли не силой... Какое там открытие! Старая история о фантастической машине, которая будто бы производит взрывы на расстоянии. Скажите, пожалуйста, как он, собственно, к вам попал?.. Ну да, а к майору он попал еще через кого-нибудь. Так, по ступенькам, долез. Нет, янисколько не сержусь на вас, но он со своим бредом отнял у меня массу ценного времени, а кроме того, такой может и убить... Да-да, я это все понимаю, но все-таки, знаете, надо быть сугубо осторожным. Убедительно прошу вас не посылать мне больше таких фруктов. А вы скорей поправляйтесь... Да-да, это очень мучительно, я знаю. Ну вот... Передайте привет вашей Анабеллочке.. А, ездит верхом? Что ж, скоро будет брать призы как ее папаша в молодости... Да-да, вдовы не забуду. Будьте здоровеньки, до свидания. *(К полковнику)* Что это за письмо?

Полковник. А вы посмотрите. Не лишено интереса.

Министр. Ну, знаете, тут ничего нельзя разобрать. Что это такое? Не почерк, а какая-то волнистая линия. От кого это?

Полковник. Мне его дал для вас давешний сумасшедший.

Министр. Послушайте, это уже переходит всякие границы. Увольте.

Полковник. Я, признаться, разобрал и сейчас вам прочту. Уверю вас, что очень забавно. «Господин военный министр, если бы наш разговор вас больше заинтересовал, то намеченное мною событие явилось бы просто иллюстрацией; теперь же оно явится утращением, как, впрочем, я и предполагал. Короче говоря, я сли... сло...» Не понимаю. Ага! «...сговорился со своим помощником, что ровно в полдень он из того... отдаленнейшего пункта, где находится мой аппарат, вызовет взрыв в тридцати трех верстах от сего места, то есть, другими словами, взорвет красивую полу... полуку...» Вот пишет человек! «...красивую...»

Министр. Охота вам разбирать патологический вздор.

Полковник. «Голубую», должно быть. Да, «...красивую голубую гору, которая так ясно видна из вашего окна. Не пропустите минуты, эффект будет замечательный. Ожидающий у вас в приемной Сальватор Вальс».

Министр. Действительно... Комик!

Полковник. Вы бы посмотрели, с каким видом он мне это всучил.

Министр. Бог с ним. Посидит и уйдет. И уж, конечно, если вернется когда-нибудь опять, сказать, что нет приема.

Полковник. Ну, это разумеется.

Министр. А нашего генерала я так огрел по телефону, что, кажется, у него прошла подагра Между прочим, знаете, кто нынче ночью помер? Старик Перро, да, да. Вам придется поехать на похороны. И напомните мне завтра поговорить с Бругом насчет пенсии для вдовы. Они, оказывается, последнее время сильно нуждались, грустно, я этого даже не знал.

Полковник. Что ж, такова жизнь. Один умирает, а другой выезжает в свет. У меня лично всегда бодрое настроение, каждый день новый роман!

Министр. Ишь какой.

Полковник. Сегодня весна, теплынь. Продают на улицах мимозу.

Министр. Где вы сегодня завтракаете? Хотите у меня? Будет бифштекс с поджаренным лучком, мороженое...

Полковник. Что ж, не могу отказаться. Но извините, если не задержусь: роман в разгаре!

Министр. Извиню. Ого — без десяти двенадцать.

Полковник. Ваши отстают. У меня без двух, и я поставил их правильно, по башне.

Министр. Нет, вы ошибаетесь. Мои верны, как карманное солнышко.

Полковник. Не будем спорить, сейчас услышим, как пробыет.

Министр. Пойдемте, пойдемте, я голоден. В животе настраиваются инструменты...

Бьют часы.

Полковник. Вот. Слышите? Кто был прав?

Министр. Допускаю, что в данном случае...

Отдаленный взрыв страшной силы.

Матушки!

Полковник. Точно пороховой склад взорвался. Ай!

Министр. Что такой.. Что такой...

Полковник. Гора! Взгляните на гору! Боже мой!

Министр. Ничего не вижу, какой-то туман, пыль...

Полковник. Нет, теперь видно. Отлетела верхушка!

Министр. Не может быть!

Вбегают Горб и 1-й чиновник Герб.

1-й чиновник. Вы целы, ваше высокопревосходительство? Какой-то страшный взрыв! На улице паника. Ах, смотрите...

Министр. Вон! Убирайтесь вон! Не смейте смотреть в окно! Это военная тайна... Я... Мне... *(Лишается чувств.)*

Вбегают 2-й чиновник и швейцар министерства с булавой.

Полковник. Министру дурно. Помогите его уложить удобнее! Принесите воды, мокрое полотенце...

2-й чиновник (Бриг). Покушение! Министр ранен!

Полковник. Какое там ранен... Вы лучше взгляните на гору, на гору, на гору!

Вбегают трое людей.

1-й чиновник. Этого не может быть, это обман зрения.

Безнадёжно звонит телефон.

Швейцар министерства (Гриб). Горе, горе... Пришли времена бед великих и потрясений многих... Горе!

1-й чиновник. И как раз сегодня мои именины.

2-й чиновник. Какая гора! Где гора? Полцарства за очки!

Полковник. Ещё... Что вы только мундир мочите... Лоб! Его большой, добрый, бедный лоб... Ах, господа, какая катастрофа!

Вбегает 3-й чиновник.

3-й чиновник (Брег). Все пожарные части уже помчались. Полиция принимает меры. Отдан приказ саперам. Что случилось, отчего он лежит?

2-й чиновник. Взрывом выбило стекла, его убило осколком.

3-й чиновник. А я вам говорю, что это землетрясение. Спасайся кто может!

Полковник. Господа, прекратите эту безобразную суету. Кажется, приходит в себя.

Министр. Холодно... Зачем эти мокрые тряпки? Оставьте меня, я хочу встать. И убирайтесь все отсюда, как вы смеете толкаться у меня в кабинете, вон, вон...

Комната пустеет.

Полковник!..

Полковник. Пересядьте сюда. Успокойтесь.

Министр. Да понимаете ли вы, идиот, что случилось?! Или это какое-то кошмарное стихийное совпадение, или это он сделал!

Полковник. Успокойтесь. Сейчас все выяснится.

Министр. Во-первых, оставьте мое плечо. И скажите, чтобы прекратили этот галдеж под окнами... Я должен спокойно, спокойно подумать. Ведь если это он... Какие возможности, с ума сойти... Да где он, зовите его сюда, неужели он ушел?..

Полковник. Умоляю вас прийти в себя. В городе паника, и прекратить шум невозможно. Вероятнее всего, что произошло вулканическое извержение.

Министр. Я хочу, чтобы тутчас, тутчас был доставлен сюда этот Сильвио!

Полковник. Какой Сильвио?

Министр. Не переспрашивать! Не играть скулами! Изобра... изобразу... изобрази...

Полковник. А, вы хотите опять видеть этого горе-изобретателя? Слушаюсь. (*Уходит.*)

Министр. Собраться с мыслями... собраться с мыслями... Мой бедный рассудок, труби сбор! Произошло фантастическое событие, и я должен сделать из него фантастический вывод. Дай мне, Боже, силу и мудрость, укрепи меня и наставь, не откажи в своей спасительной... Черт, чья это нога?

Репортер (Граб) (*выползает из-под письменного стола*). Ничего, ничего, я случайно сюда попал, воспользовавшись суматохой. Итак, позвольте вас спросить: по некоторым вашим словам я заключаю, что министерство каким-то образом причастно к этой национальной катастрофе...

Министр. Я вас сейчас застрелю!

Репортер. ...или, во всяком случае, догадывается о ее причине. Если б вы согласились разъяснить...

На звонок вбегают Бриг, Брег, Герб.

Министр. Уберите его, закройте где-нибудь! Пойдите, поищите, нет ли еще под мебелью.

Находят еще одного.

2-й репортер (Гроб) *(к первому)*. Стыдно! Если сам попался, нечего было доносить.

1-й репортер. Клянусь, что не я!

2-й репортер. Ничего, ничего... Наломая тебе ребра.

Их волокут вон.

1-й репортер *(на волочке)*. Господин министр, распорядитесь, чтоб меня посадили отдельно, у меня семья, дети, жена в интересном...

Министр. Молчать! Я уверен, что тут еще спрятаны... Негодяи!.. Свяжите их, бросьте их в погреб, отрежьте им языки... Ах, не могу! Где этот человек, почему он не идет?

Входят полковник и Вальс. Вальс не торопясь на ходу читает газету.

Полковник. Вообразите, насилу отыскал! Чудак спокойно сидел в нише и читал газету.

Министр. Ну-ка подойдите ко мне. Хороши...

Вальс. Одну минуточку, дайте дочитать фельетон. Я люблю старые газеты... В них есть что-то трогательное, как, знаете, в болтливом бедняке, которого кабак давно перестал слушать.

Министр. Нет, я отказываюсь верить! Невозможно. Полковник, поддержите меня... Скажите мне, что он сумасшедший!

Полковник. Я это всегда говорил.

Министр *(к полковнику)*. Мне нравится ваша пошлая самоуверенность. *(К Вальсу.)* Ну? Взгляните в окно и объясните.

Полковник. Мне кажется, что господин Вальс даже не заметил взрыва. В городе циркулирует несколько версий...

Министр. Полковник, я вас не спрашиваю. Мне хочется знать его мнение.

Вальс *(складывает газету)*. Ну что же, вам понравился мой маленький опыт?

Министр. Неужели вы хотите, чтобы я поверил, что это сделали вы? Неужели вы хотите мне внушить? Полковник, удалитесь. Я при вас теряю нить, вы меня раздражаете.

Полковник. Люди уходят, дела остаются. *(Уходит.)*

Вальс. Какая перемена вида! Был конус, Фузияма, а теперь нечто вроде Столовой Горы. Я выбрал ее не только по признаку изящной красоты, а также потому, что она была необитаема: камни, молочай, ящерицы... Ящерицы, впрочем, погибли.

Министр. Послушайте, понимаете ли вы, что вы под арестом, что вас будут за это судить?

Вальс. За это? Эге, шаг вперед. Значит, вы уже допускаете мысль, что я могу взорвать гору?

Министр. Я ничего не допускаю. Но рассудок мой отказывается рассматривать этот... это... словом, эту катастрофу как простое совпадение. Можно предсказать затмение, но не... Нет-нет, стихийные катастрофы не происходят ровно в полдень, это противно математике, логике, теории вероятности.

Вальс. И поэтому вы заключаете, что это сделал я.

Министр. Если вы подложили динамита и ваши сообщники произвели взрыв, вас сошлют на каторгу — вот и все, что я могу заключить. Полковник! *(Звонит.)* Полковник!

Входит полковник.

Донесение какое-нибудь получено?

Полковник. Извольте.

Министр. Давайте сюда... Ну вот... «Начисто снесена верхняя половина горы, именуемой в просторечии...» ...дурацкое многословие... «или, иными словами, пирамида в 610 метров высоты и в 1415 метров ширины базы. В уцелевшем основании горы образовался кратер глубиной в 200 с лишним метров. Взорванная часть обратилась в мельчайшую пыль, осевшую на нижних склонах горы и до сих пор, как туман, стоящую над полями у ее подножья. В близлежащих селах и даже на окраине города в домах выбиты стекла, но человеческих жертв покамест не обнаружено. В городе царит сильное возбуждение, и многие покинули свои жилища, опасаясь подземных толчков...» Прекрасно.

Вальс. Как я вам уже говорил, я в технике профан, но, мне кажется, вы злоупотребляете моим невежеством, когда заявляете, что я или мои сообщники произвели втайне сложный подкоп. Кроме того, не верю, что вы, дока, действительно думаете, что такого рода взрыв может быть вызван посредством динамита.

Министр. Послушайте, полковник, допросите этого человека, я с ним не могу говорить. Он меня нарочно сбивает.

Полковник. К вашим услугам. Итак, вы утверждаете, господин Вальс, что вы не причастны к этому делу?

Министр. Наоборот, наоборот! Вы не с того бока... Наоборот же: он говорит, что...

Полковник. Ага. Итак, вы сознаетесь, господин Вальс, что данное дело не обошлось без вашего участия?

Министр. Нет, это невозможно... Что это вы, право, ставите вопрос криво! Человек утверждает, что он вызвал этот взрыв посредством своей машины.

Вальс. Эх, дети, дети... Когда вы наконец поумнеете?

Полковник. Итак, господин Вальс... Ну, о чем мне его еще спросить?

Министр. Господин Вальс, слушайте... Я старый человек... я видел в свое время смерть на поле битвы, я много испытал и много перевидал... Не скрываю от вас: то, что сейчас случилось, наполнило меня ужасом и самые фантастические мысли одолевают меня...

Вальс. А вы свой портсигар нашли, полковник?

Полковник. Не ваше дело. И вообще — позволю себе сделать маленькое предложение: вы, ваше высокопревосходительство, утомились, вы сейчас отдохнете, позавтракаете, а я этого господина отправляю в сумасшедший дом. Затем соберем ученую комиссию, и в два счета она дознается до истинной геологической причины катастрофы.

Министр (к Вальсу). Извините его... Он в самом деле дитя, и притом дитя не очень умное. Я к вам обращаюсь сейчас как старый человек, обремененный печалью и предчувствиями... Я хочу знать правду, какова бы ни была эта правда... Не скрывайте ее от меня, не обманывайте старика!

Вальс. Я вам сказал правду за час до опыта. Теперь вы убедитесь, что я не лгал. Ваш секретарь прав: успокойтесь и хорошенько все обдумайте. Уверяю вас, что, несмотря на кажущуюся жестокость моего орудия, я человек гуманный, гораздо более гуманный, чем вы даже можете вообразить. Вы говорите, что вы в жизни многое перетерпели; позвольте вам сказать, что моя жизнь состояла из таких материальных лишений, из таких нравственных мук, что теперь, когда все готово измениться, я еще чувствую за спиной стужу прошлого, как после ненастной ночи все чувствуешь злоеший холодок в утренних тнях блестящего сада. Мне жаль вас, сочувствую

рвущей боли, которую всяк испытывает, когда привычный мир, привычный уклад жизни рушится вокруг. Но план свой я обязан выполнить.

Министр. Что он говорит... Боже мой, что он говорит...

Полковник. Мое мнение вам известно. Безумец пользуется понятным волнением, которое в вас возбудило бедственное озорство природы. Представляю себе, что делается в городе, улицы запружены, я вряд ли попаду на свидание...

Министр. Послушайте меня... я старый человек... У меня...

Из шкафа выходит Сон, журналист. Его может играть женщина.

Сон. Не могу больше слушать эту канитель. Да-да, господин министр, сознаю, что мое появление не совсем прилично, но не буду вам напоминать, сколько я исполнил ваших секретных поручений в газетной области и как крепко умею держать красный язык за белыми зубами. Коллега Вальс, моя фамилия Сон, не путайте меня с фельетонистом Зоном, это совсем другой коленкор. Руку!

Полковник. Бесстыдник! Вывести его?

Министр. Мне все равно. Оставьте... Душа в смятении. Я сейчас рад всякому советнику.

Вальс. Вот вам моя рука. Только — почему вы меня назвали коллегой? Я в газетах никогда не писал, а свои юношеские стихи я сжег.

Сон. О, я употребил этот термин в более глубоком смысле. Я чую в вас родственную душу — энергию, находчивость, жар приключений... Не сомневаюсь, что когда-нибудь потом, на досуге, вы мне объясните, как вы угадали точное время этого интересного явления, столь изменившего наш прославленный пейзаж... а сейчас я, конечно, готов поверить, что вы изобрели соответствующую машину. Господин министр, мое чутье подсказывает мне, что этот человек не безумец.

Министр (к полковнику). Видите, не я один так думаю.

Полковник. Пока его не осмотрит врач, я придерживаюсь своего первоначального мнения.

Сон. Вот и чудно. Каждый пускай придерживается своего мнения, и будем играть.

Вальс. Да, будем играть. Полковник меня считает параноиком, министр — едва ли не бесом, а вы — шарлатаном. Я, разумеется, остаюсь при мнении особом.

Министр. Видите ли, Сон... в каком мы странном положении...

Сон. Дорогой министр, в жизни ничего странного не бывает. Вы стоите перед известным фактом, и этот факт нужно принять или же расписаться в своей умственной некомпетентии. Предлагаю следующее: пускай будут произведены еще испытания. Ведь это вы сможете организовать, господин Вальс?

Вальс. Да, придется. По-видимому, почва еще недостаточно подготовлена.

Сон. Ну, с почвой-то вы обращаетесь довольно своеобразно. (К министру.) Что же, как вы относитесь к моему предложению?

Министр. Я думаю. Я думаю.

Сон. Лучше не думайте, будет только хуже.

Полковник (к Вальсу). Нет, пожалуйста, отодвиньтесь. Я хочу быть рядом с моим начальником.

Вальс. Мне здесь удобнее.

Полковник. А я вам говорю...

Сон. Господа, не ссорьтесь. (К министру.) Ну что, додумали?

Министр. Ответственность колоссальна... решимости никакой... возможность оказаться в смешном положении — невыносима... президент выпустит на меня общественное мнение... меня разорвут...

Вальс. Это теперь совершенно неважно. Я спрашиваю вас, ждете ли вы еще демонстраций или вам достаточно сегодняшней? Вот в чем вопрос.

Полковник. Я не позволяю так разговаривать с моим министром...

Сон. Господа, все мы немножко взволнованы, и потому некоторая резкость речи прощительна. (К министру.) Кончайте думать, пожалуйста.

Министр. А посоветоваться не с кем... Боязно эту тайну разгласить... Боязно...

Сон. Это так просто: составьте комиссию из верных людей, и будем играть. Полковник, оставьте этот стул, право же, не до мелочей...

Полковник. Я не хочу, чтобы он там сидел.

Сон. Оставьте, оставьте. Итак, господин министр?

Министр. Не знаю... Не умею...

Вальс. Он слишком долго думает. Противно. Пойдемте, Сон. Вы мне пригодитесь.

Министр. А! Вас удивляет мое состояние? Так разрешите мне вам сказать, что я понимаю кое-что, чего не понимаете вы. Я человек воображения, и мне до того ясно представилось все, что наша страна может извлечь... А с другой стороны... Хорошо, я рискну! Да, будут произведены еще испытания.

Сон. Слова исторические, я рад и горд, что их слышу. Да, мне кажется, что испытания должны быть сделаны и что наш изобретатель блестяще выйдет из положения. Не правда ли, Вальс?.. Конечно, вам дадут время для подготовки, будут с вами советоваться...

Вальс. Все, что мне нужно, это — возможность отдать распоряжение по радио за полчаса до опыта.

Сон. Да, конечно, конечно... Ну вот, я очень доволен, что это дело уладил.

Министр. Но если из этих опытов ничего не выйдет, то две вещи погибнут невозвратно: моя репутация и жизнь этого господина.

Вальс. Замечу только, что логика не терпит того смешения опасения и угрозы, которое вы делаете.

Полковник. Посмотрим, посмотрим! Интересно, какое у вас будет личико, когда эксперты выяснят причину распада горы. А как она была прелестна! По вечерам ее лиловатый конус на фоне золотого неба возбуждал не раз во мне и в минутной подруге чудные мысли о ничтожестве человека, о величии и покое матери-природы. Я плакал.

Сон. Матери-природе господин Вальс подставил подножку. (К министру.) Итак — конкретно: что дальше?

Министр. Дальше... Да вот — сперва три-четыре испытания. Надо будет собрать положительных людей и выбрать пункты.

Вальс. И сделать это как можно скорее.

Министр. И сделать это как можно скорее... То есть позволите, почему такая спешка? Или вы думаете этим заинтересовать... кого-нибудь другого?

Вальс. Мое нетерпение вам должно быть понятно: чек выписан и предъявлен к уплате. Нет смысла задерживать ее.

Министр. Голубчик мой, только не говорите притчами — говорите так, чтобы вас понимали люди, люди притом усталые и нервные.

Сон. Спокойно, спокойно. Теперь мы все решили и можем разойтись по домам.

Полковник. Мы даже не знаем адреса лечебницы, откуда он сбежал.

Вальс. Я стою в гостинице... Вот — здесь указано.

С о н. Да-да, мы вам верим. Значит, так. Не откладывайте же, господин министр. Соберите комиссию, и хоть завтра начнем. А вы, Вальс, не кипятитесь. Я уж послежу, чтобы не было волокиты.

В а л ь с. Я подожду три дня, не больше.

С о н. Сойдемся на четырех. Знаете, все это почтенные старцы, поднять их нелегко...

М и н и с т р. Но одно условие я должен поставить, господа. Все, что здесь говорилось, — строжайшая военная тайна, так что ни звука не должно дойти до публики.

С о н. Так и быть. Моя газета будет молчать, во всяком случае до кануна разоблачений в органах конкурентов.

М и н и с т р. Как вы это нехорошо сказали... Какой вы дрянной человек... Слушайте, полковник, а эти газетчики, которых здесь выловили...

П о л к о в н и к. Сидят взаперти. Но смею заметить, что долго держать их невозможно. Это вообще против закона. Будет запрос в парламент, а вы сами знаете, как это скучно.

М и н и с т р. Ничего, я поговорю с президентом. Заставим молчать негодяев.

В а л ь с. Странно, этот географический атлас, именно этот, был у меня когда-то в школе. И та же клякса на Корсике.

П о л к о в н и к. Только это не Корсика, а Сардиния.

В а л ь с. Значит, надпись неправильна.

П о л к о в н и к. Ваше высокопревосходительство, скажите, чтобы он меня не дразнил.

С о н. Тише, тише. Я думаю, Вальс, что теперь все улажено и мы можем ретироваться.

М и н и с т р. Только помните о тайне, умоляю вас! Пустите у себя версию о землетрясении, о вулкане, о чем хотите, — но только чтобы ни звука, господа, ни звука...

Входят генерал Берг и его дочка Анабелла.

Г е н е р а л. Мы без доклада, пустяки, мы тут свои человеки, грах, грах, грах. *(Такой смех.)*

М и н и с т р. Генерал, я сейчас не могу, я занят...

Г е н е р а л Берг. А, вот он, виновник торжества, грах, грах, грах. Ну что, дорогой министр, мой протеже не так уж безумен, ась?

М и н и с т р. Ради Бога, генерал, не громыхайте на все министерство, мы с вами потом потолкуем...

Г е н е р а л Берг. Каков взрыв! Великолепно по простоте и силе! Как ножом срезало этот пломбир. А вы мне говорите: лунатик. Вот вам и лунатик.

М и н и с т р. Почему вы думаете, что это он? Мы еще ничего не знаем...

Г е н е р а л Берг. А кто же, конечно он. Экий молодчага! *(К Вальсу.)* Вы мне должны показать свой аппарат.

В а л ь с. Да, вот этого не доставало.

Г е н е р а л Берг. И притом петух!.. Нет, это замечательно... Это даже художественно. Я сразу понял, что в нем что-то есть. *(К министру.)* А скажите, вы не забыли распорядиться насчет двоицы? Я, между прочим, забыл добавить, что...

М и н и с т р. Потом, потом... Господа, вы меня извините, я ухожу, я истомился, пожалейте меня!

А н а б е л л а *(подойдя к Вальсу)*. Значит, это действительно вы разрушили гору?

В а л ь с. Да, я так приказал.

А н а б е л л а. А известно ли вам, что там некогда жил колдун и белая-белая серна?

З а н а в е с.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

За длинным столом сидят военный министр, полковник и одиннадцать старых генералов — Берг, Бриг, Брег, Герб, Гроб, Граб, Гrieb, Горб, Груб, Бург, Бруг (последние трое представлены куклами, мало чем отличающимися от остальных).

Министр. Ну, кажется, все в сборе.

Гроб. А где Бриг? Брига еще нет.

Герб. Как нет? Да вот он.

Берг. Грах, грах, грах.

Граб (к Бригу). Что это вас, генерал, не замечают? Вы ведь не такой уж маленький.

Гроб. Виноват, я вас как-то проглядел. Да, значит — все.

Министр. Хорошо... Начнем.

Берг (к Бригу). Быть богатым!

Брег (к Гробу). Вы, вероятно, его не заметили оттого, что он близорук.

Все смеются.

Бриг. Да, это мое несчастье.

Гроб. Нет, я просто не видел, как генерал вошел. Между прочим, знаете что, господа: нас ведь тринадцать!

Министр. Изобретателя мы можем пригласить только по окончании прений, а президент раньше пяти не будет. Это неприятно, что тринадцать...

Полковник. Я могу удалиться, если кто-нибудь согласится быть секретарем вместо меня.

Министр. Нет, зачем же... Только это неприятно...

Полковник. Пожалуйста, я уйду.

Министр. Да что вы обижаетесь на всякое слово! Скучно, ей-Богу.

Граб. Можно пригласить этого моего милого инженера, знаете, этого блондина с бакенбардами, — он ведь все равно в курсе?

Герб. Предложение незаконное. Я протестую.

Министр. Скажите, пожалуйста, что это за сундук в углу?

Полковник. Ах, это из архива. В нем карты.

Берг. Игральные или генеральные?

Берг. Грах, грах, грах.

Полковник. Географические, конечно. Я велел принести, думая, что пригодятся. Если желаете, можно убрать.

Министр. Откройте-ка этот сундук, дорогой полковник.

Из сундука выходит Сон.

Я так и думал.

Сон. Куда прикажете сесть?

Гроб. Нас все-таки тринадцать! Раз, два, три... (Считает.) Вот оказия!

Бриг. Вы опять меня забыли.

Гроб. Да, правильно.

Министр. Ну вот, теперь приступим. Только помните, Сон, вы голоса не имеете, сидите и молчите.

Герб. Я протестую. Лишних людей не должно быть.

Берг. Полноте, генерал. Это так, фикция. Ведь это — Сон. Нас столько же, сколько и было.

Герб. В таком случае я снимаю свой протест.

Министр. Господа! Сейчас мы заслушаем доклад относительно тех трех испытаний, которые произвел... произвел... Сальватор Вальс. Это как будто формальность, ибо вы все так или иначе уже знаете их результаты; но вместе с тем это есть формальность необходимая как база нашего дебата. Попрошу вас сосредоточить все свое внимание. Мы сегодня же должны принять ответственное и важное

решение, все значение которого трудно умалить. Господа, попрошу вас насторожиться — и по возможности, генерал Гриб, не рисовать во время доклада.

Гриб. Это помогает мне слушать, уверяю вас.

Министр. Нет, вы всегда рисуете какие-то сложные вещи. И, смотрите, даже тень штрихуете... Это противно.

Граб (к Грибу). Покажите-ка. Ну, если это автомобиль, то не очень похоже.

Министр. Словом, прошу вас прекратить. Заседание открыто, и мы сейчас заслушаем доклад. У кого доклад? Кажется, у вас, Граб?

Граб. Нет, он у генерала Гроба.

Гроб. Нет, извините, не у меня. Нечего фискалить.

Министр. У кого же, господа? Ведь вы его, Граб, писали.

Граб. Составляли сообща, а затем генерал Герб передал дальше.

Министр. Кому вы его передали, Герб?

Герб. Интересно знать, почему генерал Граб сваливает на других? Доклада я не видал. Но случайно знаю, что он у генерала Брега.

Брег. Какой доклад?

Бриг. Позвольте мне сказать. Доклад переписывал Груб, а свержал Бург.

Министр (к Грубу и Бургу). Значит, он у вас?

Те, понятно, молчат.

Берг. Плыл да сбыл. Грах, грах, грах.

Министр. Хорошо, мы сделаем иначе. Попрошу того, у кого доклад, поднять руку... Никто руки не поднимает? Прекрасно. Значит, доклад потерян, если был составлен вообще.

Герб. Я вношу по этому поводу предложение: составить доклад снова и отложить заседание на другой день.

Министр. Вы не знаете, что вы говорите. Стыдно! Гадко! Послушайте, полковник, как это такая вещь могла произойти? Что это такое?

Полковник. Я абсолютно ни при чем.

Министр. А я вам говорю: при чем. И знаете почему? С самого начала вы заняли такую позицию, что, мол, это все не ваше дело, что... что... мы занимаемся пустяками, что... этот изобретатель просто сумасшедший... ходите надутый — ну вот и получилось, можете радоваться.

Полковник. Ваше высокопревосходительство, служебный долг свой я обязан исполнять и я его исполняю по мере своих слабых сил. Но личное свое мнение я изменить не могу.

Гроб. Присоединяюсь к предложению Герба. Дорогой министр, отложим все это дело — ну зачем, право, терять время даром?.. Соберемся на следующей неделе, свеженькие, право же.

Министр. Прекрасно. Тогда я немедленно подаю в отставку. Кто за выказанное предложение? Кто за — встать... Никто не встает? Предложение отклонено. Теперь предложение сделаю я. Попрошу вас, генерал Герб, доклад сделать устно.

Герб. Почему, собственно, я? Мы все писали.

Министр. Прекрасно. Заседание закрыто, и я немедленно прошу президента найти мне заместителя.

Герб. Погодите, погодите... Что это вы так... Вот вы генерала Горба не спросили, — почему вы его не спрашиваете?

Горб встает, он немой, но пытается что-то сказать знаками.

Министр. К сожалению, я не понимаю языка немых. Лечись бы, если вы немой. Гадко! Есть профессор, который научает... хотя бы мычанию.

Голоса. Расскажите! Ах, расскажите! Очень просим! Это интересно!

Министр. Молчать! Единственный выход, который я вижу из этого безобразного положения...

Сон. Могу я вставить словечко?

Герб. Это незаконно.

Сон. Я вставлю словечко, как денежку в автомат: все сразу движется, вот увидите!

Министр. Говорите. Мне все равно. Безобразия!

Сон. Доклад сделаю я. Ведь я так же хорошо осведомлен, как и все вы, если не лучше. Принято?

Герб. Я снимаю свой протест.

Министр. Ну что ж... Господа, я думаю, что мы Сона попросим... В конце концов это формальность, мы все знаем содержание доклада, но зато он придаст ему сжатую и точную форму. Я думаю, что голосовать не стоит. Все согласны? Сон, мы вас слушаем.

Сон. Я буду краток. Третьего дня Сальватору Вальсу было предложено выполнить три задания: во-первых, взорвать скалистый остров, находящийся в двухстах километрах от пустынного берега, — вы меня извините, господа, я сознательно никаких названий мест не упоминаю, дабы не отягчать своего доклада, а вы все равно знаете, о каких местах идет речь.

Голоса. Да-да, не нужно... Это подробности... Мелкий шрифт!..

Сон. Следующие намеченные вами пункты были: один — посреди обширного, непроходимого болота, другой — в песчаной пустыне. Точное местоположение этих пунктов было сообщено Вальсу ровно в шесть часов утра, и он тотчас удалился, сказав, что снесется со своим компаньоном. Наблюдение показало, что он действительно отдал распоряжения по радио, зашифрованные им, дабы не испугать случайного слуха. Заблаговременно были высланы самолеты, которые на приличном расстоянии наблюдали за результатами. В половине седьмого, то есть ровно через полчаса, был начисто взорван намеченный остров. Ровно в семь произошел взрыв в болоте, а еще через полчаса ахнуло в пустыне.

Сенсация.

Голоса. Замечательно! Это замечательно. Вы подумайте! Совершенно неслыханная история!

Сон. Не обошлось, однако, без курьезов, и при этом довольно досадных. Среди самолетов, наблюдавших за уничтожением острова, затесался какой-то кретин на частной машине, совершавший рекордный рейд. Взрыв в болоте каким-то образом вызвал немедленное обмеление реки, обслуживающей главный город области. Наконец, третье, и самое досадное: через несколько часов после взрыва известный путешественник — фамилию вы узнаете из газет — набрал на колоссальной воронку посреди пустыни и, как видно, весьма ею заинтересовался.

Голоса. Ну, это, знаете, действительно интересно. Еще бы не заинтересоваться! Вот так штука!

Министр. Должен ли я понять из ваших слов, что сегодня же пронесется по городу весть об этих трех... явлениях?

Сон. Увы, это неизбежно, и надо будет придумать что-нибудь погуще версии о землетрясении, пущенной насчет нашей обезглавленной горы. Тем более что публика этой версии не поверила.

Министр. Да-да, мы придумаем. Я не знаю... Голова идет кругом... Это мы потом, потом обсудим.

Бриг. У меня есть вопрос: не следует ли искать причины интересных явлений, которые так живо описал докладчик, не следует ли, говорю, искать их причины в перенагревании почвы в результате нынешней необычно жаркой весны?

Министр. Я не понимаю, что вы говорите.

С о н. Ничего, ничего, генерал просто так, знаете, научные гипотезы... Позвольте, однако, досказать. Все вы, господа, участвовали в выборе пунктов и все вы слышали донесения с мест. Таким образом, мы убедились, что: primo, Сальватор Вальс выполнил задание, и, секундо, выполнил его в такой срок и в таких условиях, что всякую идею массового общности следует с негодованием отмести.

Г о л о с а. Да! Разумеется! Это само собой понятно! Ясно!

С о н. При этом я позволю себе обратить ваше внимание на следующее. Не зная, где находится аппарат Вальса, мы, конечно, не можем судить о том, прав ли Вальс в своем утверждении, что этот телемор, как он его ласково обзывает, бьет на любое расстояние. Однако тот факт, что второй предложенный пункт находился от первого в семистах километрах, доказывает, что диапазон боевой мощи аппарата превосходит самые смелые мечты!

М и н и с т р. Вы кончили, Сон?

С о н. В общих чертах это, кажется, все.

М и н и с т р. Кто-нибудь желает высказаться по существу дела? Никто? Я вижу, полковник, на вашем лице улыбку.

П о л к о в н и к. Вы знаете мое мнение, господин министр. Покуда душевное здоровье этого Вальса не будет засвидетельствовано врачами, я не могу к нему относиться серьезно.

Г е р б. Присоединяюсь. Предлагаю все отложить до врачебного осмотра.

Г р о б. Присоединяюсь и я. Прежде всего мы должны знать, с кем мы имеем дело.

М и н и с т р. Прекрасно. Заседание закрыто. Не сомневаюсь, что президент сегодня же примет мою отставку.

Г е р б. Беру свое предложение назад.

Г р о б. Присоединяюсь.

Г е р б. Откройте опять заседание.

Г о л о с а. Просим, просим!

М и н и с т р. Предупреждаю, что, если снова будет высказан хотя бы намек на ненормальность изобретателя, я надеваю фуражку и ухожу. Заседание открыто. Беру слово. Итак, господа, испытания были произведены, и они дали результат более чем положительный. (К Грибу.) Вы хотите что-то сказать, генерал?

Г р и б. Нет, нет, я ищущий свой карандашик.

М и н и с т р. Более чем положительный. Изобретатель доказал, что его машина обладает фантастической силой. Другими словами, государство, которое пользовалось бы таким орудием уничтожения, заняло бы на земле положение совершенно особое. В нынешний момент, ввиду козней наших драчливых соседей, такое положение исключительно заманчиво. Не мобилизуя ни одного солдата, мы были бы способны продиктовать свою волю всему миру. Вот тот единственный вывод, который мы обязаны сделать, а потому теперь же, не откладывая, я хочу вам поставить, господа, вопрос, на который требую вдумчивого и определенного ответа: каков фактически должен быть наш следующий шаг? Бриг, попрошу вас.

Б р и г. Наш следующий шаг, наш вдумчивый и ответственный шаг должен быть... должен быть.. он должен быть определенным.

М и н и с т р. Все?

Б р и г. Я, собственно... Да, это все.

М и н и с т р. Садитесь. Пожалуйста, Гроб.

Г р о б. Я?

М и н и с т р. Да-да, вы. Ну, пожалуйста.

Г р о б. Я сегодня не подготовился... Хотелось бы, знаете, поближе изучить... Я был болен... легкий склероз...

М и н и с т р. В таком случае нужно было представить свидетельство от ваших детей. Плохо! Садитесь. Гриб!

Г р и б. Извините, я не слышал вопроса.
 М и н и с т р. Неудивительно, что не слышали. Я повторю. Каков,
 по вашему мнению... Вы, Бруг, кажется, поднимаете руку. Нет?
 Очень жаль. Садитесь, Гриб. Плохо! Герб, пожалуйста.

Г е р б.

К Душе

Как ты, душа, нетерпелива,
 Как бурно просишься домой —
 Вон из построенной на диво,
 Но тесной клетки костяной!
 Пойми же, мне твой дом неведом,
 Мне и пути не разглядеть,—
 И можно ль за тобою следом
 С такой добычею лететь!

М и н и с т р. Вы что — в своем уме?

Г е р б. Стихотворение Турвальского. Было задано.

М и н и с т р. Молчать!

Б р е г. Можно мне? Я знаю.

М и н и с т р. Стыдно, господа. Вот смотрите, самый старый и
 дряхлый из вас знает, а вы — ни бельмеса. Стыдно! Пожалуйста,
 Брег.

Б р е г. Наш следующий шаг должен заключаться в следующем:
 мы должны просить его (*указывает на Сона*) изложить все это пись-
 менно и представить нам полное описание своего мухомора.

М и н и с т р. Очень хорошо! Только, к сожалению, генерал, речь
 идет не об этом господине. Можете сесть. Вот, полковник, полюбуи-
 тесь, вот результат вашего настроения. Никто ничего не знает и не
 хочет знать, а между тем мы стоим перед проблемой государствен-
 ной важности, от разрешения коей зависит все наше будущее. Если
 вы не хотите работать, господа, то незачем приходить, сидите себе
 на солнышке да чмокайте губами, это будет самое лучшее.

Мертвое молчание.

Может быть, вы ответите, Сон?

С о н. Ответ кристально ясен.

М и н и с т р. Пожалуйста.

С о н. Следует немедленно купить у Сальватора Вальса его за-
 мечательную штуку.

М и н и с т р. Ну вот. Это правильно. Новичок, а сразу сказал,
 между тем как другие, старые, сидят балдами. Да, господа, надо ку-
 пить! Все согласны?

Г о л о с а. Купить, купить!.. Отчего же, можно... Конечно, ку-
 пить...

Б е р г. Все куплю, сказал мулат. Грах, грах, грах.

М и н и с т р. Итак, принято. Теперь мы должны поговорить о
 цене. Какую цифру мы можем назначить?

Г е р б. Девятьсот.

Г р о б. Девятьсот двадцать.

Г р а б. Тысяча.

Г е р б. Две тысячи.

Пауза.

М и н и с т р. Итак, была названа сумма...—

Г р о б. Две тысячи двести.

Г е р б. Три тысячи.

М и н и с т р. Названа сумма —

Г р о б. Три тысячи двести.

Пауза.

М и н и с т р. ...сумма в три тысячи двести...

Г е р б. Десять тысяч.

Г р о б. Десять тысяч двести.

Г е р б. Двадцать тысяч.

Б р е г. А я говорю — миллион.

Сенсация.

М и н и с т р. Я думаю, мы остановимся на этой цифре.

Г о л о с а. Нет, зачем же!.. Было интересно!.. Давайте еще!..

М и н и с т р. Прекратить шум! Миллион — та цифра, до которой мы можем дойти, если он станет торговаться, а предложим мы ему, скажем, две тысячи.

Г р о б. Две тысячи двести.

М и н и с т р. Прения по этому вопросу закончены, генерал.

С о н. И пора пригласить продавца.

М и н и с т р. Полковник, прошу вас, позовите его.

П о л к о в н и к. Умолчу о том, чего мне это стоит: я исполняю свой долг.

М и н и с т р. Ну, знаете, в таком состоянии вам лучше не ходить. Сидите, сидите, ничего, мы еще об этом с вами поговорим, будьте покойны... Сон, голубчик, сбегайте за ним. Он ожидает, если не ошибаюсь, в Зале Зеркал. Вы знаете, как пройти?

Полковник, будируя, отошел к окну.

С о н. Еще бы не знать. (*Уходит.*)

М и н и с т р. Прерываю заседание на пять минут.

Г р а б. Ох, ох, ох, отсидел ногу...

Г е р б. Да позвольте, позвольте, это у вас протез.

Г р а б. А, вот в чем дело.

Б р и г (*к Бергу*). Что же это, генерал, вы свою дочку держите в такой строгости? Мои говорят, что вы ее не пускаете вдвоем с товаркой в театр?

Б е р г. Не пушаю, верно.

М и н и с т р. Ах, если бы вы знали, господа, как у меня башка трещит... Третью ночь не сплю...

Г р о б. Как вы думаете, угощения не предвидится?

Г е р б. Прошлый раз напильсь, вот и не дают.

Г р о б. Это поклеп... Я никогда в жизни —

П о л к о в н и к (*у окна*). Боже мой, что делается на улице! Шествия, плакаты, крики... Я сейчас открою дверь на балкон.

Все высыпают на балкон, кроме Бурга, Груба, Бруга и Гриба, который все рисует.

Входят Сон и Вальс.

С о н. Где же остальные? А, видно, заинтересовались демонстрацией. Садитесь, будьте как дома.

В а л ь с. Чем больше я наблюдаю вас, тем яснее вижу, что вы можете мне весьма пригодиться.

С о н. Всегда готов к услугам.

В а л ь с. Но только я вас заранее прошу оставить заливчатский, подмигивающий тон, в котором вы позволяете себе со мной разговаривать. Моим сообщником вы не были и не будете никогда, а если желаете быть у меня на побегушках, то и держитесь как подчиненный, а не как подвыпивший заговорщик.

С о н. Все будет зависеть от количества знаков благодарности, которые вы согласитесь мне уделять ежемесячно. Видите, я уже выражаюсь вашим слогом.

В а л ь с. Благодарность? Первый раз слышу это слово.

С о н. Вы сейчас удостоверитесь сами, что я хорошо поработал на вас. Старцы вам сделают небезынтересное предложение, только не торопитесь. А без меня они бы не решились ничего.

В а л ь с. Я и говорю, что ваше проворство мне пригодится. Но, разумеется, слуг у меня будет завтра сколько угодно. Вы подвернулись до срока — ваше счастье, беру вас в скороходы.

С о н. Заметьте, что я еще не знаю в точности правил вашей игры, я только следую им ощупью, по природной интуиции.

В а л ь с. В моей игре только одно правило: любовь к человечеству.

С о н. Ишь куда хватили! Но это непоследовательно: меня вы лишаете мелких прав Лепорелло, а сами метите в мировые Дон Жуаны.

В а л ь с. Я ни минуты не думаю, что вы способны понять мои замыслы. Мне надоело ждать, кликните их, пора покончить со старым миром.

С о н. Послушайте, Вальс, мне ужасно все-таки любопытно... Мы оба отлично друг друга понимаем, так что незачем держать фасон. Скажите мне, как вы это делаете?

В а л ь с. Что делаю?

С о н. Что, что... Эти взрывы, конечно.

В а л ь с. Не понимаю: вы хотите знать устройство моего аппарата?

С о н. Да бросьте, Вальс. Оставим аппарат в покое, это вы им объясняйте, а не мне. Впрочем, мне даже не самый взрыв интересен — подложить мину всякий может, — а мне интересно, как это вы угадываете наперед место.

В а л ь с. Зачем мне угадывать?

С о н. Да я неправильно выразился. Конечно, наперед вы не можете знать, какое вам место укажут, но вы можете — вот как фокусник подсовывает скользком карту... Словом, если у вас есть тут помощник, то не так трудно внушить нашим экспертам, какой пункт назначить для взрыва, а там уже все подготовлено... Так, что ли?

В а л ь с. Дурацкая процедура.

С о н. О, я знаю, я знаю: все это на самом деле сложнее и тоньше. Вы игрок замечательный. Но я так, для примера... Ведь я сам, знаете, ловил ваши темные слова на лету, старался угадать ваши намерения... и ведь, например, остров подсказал я — мне казалось, что вы его мельком упомянули. А?

В а л ь с. Вздор.

С о н. Вальс, миленький, ну будьте откровенны, ну расстегните хоть одну пуговку и скажите мне. Я обещаю, что буду ваш до гроба.

В а л ь с. Куш.

С о н. Хорошо, но когда вы мне скажете — скоро? Завтра?

В а л ь с. Позовите-ка этих господ, пожалуйста.

С о н. Крепкий орешек!

Он приказ исполняет. Все возвращаются с балкона, делясь впечатлениями.

Г р а б. Весьма живописная манифестация. Особенно в такую великолепную погоду.

Б р е г. А последний плакат вы прочли?

Г р о б. Какой? «Мы желаем знать правду!» — это?

Б р е г. Нет-нет, последний: «Сегодня взрывают пустыни, завтра взорвут нас». Что за притча? По какому поводу? Выборы?

М и н и с т р. Все это до крайности прискорбно. Как это не уметь соблазнить военную тайну!

Б е р г. А мне больше всего понравилось: «Долой наймитов динамита!» — просто и сильно.

Г е р б (толкая знаки Горба). Горб говорит, что такого волнения не было со времен убийства короля.

Б р и г. Мое несчастье, что я близорук...

М и н и с т р. Скучно, обидно. Придется завербовать ученых... пускай как-нибудь объяснят... (Заметив Вальса.) А, вот он. Здравствуйте. Присаживайтесь. Господа, занимайте места. Заседание продолжается. Итак... Полковник!

П о л к о в н и к. Чего изволите?

Министр. У вас там под рукой — нет, не то — записка с фамилией... Спасибо. Итак... господин Сальватор Вальс, комиссия под моим председательством после усиленных занятий досконально рассмотрела и обсудила результаты ваших опытов. После зрелого и всестороннего изучения мы пришли к заключению, что ваше открытие представляет для нас некоторый интерес. Другими словами, мы были бы склонны вступить с вами в переговоры относительно возможности приобретения вашего изобретения.

Берг. Или изобретения вашего приобретения, грах, грах, грах.

Министр. Неуместная шутка. Прекратите смех! Граб, перестаньте шушукаться с соседом. Что это за фырканье? Как вы себя ведете? Я продолжаю... Мы склонны приобрести... или, вернее, купить ваше изобретение. Правда, в данное время казна у нас не богата, но все-таки льщу себя надеждой, что сумма, которую мы можем вам предложить, покажется вам вознаграждением более чем щедрым. Мы предлагаем вам две тысячи.

Вальс. Я не совсем уловил — за что вы хотите мне платить? За эти опыты?

Министр. Неудивительно, что не уловили, — обстановка невозможная. Господа, я отказываюсь говорить, если вы будете продолжать шептаться и хихикать. В чем дело? Что у вас там под столом? Гриб! Гроб!

Гриб. Мы ничего не делаем, честное слово.

Министр. Тогда сидите смирно. Я говорю не об опытах, я вам предлагаю продать нам ваш аппарат за две тысячи. Разумеется, транзакция осуществится только в тот момент, когда вы нам его покажете.

Вальс. Какое очаровательное недоразумение! Вы хотите купить мой аппарат? За две тысячи?

Министр. Да. Полагаю, впрочем, что мы можем — в виде большого исключения — повисить плату до трех.

Вальс. Сон, они хотят купить мой телемор! Сон, слышите?

Сон. Торгуйтесь, торгуйтесь! Козырь у вас.

Министр. Мне кажется, что три — ну, скажем, четыре — тысячи составят сумму, значительно превосходящую себестоимость вашей машины. Как видите, мы идем вам навстречу.

Вальс. Вы не идете, вы мчитесь. Но, увы, мне приходится пресечь ваш бег. Вы увлеклись ерундой. Я не продаю свой аппарат.

Легкая пауза.

Министр. То есть как это так — не продаете?

Вальс. Конечно, не продаю! Что за дикая идея.

Сон. Маленький совет большого дельца: Вальс, не нажимайте слишком педаль.

Министр. Мой дорогой, вы меня, вероятно, не поняли. Я готов, я вполне готов предложить вам другую цену, если эта кажется вам недостаточной, хотя мне лично... хотя я... Словом, хотите десять тысяч?

Вальс. Бросьте. Пора перейти к делу.

Министр. Да я и перехожу к делу! Ну, скажем, двадцать, скажем, пятьдесят... Господа, поддержите меня, что вы сидите дубинами?

Брег. Миллион.

Министр. Хорошо: миллион. Это... это фантастическая цена, придется ввести новые налоги, но все равно иду на это: миллион.

Сон. Вальс, это большие деньги.

Вальс. А я вам говорю, что я ничего никому продавать не намерен.

Сон. Ну и выдержка у этого человека!

Министр. Правильно ли я понял, что вы и за миллион не соглашаетесь продать нам машину?

Вальс. Правильно.

Министр. И что вы сами не назначите своей цены? Заметьте, что мы готовы рассмотреть в ся к у ю вашу цену.

Сон. Стоп, Вальс. Теперь пора.

Вальс. Довольно! Я сюда пришел не для этого. Господа, у меня для вас нет товара.

Министр. Это ваше последнее слово?

Вальс. По этому вопросу — да. Сейчас мы будем говорить совсем о другом предмете.

Министр. Вы правы. Вы совершенно правы, господин изобретатель. Мы действительно будем сейчас говорить о другом. Вы изволили крикнуть «довольно». Вот я тоже хочу сказать «довольно»! Раз вы не желаете уступить нам свое изобретение, то я немедленно арестую вас и вы будете сидеть за семью замками, покуда не согласитесь на сделку. Довольно, господин изобретатель! Вы увидите... вы... я вас заставлю, или вы сгниете в каменном мешке... и меня все в этом поддержат, ибо то, чем вы владеете, предмет слишком опасный, чтобы находиться в частных руках. Довольно хитрить! Вы что думаете, мы дураки? Думаете, что завтра пойдете торговаться с нашими соседями? Как бы не так! Или вы немедленно согласитесь, или я зову стражу.

Вальс. Это, кажется, уже второй раз, что вы грозите лишить меня свободы, как будто меня можно лишить свободы.

Министр. Вы арестованы! Вас больше нет! Полковник, распорядитесь...

Полковник. О, с удовольствием: давно пора!

Голоса. Да, пора... Рубите его... В окно его... Четвертовать... Правильно!

Сон. Одну минуточку, генерал: не будем терять голову — какова бы она ни была, это все-таки голова, терять не нужно, дорога как память. Господа и вы, любезный Вальс, — я уверен, что эти меры воздействия излишни. Дайте Вальсу спокойно обдумать ваше предложение, то есть один миллион до доставки машины и один миллион — после, и я убежден, что все кончится абсолютно мирно. Не правда ли, Вальс?

Вальс. Я устал повторять, что аппарат я не продаю.

Министр. Полковник, живо! Убрать его, связать, уволочь! В тюрьму! в крепость! в подземелье!

Вальс. И через семь часов, то есть ровно в полночь, произойдет любопытное и весьма поучительное явление.

Министр. Пойдите, полковник. (К Вальсу.) Какое... явление?

Вальс. Предвидя, что вы сегодня можете попытаться применить ко мне силу, я условился с моим старичком так: если до полуночи я ему не дам о себе знать, то он должен немедленно взорвать один из наших самых цветущих городов — не скажу какой, будет сюрприз.

Министр. Этого не может быть... Судьба ко мне не может быть так жестока...

Вальс. Но это не все. Если спустя пять минут после взрыва не последует от меня знака, то и другой городок взлетит на воздух. Так будет повторяться каждые пять минут, пока не откликнусь. И сами понимаете, господа, что если меня уже не будет в живых, то вряд ли я стану с того света производить спиритические стуки. Следовательно, все не получая от меня известия, мой аппарат довольно скоро обратит всю вашу страну в горсточку пыли.

Министр. Он прав... Он прав... Он предусмотрел все!.. Несчастные, да придумайте вы что-нибудь! Герб! Берг!

Герб. В тюрьму, в тюрьму.

Берг. А я вот думаю иначе. Вы его все ругаете, а мне он по душе. Смелый парень! Назначьте его обер-инженером палаты — вот это будет дело.

Полковник. Перед тем как произвести хакакири, я еще раз поднимаю голос и твердо повторяю: отправьте этого человека в сумасшедший дом.

Вальс. Я думаю, не стоит ждать президента. Приступим. Потеснитесь, пожалуйста, а то мне тут неудобно. Теперь извольте меня выслушать.

Министр (опускается на пол). Господин изобретатель, я очень старый, очень почтенный человек, и видите, я перед вами стою на коленях. Продайте нам ваш аппаратик!

Голоса. Что вы, что вы... Вставайте, ваше высокопревосходительство... Перед кем... Где это видано...

Полковник. Не могу смотреть на это унижение.

Министр. Умоляю вас... Нет, оставьте меня, я его умоляю... Сжальтесь... Любую цену... Умоляю...

Вальс. Уберите его, пожалуйста. Он мне замусолил панталоны.

Министр (встал). Дайте мне что-нибудь острое! Полковник, мы с вами вместе умрем. Дорогой мой полковник... Какие страшные переживания... Скорей кинжал! (К Грабу.) Что это?

Граб. Разрезательный нож. Я не знаю, это Бург мне передал.

Голоса. Ах, покажите, как это делается... Попробуйте этим... Чудно выйдет... Просим...

Полковник. Предатели!

Сон. Тише, господа, тише. Сейчас, по-видимому, будет произнесена речь. Дорогой министр, вам придется сесть на мой стул, я вам могу дать краешек, ваше место теперь занято. Мне очень интересно, что он скажет.

Вальс. Вниманье, господа! Я объявляю начало новой жизни. Здравствуй, жизнь!

Герб. Встать?

Гроб. Нужно встать?

Вальс. Вы можете и сидя и лежа слушать.

Общий смех.

Ах, как вы смешливы.

Министр. Это они так, от волнения. Нервы сдали... Я сам... Говорите, говорите.

Вальс. Покончено со старым, затхлым миром! В окно времен врывается весна. И я, стоящий ныне перед вами, вчера мечтатель нищий, а сегодня всех стран земных хозяин полномочный, — я призван дать порядок новизны и к выходам сор прошлого направить. Отрадный труд! Можно вас спросить, я вашего имени не знаю —

Граб. Это Гриб.

Вальс. Можно спросить вас, Гриб, почему вы держите на столе этот игрушечный автомобиль? Странно...

Гриб. Я ничем не играю, вот могут подтвердить...

Вальс. Так вы его сейчас спрятали под стол. Я отлично его видел. Мне даже показалось, что это именно тот, красный, с обитым кузовком, который у меня был в детстве. Где он? Вы только что катали его по столу.

Гриб. Да нет, клянусь...

Голоса. Никакой игрушки нет... Гриб не врет. Честное слово...

Вальс. Значит, мне почудилось.

Министр. Продолжайте, продолжайте. Ожидание вашего решения невыносимо.

Вальс. Отрадный труд! Давно над миром вашим, как над за-
дачей, столько содержащей неясных данных, чисел — привидений,
препятствий и соблазнов для ума, что ни решить, ни бросить невоз-

можно, — давно я так над вашим миром бился, покуда вдруг живая искра икса не вспыхнула, задачу разрешив. Теперь мне ясно все. Снаряд мой тайный вернее и наследственных венцов, и выбора народного, и злобы временщика, который наяву за сны свои, за ужас ночи мстит. Мое правление будет мирно. Знаю — какой-нибудь лукавый умник скажет, что, как основа царствия, угроза не то, что мрамор мудрости... Но детям полезнее угроза, чем язык увещеваний, и уроки страха — уроки незабвенные... Не проще ль раз навсегда запомнить, что за тень непослушанья, за оттенок тени немедленное будет наказание, чем всякий раз в тяжелых книгах рыться, чтобы найти двусмысленную справку добра и мудрости? Привыкнув к мысли, простой, как азбука, что я могу строптивый мир в шесть суток изничтожить, всяк волен жить как хочет, ибо круг описан, вы — внутри, и там просторно, там можете свободно предаваться труду, игре, поэзии, науке...

Дверь распахивается.

Г о л о с. Господин президент Республики!

Генералы встают, как бы идут навстречу и возвращаются, словно сопровождая кого-то, но сопровождаемый невидим. Невидимого президента подводят к пустому креслу, и по движениям Герба и министра видно, что невидимого усаживают.

М и н и с т р (к пустому креслу). Господин президент, позволяю себе сказать, что вы пожаловали к нам весьма своевременно! За сегодняшний день — полковник, придвиньте к президенту пепельницу, — за сегодняшний день случилось нечто столь важное, что ваше присутствие необходимо. Господин президент, по некоторым признакам приходится заключить, что мы находимся накануне государственного переворота, или, вернее, этот переворот происходит вот сейчас, в этом зале. Невероятно, но так. Я по крайней мере, и вот — комиссия, и... и, словом, все тут считаем, что нужно покориться, нужно принять неизбежное... И вот мы сейчас слушаем речь — я затрудняюсь охарактеризовать ее, но она... но она. господин президент, она — почти тронная!..

С о н. Ну, Вальс, валяйте дальше. Я люблюсь вами, вы гениальны.

М и н и с т р. Вот вы послушайте, господин президент, вы только послушайте...

В а л ь с. О, вижу я — вы жаждете вкусить сей жизни новой, жизни настоящей; вполне свободен только призрак, муть, а жизнь должна всегда ограду чутать, вещественный предел, чтоб бытием себя сознать. Я вам даю ограду. Вьюном забот и розами забав вы скрасите и скроете ее, — но у меня хранится ключ от сада... Господин президент, вы тоже не замечаете заводного автомобильчика, который эти господа пускают между собой по столу? Нет, не видите? А я думал, что благодаря некоторой вашей особенности вы как раз в состоянии заметить невидимое.

С о н. Вальс, не отвлекайтесь. Все сидят абсолютно смирно, игрушки никакой нет. Мы слушаем вас. Кстати: как прикажете вас именовать?

В а л ь с. Я не решил. Быть может, я останусь правителем без имени. Посмотрим. Я не решил и общего вопроса: какую дать хребту и ребрам мира гражданскую гармонию, как лучше распределить способности, богатства и силы государства моего. Посмотрим... Но одно я знаю твердо: приняв мою ограду и о ней не позабыв, но память передав в распоряжение тайное привычки, — внутри пределов, незаметных детям, мир будет счастлив. Розовое небо распустится в улыбку. Все народы навек сольются в дружную семью. Заботливо я буду надзирать, сверять мечту с действительностью плавкой, и расцветет добро, и зло растает в лучах законов, выбранных из лучших, когда-либо предложенных... Поверьте — мне благо человечества до-

роже всего на свете! Если б было верно, что ради блага этого мне нужно вам уступить открытие мое, или разбить машину, или город родной взорвать,— я б это совершил. Но так пылать такой любовью к людям и не спасти слепого мира — нет, как можно мне от власти отказаться? Я начал с вас, а завтра я пошлю всем прочим странам то же приказанье — и станет тихо на земле. Поймите, не выношу я шума — у меня вот тут, в виске, как черный треугольник, боль прыгает от шума... не могу... Когда ребенок в комнате соседней терзает нас игрою на трубе,— как надо поступить? Отнять игрушку. Я отниму. Приказ мой для начала: весь порох, все оружие на земле навеки уничтожить — до последней пылинки, до последней гайки, все! Чтоб память о войне преданьем стала, пустою басней деревенских баб, опровергаемой наукой. Шума не будет впредь, а кто горяч не в меру и без суда желает проучить обидчика, пускай берет дубинку. Таким образом — вот декрет, которым я начинаю свое правление. Он послужит естественным основанием для всеобщего благоденствия, о формах коего я сообщу вам своевременно. Мне не хотелось бы снова упоминать о способностях телемора, а потому, почтенный президент, было бы желательно, чтобы вы мне без лишних слов теперь же ответили, согласны ли вы немедленно приступить к исполнению моей воли.

Пауза. Все смотрят на пустое кресло.

Мне кажется, что ныне, в провозглашенную мной эру тишины, я должен рассматривать ваше молчание как сильное выражение согласия.

М и н и с т р. Да, он согласен. Он согласен... Господа, он согласен, и я первый приношу присягу верности... я буду стараться... новая жизнь... слово старого солдата... *(Рыдает.)*

Г о л о с а. Ах, мы вам верим... Тут все свои... Что за счеты...

В а л ь с. Старик слезлив. Снег старый грязно тает... Довольно, встать. Прием окончен. Будьте любезны приступить к работе. Я останусь здесь, где, кажется, немало великолепных комнат... Больше всех мне нравится ваш кабинет. Полковник, распорядитесь.

С о н. Он победил,— и счастье малых сих
Уже теперь зависит не от них.

З а н а в е с.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Обстановка первого действия. Вальс за письменным столом. Голова забинтована. Тут же полковник.

В а л ь с. Нет, больше не могу... На сегодня будет.

П о л к о в н и к. Увы, это все дела неотложные.

В а л ь с. Здесь холодно и мрачно. Я никогда не думал, что громадная, светлая комната может быть так мрачна.

П о л к о в н и к. ...А кроме того — неотложность дел возрастает с их накоплением.

В а л ь с. Да-да, это все так... Что же мой Сон не идет? Пора.

П о л к о в н и к. Получается невозможный затор и нагромождение. Вместо оживленного перекрестка жизнь нашей страны находит у вас в кабинете опасный тупик.

В а л ь с. Вы бы все-таки перестали мне делать замечания — скучно.

П о л к о в н и к. Виноват, ваше безумие, но я только исполняю свои прямые обязанности.

В а л ь с. Титул звучный... Вы довольно угрюмый шутник. Если я вас держу в секретарях, то это лишь потому, что я люблю парадоксы. Ну — и вам в пику тоже.

Полковник. Мне кажется, что я службу свою исполняю. Большого от меня требовать сам Господь Бог не может. А что у меня тут, в груди,— это никого не касается.

Вальс. Тем более что это у вас не грудь, а живот... Нет, не могу сегодня больше работать, вот не могу... Тяжелая голова...

Полковник. Голова у вас не должна больше болеть: рана была пустяковая.

Вальс. Она и не болит... Нет, просто скучно, надоело... Все так сложно и запутано — нарочно запутано. Рану я забыл, но покушение — помню. Кстати, маленькое воздушное распоряжение, которое я только что сделал, минут через двадцать будет проведено в жизнь. Надо надеяться, что кто-нибудь сразу нас известит о результате.

Полковник. Об этих ваших делах позвольте мне не знать. Я в них не компетентен. Но у вас сейчас на рабочем столе вздрагивает и хрипит в невыносимых мучениях моя несчастная отчихна.

Вальс. Кабы не косность олухов да проделки плутов, она давно была бы счастливой. Но вообще знаете, полковник, я решил, что делами буду заниматься только раз в неделю, скажем, по средам.

Полковник. Моя обязанность — вам заметить, что тем временем страна гибнет.

Вальс. Ну уж и гибнет. Не преувеличивайте, пожалуйста.

Полковник. Нет, ваше безумие, я не преувеличиваю.

Вальс. Пустяки.

Полковник. Пустяки? То, что миллионы рабочих, выброшенных с заводов, остались без хлеба,— это пустяк? А дикая неразбериха, царящая в промышленности? А потеря всего экономического равновесия страны благодаря вашему первому человеколюбивому декрету? Это пустяк? И я не говорю о том, что во всех областях жизни — смута и зловещее возбуждение, что никто ничего не может понять, что в парламенте бедлам, а на улицах стычки и что, наконец, из соседнего государства целые отряды преспокойно переходят там и сям нашу границу, чтоб посмотреть, что, собственно, у нас происходит. Добро еще, что они не совсем знают, как быть, а только принимают — слишком, видно, удивлены тем, что сильная и счастливая держава начала вдруг, за здорово живешь, уничтожать всю свою военную мощь. О, разумеется, вы правы, это все пустяки!

Вальс. Вы отлично знаете, что я отдал приказ и соседям, и всем прочим народам мира последовать примеру нашей страны.

Полковник. Хорошо исполняются ваши приказы! Когда наш посол в Германии объявил ваш ультиматум, немцы без объяснения причин попросили нас немедленно его отозвать и, не дожидаясь отзыва, выслали его сами: он теперь находится в пути — в приятном пути. Посол наш в Англии был выслушан спокойно, но после этого к нему направили врачей и так крепко внушили ему мысль о внезапном припадке дипломатического помешательства, что он сам попросился в желтый дом. Посол наш во Франции отделался сравнительно легко — его предложение возбудило бурю веселого смеха в газетах, и нашей стране присужден первый приз на конкурсе политических мистификаций. А наш посол в Польше — старый мой друг, между прочим, — получив ваш приказ, предпочел застрелиться.

Вальс. Все это не важно...

Полковник. Самое страшное, что вы даже не удосужились ознакомиться с этими донесениями.

Вальс. Совершенно не важно. Небольшое воздействие, которое сегодня через... двенадцать минут будет произведено на некое царство, тотчас отрезвит мир.

Полковник. Если во всем мире настанет такое же благоденствие, как теперь у нас —

Вальс. Послушайте, что вы ко мне пристали? Я просто вам говорю, что сегодня устал и не могу целый день разбирать дурацкие

доклады. Разберу в среду, велика беда. Наконец, разберите сами, если вам не терпится,— я с удовольствием подпишу — и баста.

Полковник. Я буду до конца откровенен. Сняв ответственность за раздор и развал с естественных носителей власти, вы сами, однако, этой ответственностью пренебрегли. Получается так, что без ваших санкций ничего не может быть предпринято для прекращения губительных беспорядков, но позвольте вам сказать, что вы не способны разобраться ни в одном вопросе, что вы даже не поинтересовались узнать, каковы вообще правовые, экономические, гражданские навыки страны, выбранной вами для своих экспериментов, что вы ни аза не смыслите ни в политических, ни в торговых вопросах и что с каждым днем чтение бумаг, которому вы сначала предались с убийственным для нас рвением, становится вам все противнее.

Вальс. Я не обязан изучать схоластические паутины былого быта. Разрушитель может и не знать плана сжигаемых зданий, а я разрушитель. Вот когда начну строить, увидите, как будет все хорошо и просто.

Полковник. С вами говорить бесполезно. Все мы только участники вашего бреда, и все, что сейчас происходит, лишь звон и зыбь в вашем больном мозгу.

Вальс. Как вы сказали? Повторите-ка. Полковник, полковник, вы слишком далеко заходите. Парадокс мне может надоеть.

Полковник. Я готов быть уволенным в любую минуту.

Телефон.

Вальс. О, это, верно, Сон. Скорее зовите его.

Полковник (по телефону). Слушаюсь... Слушаюсь. (К Вальсу.) Господин военный министр к вам по важному делу — насчет покушения. Следует принять, конечно.

Вальс. А я надеялся, что Сон... Что ж — придется и сию чашу выпить.

Полковник (по телефону). Господин Вальс просит господина министра пожаловать.

Вальс. В одном вы действительно правы. Беспорядки нужно прекратить. Но из этого отнюдь не следует, что я должен от зари до зари потеть над бумагами...

Полковник. Вы меня извините — я хочу пойти моему бывшему шефу навстречу.

Входит военный министр.

Здравия, здравия желаю. Я —

Военный министр. Сейчас, голубчик, сейчас. Некогда... я в ужасном состоянии. (К Вальсу.) Клянусь вам, клянусь...

Вальс. Что с вами? Опять истерика?

Министр. Меня только что известили... с непонятным опозданием... о дерзком покушении на вашу особу... И вот — я хочу вам поклясться —

Вальс. Оно — мое частное дело, и я уже принял меры.

Министр. Позвольте, позвольте... Какие меры?.. Клянусь —

Полковник. Успокойтесь, мой дорогой, мой незабвенный начальник. Нам пока ничто не угрожает. Вчера на улице безвестный смельчак — которого, к сожалению, еще не поймали, но поймают — выстрелил из духового ружья вот... в него, ну и пуля оцарапала ему голову.

Вальс. Заметьте: духовое ружье. Тонкое внимание, остроумная шпилька

Министр. Клянусь вам всем, что мне в жизни дорого, клянусь и еще раз клянусь, что к этому преступлению не причастен ни один из моих сограждан и что поэтому страна в нем не повинна, а напротив — скорбит, негодует...

В а л ь с. Если бы я подозревал, что тут замешан какой-нибудь местный дурак, то, вероятно, уже полстраны носилось бы легкой пылью в голубом пространстве.

М и н и с т р. Вот именно! Меня охватил ужас... Клянусь, что это не так. Более того, я получил точные сведения, что выстрел был произведен провокатором, подкинутым к нам соседней страной.

В а л ь с. Я получил те же сведения и думаю, что виновная страна уже наказана. (Смотрит на часы.) Да, уже.

М и н и с т р. Ясно! Каверзники хотели вас вовлечь в гибельные для нас репрессии. Ох, отлегло... Да-да, это прекрасно, надо наказать... Фу... А вы, милый полковник, похудели за эти дни — и как-то, знаете, возмужали... Много работы?

В а л ь с. Не ласкайте его, он себя ведет неважно. Вот что, полковник, пойдите-ка узнайте, нет ли уже известий оттуда.

П о л к о в н и к (к министру). Я еще увижу вас? На минуточку, может быть? В галерее, скажем,— знаете, у статуи Перикла?

В а л ь с. Никаких статуй. Ступайте.

Полковник уходит.

М и н и с т р. Он очень-очень возмужал. И эти новые морщинки у губ... Вы заметили?

В а л ь с. Я его держу из чистого озорства, пока мне не надоест, а это, вероятно, случится скоро. Видом он похож на толстого голубя, а каркает, как тощая ворона. Вот что я хотел вам сказать, дорогой министр. Мне доносят, что в стране разные беспорядки и что разоружение происходит в атмосфере скандалов и задержек. Мне это не нравится. Смута и волокита — ваша вина, и поэтому я решил так: в течение недели я не буду вовсе рассматривать этих дел, а передаю их всецело в ваше ведение. Спустя неделю вы мне представите краткий отчет, и если к тому сроку в стране не будет полного успокоения, то я вынужден буду страну покарать. Ясно?

М и н и с т р. Да... ясно... Но —

В а л ь с. Советую вам изъять словечко «но» из вашего богатого лексикона.

М и н и с т р. Я только хочу сказать... такая ответственность! Людей нет... Все растерялись... Не знаю, как справлюсь...

В а л ь с. Ничего, справитесь. Я здесь не для того, чтоб заниматься черной работой.

М и н и с т р. Ваше приказание меня, признаться, несколько взяло врасплох. Я, конечно, постараюсь...

Входит полковник

В а л ь с. Ну что, полковник? Новости веселые?

П о л к о в н и к. Я военный, мое дело — война, и меня веселит сражение; но то, что вы сделали, это не война, это — чудовищная бойня.

В а л ь с. Словом, взлетела Санта-Моргана, не так ли?

М и н и с т р. Санта-Моргана! Их любимый город, Венъямин их страны!

П о л к о в н и к. Это страна давно нам враг, знаю. Знаю, что и она бы не постеснялась внести сюда разрушение. Но все-таки повторяю: то, что вы сделали, — чудовищно.

В а л ь с. Меня мало интересует ваша оценка. Факты.

П о л к о в н и к. На месте великолепного города — пустая яма. По первому подсчету, погибло свыше шестисот тысяч человек, то есть все, бывшие в городе.

В а л ь с. Да, это должно произвести некоторое впечатление. Маленькая царапина обошлась кошке недешево.

М и н и с т р. Шестьсот тысяч... В одно мгновение!..

Полковник. В число населения Санты-Морганы входило около тысячи человек наших граждан. Я даже кое-кого знал лично, так что нам радоваться особенно нечему.

Министр. Эх, неудачно! Портит картину...

Вальс. Напротив... Рассматривайте это как побочное наказание в ашей стране за шум и нерадивость. А какова там реакция?

Полковник. Оцепенение, обморок.

Вальс. Ничего. Скоро очнутся.

Телефон.

Это уже, наверное, Сон. Довольно государственных дел на сегодня.

Полковник занялся телефоном.

(К министру.) Между прочим, мне не нравится ваша форма. Ходите в штатском. Что за пошлые регалии!.. Или вот что: я как-нибудь на досуге выдумаю вам мундир... Что-нибудь простое и элегантное.

Министр. Эти ордена — вехи моей жизни.

Вальс. Обойдетесь без вех. Ну что, полковник, где Сон?

Полковник. К сожалению, это не ваш маклер, а здешний представитель наших несчастных соседей: он просит у вас немедленной аудиенции.

Вальс. Быстро сообразили. А я думал, что сначала обратятся к господам геологам. Помните, полковник, вы в свое время предлагали?

Полковник. Я тогда же исправил мою ошибку и предложил прибегнуть к помощи психиатров. Вы посланника сейчас примете?

Вальс. Я его вообще не приму. Очень нужно!

Министр. Хотите, я с ним поговорю?

Вальс. Я даже не понимаю, какого черта он смеет являться ко мне.

Полковник. Его направил к вам наш министр иностранных дел.

Министр. Я с ним поговорю с удовольствием. У меня есть кое-какие счета с этими господами.

Вальс. Делайте как хотите, меня ваши счета не касаются.

Министр. А ваши директивы?

Вальс. Обычные. Скажите ему, что, если его страна не сдастся мне до полуночи, я взорву их столицу.

Полковник. В таком случае я предлагаю сообщить нашему тамошнему представителю, чтобы немедленно началась оттуда эвакуация наших сограждан — их там обосновалось немало.

Вальс. Не знаю, почему они не могут присутствовать. Подумаешь!.. Словом, делайте как хотите. Ах, как мне уже приелись эти слова: ультиматум, взрыв, воздействие, — повторяешь их, а люди понимают тебя только постфактум. Я вас больше не задерживаю, дорогой министр.

Министр. Это мы сейчас... Полковник, направьте его ко мне.

Полковник. А он в приемной сидит.

Министр. Превосходно. Бегу. Дорогой полковник, если вы хотите меня потом повидать —

Вальс. Цыц!

Полковник. Вот, вы видите мое положение.

Министр. Ничего... Ободритесь. Предвкушаю немалое удовольствие от беседы с господином гох-посланником. (Уходит.)

Вальс. Если Сон не придет до двенадцати, попрошу его отыскать. Вашу форму я тоже изменю. Может быть, одеть вас тореадором?

Полковник. В мои служебные обязанности входит также и выслушивание ваших острот.

Вальс. Или — неаполитанским рыбаком? Тирольцем? Нет — я вас наряжу самураем.

Полковник. Если я не покончил самоубийством, то лишь потому, что бред безумца не стоит моей смерти.

В а л ь с. Я, кажется, вам уже запретил разговоры о бреде.
П о л к о в н и к. Как вам угодно.

Пауза.

А какой был собор в Санта-Моргане... приезжали туристы, прелестные девушки с «кодаками»...

В а л ь с. Во всяком случае, вы не можете пожаловаться на то, что я мало сегодня поработал.

С о н (*из-за двери*) Можно?

В а л ь с. Не можно, а должно! Все готово?

С о н. Да. Думаю, вы будете довольны.

В а л ь с. Я вас ждал с величайшим нетерпением. С тех пор как я решил этот кабинет покинуть, он возбуждает во мне скуку, неприязнь и даже, знаете, Сон, какой-то страх. Ну что ж, когда смотрины?

П о л к о в н и к. Я, разумеется, не вправе вмешиваться, однако разрешите узнать: вы что же, собираетесь переехать?

В а л ь с. Как, дорогой полковник, разве я вас еще не посвятил в свою маленькую тайну? Какая неосмотрительность! Да, уезжаю.

П о л к о в н и к. И куда, смею спросить?

В а л ь с. А, вот в этом-то вся штука. Вы, кажется, не очень сильны в географии?

П о л к о в н и к. Мои успехи в этой области критике не подлежат.

В а л ь с. Тогда вы, конечно, слыхали о небольшом острове Пальмора в восьмистах морских милях от южного мыса вашей страны? Ага! Не знаете!

П о л к о в н и к. Такого острова нет.

В а л ь с. Двойка с минусом, полковник. Словом, этот остров мной реквизирован. Мне даже кажется по временам, что и начал-то я с вашей страны именно потому, что среди ваших владений есть такой самоцвет. Избавило меня от лишнего хлопот... Нежнейший климат, вечная весна, радужные птички... И величина как раз мне подходящая: Пальмору можно объехать на автомобиле по береговой дороге в... в сколько часов, Сон?

С о н. Скажем в пять, если не слишком торопиться.

В а л ь с. О, я и не буду торопиться. Я истосковался по покою, по тишине,— вы не можете себе представить, как я люблю тишину. Там растут ананасы, апельсины, алоэ — словом, все растения, начинающиеся на «а». Впрочем, вы все это найдете, полковник, в любом учебнике... Вчера я отдал приказ в двухдневный срок очистить остров от его населения и снести к чертовой матери виллы и гостиницы, в которых прохлаждались ваши разбогатевшие купцы. (*К Сону.*) Это, конечно, исполнено?

С о н. Еще бы.

В а л ь с. Не огорчайтесь, полковник, я, вероятно, выберу вашу столицу в столицы мира и буду к вам наезжать — этак раз в три месяца, на несколько дней, посмотреть, все ли благополучно. Ну, конечно, и туда будете мне посылать доклады, живым языком написанные и, главное, без цифр, без цифр, без цифр... Там буду жить в дивном дворце,— и вот этот милый человек только что набрал для меня целый штат. Оттуда буду спокойно править миром, но при этом моя машинка останется там, где находится сейчас,— весьма далеко отсюда, и даже не в той стране, откуда я родом и которой вы тоже не знаете, а в другой, в области... Смотрите, я чуть не проболтался! Вот было бы хорошо... Я вижу, что вы оба наострили ушки, а теперь опять приуныли. Слава Богу, больше не увижу этого письменного стола, который щерится на меня и выгибает спину. На Пальмору, скорей на Пальмору! (*К полковнику.*) Ну что — мой план вам ясен?

П о л к о в н и к. Более чем ясен.

В а л ь с. Вот и отлично. А теперь я должен заняться с милым Соном и посему, полковник, вас попрошу испариться. Да, кстати, забери-

те все эти дела и разрешите их вместе с вашим бывшим шефом, я ему дал все полномочия.

Полковник. Непоправимость питается чужой ответственностью. *(Уходит.)*

Вальс. Идите, идите. Итак, Сон, показывайте ваши находки. Что вы так смотрите на меня?

Сон. Ваша нервность, должно быть, следствие вчерашнего нападения. Не трогайте повязки. Помните, что наложил ее я и, таким образом, я отвечаю за ваше здоровье. Дайте поправлю.

Вальс. Оставьте. Я уже давно забыл... К черту. *(Срывает повязку.)*

Сон. Нет, вы решительно мне не нравитесь сегодня. Как это вы так быстро остыли к тем грандиозным реформам, с которыми вы еще так недавно носились?

Вальс. Ничего не остыл. Просто хочется отдохнуть...

Сон. Смотрите, Вальс, это опасная дорога!

Вальс. Не ваше дело... Ваше дело исполнять мои личные поручения. Между прочим, скажите... нет ли какого-нибудь способа без шума отделаться от полковника?

Сон. Как это — отделаться?

Вальс. Он мне больше не нужен, а человек он неприятный, и вот я хотел бы, ну, словом, чтоб он исчез, совсем, — несчастный случай и все такое. Как вы думаете, можно устроить?

Сон. Опомнитесь, Вальс. Это вы сегодня вкусили крови.

Вальс. Шутка, шутка... Пускай живет. Довольно приставать ко мне с идиотскими вопросами! Зовите этих людей, — где они?

Сон. За дверью. Я думаю, что сперва вам нужно повидать архитектора, — ну, и повара.

Вальс. А, повар — это хорошо, повар — это великолепно. Давайте начнем... Я действительно сегодня как-то неспокоен.

Сон. Сейчас. *(Уходит.)*

Вальс. И знаете, что еще, Сон... Мне начинает казаться, что напрасно, может быть, я побрезговал громоподобным званием и не помазался на царство по всем требованиям истории — мантия, духовенство, народные праз... Ах, его нет... Как глупо!

Стук.

Да!

Архитектор Гриб. Я явился... позвольте представиться...

Вальс. А, это хорошо, это великолепно. Вот я вам сейчас скажу все, что я люблю, и, может быть, вы сразу приготовите мне что-нибудь вкусное. В молодости, знаете, я питался отчаянно скверно, всегда, всегда был голоден, так что вся моя жизнь определялась мнимым числом: минус-обед. И теперь я хочу наверстать потерянное. До того, как взять вас с собою на Пальмору, я должен знать, хорошо ли вы готовите бифштекс с поджаренным луком.

Гриб. Простите... видите ли, я —

Вальс. Или, например... шоколадное мороженое... почему-то в бессонные нищие ночи, особенно летом, я больше всего мечтал именно о нем — и сытно, и сладко, и освежительно. Я люблю еще жирные пироги и всякую рыбу, — но только не воблу... Что же вы молчите?

Гриб. Видите ли, ваше... ваше сиятельство, я, собственно, архитектор.

Вальс. А... так бы сразу и сказали. Глупое недоразумение. Мне от него захотелось есть. Отлично. Вам уже сообщили, что мне нужно?

Гриб. Вам нужен дворец.

Вальс. Да, дворец. Отлично. Я люблю громадные, белые, солнечные здания. Вы для меня должны построить нечто сказочное, со сказочными удобствами. Колонны, фонтаны, окна вполнеба, хрустальные потолки... И вот еще, давняя моя мечта... чтоб было такое приспособление — не знаю, электрическое, что ли, я в технике слаб, — сло-

вом, проснешься, нажмешь кнопку, и кровать тихо едет и везет тебя прямо к ванне... И еще я хочу, чтоб во всех стенах были краны с разными ледяными напитками... Все это я давно-давно заказал судьбе — знаете, когда жил в душных, шумных, грязных углах... лучше не вспоминать.

Гриб. Я представляю вам планы... Думаю, что угожу.

Вальс. Но главное, это должно быть выстроено скоро, я вам даю десять дней. Довольно?

Гриб. Увы, одна доставка материалов потребует больше месяца.

Вальс. Ну, это извините. Я снаряжу целый флот. В три дня будет доставлено...

Гриб. Я не волшебник. Работа займет полгода минимум.

Вальс. Полгода? В таком случае уберите, вы мне не нужны. Полгода! Да я вас за такое нахальство —

Входит Сон.

Сон. В чем дело? Отчего крик?

Вальс. Этому подлецу я даю десять дней, а он —

Сон. Пустяки, недоразумение. Разумеется, дворец будет готов в этот срок, даже скорее. Не правда ли, господин архитектор?

Гриб. Да, в самом деле, я не совсем понял... Да, конечно, будет готов.

Вальс. То-то же. Сегодня же распорядитесь насчет каменщиков я вам даю сто поездов и пятьдесят кораблей.

Гриб. Все будет исполнено.

Вальс. Ну вот, идите, приготовьте... Стойте, стойте, вы забыли пакет.

Гриб. Вот голова! Это я сыну купил заводную игрушку. Хотите посмотреть?

Вальс. Нет, нет, не надо. Ни в коем случае. Прошу вас, не надо. Уходите, пожалуйста.

Гриб уходит.

Дальше, Сон, дальше... У меня нет терпения для отдельных аудиенций, зовите их скопом. Все эти задержки крайне раздражительны. А завтра я прикажу закрыть все магазины игрушек.

Сон (в дверь). Господа, пожалуйста.

Входят повар Гриб, шофер Бриг, дантист Герб, надзирательница Граб, учитель спорта Горб, садовник Брег, врач Гроб. Все в одинаковых черных костюмах, причем Гриб надел поварской колпак, а Граб — юбку.

Вальс. Ну, Сон, говорите мне, кто чем занимается. Вот этот старик кто, например?

Сон. Это шофер Бриг.

Вальс. Ага, шофер. Но я бы сказал, что он несколько дряхл.

Бриг. Зато опыт у меня колоссальный. Маленькая справка: в детстве к моему трехколесному велосипеду мой дядя Герман, большой шутник, приделал нефтяной двигатель, после чего я два месяца пролежал в больнице. В зрелом возрасте я был гонщиком и если не брал призов, то лишь вследствие крайней моей близорукости. В дальнейшем я служил у частных лиц и был за рулем роскошной машины, когда в ней был убит выстрелом в окно наш последний король, — Бог ему судья.

Сон. Это лучший шофер в городе.

Бриг. Имею рекомендации от многих коронованных и некоронованных особ. Кроме того, я позволил себе принести небольшую модель машины, которая для вас заказана... (Собирается развязать пакет.)

Вальс. Нет-нет, это лишнее... Ай, не хочу. Сон, скажите ему, чтоб он не разворачивал. Я вас беру, беру... Отойдите. Следующий

Сон. Дантист Герб, светило.

Вальс. Необходимая персона! Если б вы знали, какой это адский ужас — часами ждать в амбулатории с огненной болью в челюсти и

потом наконец попасть в лапы к нечистоплотному и торопливому коновалу...

Гер б. Я не верю в экстракцию, а моя бормашина абсолютно бесшумна.

Вальс. Беру и вас на Пальмору. А эта дама кто?

Сон. Это, так сказать, надзирательница, мадам Граб.

Вальс. А, понимаю. Скажите, Сон... Господа, не слушайте... мне тут нужно несколько слов... *(Отходит и шепчется с Соном, который кивает.)* Ну, это чудно. *(К Граб.)* Я надеюсь, мадам, что вы будете... то есть... не то... да уж ладно... после.

Граб. Я двадцать лет с лишком стояла во главе знаменитого заведения, о, классического, древнегреческого образца. Питомицы мои играли на флейтах. Я даже сама ходила в хитоне. И сколько было за эти годы перебито амфор...

Вальс. Ладно, ладно. Мы потом... сейчас неудобно. А это кто?

Сон. Горб, учитель спорта. Вы ведь говорили, что —

Вальс. О да! Я, видите ли, сам не очень... знаете — лишения, узкая грудь... признаки чахотки... перевес умственных занятий... но я всегда завидовал молодым с мускулами. Какое, должно быть, удовольствие прыжком превысить свой рост или ударом кулака наповал уложить гиганта негра! Да, я хочу ежедневно заниматься физическими упражнениями. Я велю устроить всевозможные площадки, не забыть напомнить архитектору — отметьте, Сон. *(К Горбу.)* А вы сами можете прыгнуть — ну, скажем, отсюда дотуда? Покажите-ка! Что вы молчите?

Сон. Это спортсмен замечательный, но, к сожалению, немой от рождения.

Вальс. А я хочу, чтобы он прыгнул.

Сон. Он мне знаками показывает, что тут паркет слишком скользкий.

Вальс. А я хочу.

Сон. Оставьте его, Вальс, в покое, все в свое время. Обратите теперь внимание на известнейшего —

Вальс. Нет, я хочу непременно...

Сон. — на известнейшего садовода. Он вам создаст —

Вальс. Не понимаю, почему не делают того, что я хочу. Какой садовый, где? Не нужно мне садоводов.

Брег. Моя фамилия Брег. Я придаю лицам моих цветов любое выражение радости или печали. У моих роз пахнут не только лепестки, но и листья. Я первый в мире вывел голубую георгину.

Вальс. Хорошо, хорошо... Выводите... А это, по-видимому, повар?

Повар Гриб. Повар Божьей милостью.

Вальс. Ну, я уже говорил о своих кулинарных запросах с архитектором, пускай он вам передаст, скучно повторять.

Сон. Засим, особенно рекомендую этого дворецкого. *(Неопределенный жест.)*

Вальс. Да-да, пускай сговорятся. Много еще?

Сон *(опять неопределенный жест)*. Король книгохранителей.

Вальс. Его я попрошу из всех библиотек мира набрать мне уникамов. Я хочу библиотеку, состоящую исключительно из уникамов. Теперь, кажется, все проинтервьюированы?

Сон. Нет.

Вальс. А кто еще? Этот?

Сон. Нет.

Вальс. Не знаю, не вижу...

Сон. Вы забыли врача. Вот это — доктор Гроб.

Вальс. А, очень приятно.

Гроб. Как вы себя чувствуете сегодня?

Вальс. Превосходно. Только, пожалуйста, меня не трогайте.

Г р о б. Appetit есть? Спали хорошо?

В а л ь с. Я здоров, я здоров. Видите, я даже снял повязку. Что с вами? Прошу помнить, что беру вас с собой только на всякий случай. так что приставать ко мне не надо, не надо, не надо...

Г р о б. Да-да, разумеется. Если я вас спрашиваю, то это только из приятельских побуждений.

В а л ь с. Сон, я знаю этого человека!

С о н. Успокойтесь, Вальс. Никто вам вреда не желает.

Г р о б. Да не бойтесь меня, я вам друг.

В а л ь с. Я знаю его! Я его где-то уже видел!

Г р о б. Только пульсик...

В а л ь с. Конечно, я его уже видел! И всех этих я тоже видел когда-то!.. Обман! Заговор! Оставьте меня!..

Г р о б. Мы сегодня очень беспокожны... Придется опять сегодня вечером —

В а л ь с. Сон, уберите его. Уберите всех!

С о н. Да, да, сейчас. Не кричите так.

Представлявшиеся постепенно уходят.

В а л ь с. Какой неприятный! И вообще — это все очень странно... Мне это не нравится...

С о н. Ну что ж, вы их берете с собой на ваш... как бишь вы говорили? Пальмин? Пальмарий? Берете?

В а л ь с. Скучно — не могу заниматься целый день подбором лаяев. Это ваше дело, а не мое. Во всяком случае, обойдусь без услуг медицины... Знаю этих шарлатанов! Не смейте качать головой. Я не ребенок. Ну дальше, дальше...

С о н. Надеюсь, что следующая партия несколько улучшит ваше настроение. Ага, я вижу, что вы уже улыбаетесь!

В а л ь с. Где они?

С о н. В соседней комнате. Желаете посмотреть?

В а л ь с. Вы знаете, Сон,— должен вам сознаться — я на вид, конечно, человек немолодой, ну, и прошел через многое, тертый калач и все такое... но вот вы не поверите... я очень, очень застенчив. Серьезно. И как-то так случилось — знаете, нужда, хмурость нищего, перегар зависти и брезгливость мечты,— как-то так случилось, Сон, что я никогда, никогда... И вот — сейчас у меня бьется сердце, бешено, и губы сухие... Глупо, конечно! Но какие были у меня видения, как играло мое бедное одиночество... какие ночи... Такая, знаете, сила и яркость образов, что утром было даже немножко удивительно не найти в комнате ни одной шпильки, честное слово! Погодите, погодите, не зовите их еще, дайте немножко оправиться... Слушайте, у меня к вам просьба: нет ли у вас для меня маски?

С о н. Что это вы? Карнавал затеваете? Нет, я не припас, не знал

В а л ь с. Я хотел бы не полумаску, а такую... как вам объяснить,— чтобы скрыть все лицо...

С о н. А, это дело другое. Тут, в шкапу, верно, найдется. Сейчас посмотрим.

В а л ь с. Вроде, знаете, рождественской...

С о н. Вот — как раз такие нашлись. Пожалуйста, выбирайте. Рождественский дед, например. Не годится? Ну а эта — свинья? Не хотите? Вот хорошая, а? Вы привередливы. Эту?

В а л ь с. Да, хотя бы эту.

С о н. Она страшноватая. Тьфу!

В а л ь с. Лицо как лицо. Как она нацепляется?..

С о н. Не понимаю, почему вы хотите принимать дам в таком виде...

В а л ь с. Вот и отлично. Ну, живо! Не разговаривайте так много. Зовите их.

Сон бьет в ладони, и входят пять женщин.

С о н. Я объехал всю страну в поисках красавиц, и, кажется, мои старания увенчались успехом. Каковы?

В а л ь с. И это все?

С о н. Как вы сказали? Бормочет сквозь маску... Что?

В а л ь с. Это все? Вот эти две?

С о н. Как две?.. Тут пять, целых пять. Пять первоклассных красоток.

В а л ь с. (*к одной из двух помоложе*). Как ваше имя?

Т а. Изабелла. Но клиенты меня зовут просто Белка.

В а л ь с. Боже мой... (*Ко второй.*) А ваше?

В т о р а я. Ольга. Мой отец был русский князь. Дайте папироску.

В а л ь с. Я не курю. Сколько вам лет?

И з а б е л л а. Мне семнадцать, а сестра на год старше.

В а л ь с. Это странно вам на вид гораздо больше. Сон, что это такое происходит? А эти... эти?..

С о н. Какая именно? Вот эта? Что, недурна? В восточном вкусе, правда?

В а л ь с. Почему она такая... такая...

С о н. Не слышу!

В а л ь с. Почему... почему она такая толстая?

С о н. Ну, знаете, не все же развлекаться с худышками. А вот зато сухощавая.

В а л ь с. Эта? Но она страшна... Сон, она страшна, и у нее что-то такое... неладное...

Толстая начинает вдруг петь — на мотив «Отойди, не гляди».

Т о л с т а я. Темнота и паром,
и вдали огоньки,
и прощанье навек
у широкой реки.

И поет человек
неизвестный вдали...
Я держала тебя,
но тебя увели...

Только волны, дробя
отраженья огней,
только крики солдат
да бряцанье цепей

в темноте мне твердят,
что вся жизнь моя — прах,
что увозит паром
удальца в кандалах...

В а л ь с. Странная песня! Грустная песня! Боже мой — я что-то вспоминаю... Ведь я знаю эти слова... Да, конечно!.. Это мои стихи... Мои!

Т о л с т а я. Я, кроме арестантских, знаю и веселые.

В а л ь с. Перестаньте, заклинаю вас, не надо больше!

И з а б е л л а. А вот она умеет играть на рояле ногами и даже гасовать колоду карт.

С у х о щ а в а я. Я родилась такой. Любители очень ценят...

В а л ь с. Сон, да ведь она безрукая!

С о н. Вы просили разнообразия. Не знаю, чем вам не потрафил...

С т а р а я б л о н д и н к а. А я скромная... Я стою и смотрю издали... Какое счастье быть с вами в одной комнате...

С о н. Это поэтесса. Талант, богема. Влюблена в вас с первого дня.

С т а р а я б л о н д и н к а (*подступая к Вальсу*). А вы спросите, как я достала ваш портрет... Посмотрите на меня: вот — я вся как есть ваша, мои золотые волосы, моя грусть, мои отяжелевшие от чу-

жих поцелуев руки... Делайте со мной что хотите... О, не забавляйтесь этими хорошенькими куклами — они недостойны вашей интуиции.. Я вам дам то счастье, по которому мы оба истосковались... Мой деспот...

В а л ь с. Не смейте меня касаться! Старая гадина...

Т о л с т а я. Цыпонька, идите ко мне...

С у х о щ а в а я. Венера была тоже безрукая...

В а л ь с. Отвяжитесь, вон! Сон, что это за кошмар! Как ты смел, негодяй... *(Срывает маску.)* Я требовал тридцать юных красавиц, а вы мне привели двух шлюх и трех уродов... Я вас рассчитаю! Вы предатель!

С о н. Уходите, красотки. Султан не в духах.

Они гуськом уходят.

В а л ь с. Это, наконец, просто издевательство! На что мне такая шваль? Я вам заказал молодость, красоту, невинность, нежность, поволоку, кротость, пушок, хрупкость, задумчивость, грацию, грезу...

С о н. Довольно, довольно.

В а л ь с. Нет, не довольно! Извольте слушать! Кто я — коммивояжер в провинциальном вертепе или царь мира, для желаний которого нет преград?

С о н. Право, не знаю. Вопрос довольно сложный...

В а л ь с. Ах, сложный? Я вам покажу сложный! Вы мне сегодня же доставите альбом с фотографиями всех молодых девушек столицы — я уж сам выберу, сам. Какая наглость!.. Вот что, прекрасная мысль: не так давно... а может быть, давно... не знаю... но, во всяком случае, я ее видел — такую, совсем молоденькую... а, вспомнил — дочь этого дурака, генерала. Так вот, извольте распорядиться, чтоб она тотчас была доставлена ко мне.

С о н. Ну, это вы уж поговорите с ее папашей.

В а л ь с. Хорошо, достаньте папашу, но только тотчас...

Входит быстро, хромя, генерал Берг

Б е р г. Вот и я! Видите, подагра не удержала меня в постели — вскочил с одра вроде исцеленного. Что, как дела? Корона кусается, одолели бармы? Грах, грах, грах!

В а л ь с *(к Сону)*. Сообщите ему мое желание.

С о н. А мне как-то неловко...

В а л ь с. Умоляю вас, Сон, умоляю...

С о н. Ладно, только это уже из последних сил... Послушайте, генерал, где сейчас ваша прелестная дочка — дома?

Б е р г. Никак-с нет. По некоторым соображениям военно-интимного характера мне пришлось отослать мою красавицу за границу.

В а л ь с. Ах, соображения? Вы уже смеее у меня соображать?

Б е р г. Петух, сущий петух! Другие бранят, а вот я — люблю вас за эту отвагу. Ей-Богу!

С о н. Не стоит, Вальс, бросьте... Переменим разговор...

В а л ь с. Я вам перемену... Отлично... Одним словом, генерал, потрудитесь немедленно известить вашу дочь, что за ней будет послан самолет. Где она?

Б е р г. Что это вы, голубчик, что это вы так меня пугаете: дочка моя никогда не летала и, покуда я жив, летать не будет.

В а л ь с. Я вас спрашиваю: где ваша дочь?

Б е р г. А почему, сударь, вам это приспичило?

В а л ь с. Она должна быть немедленно доставлена сюда... Немедленно! Кстата — сколько ей лет?

Б е р г. Ей-то? Семнадцать. Да... Моей покойнице было бы теперь пятьдесят два года.

В а л ь с. Я жду. Живо — где она?

Б е р г. Да на том свете, поди.

Вальс. Я вас спрашиваю: где ваша дочь? Я везу ее с собой на мой остров. Ну?

Берг (к Сону). Никак не пойму, чего он от меня хочет... Какой остров? Кого везти?

Вальс. Я вас спрашиваю —

Сон. Вальс, будет, перестаньте... Это нехорошо!

Вальс. Молчать, скотина! Я вас спрашиваю в последний раз, генерал: где находится ваша дочь?

Берг. А я вам сказать не намерен, грах, грах, грах.

Вальс. То есть как это не намерены? Я... Значит, вы ее от меня спрятали?

Берг. И еще как спрятал. Ни с какими ищейками не добудете.

Вальс. Значит, вы... вы отказываетесь ее мне доставить? Так?

Берг. Голубчик, вы, должно быть, хлопнули лишка... а если это шутка, то она в сомнительном вкусе.

Вальс. Нет, это вы шутите со мной! Признайтесь, а? Ну что вам стоит признаться?.. Видите, я готов смеяться. Да, шутите?

Берг. Нисколько. Румяную речь люблю — есть грех, — но сейчас я серьезен.

Сон. Вальс, это так! Это так! Что-то изменилось! Он в самом деле не шутит!

Вальс. Отлично. Ежели ваша дочь не будет здесь, в этой комнате, завтра — вы понимаете, з а в т р а ж е, — то я приму страшные, страшнейшие меры.

Берг. Примите любые. Моей девочки вы не увидите никогда.

Вальс. О, я начну с меры несколько старомодной: вы, генерал, будете повешены — после длительных и весьма разнообразных пыток. Достаточно?

Берг. Честно предупреждаю, что у меня сердце неважнец, так что вряд ли программа пыток будет особенно длительной, грах, грах, грах.

Сон. Вальс! Генерал! Довольно, дорогой генерал, оставьте его... вы же видите...

Вальс. Я приму другие меры, и приму их сию же минуту. Или вы мне доставите эту девчонку, или вся ваша страна, город за городом, деревня за деревней, взлетит на воздух.

Берг. Видите ли, я никогда не понимал благородных дилемм трагических героев. Для меня все вопросы — единороги. Взрывайте, голубчик.

Вальс. Я взорву весь мир... Она погибнет тоже.

Берг. Иду и на это. Вы не хотите понять, дорогуша, простую вещь, а именно, что гибель мира, плюс моя гибель, плюс гибель моей дочери в тысячу раз предпочтительнее, чем ее, извините за выражение, бесчестие.

Вальс. Быть по-вашему — я женюсь на ней.

Берг. Грах, грах, грах! Уморили, батюшка...

Вальс. А если я буду великодушен? Если я буду безмерно щедр? Генерал, я вам предлагаю миллион... два миллиона...

Берг. Ну вот, я же говорил, что все это шутка...

Вальс. ...один тотчас, другой по доставке... Впрочем, сами назначьте цену...

Берг. ...и притом шутка довольно хамская.

Вальс. Я больше не могу... Где она, где она, где она?

Берг. Не трудитесь искать: она так же хорошо спрятана, как ваша машина. Честь имею откланяться. (*Уходит.*)

Вальс. Держите его! Сон, я должен знать... Не может быть, чтобы не было способа... Сон, помогите!

Сон. Увы, игра проиграна.

Вальс. Какая игра? Что вы такое говорите? Вы опутываете меня дикими, смутными мыслями, которые я не хочу впускать к себе —

ни за что... Вот увидите... завтра же я начну такой террор, такие казни...

Сон. Вальс, я вас поощрял, я поддакивал вам до сего времени, ибо все думал: авось такой способ вам может пойти на пользу,— но теперь я вижу —

Вальс. Молчать! Не потерплю! Этот тон запрещен в моем царстве!

Сон. Напротив, вижу, что он необходим...

Вальс. Вон отсюда!

Сон. Сейчас ухожу — я в вас разочарован,— но напоследок хочу вам поведать маленькую правду. Вальс, у вас никакой машины нет. *(Заходит за его спину и исчезает за портьерой.)*

Уже вошли: военный министр, полковник, оба теперь в штатском; первый сразу садится за стол, как сидел в первом действии, и склоняется над бумагами.

Вальс. Сон! Где он? Где... *(Подходит к столу, где сидит министр.)*

Министр *(медленно поднимает голову)*. Да, это, конечно, любопытно.

Вальс. Значит, вы полагаете, что все это выдумка, что я это просто так?..

Министр. Постойте, постойте. Во-первых, успокойтесь. Во-вторых, постарайтесь понять то, что я вам скажу...

Вальс. Ну погодите... Теперь я знаю, как мне нужно поступить.

Министр. А скажу я вам вот что: ваше открытие, как бы оно ни было интересно и значительно — или, вернее, именно потому, что вы его так считаете,—

Вальс. Ну погодите...

Министр. ...не может быть темой того беспокойного разговора, который вы со мной, у меня в служебном кабинете, изволите вести. Я попрошу вас...

Вальс. Хорошо же! Я вам покажу... Ребенку, отсталому ребенку было бы ясно! Поймите, я обладаю орудием такой мощи, что все ваши бомбы перед ним ничто — щелчки, горошинки...

Министр. Я попрошу вас не повышать так голоса. Я принял вас по недоразумению — этими делами занимаюсь не я, а мои подчиненные,— но все же я выслушал вас, все принял к сведению и теперь не задерживаю вас. Если желаете, можете ваши проекты изложить в письменной форме.

Вальс. Что вы, что вы можете мне ответить? Мне, который может сию же секунду уничтожить любой город, любую гору?

Министр *(звонит)*. Надеюсь, что вы не начнете с нашей прекрасной горки.

Полковник отворил окно.

Смотрите, как она хороша... Какой покой, какая задумчивость!

Вальс. Простак, тупица! Да поймите же — я истреблю весь мир! Вы не верите? Ах вы не верите? Так и быть, откроюсь вам: машина — не где-нибудь, а здесь, со мной, у меня в кармане, в груди... Или вы признаете мою власть со всеми последствиями такового признания —

Уже вошли соответствующие лица: Гриб, Граб, Гроб.

Полковник. Сумасшедший. Немедленно вывести.

Вальс. ...или начнется такое разрушение... Что вы делаете, оставьте меня, меня нельзя трогать... я — могу взорваться.

Его выводят силой.

Министр. Осторожно, вы ушибете беднягу...

Занавес.

ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ



С ВОЛШЕБНЫМ ФОНАРЕМ

Высокое искусство перевода

Н. М. Любимову.

Сам Дон Кихот — прославленный
идальго —
Российскую границу пересек,
Прибрежная похрустывала
галька,
И караульный взял под козырек.

Скрипит насадно бедная подвода,
И князь Болконский мечется в
бреду,
Высокое искусство перевода
Ведет коня незримо в поводу.

Ни пашпорта, ни имени, ни рода
Он не спросил, хоть велено
царем.
Высокое искусство перевода
Шло впереди с волшебным
фонарем.

Ворчит возница:
«А толмач, похоже,
Бес продувной.
Куда завел нас враг?
Кордон французский,
и притом, о боже,
Нет у его сиятельства бумаг».

И отрок из семьи мелкопоместной,
Отечеству покуда неизвестный,
От Дон Кихота в озаренье свеч
Радищев Александр принял меч...

Но вопреки велению закона
Страны, вздымавшей трехполосный
флаг,
Наследник всех полков Наполеона
Честь отдает, не требуя бумаг.

Ермолов в Персии

...Ты скажи им, друг:
Авраам — отец мой, Моисей — мой дядя,
Магомет — супруг.

И. Бунин.

«Что за чертовы места? —
Говорит возница.—
Едешь, едешь — ни креста,
Чтоб перекреститься».

А пророк тот — Магомет —
Жил, не правя труса,
На пятьсот родившись лет
Позже Иисуса.

Отвечает генерал
Алексей Ермолов:
«Здесь другую веру дал
Бог для богомолв.

Жен не ведал Иисус
В любодейном веке,
Но не выдержал искус
Магомет из Мекки.

У него обличья нет,
И сынам Востока
Передал святой завет
Он через пророка.

Жен имел не без числа
Волею ислама,
И одна из них была
Дочь Авраама».

Тут возница поспешил
Вспомнить в лад рассказа,
Что с чеченкой дочь прижил
Властелин Кавказа.

Жизнь и смерть дана одна,
А дорог — несметность.
Я со дней Бородина
С вами, ваша светлость.

Стал усердно понукать
Бег он лошадиный
И сказал:
«А бабы, знать,
Нации единой.

Страх пред смертью не таю,
Как солдат,
и все же
Умереть в родном краю
Приведи мне, боже».

Четыре совета царю молодому

Как предвещали на небе планеты,
Царь молодой отцовский занял трон.
И четверых.

подать ему советы,
К себе призвал мужей разумных он.
И молвил первый:

«Проклят не в огне ли
Был древним Римом бешеный Нерон?
Не принимай решения во гневе
И сталь не рви бесстрастно из ножен!»

Был муж второй апостольского лика.
«Твоя,—

к царю он обратил слова,—
И на пиру обязана, владыка,
Быть ненасытней чрева голова!»
А третий слыл приверженцем Субботы
И произнес:

«Судьба тебя храни!
Всему свой час — для женщин и охоты,
А для державы — ночи все и дни».

Сказал четвертый:

«Царские ворота
Ты пред молвой бесстрашно распахни,
И без заслуг не воздавай почета,
И без вины, владыка, не казни!»

* * *

Если в цепь нанизать все слова,
Что с трибун опрокинулись
в Лету,

Опоясать не раз и не два
Можно было бы ими планету.

Напрягаясь, звучат голоса,
Потолки зачадив, как
в коптильне.

И чернеют уже небеса
От словес в мировой говорильне.

Помолчи ты, мой друг, помолчи,
Позабудь о словесной полуде.

А когда говоришь — не кричи
Для того, чтоб слышали
люди.

АНАТОЛИЙ НАЙМАН



РАССКАЗЫ О АННЕ АХМАТОВОЙ*

Начало 60-х годов было временем посмертной славы Манделъштама. «Воронежские тетради» мы прочли году в пятьдесят пятом переписанными от руки именно в тетрадке. Теми же коричневыми чернилами, уже чуть выцветшими, тем же пером «с нажимом» в начале этой тетрадки был переписан «Камень», и первое впечатление от первых стихов Манделъштама, то есть от поэзии Манделъштама как таковой, было несравненно острее впечатления от, скажем, «Стихов о неизвестном солдате», которые звучали хотя и трагически, но все-таки уже на фоне удивительного, удивительно свежого, звука тех первых. Вскоре стала ходить по рукам машинопись «Четвертой прозы», ошеломлявшей сочетанием эгоцентрически агрессивной изысканности с ругательностью, органичной для ситуации травли и потому лишенной индивидуальных черт. Ритм, приспособившийся к прерывистому дыханию обложенного со всех сторон, но продолжающего свой «косящий бег» благородного зверя; высокий тон, едва не срывающийся на крик; максимализм претензий, подержанный полнотой самоотдачи,— все это вместе представлялось молодому человеку наиболее привлекательной и наилучшим образом отвечающей его собственным литературным притязаниям манерой. На нее ориентировались, в частности, и мои первые прозаические опыты: было соблазнительно видеть в ней универсальность и, стало быть, многообещающие перспективы «Это вам для вашей мстительной прозы»,— заключала Ахматова свой или мой рассказ о событии или человеке, видимость которых оказывалась в трудно формулируемом противоречии с сутью. Тогда же она сделала запись, которую собиралась вставить в «Листки из дневника» (и даже пометила «в текст, стр», но конкретного места так и не обозначила): «И дети не оказались запроданы рябому черту, как их отцы. Оказалось, что нельзя запродать на три поколения вперед. И вот настало время, когда эти дети пришли, наша стихи Осипа Манделъштама и сказали:

Это наш поэт».

Зимой 1962 года я подбил Бродского на поездку в Псков. Накануне отъезда Ахматова предложила нам навестить преподававшую в тамошнем пединституте Надежду Яковлевну Манделъштам, передать привет, но адреса не знала, а только сказала, через кого ее можно найти. Мы провели в Пскове три дня, разглядывали город, переходили по льду Великую, ездили по окрестностям, день бродили по Изборску. В один из вечеров отправились к Надежде Яковлевне. Она снимала комнатку в коммунальной квартире у хозяйки по фамилии Нецветаева, что прозвучало в той ситуации не так забавно, как зловеще. Надежда Яковлевна была усталая, полубольная, лежала на кровати поверх одеяла и курила. Пауз было больше, чем слов, явственно ощущалось, что усталость, недомогание, лежание на застеленной кровати, лампочка без абажура — не сиюминутность, а такая жизнь, десятилетие за десятилетием, безысходная, по чужим углам, по чужим городам. Когда через несколько лет она наконец переехала в Москву, это был другой человек: суетливая, что-то ненужное доказывающая, что-то недостоверное сообщающая, совершенно не похожая на ту, до конца дней явно или прикровенно ссыльную, которой нечего терять и недопустимо и унижительно прельщаться мелочами беззаботной жизни вольняшек. И ее муж, устроивший ей эту судьбу и скрепивший ее фразой: «А кто тебе сказал, что ты должна быть счастливой?» — из гениального поэта Манделъштама, сгинувшего в ледяной пустыне, стал превращаться в знаменитого московского юродивого Оську и в выдающуюся фигуру интеллектуально-эстетского Петербурга Осипа Эмильевича. В дни очередного «завинчивания гаек», то ли когда Хрущев разругал литературу и искусство, которые зани-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

мались черт знает чем, а не живописали красоты пейзажа, то ли когда стало раскручиваться дело Синявского и Даниэля, перепуганная Надежда Яковлевна приехала к Ахматовой посоветоваться, как быть. Она уже написала тогда первую книгу воспоминаний, многие читали ее в рукописи. Жила она еще у друзей, но хлопоты о квартире набирали силу, в них участвовала и Ахматова, отправившая письмо Суркову («Вот уже четверть века как вдова поэта, ставшего жертвой деспотического произвола, скитается по стране, не имея крова. Однако эта кочевая жизнь ей уже не под силу: это старая и нуждающаяся в медицинской помощи женщина»). Надежда Яковлевна была в страхе: до писательского начальства могли дойти слухи о существовании ее мемуаров, а то и экземпляр неподконтрольно размножающейся рукописи. Ахматова как могла успокоила ее, но после того как она ушла, сказала: «Что Надя думает: что она будет писать такие книги, а они ей давать квартиры?» Я спросил, насколько книга разоблачительна и в самом ли деле так опасна для автора, как думает Надежда Яковлевна. Она посмотрела на меня взглядом, выразившим, что находит мой вопрос странным, и прошептала: «Я ее не читала». Удовольствием моим изумленным, добавила: «Она, к счастью, не предлагала — я не просила». После смерти Ахматовой Надежда Яковлевна написала и издала еще «Вторую книгу». Главный ее прием — тонкое, хорошо дозированное растворение в правде неправды, часто на уровне грамматики, когда нет способа выковырять злокачественную молекулу без ущерба для ткани. Где-то между прочим и как бы не всерьез говорится, скорей даже роняется: «дурень Булгаков» — а далее следуют выкладки, не бесспорные, но и не поддающиеся логическому опровержению, однако теряющие всякий смысл, если Булгаков не дурень. Ахматова представлена капризной, потерявшей чувство реальности старухой. Тут правда только — старуха, остальное возможно в результате фраз типа: «В ответ на слова Ахматовой я только рассмеялась» — вещи невероятной при бывшей в действительности иерархии отношений. Мне кажется, что, начав со снижения «бытом» образов Мандельштама и Ахматовой, Надежда Яковлевна в последние годы искренне верила, что превосходила обоих умом и не много уступала, если вообще уступала, талантом. Возможно, ей нужна была такая компенсация за боль, ужас, унижения прежней жизни. По поводу же места в предреволюционной петербургской культуре, на которое она настойчиво выводила Мандельштама, Ахматова — после того как закрыла дверь за Надеждой Яковлевной, четверть часа произносившей быстрые монологи на эту тему под ее выразительное молчание, — рассказала такой эпизод: «В середине десятых годов возникло общество поэтов «Физа», призванное, в частности, как и некоторые другие меры, для того, чтобы развалить «Цех». Осип, Коля и я шли в гору, а что касается «Цеха», то он должен был кончиться сам собой. «Физа» было название поэмы Анрепа, прочитанной на первом собрании общества в отсутствии автора, он находился тогда в Париже. Я оттуда взяла эпиграф «Я пою, и лес зеленеет». Однажды туда был приглашен Мандельштам прочитать какой-то доклад. После доклада мы с Николаем Владимировичем Недоброво, который поселился в то время в Царском, чтобы быть ближе ко мне, поехали на извозчике на вокзал. Дорогой Недоброво произнес: «Бог знает что за доклад! Во-первых, он путает причастия с деепричастиями. А во-вторых, он сказал: «Все двенадцать муз», — их все-таки девять». Мандельштаму вовсе необязательно было знать больше того, что он знал. Он рассказывал, что ему было три года, когда он в первый раз услышал слово «прогресс», и он дико захохотал. Он оживлял все, к чему ни прикасался, на что ни бросал взгляд. Но «отравительницу Федру» он все-таки исправил, когда Гумилев и Лозинский сказали ему: «Кого же она отравила?» И не надо изображать его выпускником университета, когда он сходил в лучшем случае на восемь лекций. И не надо связывать его с Соловьевым и делать из него и Блока каких-то близнецов, Додика и Радика». В другой раз она к слову вспомнила: «Мандельштам говорил: „Я смысловик и потому не люблю зауми“. А еще: „Я ожидатель — и потому ссылка кажется мне еще ужаснее“».

Про Недоброво ко времени рассказа о «Физе» я уже много знал от нее, читал его статью о ней, его стихи, к ней обращенные, уже слышал: «А он, может быть, и сделал Ахматову», — но тогда, произнеся его имя, она нашла нужным подчеркнуть: «Он был первый противник акмеизма, человек с Башни, последователь Вячеслава Иванова». В ее фотоальбоме был снимок Недоброво, сделанный в петербургском ателье в начале века. Тщательно — как будто не для фотографирования специально, а всегда — причесанный; с высоко поднятой головой, с чуть-чуть надменным взглядом

с Мандельштамом, с Ольгой, с «Бродячей собакой». Посмеиваясь, рассказала, что «Артур обратился с просьбой из Америки»: не может ли она, пользуясь своим положением, содействовать постановке в Советском Союзе его балета «Арап Петра Великого»? «Ничего умнее, чем балет о негре среди белых, он там сейчас придумать не мог» (тогда было время расовых столкновений). В другом разговоре имя Артур вытолкнуло из ее памяти «старуху прислугу в доме Ольги». Она считала, что хозяйке и ее подруге живется плохо: «А Анна Андреевна сперва хоть жужжала, а теперь и не жужжит. Распустит волосы и бродит, как олень. Первоученные к ней приходят — улыбаются, а уходят невеселые».

Проживая каждый новый день, открывая книгу, выходя на улицу, она не могла не попадать в прошлое — как попала в подвал «Бродячей собаки», когда спустилась в ближайшее бомбоубежище, застигнутая воздушной тревогой в августе 1941 года. Но при этом она не погружалась в прошлое, не давала ему сделать ее своей частью, а по мере того как в него преобразовывалось то, что только что было будущим, отправляла его встречным потоком в будущее отдаленное. Не мемуарам, разумеется, которые предназначены привязать прошлое к своему времени раз и навсегда, а цельным, без изъяна, сознанием того, что бесконечно разнообразное будущее становится единственным прошлым именно для того, чтобы пребывать всегда. И тут нет места вариантам и разночтениям: чему следует быть фактом, должно быть фактом, чему стать легендой — стать легендой. Как-то в «Новом мире» были напечатаны воспоминания художницы Ольги Морозовой, по ахматовским догадкам, инспирированные «легендарной» Палладой («ей любовь одна отрада, и где надо и не надо не ответит, не ответит, не ответит „не могу“», как пелось в кузминском гимне «Бродячей собаки»), Палладой Олимпиевной Гросс. Прочтя фразу, что мемуаристка видела ее в «Привале комедиантов», Ахматова пришла в ярость: «Я ни разу не переступила порога «Привала»! Я ходила только в «Собаку»!» Я подумал тогда: какая разница — почти одного времени артистические кабаре, многие посетители «Бродячей собаки» оказались потом в «Привале комедиантов»... Но если ты по какой-то причине где-то не был, может быть, кому-то обещал не быть или считал для себя невозможным и отказывался от приглашений, дал всем заметить, что тебя там не бывает, как Блок — в «Бродячей собаке», а потом читаешь, что был, то в твоей жизни меняются местами все есть и нет, иначе говоря, вся жизнь

Те, кто говорил или говорит сейчас, что в последние годы она «исправляла биографию», исходят из убеждения, что документ — а документом они называют всякую запись — достовернее его последующего исправления. Что, основываясь на документах, они воссоздают истинное положение вещей. И что последующее вмешательство в документ, так или иначе искажающее сконструированную ими картину, посягает на истину и объясняется намерением улучшить свою или своих близких роль в прошлом и очернить противников. Но Ахматова, несколько десятилетий проработавшая с архивными документами, знала им цену, знала, к какой дезинформации, невольной или преднамеренной, приводит их неполнота, ошибочное, «современными глазами», прочтение и тенденциозный подбор. Она не верила, что ахматовед умнее Ахматовой, и воспоминаниями и исправлениями последних лет объявляла себя первым по времени ахматоведом, с объективным мнением которого как ни с чьим другим придется считаться всем последующим «ведам».

Особым образом исправляла она в желательную сторону мнение о себе. Однажды дала мне прочесть рукопись статьи «Угль, пылающий огнем» известного ленинградского критика. Статья была доброжелательная, но хотя и касалась новых вещей Ахматовой, ничего не прибавляла к уже известному о ней, лишь избирательно что-то повторяла. Она сказала: «Ничего, я его приглашу и кое-что положу рядом. У меня есть такой прием: я кладу рядом с человеком свою мысль, но незаметно. И через некоторое время он искренне убежден, что это ему самому в голову пришло». Похоже, что именно так она «кое-что положила рядом» с Никитой Струве, когда беседовала с ним в Лондоне, только он, если продолжить метафору, «не взял чужого». «А правда ли,— обратилась она к нему,— что вы в Россию кому-то написали о моих воспоминаниях: «Je possède les feuillets du journal de Sappho?» («В моем распоряжении листки дневника Сафо»). «Никогда в жизни такого не писал». «Ну вот, верь потом людям». Мне кажется, этим приемом она пользовалась, когда заявляла: «Считается, что в поэзии двадцатого века испанцы — боги, а русские — полубоги» Кем считается, на кого как не на себя она ссылалась? Или когда большая группа поэтов поехала в

Италию по приглашению тамошнего Союза писателей, а ее не пустили, и она говорила, лукаво улыбаясь: «Итальянцы пишут в своих газетах, что больше хотели бы видеть сестру Алигьери, а не его однофамилицу». И повторяла для убедительности по-итальянски «La suoga di colui» («Сестра того») Под однофамилицей подразумевалась поехавшая в Рим Маргарита Алигер, но в каких газетах писали это итальянцы, выяснять было бесполезно. А «La suoga di colui» — это луна в XXIII песне «Чистилища», сестра того, то есть солнца. И так же я воспринял ее слова, когда в Комарово съездил на велосипеде по ее поручению и, вернувшись, услышал: «Недаром кое-кто называет вас Гермесом». Никаких других «кое-кого», кроме нее, вокруг не было видно.

Она редактировала упомянутые уже мемуары В. С. Срезневской: «...характерный рот с резко вырезанной верхней губой — тонкая и гибкая, как ивовый пруттик, — с очень белой кожей — она (особенно в воде царскосельской купальни) прекрасно плавала и ныряла, выучившись этому на Черном море, где они не раз проводили лето (см. «У [Ахматова встает: самого] моря», поэма Ахматовой). Она казалась русалкой, случайно заплывшей в темные недвижные воды царскосельских прудов [Ахматова приписывает: *и до сих пор называет себя последней херсонидкой*]. Не мудрено, что Ник. Степ. Гумилев сразу и на долгие годы влюбился в эту, ставшую роковой, женщину своей музыки. Ее образ, то жестокой безучастной и далекой царицы, — перед которой он «рсточает «рубины божества» [Ахматова исправляет: *волшебства*], — то зеленой обольстительной и как будто бы близкой колдуньи и ведьмы, — в «Жемчугах», в «Колчане» [Ахматова зачеркивает «Колчан»] и еще много позже — уже как осознанный и потерянный навсегда призрак возлюбленной и ушедшей женщины — давит над сердцем поэта. Чтобы показать, что это не мои «домыслы и догадки» (как это нередко бывает в биографиях больших поэтов), а живая и настоящая правда, сошлюсь не только на свою многолетнюю радостную дружбу с обоими, но на более убедительный и несомненный след этой любви в стихах Н. С. Гумилева». [Далее Ахматова вписывает названия обращенных к ней его стихов начиная с «Пути Конквистадоров».]

Валерия Сергеевна, урожденная Тюльпанова, была самой давней ее подругой. Еще в Царском, когда Горенки перебрались с первого во второй этаж дома Шухардиной, в первый въехали Тюльпановы, и к брату «Вали» Андрею приходил в гости его соученик Гумилев. У нее жила Ахматова в Петрограде на Боткинской, 9 (при клинике, в которой служил врачом доктор Срезневский) с января 1917 года до осени 1918-го, то есть пережила обе революции, простилась с Анрепом, вышла за Шилейко. У Срезневской же поселялась еще несколько раз, посвятила ей одно из лучших своих стихотворений «Вместо мудрости — опытность» Вспоминала, как вдвоем они однажды ехали на извозчике, одна другой на что-то жаловалась, и извозчик, «такой старый, что мог еще Лермонтова возить, неожиданно произнес: «Обида ваша, барышни, очень ревная», — неизвестно которой» Когда Срезневская умерла в 1964 году, Анна Андреевна сказала: «Валя была последняя, с кем я была на ты. Теперь никого не осталось». Срезневская оставалась свидетельницей самых ранних лет, когда завязывались главные узлы ахматовской судьбы, и под некоторым нажимом Ахматовой и с установкой, совместно с нею определенной, начала писать воспоминания. В приведенном отрывке Ахматова оставляет как есть «давит» (вместо «тяготет» — безграмотность, на которую она в других случаях вскидывалась) и «женщину своей музыки» Вписывая «херсонидку» или названия гумилевских стихов, она не изменяет воспоминаний ни как самовыражения мемуаристки, ни как документа. Она только ссужает, даже не из своей, а из общей для них обеих памяти тем, чего той недостает, — прилагает к справке оборвавшийся уголок.

Ее память — «хищная», «золотая», если пользоваться словами, произносимыми ею в похвалу памяти других, — казалось, была устроена особенным образом, сохраняла в себе то, что случилось в конкретной ситуации, и одновременно то, что должно случиться в таких ситуациях. Причем это было не знание, выработанное по аналогии со случившимся, или со случавшимся, в ее жизни, то есть не вследствие опыта — хотя оно параллельно и опиралось на весь ее огромный опыт, — а как будто с рождением унаследованное неизвестно от кого, заложенное в самую глубину неизвестно когда. Ахматова именно не знала некоторые вещи, которых не была очевидицей, а помнила. Механизм вспоминания, описанный ею в связи с Блоком: «Записная книжка Блока дарит мелкие подарки, извлекая из бездны забвения и возвращая даты позабытым событиям», — распространялся у нее и на события, впечатлевшиеся в пра-

памяти. «Один раз я была в Слепневе зимой. Это было великолепно. Все как-то сдвинулось в XIX век, чуть не в пушкинское время. Сани, валенки, медвежьи полости, огромные полущубки, звенящая тишина, сугробы, алмазы». Это не представление о пушкинском времени, питаемое знанием, — а узнавание. То же самое бывало при чтении книг: среди страниц, описывающих то, что она не могла подтвердить или опровергнуть своим свидетельством, она натыкалась на строку о том, что «помнила», подлинность или поддельность чего «узнавала» по «воспоминанию», будь это Хемингуэй, или Аввакум, или Шекспир, или Плутарх. «Ну конечно! — воскликнула она, ткнув пальцем в подстрочник папируса, который просматривала среди других, прежде чем дать согласие на перевод египетской лирики. — Pyramid' altius. Для Горация пирамиды были абстракцией, а этот выглядывал в окошко и их одни и видел». «Этот» был писец, прославлявший писцов глубокой древности: «Они не строили себе пирамид из меди и надгробий из бронзы» С такой же определенностью говорила она, что ее дед по матери, Эразм Иванович Стогов, «жаңдармский полковник», проходил мимо Пушкина в анфиладах III отделения (хотя знать она могла только, что он с 1834 года служил жандармским штаб-офицером в Симбирске).

Сродни «вспоминанию» был и метод, приводивший ее к некоторым открытиям в пушкинистике, особенно последнего времени: сперва она «узнавала», что дело обстояло именно так, а не иначе, и действительно вскоре к этому, как к магниту, начинали стягиваться необходимые доказательства — процесс, прямо противоположный подгонке фактов под концепцию.

При таком пользовании «чьей-то» «даром доставшейся» памятью Ахматова и эту память и благоприобретенную щедро тратила на нуждающихся в ней. Правда, за ее спиной говорилось иногда, что она это делает небескорыстно, что она пристрастна и, по-своему толкуя факты, навязывает «субъективное» мнение. Я не наблюдал, чтобы она доказывала свою правоту, наоборот, ее упоминание о ком-то или о чем-то было — по крайней мере, внешне — беззаботно, сплошь и рядом юмористично, свободно: хотите — верьте, хотите — нет (каковыми словами она, кстати сказать, часто заканчивала свою речь) Она не «тянула на себя одеяло», не подправляла историю литературы, ее вполне устраивала суммарная оценка ее судьбы, поэзии и места в русской и мировой культуре, так же как судеб и творчества ее современников. Если она нападала или защищалась, то прежде всего ради справедливости в общечеловеческом плане. В наши молодые годы Бродский был окружен безотчетным расположением тех же людей, чью безотчетную неприязнь чувствовал я. Он мог пообещать и забыть встретить на вокзале человека, приехавшего из другого города, — обвиняли того: зачем ехал Я мог попасть в больницу с сердечным приступом — говорили: доигрался. «Это как кому на роду написано, — объясняла Ахматова. — Как бы гнусно Кузмин ни поступал — а он обращался с людьми ужасно, — все его обожали. И как бы благородно себя ни повел Коля, все им было нехорошо. Тут уж ничего не поделаешь».

Она рассказала: «Бунин сочинил эпиграмму на меня:

Любовное свидание с Ахматовой
Всегда кончается тоской:
Как эту даму ни обхватывай,
Доска останется доской.

А что? По-моему, удачно».

И с таким же удовольствием: «Я рождена, чтобы разоблачать Вячеслава Иванова. Это был великий мистификатор, граф Сен-Жермен. Его жена, Зиновьева-Аннибал, умирает от скарлатины: в деревне, в несколько дней, просто задыхается. Он начинает жить с ее дочерью от первого мужа, четырнадцати лет У той ребенок от него, какой-то попик в Италии незаконно их венчает. И вот, сэр Б. и сэр Б. торжественно объясняют это предсмертной волей жены... Блок, по европейским представлениям, это тот, кто „заходил в знаменитую Башню Вячеслава Иванова". „Вячеслав Иванов научил Ахматову писать стихи" Везде он оставая старичков, плачущих по нем, в Баку, в Италии» С ноткой мстительности: «Но не в России. Он впивался в людей и не отпускал потом — «ловец человек». В оксфордской книжке «Свет вечерний» его портрет: восьмидесятидвухлетний старик с церковной внешностью, но ни ума, ни покоя, ни мудрости — одни подобия».

«Я вам не ставила еще мою пластинку про Бальмонта?

Бальмонт вернулся из-за границы, один из поклонников устроил в его честь вечер. Пригласил и молодых: меня, Гумилева, еще кого-то. Поклонник был путейский

генерал — роскошная петербургская квартира, роскошное угощение и все что полагается. Хозяин садился к роялю, пел: „В моем саду мерцают розы белые и красные“. Бальмонт королевствовал. Нам все это было совершенно без надобности.

За полночь решили, что тем, кому далеко ехать, как, например, нам в Царское, лучше остаться до утра. Перешли в соседнюю комнату, кто-то сел за фортепьяно, какая-то пара начала танцевать. Вдруг в дверях появился маленький рыжий Бальмонт, прислонился головой к косяку, сделал ножки вот так [тут она складывала руки крест-накрест] и сказал: „Почему я, такой нежный, должен все это видеть?“.

Эту фразу она иронически-печально произносила при виде либо чего-то ей симпатичного, но, по общему мнению, недостойного Ахматовой (например, когда вышла на веранду комаровского домика и застала гостивших у нее молодых людей садящихся по двое на велосипеды, чтобы отправиться на реку Сестру купаться); либо не-симпатичного, но не стоящего более серьезной реакции (например, когда ей на глаза попался журнал с фотографиями Элизабет Тейлор в роли Клеопатры).

Каким-то образом людей «до тринадцатого года», то есть старших, включая и тех, с кем она была хорошо знакома, в ее рассказах сносило в XIX век, через Толстого к Тургеневу, Фету, Некрасову. Они исполняли роль связки между ее прошлым и прошлым историческим. Точно так же как не попавших в «тринадцатый год», пусть даже сверстников, уже покойных ко времени ее рассказа, Пастернака, Пильняка, Булгакова, выносило в настоящее. Они оказывались целиком вписанными в советское время, были нам понятны, как наши тогда еще живые папы и мамы, и исполняли в биографии Ахматовой функцию знаков ее 20-х, 30-х, 40-х годов.. Я уходил на вечеринку к моим приятелям-грузинам. Она заметила вскользь, что одни, как Пастернак, «предаются Грузии» (одно из привычных ее словупотреблений: например, о писателе — авторе нескольких «криминальных романов»: «Герман в это время уже предался милиции..»), она же «всегда дружила с Арменией». Я ответил, что в этой компании сколько грузин тбилисских, столько и московских, да и тбилисский грузин в Москве почти то же самое, что ленинградец в Москве. Она сказала, что была знакома с некоторыми из московских. Я назвал имя Бориса Андроникашвили «Как же... Он должен быть ваш ровесник Пильняк, когда был в Америке, купил автомобиль, его морем привезли в Ленинград. Пильняк приехал, чтобы перегнать его в Москву, предложил мне сопровождать его, прокатиться, я согласилась. Мы отправились, белая ночь. Когда приехали, он узнал, что в эту ночь у него родился сын. Этот самый ваш Борис Борисович... У Пильняка было неблагополучно с женами, одна из них — не мать Бориса — кажется, сыграла свою роль в его аресте. Но погубила его, как и Бабеля, близость к НКВД. Обоих тянуло дружить и кутить с высокими чинами оттуда: «реальная власть», острота ощущений да и модно было Их неизбежно должно было всосать в воронку». Помолчала, потом сказала: «Пильняк семь лет делал мне предложение, я была скорее против».

И через несколько дней: «А с Пастернаком я возвращалась под утро — это было вскоре после войны — как раз с грузинского пирса. Нам было по пути, в Замоскворечье, он взял меня под руку и всю дорогу говорил о поэте Спасском, ленинградце: какой это замечательный поэт. Перешли мост, и вот здесь, на Ордынке, — она показала подбородком в сторону реки: мы с ней стояли у ворот ардовского дома, — он уже совсем захлебывался: Спасский! Спасский! вы, Анна Андреевна, не представляете себе, какие это стихи, какой восторг. И тут он в избытке чувств стал меня обнимать. Я сказала: «Но, Борис Леонидович, я не Спасский». Это типичный он, Борисик».

Зимним солнечным днем я забежал на Ордынку и застал Анну Андреевну сидящей в гостиной за столом, покрытым ослепительно белой скатертью, вместе с Ниной Антоновной и еще двумя пожилыми людьми, элегантно статыным мужчиной и очаровательной хрупкой дамой, которых я принял за мужа и жену. Представив меня, Ахматова с улыбкой прибавила «Анатолий Генрихович — поклонник „Театрального романа“» «Театральный роман» только что появился в «Новом мире» и был тогда у всех на языке. Дама взглянула на меня, гоже улыбнулась. Вообще с самого начала улыбались — и чем дальше, тем веселей. — все, кроме мужчины. Я понял ахматовскую фразу как приглашение к теме и сказал, как мне понравился роман и чем Улыбки, приветливые, но более широкие, чем, я ощущал, должны были вызвать мои слова, у всех и саркастическая у мужчины вынудили меня на похвалы менее искренние и потому более жаркие. Женская смешливость и мужская неприязненность, про-

явившаяся уже в хмыканье и реплике «вон как!», еще усилились. Я почувствовал себя неуютно, но не хотел сдаваться, привел несколько лучших примеров булгаковского стиля Ахматова перебила меня: «Позвольте представить вам Елену Сергеевну Булгакову». Мой конфуз, общее удовольствие, недоверие мужчины: «Да он знал, а не знал — мог догадаться». Это был Михаил Давыдович Вольпин, драматург, человек острого, немного желчного ума и жалящего языка, в 20-е годы на поэтических концертах ошкивавший Ахматову из любви к Маяковскому и одним из считанных людей выслушавший от нее «Реквием» в конце 30-х. Во время войны он и драматург Эрдман, ближайший его друг, оба в военной форме, навестили, попав в Ташкент, Ахматову. Они знали только приблизительно, где находится дом, и, по ее словам, всякий, у кого они спрашивали, в какой она живет квартире, спешил в уязвленности, что «за ней пришли», сообщить им что-нибудь разоблачительное. Когда же они, почтительно держа ее под руку, вышли из дому и через пять минут вернулись с большими бутылками вина, собравшиеся у крыльца были в смятении и глубоко разочарованы...

В тот зимний день, уходя, Елена Сергеевна повернулась ко мне и сказала: «Если хотите, я могу дать вам прочесть другой роман мужа, у себя дома, разумеется». За три дня в ее квартире со светлыми, словно воском натертыми полами и павловской мебелью, в доме у Никитских ворот я прочел две папки «Мастера и Маргариты». Я признался Ахматовой, что сладкие часы чтения, тем более обаятельного, что оно совершалось в этой исключительной и самой выгодной для него обстановке, в конце концов осели во мне томящим разочарованием. Пленительный, живой, «булгаковский» слой советской Москвы должен был, по замыслу писателя, включиться в евангельский, то есть вневременной, вечный, а вышло, пожалуй, что он низвел его до себя и в виде стилизованной исторической беллетристики, написанной к тому же без заинтересованности, «на технике», включил в себя. Она ответила неохотно: «Это все страшнее», — может быть, не именно этими словами, но в этом смысле, потом спросила насмешливо: «Ладно, что она его вдова, вы не догадались, но вам хоть понятно, что она Маргарита?»

Она называла Булгакову образцовой вдовой, то есть делавшей для сбережения и утверждения памяти мужа все что было в ее силах. Она рассказывала о преданности этой молодой, красивой, избалованной женщины полуопальному, а потом смертельно больному мужу. Однажды речь зашла о «декабристах двадцатого столетия», кажется, это был термин Надежды Яковлевны Мандельштам; затем о женах, разделивших судьбу, прижизненную и посмертную, мужей, о Булгаковой, о Стенич; затем о женах отказавшихся и предавших. Всплыло имя жены Н., которая была задумана природой как жена заслуженного артиста, и три года, пока Н. был заслуженным, она была счастлива. Потом ему дали народного, она растворилась в небытии. Ее место заняла другая, приспособленная быть женой народного артиста. Потом Н. оклеветали, посадили, сняли с него звание, и он остался один. «На эту роль дамы не нашлось», — жестко проговорила Ахматова.

Пильняк родился в один год с Маяковским, Булгаков на три года раньше, но Маяковский, в ее подаче, оказывался на историческую эпоху старше их. Она была очень высокого мнения о его поэзии 10-х годов: «Гениальный юноша, написавший „Облако в штанах“ и „Флейту - позвоночник!“ Вспоминала о нем молодом с теплотой, почти нежностью. Рассказала, как шла с Пуниным по Невскому и, завернув за угол Большой Морской, они столкнулись с выходящим на Невский Маяковским, который, не удивившись, сейчас же произнес: «А я иду и думаю: сейчас встречу Ахматову», — это уже какой-то из 20-х годов. Повторяла, что если бы так случилось, что поэзия его оборвалась перед революцией, в России был бы ни на кого не похожий, яркий, трагический, гениальный поэт. «А писать „Моя милиция меня бережет“ — это уже за пределами. Можно ли себе представить, чтобы Тютчев, например, написал. „Моя милиция меня бережет!“» «Впрочем, могу вам объяснить, — вернулась она к этой теме в другом разговоре. — Он все понял раньше всех. Во всяком случае, раньше нас всех. Отсюда «в окнах продукты, вина, фрукты», отсюда и такой конец».

Неожиданным сопоставлением Маяковского с Тютчевым она добивалась еще нескольких целей, кроме очевидной: измеряла — по сходству, а чаще по контрасту — ранг фигуры; подыскивала — переводом в другой временной пласт — ей место в исторической перспективе; представляла время неделимым, не расслаивающимся на пласты, не разламывающимся на эпохи. К этому же приему она прибегала, когда разговор коснулся Маршак, — через две-три недели после его смерти: «Когда умирает

старик писатель, это должен быть обвал, переворот в душах, кончина Толстого — а тут что?» Про Федора Сологуба, одного из немногих старших, кого почитала, с кем поддерживала дружеские отношения до последних его лет, сказала: «Сологуб никому не завидовал, вообще не опускал себя до сравнения с кем бы то ни было — кроме Пушкина. К Пушкину чувство было личное, он говорил, что Пушкин его заслоняет, переходит ему дорогу». Она рассказывала об обедах у Сологубов в большой, холодной, сумрачной столовой с висящими по стенам запяленными лавровыми венками, которые были на него в разное время возложены на поэтических турнирах и бенефисах; иногда одинокий лист срывался и медленно планировал на пол. Она была дружна и с Анастасией Ивановной Чеботаревской, его женой и сотрудницей, горячо им любимой, которая в припадке безумия покончила с собой: осенью двадцать первого года она исчезла, а весной ее тело нашли в Неве под окнами их квартиры

Вообще же почти о всех «старших» разговор начинался так: «Мы его не любили, но...» 11 октября 1964 года она подарила мне свою фотографию, сопроводив это такими словами: «Мы стихов Зинаиды Гипшиус не любили, кроме одного прекрасного четверостишия, — я вам его переписала» На обороте было написано:

Не разлучайся, пока ты жив,
Ни ради дела, ни для игры,
Любовь не стерпит не отомстив,
Любовь отымет свои дары.

Потом в скобках — «З. Гипшиус», потом дата, потом строчное, высотой в прописное «а», пересеченное горизонтальной чертой.

* * *

«Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет», — несомненно свидетельствует Псалтирь. Да еще двадцать — тридцать, пока сами не умрут, помнят покойного дети, вот как раз и век человеческий, сто лет. А потом уже «помяни, Господи, всех, за кого некому молиться».

Памяти «в род и род» добиваются люди святой жизни, памяти долговечной — вызвавшие своими делами великое противодействие Провидения. В особое положение поставлены поэты:

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я... —

при непременном условии:

...доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Поэты поставлены в особое положение не тем, что оставляют после себя книгу как вещь, пребывающую в дальнейшем употреблении, и не тем, что поэт-потомок, по роду своих интересов натолкнувшись на нее или отыскав, должным образом оценит или даже использует стихи предка. Поэт «не умирает весь» не только в осколке строки, который прихотливо сохранило время, безымянном и случайном, но и в пропавших навсегда стихотворениях и поэмах, другим каким-то поэтом когда-то усвоенных и через позднейшие усвоения переданных из третьих, десятых, сотых рук потомку. В принципе поэт остается «славным» («И славен буду я...») — то есть слывет, вспоминается — при чтении любым другим поэтом любой поэзии, поэзии вообще, вспоминается постольку, поскольку он в ней содержится, ее составляет. Иначе говоря, поэзия и есть память о поэте, не его собственная о нем, а всякая о всяком, но чтобы стать таковой, ей необходимо быть усвоенной еще одним поэтом, все равно, «в поколенья» или «в потомстве». Усваивается же она им уже «на уровне» чтения, «в процессе» чтения.

При чтении читателем-непоэтом поэт тоже остается «славным», но эта слава совсем иного качества: непоэт — только приемник, поглотитель поэтической энергии, в него уходит творческий посыл поэта, на нем кончается. Ахматова в заметках на полях пушкинских стихов пишет об «остатках французской рифмы», распространенная рифма *rivage* (берег) — *sauvage* (дикий) превращается у Пушкина в устойчивую формулу «дикий берег». Так вот, разница между этими двумя славами (у читателя-непоэта и у читателя-поэта) подобна разнице между услаждающим слух французским созвучием и самостоятельным образом. Непоэт благодарен читаемому им автору, уми-

ляется, называет его «мой»; поэт пускает его в дело. Именно в дело, а не на украшения: одну из колонн можно взять в готовом виде из привезенных с раскопок, из валяющихся среди руин, из лишних у соседа, что и делалось всегда и делается на стройке; но она должна быть несущей, а не декоративной. Читатель-непоэт декорирует свою речь лепниной стихов. «Иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал», — дает Пушкин пример такого усвоения-присвоения поэзии. «Дикий берег» — чисто пушкинский строительный блок, хотя пошла на него элементы чужой архитектуры. То есть: читающий поэт читаемую поэзию *усваивает* не в общепринятом смысле слова, он усваивает ее *новым стихом*.

Когда это происходит, усвоенное обновляется двояко: не бывшими прежде стихами — и обогащением стихов, в них отраженных. Сравнить поэзию со строительством можно только для наглядности: поэтическая «колонна» в отличие от архитектурной возникает в новом здании, сохраняясь и в прежнем. Этим сохранением-преобразованием творческий акт усвоения поэзии напоминает метаморфозы у древних, с той поправкой, что Филомела, превращенная в соловья, продолжает быть Филомелой. Из того, что один не умрет, пока будет жив другой, следует, что в каждый момент поэзии оба живы. Эта жизнь не вечная: зависящая от людской памяти, она существует лишь «доколь». Но память — подобие бессмертия, попытка получить бессмертие «своими силами», и так как лучшего подобия в подлунном мире нет, предлагает считать ее бессмертием настоящим, умалчивая о том, что это все-таки лишь имитация бессмертия.

Я ведаю, что боги превращали
Людей в предметы, не убив сознания,
Чтоб вечно жили дивные печали,
Ты превращен в мое воспоминанье.

Это сказала молодая Ахматова. С какого-то времени, если не с самого начала, все ее творчество становится подчиненным одному желанию — превратить мертвое в живое. Магия, вызываемая феноменом поэзии, граничит у нее с колдовским искусством вызывать умерших: живым голосом умерших хотела она говорить. Высшей концентрации эти усилия достигли в «Поэме без героя». «Их голоса я слышу... — пишет она о друзьях, погибших в ленинградскую блокаду, — когда читаю поэму вслух...» — и впечатление такое, что голоса звучат не только в ее памяти, но и в ее реальности.

«Цитирую» в своих стихах поэтов-предшественников, Ахматова сознательно выступает как предсказанный ими будущий «пиит» — живой ради их неумирания. Среди немногочисленных книг ее библиотеки всегда под рукой были Библия, Данте (в итальянской антологии начала века, которую закладывали стихи составителя. «Ради этого и антологию составлял», — комментировала она), полное собрание Шекспира в одном томе, то же Пушкина. Реминисценции из них, менее или более зашифрованные, столь многократны и благодаря тончайшему вживлению их в ткань ахматовских стихов часто столь трудно уловимы, что следует говорить о постоянном библейском, или дантовском, или шекспировском слое в ее поэзии. Но при этом, мне кажется, не следует понимать только как стилизацию под античность ее «Музу».

И вот вошла Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту динтовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

Этот внимательный взгляд Музы так же конкретен, как все *взгляды* и *взоры* ее стихов, например того же Блока:

Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!

Она любила повторять, что прохожие на улице, завидев Данте, шептали друг другу: «Вот человек, который побывал там». Строкою «Внимательно взглянула на меня» описание прихода Музы выводится из сферы воображения, так же как современники Данте не воображали, что он был там, а были в этом уверены.

В год возвращения из эвакуации и встречи с искалеченным Ленинградом, отметив пятьдесят пятый день рождения, Ахматова написала стихотворение из разряда «последних», то есть гех, которые претендуют стать завершающими творчество поэта, — не «Я помню чудное мгновенье», а «Брожу ли я вдоль улиц шумных»: то, что называется «о жизни и смерти»:

Наше священное ремесло
 Существует тысячи лет...
 С ним и без света миру светло.
 Но еще ни один не сказал поэт,
 Что мудрости нет, и старости нет,
 А может, и смерти нет.

Последние строчки предполагают по крайней мере два разных прочтения. «Поэт не сказал» этого, потому что мудрость есть, и старость есть, и смерть есть, а опровержение их, или, точнее, победа над ними,— дело не поэзии, а веры. Однако благодаря нескольким приемам (сопоставлению «мудрости» со «старостью», рассчитанная неожиданность которого, чтобы не сказать — некорректность, имеет целью вызвать читательскую растерянность; введению утверждающе-сомневающегося («а может») на передний план выступает другой смысл: «поэт не сказал» этого, а мог бы. Мог хотя бы рискнуть. Последняя строчка синтаксически самостоятельная, лукавый вопрос: если поэзия в самом деле светит во тьме, то, может, и смерти нет? К этому можно прийти, только назвав ремесло священным, а священное — ремеслом «Священное ремесло» не делает разницы между словами, вдохновенными Богом и вдохновенными Аполлоном. В таком случае шестистишие может иметь в виду известные слова Екклесиаста (глава II, ст. 13, 14, 16; глава XII, ст. 1), не впрямую оспаривая его. Но если кончает Екклесиаст тем, что «всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо», то почему же «ни один не сказал поэт», не дерзнул сказать, слов надежды до суда? — вот на что, похоже, намекает стихотворение «I'll give thee leave to play till doomsday» («Я разрешаю тебе играть до Судного дня») — любимое место Ахматовой в «Антонии и Клеопатре», предсмертное обращение царицы к преданной служанке.

Она начала читать Шекспира (в том смысле, как читает поэт; филологи сказали бы — заниматься Шекспиром) в молодости и читала до конца дней, в разные периоды разные вещи или на разное обращая внимание в одной и той же. «Макбет» был в числе досконально изученных и постоянно используемых, макбетовские мотивы попадают в ее стихи непосредственно из трагического быта, воспроизводящего кровавые ситуации пьесы, и через Пушкина, чьи заимствования у Шекспира были ею обнаружены еще в 20-е годы «Реквием» и — шире — реквиемая тема времени террора, захватившего сорок без малого лет ее жизни, пропитаны словом и духом «Макбета». Трагический октябрь, сметающий людские жизни, как желтые листья, в четверостишии, адресованном Анрепу, и голосующие в саду деревья в эпитафии к стихотворению «И вот, наперекор тому» — это отголоски движения Бирнамского леса, «шагающей рощи», несущей гибель королю-убийце.

Она рассказывала, что некий молодой англичанин жаловался на трудности чтения шекспировского текста, архаичный язык и прочее. «А я с Шекспира начала читать по-английски, это мой первый английский язык». Вспоминала, что, отыскав незнакомое слово в словаре, ставила против него точку; попав на него снова, вторую точку и т. д. «Семь точек значило, что слово надо учить наизусть» «Основную часть англичан и американцев я прочла в бессонницу тридцатых годов», — упомянула она однажды. Среди них были Джойс и Фолкнер. Читала она по-английски, почти не пользуясь словарем, а говорила с большими затруднениями, с остановками, ошибаясь в грамматике и в произношении. Сэр Исая Берлин, слушавший, как она декламировала Байрона, пишет, что мог уловить всего несколько слов, и сравнивает это с современным чтением античных классиков, которое также едва ли было бы им понятно. Однажды, желая сказать мне то, что не предназначалось для чужих ушей, и допуская, что за дверью нас может услышать человек, который знал французский, она неожиданно заговорила по-английски, я как-то ответил, следующие несколько фраз были произнесены также с напряжением, хотя и свободнее, эпизод закончился, тема разговора переменилась. Через некоторое время она сказала: «Мы с вами говорили, как два старых негра».

Она находила пастернаковские переводы Шекспира более пригодными для театра, но отдавала предпочтение переводам Лозинского, адекватнее передающим «текст». О «Гамлете» говорила, что Призрак отца должен только мелькнуть на сцене, чтобы у зрителя осталось впечатление, будто ему показалось. В связи с этим заметила, что «вообще на сцене все должно каждую минуту меняться». Ее дневниковая запись «Найденная цитата в Гамлете (Frère Berthold)» означает, если не ошибаюсь, что слова Клавдия:

...so, haply, slander,
 Whose whisper o'er the world's diameter,
 As level as the cannon to his blank,
 Transports his poison'd shot, may miss our name,
 And hit the woundless air

(акт IV, сцена I)

(«...тогда, возможно, клевета, чей шопоток сквозь поперечник земли, прицельно, как пушка в десятку, несет свое отравленное ядро, может пролететь мимо нашего имени и ударит в неуязвимый воздух») — отозвались в пушкинском плане «Сцен из рыцарских времен» фразой: «La pièce finit par des réflexions — et par l'arrivée de Faust sur la queue du diable (découverte de l'imprimerie, autre artillerie)» («Пьеса кончается рассуждениями — и прибытием Фауста на хвосте дьявола (изобретение книгопечатания — своего рода артиллерия»). Тем самым книгопечатание, Фаустово изобретение которого приравнено здесь к изобретению монахом Бертольдом Шварцем пороха, уподобляется — через метафору — клевете.

Среди шекспировских строк, которые она знала наизусть и могла к случаю вспомнить, был стих из «Ромео и Джульетты», слова Ромео: «For nothing can be ill, if she be well» («Ни в чем не может быть изъяна, если с ней все хорошо»). Своеобразная анаграмма этого стиха, строчка, придуманная ею: «Ромео не было, Эней, конечно, был», — это не отрывок из неизвестного или неоконченного стихотворения, а самостоятельный афоризм, универсальный, как она с едва заметной ноткой шутливости настаивала, для всей сферы любовных отношений: мужчин, преданных возлюбленным так, как Ромео, не бывает; бросающих же «ради дела», как Эней, нет числа. Она не раз приводила его как словцо в беседе, в письме, пробовала предварить им сонет «Не пугайся — я еще похожей», но как эпитафия он не прижился.

Из «Антония и Клеопатры» она повторяла еще два места: слова Клеопатры о себе: «I am fire and air; my other elements I give to base life» («Я огонь и воздух; прочие стихии отдаю низшей природе») — и об Антонии: «...his delights were dolphin—like, they show'd his back above the element they liv'd in» («...его очарование было подобно дельфину, оно выныривало спиной над стихией, в которой жило»). Эту принадлежность одновременно двум стихиям она распространяла на себя — вспоминала фразу, которой брат Виктор, моряк, оценил ее умение плавать: «Аня плавает, как птица»; в другой раз сказала о том же: «Я плавала, как щука». А как-то раз в тихий, теплый, пасмурный день мы сидели на скамейке перед домом, и она произнесла: «В молодости я больше любила архитектуру и воду, а теперь музыку и землю».

Вообще же всякий шекспировский след в ее стихах был еще и знаком «английской темы», неким узелком для памяти. «Дальняя любовь» к уплывшему в Лондон другу (Анрепу) с 1945 года связалась, переплелась и, в плане литературы, обогатилась чувством к другому русскому, мальчиком также эмигрировавшему вместе с семьей из Петербурга сперва в Латвию, потом в Англию. Осенью того года, на гребне волны взаимных симпатий между союзниками в только что окончившейся войне, в Москву советником посольства на несколько месяцев приехал известный английский филолог и философ Исая Берлин. Его встреча с Ахматовой в Фонтанном доме вызвала, по ее убеждению, все вскоре обрушившиеся беды — и убийственный гром, и долгое эхо анафемы 1946 года, и даже, наравне с фултонской речью Черчилля, разразившуюся в том же году «холодную войну». Эта встреча переустроила и уточнила — подобно тому как это случалось после столкновения богов на Олимпе — ее поэтическую вселенную и привела в движение новые творческие силы. Циклы стихов «Cinqe», «Шиповник цветет», 3-е посвящение «Поэмы без героя», появление в ней Гостя из будущего (прямо) и поворот некоторых других стихотворений, отдельные их строки (невяно) связаны с этой продолжавшейся всю ночь осенней встречей и еще одной, под рождество, короткой, прощальной, с его отъездом, «повторившим», с поправкой на обстоятельства, отъезда Анрепа. и с последовавшими затем событиями.

Ахматова говорила о нем всегда весело и уважительно (кроме того раза, когда ею были произнесены слова о «мужчине в золотой клетке»), считала его очень влиятельной на Западе фигурой, уверяла, правда, посмеиваясь, что «Таормина и мантия», то есть итальянская литературная премия и оксфордское почетное докторство, — «его рук дело» и что это «он сейчас о Нобелевке хлопочет» для нее, хотя при встрече с нею в 1965 году и в позднейших воспоминаниях он это начисто отрицал. Она ценила его оценки, ей импонировали его характеристики людей, событий, книг. Она подарила

мне его книжку «The Hedgehog and the Fox» («Еж и Лиса») о Толстом как историке, открывающуюся строкой греческого поэта Арилоха: «Лиса знает множество вещей, а Еж знает одну большую вещь» — и под этим углом рассматривающую писателей: ежей — Данте, Платона, Паскаля, Достоевского, Пруста, и лис — Шекспира, Аристотеля, Гёте, Пушкина, Джойса. Ее рукой в книжке подчеркнуты места: «Толстой был по природе лисою, но считал себя ежом» и «конфликт между тем, что он был и чем себя считал». Возможно, она слышала в этих словах отзвук своих собственных, которые не уставала повторять, порицая Толстого за двойную мораль (непосредственную — и выражавшую мнение его круга, семьи, общества), и которые она высказала, в частности, Берлину в том многочасовом разговоре и впоследствии приведенных им в мемуарах: «Толстой знал правду, однако понуждал себя постыдно приспособляться к обывательским условностям».

В разговоре она часто называла его иронически-почтительно «лорд», реже «сэр»: за заслуги перед Англией король даровал ему дворянский титул «Сэр Исаяя — лучший causeur¹ Европы, — сказала она однажды. — Черчилль любит приглашать его к обеду». В другой раз, когда, заигравшись с приехавшими в Комарово приятелями в футбол, я опоздал к часу, в который мы условились сесть за очередной перевод, прибежал разгоряченный, и она недовольно пробормотала: «Вы, оказывается, профессиональный спортсмен», причем «спортсмен» произнесла по-английски, — я спросил по внезапной ассоциации, а каков внешне Исаяя Берлин «У него сухая рука, — ответила она сердито, — и пока его сверстники играли в футбол, — «футболь» прозвучало уже по-французски, — он читал книги, отчего и стал тем, что он есть» Она подарила мне фляжку, которую он на прощание подарил ей: английскую солдатскую фляжку для бренди

Английскую тему, или, как принято говорить на филологическом языке, английский миф, поэзии Ахматовой обнаруживает не единственно шекспировский след ее стихов Байрон Шелли, Китс (напрямую и через Пушкина), Джойс и Элиот подключены к циклам (или циклы к ним) «Cinque», «Шиповник цветет», к «Поэме без героя» наравне с Вергилием и Горацием, Данте, Бодлером. Нервалем Но подобно тому как появление Исаяя Берлина на ее пороге и в ее судьбе, беседа с ним, ночная — в комнате и бесконечная — «в эфире», были не только встречей с конкретным человеком, но и реальным выходом, вылетом из замкнутых, вдоль и поперек исхоженных маршрутов Москвы — Ленинграда в открытое, живое интеллектуальное пространство Европы и Мира, в Будущее гостем из которого он прибыл, — так и протекание сквозь ее стихи струй Шекспира соотносило их не конкретно с романтизмом, индивидуализмом, или модернизмом, или с «Англией» вообще, но тягой, постоянно в Шекспире действующей, всасывало в Поэзию вообще, в Культуру вообще, во «все» вообще, если иметь в виду ее строчку «Пусть все сказал Шекспир...».

Пользуясь шекспировским материалом, она сдвигала личную ситуацию таким образом, чтобы, перефокусировав зрение читателя, показать ее многомерность Эти сдвиги в обыденной жизни свидетельствовали о ее мироощущении или об установке (что в ее случае, особенно в поздние годы, было одно и то же), а в поэзии стали одним из главнейших и постоянных приемов Наиболее частым сдвигом было смыкание не соответствующих один другому пола и возраста. Она написала мне, тогда молодому человеку, в одном из писем: «...просто будем жить как Лир и Корделия в клетке...» Здесь перевернутое зеркальное отражение: она — Лир по возрасту и Корделия по полу, адресат — наоборот. Та же расстановка участников «мы» в ее замечании «Мы разговаривали, как два старых негра», которое, вероятно, учитывало пушкинскую заметку из отдела *Nabent sua fata libelli* («Свою судьбу имеют книги» — есть дневниковая запись Ахматовой под тем же заглавием) в «Опровержениях на критики»: «...Отелло, старый негр, пленивший Дездемону рассказами о своих странствиях и битвах»

Сдвиг по грамматическому роду в ее шутовском упреке молодым англичанкам «А еще просвещенные мореплавательницы!» — напрашивается, если вспомнить «рыжих красавиц» ее прежних стихов и «рыжую спесь англичанок» у Мандельштама, на сопоставление с подобным сдвигом в строчках 1961 года о призраке: «Он строен был и юн и рыж, он женщиною был». По этой же схеме она изменила расхожую формулу-штамп того времени «секретарша нечеловеческой красоты», введя в траге-

¹ Собеседник (франц.).

дию «Энума элиш» «секретаря нечеловеческой красоты». И таков же был механизм некоторых ее шуток: «Бобик Жучку взял под ручку»,— когда, выходя из дому, она опиралась на мою руку. Или: «А Коломбине между тем семьдесят пять лет»,— как заметила она, прочитав преподнесенный ей молодым поэтом мадригал

Сложнее построены сдвиги по функции. Ключ к их расшифровке можно получить на сравнительно простом примере реплики из «Улисса» Джойса: «You cannot leave your mother an orphan» («Ты не оставишь свою мать сиротой»), которую Ахматова предпосылала эпиграфом последовательно к нескольким своим вещам, включая «Реквием», и окончательно — к циклу «Черепки». Следствием такого сдвига оказывается множественность функций, множественность ролей, в которых одновременно выступает лирическая героиня Ахматовой,— прием, в частности (и, возможно, наиболее полно) осуществленный в цикле «Полночные стихи»

* * *

«Заграница» Ахматовой была двух видов: Европа ее молодости — и место обитания русской эмиграции. Заграница громких имен, новых направлений и течений, благополучия и веселья оставалась чуждой и в общем, малоинтересной. Политике, всегда привлекавшей ее внимание, она находила объяснение в конкретных людях, их отношениях, привычках и манерах — несравненно более убедительное, чем в борьбе за свободу и за сырье.

Впервые она оказалась за границей в двадцать один год. Тогдашние впечатления сложились через полвека в очерк «Амедео Модильяни» и сопутствующие ему заметки — ядро (вместе с «Листками из дневника») ахматовской прозы. Воспоминания о Модильяни дописывались и компоновались на моих глазах — я тогда был у нее за секретаря, — и то, что в них не попало, если и выглядело менее существенным, чем попавшее, оно привлекало к себе специальное внимание тем, почему не попало. Между прочим, она вставила в текст, что Модильяни «интересовали авиаторы... но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался: они оказались просто спортсменами (чего он ждал?)». Параллельно она мне рассказала такую историю. «Мы, шестеро русских, отправились на Монмартр в какой-то дом. Место было не вполне благопристойное, темноватое: кто-то куда-то выходил что-то смотреть, кто-то приходил. Я сразу села за стол с длинной, до полу скатертью, сняла туфли — они безумно жали ноги — и гордо на всех глядела. По левую руку от меня сидел знаменитый тогда авиатор Блерио со своим механиком. Когда мы поднялись уходить, в туфле лежала визитная карточка Блерио». В этом же роде был рассказ о том, как полковник французского генерального штаба пригласил ее в луна-парк и провел по всем аттракционам; перед каждым непременно спрашивал у служителя: «Est-ce que ces attractions sont vraiment amusantes?» («Этот аттракцион в самом деле увлекательный?»).

Не был включен в мемуары о Модильяни — то ли просто не нашлось подходящего места, то ли заводило сюжет в ненужные разъяснения — и такой отрывок: «Он писал очень хорошие длинные письма о своих чувствах. Помню последнюю фразу одного такого письма: «Je tiens votre tête entre mes mains et je vous couvre d'amour». Адрес на конверте вырисовывал, разумеется, не зная русские буквы». («Я беру вашу голову в свои руки и окутываю вас любовью».) Как-то раз я рассказал ей о знакомом актере, которого итальянские киношники пригласили сниматься в роли Тристана. Я заметил, что голова его похожа на модильяниевскую. «А роста какого?» — «Среднего» — «А Модильяни был невысок» (или даже — «маловат»). Я сказал: «Не могли у себя найти Тристана». «У них все очень все-таки носатые».

Упоминание о том времени возникло однажды после визита Симона Маркиша, с которым она была в добрых отношениях и время от времени консультировалась как с антикнижником. Его отца знаменитого еврейского поэта Переца Маркиша, расстрелянного в 1952 году, она знала еще в молодости и рассказала, что «он был фантастически красив», так что когда в тринадцатом году остался в Париже совсем без денег, то пошел по объявлению на конкурс красоты и выиграл первый приз.

Эмиграция, как сказала она раз навсегда, состояла из тех, «кто бросил землю на растерзание врагам», и «изгнанников», но это были не две ее разные части, а «бросивший землю» был также и «изгнанником». С годами акцент чувств сместился в сторону сострадания к осененным Овидиевой и Дантовой судьбами «изгнанников», к которым в дни эвакуации она причисляла и себя. «А веселое слово — дома — никому

теперь незнакомо, все в чужое глядят окно: кто в Ташкенте кто в Нью-Йорке...» Одновременно эмиграция была и источником постоянного раздражения и тревоги. Вывезшие из России «свой последний день» эмигранты публиковали сведения, которые она лишена была возможности опровергнуть. Эти публикации формировали мнение и обывателей и филологов, на них ссылались в диссертациях, в книгах. Она говорила про книжку, кажется, Роберта Пейна: «Читаю, что в тридцать седьмом году я была в Париже. Каким диким это ни кажется нам, знающим, что тогда творилось, вранью можно найти отгадку. Кто-то рассказал ему про Цветаеву, которая действительно была тогда в Париже. А чтобы американец предположил, что на свете в одно время могут существовать две русских женщины, пишущих стихи... — слишком много хотите от человека». Поэтому она пользовалась всякой встречей с иностранцем, чтобы что-то исправить, уточнить, восстановить истину. Поэтому она так подолгу занималась с Амандой Хэйт, писавшей диссертацию о ее творчестве, давала ей необходимые материалы, диктовала даты, указывала на источники. Глубокая и живая книжка Хэйт «Akhmatova. A Poetic Pilgrimage» («Ахматова. Поэтическое странствие»), изданная в Оксфорде в 1976 году, как и двухтомная диссертация, уникальна не только потому, что и сейчас, через двадцать с лишним лет после смерти Ахматовой, остается единственной цельной ее биографией, но и потому, что она то тем, то другим словом передает ее голос и всем своим содержанием — направление ее мысли, «предсмертную волю».

В ней не было ни тени русской ксенофобии или подозрительности к иностранцам. Шпиономания же, к концу ее жизни укоренившаяся в умах и сердцах публики, была ей отвратительна. (Другое дело, что она не избежала отравы шпиономании: может быть, недостаточно основательно предполагала — а предположив, убеждала себя и близких, — что такая-то к ней «приставлена», такой-то «явно стукач», что кто-то взрывает корешки ее папок, что заложенные ею в рукопись для проверки волоски оказываются сдвинутыми, что в потолке микрофоны и т. д. Может быть, недостаточно основательно — но ни в коем случае не излишне легко: во-первых, всего этого и в самом деле было в избытке вокруг, во-вторых, подобные предположения мучили ее. Что же до тотального «международного шпионажа», то одним из ее любимых доводов против была шпионская поездка в Россию в 1919 году Сомерсета Мозма: «Как видите, подыскать подходящего человека необычайно трудно: чтобы шпионить в разрушенной стране, то есть практически в безопасности и безнаказанно, не нашли никого, кроме известного писателя». И похоже про Рубенса: «Я переводила его письма — оказалось, что он был двойным, если не тройным, агентом. Вот какие фигуры — шпионы, а не лавочники-туристы, шелкающие фотоаппаратом».)

Ее самое иногда принимали за иностранку («к слепневским господам хранцужанка приехала» — в 1911 году), иностранцы были неременной частью ее окружения в петербургской молодости — и даже в крымском детстве. Она рассказывала, как девочкой долго плавала вдали от берега — «а плавала я так, что брат, учившийся на гардемарина и плававший в полной выкладке в ледяной воде, говорил: „Я плаваю почти как Аня“». Какой-то француз-винодел, налаживавший в Крыму коньячное производство, однажды наблюдал за ней, а когда она вышла из воды, сделал комплимент ее способности. Затем представился, сказав: «Je suis de Cognac c'est connu, n'est-ce pas?» («Я из Коньяка, известное место, не правда ли?»). «А мне было тогда совершенно все равно...»

«Итальянцы думают, что у них трудный язык, — вовсе нет, это они для важности» — так мог говорить человек, который не только читал «Божественную комедию», но и гулял по флорентийским, венецианским, генуэзским улицам. Это было замечание того же разряда, что и «Итальянцы все носатые». Поездки 1964 и 1966 годов стали прямой противоположностью путешествиям молодости: тогда она бывала где хотела — тут ее возили; тогда она глядела на мир — тут глазели на нее. Ее чествовали, она доказала, что ее путь был правильный, она победила, но в palazzo Ursino было что-то от склепа, в оксфордской мантии — от савана, в самом горжестве — от похорон. И дело заключалось не в старости и слабости, только завершавших картину, а в том, что все, что было живо когда-то, окаменело, утратило душу. Пунина, которая сопровождала ее в первой поездке, повезла ее в магазины купить чемодан для подарков домашним. Продавец принялся скидывать с полок на прилавок лучший товар. Пунина показала на один из чемоданов и спросила, прочный ли. Вместо ответа продавец бросил его на пол, разбежался и прыгнул сверху двумя ногами... — чемодан проломился. Он схватил другой, они остановили его, купили первый попавший под руку, кое-как

выбрались из магазина. Ахматова рассказывала о веселом эпизоде, но веселья не слышалось в голосе: это было одно из редких живых впечатлений от Рима и оно не походило на «сновидение, которое помнишь всю жизнь», как написала она об итальянских впечатлениях 1912 года.

Ей оформляли документы для обеих поездок по несколько месяцев: билет на лондонский поезд выдали в день отъезда. Она говорила: «Они что, думают, что я не вернусь? Что я для того здесь осталась, когда все уезжали, для того прожила на этой земле всю — и такую — жизнь, чтобы сейчас все менять?» Ворчала: «Прежде надо было позвать дворника, дать ему червонец, и в конце дня он приносил из участка заграничный паспорт».

Это был немножко «визит старой дамы»: ехала не Анна Андреевна — Анна Ахматова. Она должна была вести себя — и вела — как «Ахматова». Возвратившись, показывала фотографии: церемония на Сицилии, дворец, большой стол, много людей, на заднем плане — античный бюст с довольно живым — и насмешливым — выражением лица. Она комментировала: «Видите, он говорит: „Эвтерпу — знаю. Сафо — знаю. Ахматова? — первый раз слышу“». Сопоставление имен было существеннее самоиронии

Рассказывала, как проснулась утром в поезде и подошла к вагонному окну. «И вижу приклеенную к стеклу — во весь его размер — открытку с видом Везувия. Оказалось, что это и есть «лично» Везувий». Везувий-с-открытки был символом «нового», окончательного, последнего зрения: не свежая, любопытствующая зоркость иностранки, называвшей вещь, чтобы «так и было имя ей», а ко всему готовый взгляд из глубины культуры, для которого вещь существует, потому что «так имя ей». И как вся эта поездка, культура тоже пародировала самое себя пятидесятилетней давности: открытка «пиджачной эры», «фельетонного времени» заменила полотно «серебряного века» с изображением той же Италии: «Как на древнем выцветшем холсте, стынет небо тускло-голубое». «Пошлость победила меня», — повторяла она слова Пастернака, услышанные от него в их последнее свидание; он сказал: «Пошлость победила меня — и там, и здесь».

И так же была похожа на монмартрскую компанию русских в 1911 году делегация, с которой она ездила получать премию. «Они были добрые, — сказала она. — Но они не пили и поэтому были совсем черные. Потому что если бы они выпили как хотели, все узнали бы, кто они». Но и иностранцы, приезжавшие в Россию, чтобы видеть ее, тоже не все сплошь были сэры Исайи.

Комаровская почтальонша принесла телеграмму с просьбой американского профессора такого-то принять его в такое-то время. Ахматова буркнула: «Чего им дома не сидится?» — и в назначенный час погрузилась в кресло у стола. Гость приехал с собственным переводчиком, она попросила меня остаться. Профессору было лет сорок, он имел обширные планы — намеревался писать сравнительную историю нескольких государств, в том числе Соединенных Штатов и России и, кажется, Турция и Мексика, на протяжении нескольких десятилетий не то XIX, не то XX века. Сейчас он собирал материалы по России и, в частности, от Ахматовой хотел узнать, что такое так называемый русский дух. Он объяснил с прямотой богатого бизнесмена: «В Америке мне сказали, что вы очень знаменитая, я прочел некоторые ваши вещи и понял, что вы единственный человек, который знает, что такое русский дух». Ахматова вежливо, но достаточно демонстративно перевела разговор на другую тему. Профессор настаивал на своей. Она навстречу не шла и всякий раз заводила речь о другом, всякий раз все суше и короче. Он продолжал наседавать и в раздражении спросил у меня, не знаю ли я, что такое русский дух. «Мы не знаем, что такое русский дух!» — произнесла Ахматова сердито. «А вот Федор Достоевский знал!» — решил американец на крайний шаг. Он еще начал фразу, а она уже говорила: «Достоевский знал много, но не все. Он, например, думал, что если убьешь человека, то станешь Раскольниковым. А мы сейчас знаем, что можно убить пятьдесят, сто человек — и вечером пойти в театр».

Когда в Ленинград приехал Роберт Фрост, на даче у Алексеева-англиста была устроена его встреча с Ахматовой. Его и ее имена стояли в списке претендентов на Нобелевскую премию, и замысел познакомиться их казался руководителям и болельщикам литературы необыкновенно удачным. Ахматова после встречи вспоминала о ней насмешливо: «Воображаю, как мы выглядели со стороны, совершенные „дедулинька-или-бабулинька“». (Это к Чуковскому подошел на бульваре ребенок и спросил: «А вы дедулинька или бабулинька?») Профессор Рив, участвовавший во встрече, видел про-

исходившее в другом свете и написал об Ахматовой приподнято: «Как величава она была и какой скорбной казалась». Она прочла Фросту «Последнюю розу». «Несколько мгновений мы оставались безмолвны, неподвижны». Ахматова же рассказывала, что Фрост спросил у нее, какую выгоду можно получать, изготавливая из комаровских сосен карандаши. Она приняла предложенный тон и ответила так же «делово»: «У нас за дерево, поваленное в дачной местности, штраф пятьсот рублей». (Фроста-поэта она недолюбливала за «фермерскую жилку». Приводила в пример стихотворение, где он утверждал, что человек, которому совсем уже нечего продать, так плох — хуже некуда. Высказывалась в том смысле, что на таком уровне и таким образом поэту рассуждать все-таки не пристало.)

Летом 1964 года в Комарове в Доме театрального общества жила Фаина Раневская. Актёрский талант самой высокой пробы, и такой же интеллект, и такая же острота ума, своеобразие взгляда на вещи, свобода поведения, речи, жеста, обаяние невероятной популярности, трагикомическая внешность — все вместе действовало мгновенно и пленительно на тех, кто оказывался с ней рядом. Стало общим местом признание того, что ее аргистический дар был растрачен посредственными режиссерами на роли неизмеримо ниже ее возможностей, растаскан на «эпизоды», на «номера». Но печаль и сетования по этому поводу отвлекли внимание даже знавших ее современников от того, что было еще печальнее: так же по пустякам растранил век, привыкший считать людей на миллионы, и всю из ряда вон выходящую одаренность этой уникальной природы, так же не оценен остался калибр личности С Ахматовой они познакомились и прониклись друг к другу симпатией в Ташкенте. Когда Ахматова написала стихотворение «Ты — верно, чей-то муж», она так прокомментировала строчку «А ты нашел одну из сотых интонаций»: «Актёр — это тот, кто владеет сотой, то есть ни на кого не похожей, интонацией, она и делает его актёром, про это все знает Фаина, спросите у нее». Почтение Раневской к Ахматовой было демонстративное, но не наигранное. Уточняя почтительность юмором, она обращалась к ней «рабби» и «мадам». Вдову Мандельштама после ее антиахматовских выпадов называла исключительно «эта Хазина», по девичьей фамилии. Прочитав в очередных воспоминаниях в начале 80-х годов, что Ахматова не любила Чехова, неожиданно мне позвонила и рыдающим басом, с характерным очаровательным своим заиканием произнесла негодующую речь, что как же так, сперва «эта Хазина», а теперь «этот...» осмеливаются публиковать гнусные измышления о том, чего не знают, чего быть не могло, потому что больше всех на свете она читает двух людей — «А-ханночку Андреевну» и «А-хантона Павловича», обоих боготворит, оба гении, и как же одна могла не любить другого, когда он написал «всю правду про всех нас: „Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси...“» — и так далее, прочла почти целиком монолог Нины Заречной с завораживающими паузами, с трагической интонацией, так что получилось в самом деле «холодно, холодно, холодно; пусто, пусто, пусто; страшно, страшно, страшно».

В то лето Раневская принесла Ахматовой книгу Качалова-химика о стекле. «Фаина всегда читает не то, что все остальное человечество,— сказала Анна Андреевна.— Я у нее попросила» Возможно, у обеих был специальный интерес к автору, мужу известной с 10-х годов актрисы Тиме. Через несколько дней мы вышли на прогулку, вернулись, в двери торчала записка, я потом на нее наткнулся, когда перечитывал письма того времени «А. А. А. Madame — Рабби! Очень досадно — не застала. Очень Вас прошу — пожалуйста, передайте Толе мою мольбу — прицепить к велосипеду книгу «Стекло» и если меня не застанет — пусть бросит в мое логово». Все малые «а» тоже как у Ахматовой, трогательно перечеркнуты горизонтальной чертой. «Логово» был номер на первом этаже Дома актёров, в другой раз он мог быть назван «иллюзией императорской жизни» — слово Раневской из тех, которыми Ахматова широко пользовалась.

Когда-то в Ташкенте она рассказала Раневской свою версию лермонтовской дуэли По-видимому, Лермонтов где-то nepозволигельным образом отозвался о сестре Мартынова та была незамужем, отец умер, по дуэльному кодексу того времени (Ахматова его досконально знала из-за Пушкина) за ее честь вступался брат «Фаина, повторите, как вы тогда придумали», — обратилась она к Раневской «Если вы будете за Лермонтова, — согласилась та. — Сейчас бы эта ссора выглядела по-другому. Мартынов бы подошел к нему и спросил: „Ты говорил, — она заговорила грубым голосом, почему-то с украинским г“, — за мою сестру, что она б...?» Слово было принесено со вкусом. «Ну, — в смысле «да, говорил» откликнулась Ахматова за Лермонтова. —

Б...» «„Дай закурить,— сказал бы Мартынов.— Разве такие вещи говорят в больших компаниях? Такие вещи говорят барышни наедине... Теперь без профсоюзного собрания не обойтись...». Ахматова торжествовала, как импресарио, получивший подтверждение, что выбранный им номер — ударный. Игра на пару с Раневской была обречена на провал, но Ахматова исполняла свою роль с такой выразительной неумелостью, что полнота этого антиартистизма становилась вровень с искусством ее партнерши. Мартынов был хозяином положения, Лермонтов — несимпатичен, но неуклюж и тем вызывал жалость.

Это было время нового, послережиссерного, этапа ахматовской неофициальной славы и сопутствующей суеты вокруг ее имени. Она оставалась равнодушна к интересу, который вызывала, к комплиментам и т. д., ко всему, что было ей привычно. Но короткой заметке в какой-нибудь европейской газете неожиданно могла придать особое значение, спрашивать мнение о ней у знакомых, ссылаться на нее при встречах с незнакомыми. «Шведы требуют для меня Нобелевку,— сказала она Раневской и достала из сумочки газетную вырезку — Вот, в Стокгольме напечатали» «Стокгольм,— произнесла Раневская.— Как провинциально!» Ахматова засмеялась: «Могу показать то же самое из Парижа, если вам больше нравится». «Париж, Нью-Йорк,— продолжала та печально.— Все, все провинция». «Что же не провинция, Фаина?»— тон вопроса был насмешливый: она насмехалась и над Парижем и над серьезностью собеседницы. «Провинциально все,— отозвалась Раневская, не поддаваясь приглашению пошутить.— Все провинциально, кроме Библии».

* * *

Ленинградское телевидение устроило вечер памяти Блока. Обратились к Ахматовой, она сказала, что сниматься категорически отказывается, а записать на магнитофон рассказ о нескольких встречах с Блоком согласна. Телевизионщики, по-видимому, решили, что уломают ее на месте, и в условленный день вместо репортера с магнитофоном на Озерной улице Комарова показались два автобуса и несколько легковых автомобилей. Мы увидели их из окна, Ахматова произнесла с отчаянием в голосе: «Я не дамся» Несколько предшествующих дней она плохо себя чувствовала, плохо выглядела. Через минуту в комнату входили две женщины с букетами роз, электрики подтягивали к дому кабель. Ахматова резким тоном сказала, что о камере не может быть речи, максимум — магнитофон, хотя и это — из-за нарушения ими договора и из-за многолюдства — теперь сомнительно. Начались увещевания: «миллионы телезрителей», «уникальная возможность» и особенно «моя мама не спит ночей в ожидании мига, когда вас увидит». Она повернулась ко мне за поддержкой, взгляд был больной, затравленный. Одна из женщин, мне отдаленно знакомая, поглядела на меня поощрительно, видимо уверенная, что я с ней заодно. Я сказал, чтоб они оставили ее в покое. Женщины вытащили меня в коридор и горячо зашептали, что она уже старая и что история не простит. В конце концов та и другая сторона, ненавидя друг друга, сошлись на магнитофоне.

Телевизора у нее не было, а я специально смотрел эту программу, на завтра мы увиделись, она сразу спросила о впечатлениях. Когда очередь дошла до ее выступления, ведущий объявил, что, благоволя перед именем, не может объявить его сидя, и встал. Оператор был к этому не готов и довольно долго показывал его живот. Зазвучал голос Ахматовой, и только тут камера стала медленно подниматься к лицу стоявшего. Он же тем временем начал неуверенно садиться и исчез из кадра: некоторое время ахматовские фразы раздавались на фоне пустой стены. Однако окончательное впечатление от всего вместе было торжественное, гайнштейновое и пронзительное. И ее отсутствие оказалось особенно выигрышным на фоне выступления старенькой актрисы Веригиной, вспоминавшей, заметно шепелявя, как «Альсан Альсаных» на новогоднем бумажном балу тысяча девятьсот... пятидесятого года восхитился ее платьем,— а вообразить, глядя в телевизор, что когда-то она выглядела иначе, было невозможно, и легкое яркое платье того бала в сочетании с этим дряхлым телом и морщинистым лицом вызывало представление об извращенных, макабрных вкусах Блока. Ахматова посмеялась

«И все равно никто не поверил, что у вас не было с ним романа»,— сказал я. Она поддержала разговор. «Тем более что его мать, как известно, даже рекомендовала ему этот роман»,— «Нет, нехорошо вы обманули ожидания миллионов телезрителей...»— «Теперь уже поздно исправлять — передача прошла». И еще несколько фраз в том же тоне, пока я не сказал, «А что вам стоило сделать людям приятное и согласиться на

роман!» Она ответила очень серьезно: «Я прожила мою, единственную жизнь, и этой жизни нечего занимать у других». И еще через некоторое время: «Зачем мне выдумывать себе чужую жизнь?»

Между тем «чужая жизнь», по крайней мере на уровне легенды, творилась, сочинялась для нее уже на ее глазах, и не только из-за недобросовестности или злонамеренности критиков и мемуаристов, но подчиняясь законам людской молвы, действующим и всегда действовавшим по своей собственной логике. Ахматова знала это и делала опережающие шаги, предупредительные записи и в то же время знала, что логика молвы, как мутирующий вирус, ускользнет от всяких ее лекарств и нападет на ее биографию с неожиданной стороны. В дневниках Лидии Чуковской есть рассказ Ахматовой о том, как ее подруга сошла с ума и сказала ей: «Знаешь, Аня, Гитлер — это Фейхтвангер, а Риббентроп — это тот господин, который, помнишь, в Царском за мной ухаживал». Через десять лет после смерти Ахматовой ко мне подошла пожилая дама и сказала, что хочет сообщить мне вещь, которой никто не знает: «Я подружилась с Ахматовой в Ташкенте, всю войну мы были неразлучны. Я хочу рассказать вам, кто ее спас от окончательной гибели... Когда в Москву прибыл Риббентроп и ехал с Молотовым в машине по Невскому — а они были знакомы еще по школе, Риббентропы ведь петербургские немцы, — он обратился к Молотову и спросил: «Вячеслав, а как поживает кумир нашей молодости, поэт, которого мы боготворили, как поживает Анна Ахматова?» «Да вот проштрафилась, — отвечал Молотов. — Пришлось принять о ней постановление ЦК». «Ну ты уж похлопочи за нее ради меня», Молотов обратился с просьбой к Жданову, и Ахматова была спасена». Вероятно, я мог бы узнать еще немало интересного, если бы не спросил необдуманно. В каком году это было. «В каком, в каком, — передразнила она меня. — В каком приезжал, в таком и было» — и, с неприязнью и подозрением на меня посмотрев, отошла. Это напоминает рассказы Хармса и вообще жанр анекдотов о Пушкине и Лермонтове, и я даже хотел для развлечения написать такую биографию Ахматовой. Но вот в Центральном государственном архиве, например, хранится фотография, на которой сняты Ахматова и я на скамейке перед Будкой, и подпись: «Ахматова и Бродский в Комарове». Забавно, но в один из осенних дней 1964 года мы с ней сидели на скамейке, на другой, в перелеске у дороги на Щучье озеро; проезжал на велосипеде юноша-почтальон, вдруг остановился и, страшно смущаясь, спросил у меня: «Вы Бродский?» И когда он отъехал, она заметила. «Ему очень хотелось, чтобы с Ахматовой был Бродский, так симметричной». А в другой раз рассказала, что за границей на ней женили Эренбурга: услышали ее имя, а кто еще живет в России? — Эренбург; стало быть, муж и жена.

Именно этим объясняются ее гневные — часто несправедливо — письма, записи, монологи или такая фраза в автобиографии: «1 октября 1912 года родился мой единственный сын Лев», — потому что слышала о многочисленных детях Блока, о дочери Мандельштама и т. д. В раздражении захлопнув напечатанные в журнале мемуары о Мандельштаме, она сказала: «Анна Григорьевна Достоевская писала, что вспоминатели принесли ей много горя, что всякий раз, когда она узнавала о появлении новых мемуаров о ее покойном муже, у нее сердце сжималось от тоскливого предчувствия: «Опять какое-нибудь преувеличение, какой-нибудь вымысел или сплетня» И она редко ошибалась. Большинство публикуемых мемуаров — несчастье. Несколько встреч соединяется в одну, одно лицо подменяется другим, даты старательно перепутываются. Зато чудовищно подробно вспоминают, кто что ел: Мандельштам — рыбу, Пастернак — курицу... Я бы издавала мемуары с эпиграфом: «Ну как, брат Пушкин? — Да так, брат, так как-то все...» Бич воспоминаний — прямая речь. На самом деле мы понимаем очень мало реплик собеседника точно так, как они были произнесены. А ведь только они дают такое живое впечатление от человека, которое ничем нельзя заменить». О том же она писала в дневнике: «Непрерывность тоже обман. Человеческая память устроена так, что она как прожектор, освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. При великолепной памяти можно и должно что-то забывать».

Слова «при великолепной памяти» она конечно же, относила к себе. Она помнила подробности событий шестидесятилетней давности так же отчетливо, как вчерашние. Особенно была у нее развита память на стихи и визуальная — она помнила, например, в каком месте книги то есть «ближе к концу, вверху правой страницы», расположена фраза, которую она ищет. Как-то раз она прочла новые свои стихи, и сразу вслед за ней я повторил их по памяти: она оценила это: «Формула найдена: читать вам стихи один раз — многовато»

Перед поездкой в Италию, в конце 1964 года, она по делу заехала к Эренбургу. Во время разговора с хозяевами в комнату вошла дама лет пятидесяти, с выразительным красивым лицом и, склонившись к креслу Ахматовой, звонко проговорила: «Анна Андреевна, как я рада вас видеть!» Ахматова поздоровалась, но видно было, что не узнает. «Вы меня, должно быть, забыли, я Ариадна Эфрон»,— сказала дама; оказывается, у Эренбурга в этот день собиралась комиссия по Цветаевскому наследию, одним из членов была дочь поэтессы. Когда она вышла, Ахматова сказала: «Я ее, конечно, помню, но как сильно она изменилась». «Да-да»,— отозвалась жена Эренбурга и, чтобы затушевать неловкость, вызванную, по ее убеждению, забывчивостью старой Ахматовой, перевела разговор на другую тему. Но Анна Андреевна демонстративно вспомнила подробности и даже дату их последней встречи и повторила настойчиво, что «Аля» очень изменилась с тех пор. Светски-вежливый тон новой фразы, которой с нею соглашались, не устраивал ее, и тогда она сказала: «Это похоже на эпизод, который вспоминает Сухотин об уже стареньком Толстом. Лев Николаевич за обедом обращается к сыну: «Ты куда едешь, Лева?»—«К жене».—«А разве она не здесь?»—«Да нет, она живет в Петербурге».—«А это кто?»—«Это Анночка, ваша внучка, дочь Ильи».—«Вот как. А почему она здесь?» «Да я уж с неделю как приехала»,— отвечает та» Когда мы вышли на улицу, Ахматова проговорила: «Делают из меня выжившую из ума старуху. Удивительно, что я еще хоть что-нибудь помню».

Но если при жизни искажалось очевидное, то тем более бессильной чувствовала она себя убедить кого-то через стол лет, что Гитлер не Фейхтвангер. Единственный способ доказать, что дело было так, а не иначе, она видела в своеобразной объективизации показаний, в привлечении к даче показаний хотя бы еще одного свидетеля того, как было дело. Она начинает свои заметки о Мандельштаме фразой: «...И смерть Лозинского каким-то образом оборвала нить моих воспоминаний. Я больше не смею вспоминать что-то, что он уже не может подтвердить...» Это был прием почти юридический: семестр, который она пручилась на юридическом факультете Высших женских курсов в Киеве, дал ей знания по истории права, объяснявшие на языке правосудия трагедию эпохи, квалифицировавшие «новую законность» как беззаконие и отзывавшиеся в ее беседах неожиданным заявлением вроде «я как юрист утверждаю...». Одного свидетеля было недостаточно ни в еврейском суде, ни в римском. «Два свидетеля неотвратимых составляют полную улику». Лирический поэт свидетельствует о случившемся с ним и с тем, кто разделит его переживание: с другим человеком, природой, книгой. Природа, книга дают свои свидетельства, и судьба-читатель, зная их по опыту непосредственных впечатлений, решает, насколько поэт правдив. Но отношения с возлюбленным, с другом, с ближним — всегда личные, поэт не хочет полагаться на неизвестный ему опыт гипотетического читателя, который будет оценивать его чувства конкретно к Анне Керн, Чаадаеву, Арине Родионовне. Сознательно и инстинктивно поэт ищет партнера, который подтвердил бы его слова,— другого поэта: Сафо — Алкея, Алкей — Сафо. Помимо утверждения правды, то есть правоты, каждого из них это спасает обоих и от своего рода нарциссизма, глядящая только в самого себя. Трудно сказать, была ли такая установка у Ахматовой с самого начала или, возникнув в молодые годы произвольное, стала затем необходимой, но Гумилев, Шилейко, Недоброво, Анреп, Пунин, как и некоторые другие адресаты ее стихов, были поэтами. В 1914 году Блок мадригалом вызвал ее на стихотворную переписку («Красота страшна, вам скажут» — «Я пришла к поэту в гости»), которую тогда же опубликовал. В самом конце жизни в стихах, примыкающих к «Полночным» и к «Прологу», Ахматова записывает:

Всего страшнее, что две дивных книги
Возникнут и расскажут всем о всем

В последние годы она складывала в папку, которую назвала «В ста зеркалах», стихи, на протяжении ее жизни ей посвященные, все равно какого качества и кем написанные. Их оказалось несколько сотен, большинство играет роль только «зеркал», так или по-другому ее отражающих, но несколько — это еще и страницы «двух дивных книг»: одну писала она, другую — они. Это вовсе не значит, что ей было безразлично, кто звучал ей, кому звучала она вторым голосом стихотворения, составляющие циклы «Полночные стихи» и «Пролог», так же как и всякое ее стихотворение, которое описывает отношения «ты и я», «я и он», обращены к конкретному лицу, и она довольно резко высказалась о стихах поэтессы, «написанных двум ад-

ресатам сразу», в том смысле, что поэзия не прощает такой безнравственности и мстит за нее унижительными строчками. Но как всякая правда, правда о конкретных двух становится правдой о любых двух; для того же, чтобы стать правдой о конкретных двух, не подверженной сомнениям и предрассудкам, требуется подтверждение второго — круг замыкается

Пока речь шла о свидетеле-участнике лирической драмы, все было относительно ясно. «А на жизнь мою лучом нетленным грусть легла, и голос мой незвонок», — обращалась она к Гумилеву, он же подтверждал: «Молчит — только ежится, и все ей неможется, мне жалко ее, виноватую». Голос такого свидетеля попадал затем в ахматовские стихи хотя на тех же правах, что и все «чужие» голоса, но на иных основаниях. вводя его, она могла сослаться на их «личную переписку» Со всей полнотой и плодотворностью этот метод ссылок на прежде полученные «показания» она использовала в «Поэме без героя».

Ахматова начала писать Поэму в пятьдесят лет и писала до конца жизни Во всех смыслах эта вещь занимала центральное место в ее творчестве, судьбе, биографии Это была единственная ее цельная книга после пяти первых, то есть после 1921 года, при этом не в одном ряду с ними, а их — как и все, что вообще написала Ахматова, включая самое Поэму, — покрывшая собою, включившая в себя. Когда в письме 1960 года она заметила, что «по творческой линии со мной всегда было сплошное неблагополучие, и даже, м. б., официальное неблагополучие отчасти скрывало или скрашивало то главное», то вполне вероятно, что в виду имелось также и это отсутствие после «Anno Domini» книг с единым лирическим сюжетом, который делал поочередно «Вечер», «Четки» и так далее именно книгами, а не сборниками стихов. Она искусно и основательно составляла отделы готовившихся к печати и выходявших или попадавших под нож сборников, была мастером соединения стихотворений в циклы. Однажды, когда прихотливое стечение событий и превратное их объяснение привело к ссоре между нами, она гневно проговорила: «А что касается стихов, то цикл у вас готов, только первым поставьте последнее по времени стихотворение, советую как опытный товарищ». А Поэма — при самом строгом авторском наблюдении за ее композицией — писалась сама, и чаще приходилось не впускать в нее принимавший ее внешность кусок, чем загонять в строфы прямо к ней относившийся, но формально самостоятельный.

Ахматова собирала мнения о Поэме, сама писала о ней, будущая судьба Поэмы ее волновала, она опасалась, что текст слишком герметичен или представляется таким. Рассказывала, что одна поклонница, декламировавшая стихи с эстрады, спросила у нее «Говорят, вы написали поэму без чего-то? Я хочу это читать». С промежутком в два года она дала мне два ее варианта, оба раза подробно расспрашивала о впечатлении Ища место для новых строф, вписывая или, наоборот, вычеркивая их, проверяла, естественно ли, убедительно ли, неожиданно ли ее решение. После одной такой беседы предложила сделать статью из всего, что я говорил о Поэме Мне казалось тогда, что статья должна быть фундаментальной, а мои заметки фрагментарны, но все же года через полтора я все собрал и что-то написал, поутратив свежие мысли и не преуспев в фундаментальности. В частности, я описывал тогда строфу Поэмы: «Первая ее строка, например, привлекает внимание, заинтересовывает; вторая — окончательно увлекает; третья — пугает; четвертая — оставляет перед бездной; пятая одаряет блаженством; и шестая, исчерпывая все оставшиеся возможности, заключает строфу Но следующая начинает все сначала, и это тем более поразительно, что Ахматова — признанный мастер короткого стихотворения». Уже после ее смерти выяснилось, что она записала это мое наблюдение в самый день нашего разговора и вот в каких словах. «Еще о Поэме Икс-Игрек сказал сегодня, что для Поэмы всего характернее следующее еще первая строка строфы вызывает, скажем, изумление, вторая — желание спорить, третья — куда-то завлекает, четвертая — пугает пятая — глубоко умиляет, а шестая — дарит последний покой, или сладостное удовлетворение, — читатель меньше всего ждет, что в следующей строфе для него уготовано опять только что перечисленное. Такого о Поэме я еще не слышала Это открывает какую-то новую ее сторону».

Поэма была для Ахматовой, как «Онегин» для Пушкина, сводом всех тем, сюжетов, принципов и критериев ее поэзии По ней, как по каталогу можно искать чуть ли не отдельные ее стихотворения Начавшись обзором пережитого, а стало быть, написанного, она сразу взяла на себя функцию учетно-отчетного гроссбуха —

или электронной памяти современных ЭВМ,— где, определенным образом перекодированные, «отмечались» «Реквием», «Ветер войны», «Шиповник цветет», «Полночные стихи», «Пролог» — словом, все крупные циклы и некоторые из вещей, стоявшие особняком, равно как и вся ахматовская пушкиниана. Попутно Ахматова совершенно сознательно вела Поэму и в духе беспристрастной летописи событий, возможно, осуществляя таким своеобразным способом пушкинско-карамзинскую миссию поэта-историографа.

Подобно мозгу, получившему достаточно сведений, чтобы на их основе и логике получать новые «из самого себя», Поэма производила новые строки как бы без участия автора.

Все уже на местах, кто надо,
 Пятым актом из Летнего сада
 Пахнет ..
 — Пьяный поет моряк...

Моряк матрос — центральная фигура революции — занял место в картине предреволюционного ожидания сразу, всплыв ли из памяти, сойдя ли с холста Татлина, с позднейших ли плакатов или из блоковской поэмы. Но само расположение последней строчки на бумаге словно бы предполагало внутри ее дополнительное содержание, и дыхание строфы очередным своим выдохом вдруг расправило эту морщину:

Пахнет.. Призраки цусимского ада
 Тут же — Пьяный поет моряк.

Можно с большим или меньшим успехом гадать, не был ли толчком для появления нового стиха пастернаковский «Матрос в Москве».

Был ветер пьян — и обдал дрожью
 С вина — буян
 Взглянул матрос (матрос был тоже,
 как ветер пьян).—

к которому тянется строчка из следующего за ним стихотворения:

Январь, и это год Цусимы

Однако существеннее толчка к той или иной вставке само устройство Поэмы, множество ее пазух, куда можно по необходимости вложить или, что то же самое, где можно обнаружить новый стих, а то и блок новых стихов. Внутри ее все уже содержится, и вариант 40-х годов отличается от варианта 60-х объемом, но не полнотой — как азростат, который готов к полету и надутый до половины и целиком. По тому же принципу устроена и гармошка смыслов каждой строки, отзывавшаяся по мере растягивания новыми комментариями. Кто-то из читателей заметил, что стихи «Или вправду там кто-то снова между печкой и шкафом стоит» перекликаются с «Бесами», со сценой перед самоубийством Кириллова, когда он прячется в углу между стеной и шкафом Ахматова многим об этом совпадении рассказывала, не уточняя, случайное оно или задуманное, а, как казалось, преследуя цель сколь можно большему числу непосвященных открыть метод поэзии

Это магическое ее свойство — прятать в себе больше, чем открывать,— одно из главных, но не единственное. В опубликованной прозе о Поэме, в так называемом «Втором письме», Ахматова, искренне или притворно, недоумевала: «Л. Я. Гинзбург считает, что ее магия — запрещенный прием — why?»² — а в стихах о Поэме уже сама открыто признавалась

Не боюсь ни смерти ни срама,
 Это — тайнопись — криптограмма,
 Запрещенный это прием

О спрятанных в Поэме непочитанных — или нечитаемых — криптограммах дают знать те, что выступают кое-где на поверхность. Одна из строф, замененных при публикации строчками точек со сноской: «Пропущенные строфы — подражание Пушкину», посвященная «каторжанкам, стопятницам, пленницам» времени террора, заканчивается жутким каламбуром:

Посинелые стиснув губы,
 Обезумевшие Генкубы

² Почему? (Англ.)

И Кассандры из Чухломы,
Загремим мы безмолвным хором
(Мы. увенчанные позором):
«По ту сторону ада мы»

Женщины, и те, в частности, которых еще недавно поэты скорее провидчески, чем из очевидности могли воспевать как кассандр и гекуб «тринадцатого года», отделены от толпящихся по ту сторону зоны мужчин, в частности тех, которые их воспевали,— Мандельштама, Нарбута: «Цех поэтов — все адамы», как шутил в гимне «Бродячей собаки» Михаил Кузмин

Голоса поэтов-предшественников, ждавших озвучения, то есть оживления, ее голосом, и поэтов-свидетелей, оставивших настроенные на высоту своего звука камертоны, смешиваются в Поэме с голосами безымянными, то сливающимися в гул — времени, толпы,— то прорезающимися в документально зафиксированных репликах:

«На Исакиевской ровно в шесть...»
«Как-нибудь побредем по мраку
Мы отсюда еще в «Собаку» »
«Вы отсюда куда?» — «Бог весть!»

Не сливаясь в хор, они обнаруживают новое качество, в котором проявляет себя голос автора. В продолжение одного разговора о Блоке Ахматова заметила: «Когда я написала о нем «Трагический генер эпохи», все очень возмутились и стали меня укорять: «Он великий поэт, а не оперная примадонна» Но ведь у Баха в «Страстях по Матфею» тенор поет самого Евангелиста» Выступая в таком же качестве, трагическое контральто Ахматовой поет партии всех гостей Поэмы, узнаваемых и неизвестных, всех, кто оделил ее звуком своих голосов

Качественно новый и адресат стихов Поэма открывается тремя посвящениями, за которыми стоят три столь же конкретные, сколь и обобщенные и символические, фигуры: поэт начала века, погибший на пороге его: красавица начала века, подруга поэтов, неправдоподобная, реальная, исчезающая, как ее — и всякая — красота; и гость из будущего, тот, за кого автором и ее друзьями в начале века были подняты бокалы: «Мы выпить должны за того, кого еще с нами нет». Играя грамматическими временами глаголов, Поэма принуждает прошлое возвратиться и будущее явиться до срока, так что они оба в миг звучания стихов оказываются в этом самом миге, но притом и увлекают его, как магниты, каждый в свою область Это создает ощущение движения времени, движения не образного, а на уровне языка, то есть именно самому времени, его бегу адресована вся Поэма и всякое ее слово.

В разное время разным людям Ахматова показала или вручила прозаические заметки о Поэме, которым она придавала вид писем: «Письмо к NN», «Второе письмо». Литературный стиль их очень близок стилю прозы «Вместо предисловия», с какого-то момента неизменно входившего в текст Поэмы Мне она передала «Что вставить во второе письмо»:

- 1) О Белкинстве.
- 2) Об уходе Поэмы в балет, кино и т. п. Мейерхольд. (Демонский про-филь).
- 3) О теньях, кот, мерещатся читателям.
- 4) «Не с нашим счастьем», как говорили москвичи в конце дек. 1916, об-суждая слухи о смерти Распутина.
- 5) ...и я уже слышу голос, предупреждающий меня, чтобы я не прова-ливалась в нее, как провалился Пастернак в «Живаго», что и стало его ги-белью, но я отвечаю — нет, мне грозит нечто совершенно иное. Я сейчас прочла свои стихи (довольно избранные). Они показались мне невероятно су-ровыми (какая уж там нежность ранних!), обнаженными, нищими, но в них нет жалоб, плача над собой и всего невыносимого Но кому они нужны! Я бы, положила руку на сердце, ни за что не стала бы их читать если бы их напи-сал кто-нибудь другой. Они ничего не дают читателю Они похожи на стихи человека, 20 л. просидевшего в тюрьме. Уважаешь судьбу, но в них нечему учиться, они не несут утешения, они не так совершенны, чтобы ими любо-ваться, за ними, по-моему, нельзя идти И этот суровый черный, как уголь, голос, и ни проблеска, ни луча, ни капли... Все кончено бесповоротно. М б., если их соединить с последней книжкой (1961 г.), это будет не так заметно

или может создаться иное впечатление. Величья никакого я в них не вижу. Вообще это так голо, так в лоб — так однообразно, хотя тема несчастной любви отсутствует. Как-то поярче — «Выцветшие картинки», но боюсь, что их будут воспринимать как стилизацию — не дай Бог! — (а это мое первое по времени Царское, до-версальское, до-растреллиевское). А остальное! — углем по дегтю Боже! — неужели это стихи? Сама трагедия не должна быть такой. Так и кажется, что люди, собравшиеся, чтобы их читать, должны потихоньку говорить друг другу: «Пойдем выпьем» или что-нибудь в этом роде.

Мир не видел такой нищеты,
Существа он не видел бесправней,
Даже ветер со мною на-ты
Там, за той оборвавшейся ставней

Как я завидую Вам в Вашем волшебном Подмоскovie, с каким тяжелым ужасом вспоминаю Коломенское, без которого почти невозможно жить, и Лавру, кот. когда-то защищал князь Долгорукий-Роша (как сказано на доске над Воротами), а при первом взгляде на иконостас ясно, что в этой стране будут и Пушкин, и Достоевский.

И один Бог знает, что я писала: то ли балетное либретто, то ли киношный сценарий. Я так и забыла спросить об этом у Алеши Баталова. Об этой моей деятельности я подробнее пишу в другом месте.

Примечание

Единственное место, где я упоминаю о ней в моих стихах — это —

Или вышедший вдруг из рамы
Новогодний страшный портрет

(Cinque IV)

т. е. предлагаю оставить ее кому-то на память.

Читателей поражает, что нигде не видны швы новых заплат, но я тут ни при чем»

* * *

Впервые в хор «чужие голоса» у Ахматовой сливаются — или, если о том же сказать по-другому: впервые за хор поет ахматовский голос — в «Реквиеме». Это не хор. сопутствующий трагедии, о котором она упомянула в Поэме: «Я же роль рокового хора на себя согласна принять». Разница между трагедией «Поэмы без героя» и трагедией «Реквиема» такая же, как между убийством на сцене и убийством в зрительном зале. Там у каждого своя роль, в том числе и роль античного хора. конец четвертого акта, пятый акт, здесь заупокойная обедня, панихида по мертвым и по самим себе, все — зрители и все — действующие лица.

Собственно говоря, «Реквием» — это советская поэзия, осуществленная в том идеальном виде, какой описывают все декларации ее. Герой этой поэзии — народ. Не называемое так из политических, национальных и других идейных интересов большее или меньшее множество людей, а весь народ все до единого участвуют на той или другой стороне в происходящем. Эта поэзия говорит от имени народа, поэт — вместе с ним, его часть. Ее язык почти газетно прост. понятен народу, ее приемы — лобовые: «...для них соткала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных слов». И эта поэзия полна любви к народу.

Отличает и тем самым противопоставляет ее даже идеальной советской поэзии то, что она личная, столь же глубоко личная, что и «Сжала руки под темной вуалью». От реальной советской поэзии ее отличает, разумеется, и многое другое во-первых, исходная и уравнивающая трагедию христианская религиозность потом — антигероичность, потом — не ставящая себе ограничений искренность, называние запретных вещей их именами. Но все это — отсутствие качеств: признания самодостаточности и самоволия человека, героичности, ограничений, запретов. А личное отношение — это не то, чего нет, а то, что есть и каждым словом свидетельствует о себе в поэзии «Реквиема». Это то, что и делает «Реквием» поэзией — не советской, просто поэзией, ибо советской поэзии на эту тему следовало быть государственной. личной она могла быть, если касалась отдельных лиц, их любви, их настроений, их согласно разрешенной официально формуле «радостей и бед». Когда

Ахматову муржили перед Италией с выдачей визы, она гневно говорила — в продолжение того, что «они думают, я не вернусь»: «Желаю моему правительству побольше таких граждан, как я». На «граждан» падало ударение такой же силы, как на «я». Подобным образом в двустихии:

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомиллионный народ.—

забившийся в безударную щелку «мой» весит столько же, сколько громогласный «стомиллионный». Те, кто обвинял поэзию Ахматовой в «камерности», дали, сами того не ведая, начало трагическому каламбуру: она стала поэзией тюремных камер.

Когда «Реквием» в начале 60-х годов всплыл после четвертьвекового лежания на дне, впечатление от него у имевшей возможность прочесть публики было совсем не похоже на обычное читательское впечатление от ахматовских стихов. Людям — после разоблачений документальных — требовалась литература разоблачений, и под этим углом они воспринимали «Реквием». Ахматова это чувствовала, считала закономерным, но не отделяла эти свои стихи, их художественные приемы и принципы, от остальных. Когда за границей собеседник стал неумеренно восторгаться ими как поэтическим документом эпохи, она охладила его репликой: «Да, там есть одно удачное место — вводное слово „к несчастью“, „там, где мой народ, к несчастью, был“», — напомнив, что это все-таки стихи, а не только «кровь и слезы». И, например, в восьмом стихотворении — «К смерти» — строчка «Ворвись отравленным снарядом», по всей видимости, указывает на все то же шекспировское *poison'd shot*, отравленное ядро клеветы, то есть донос, а не, скажем, газовую атаку времен первой мировой войны.

Тогда, в 60-е годы, «Реквием» попал в один список с самиздатской лагерной литературы, а не с частично разрешенной антисталинской. Ненависть Ахматовой к Сталину была смешана с презрением. Когда однажды речь зашла о молодом поэте, завоевавшем репутацию «непримиримого» и тратившем все время и силы на поддержание этой репутации, она сказала: «Обречено. Постройка рушится в одно мгновение... Сталин весь день слушал «ура» и что он корифей и генералиссимус и как его любят, а вечером какой-нибудь французик по радио говорил про него: «Этот усач...» — и все начинала сначала».

«Один день Ивана Денисовича» ей принесли еще отпечатанным на машинке, еще под псевдонимом Рязанский. Она говорила каждому: «нравится, не нравится — не те слова: это должны прочитать двести миллионов». О Солженицыне рассказала через несколько дней после их знакомства: «Ему сорок четыре года, шрам через лоб у переносицы. Выглядит на тридцать пять. Лицо чистое, ясное. Спокоен, безо всякой суеты и московской деловитости. С огромным достоинством и ясностью духа. Москву не любит, Рязани не замечает, любит только Ленинград. Каково было мне — знаете, как я отношусь к городу-герою! — моя ли, его ли вина, потом рассудят. Прочитала „сиделок тридцать седьмого“³. Он сказал: „Это не вы говорите, это Россия говорит“. Я ответила: „В ваших словах соблазн“. Он возразил: „Ну что вы! В вашем возрасте...“ Он не знает христианского понятия. Я ему сказала: „Вы через короткое время станете всемирно известным. Это тяжело. Я не один раз просыпалась утром знаменитой и знаю это“. Он ответил: „Меня не заденет. Я-то переживу!“».

В 50-е и в начале 60-х «пытки, казни и смерти» предшествовавших десятилетий обозначались официальной формулой «культ личности», а обиходной — «тридцать седьмой», но году ника массовых репрессий. Ахматова, в зависимости от направления беседы, могла употребить и ту и другую, однако в серьезном разговоре называла это время только «террор». Оно началось для нее задолго до и кончилось много позже тридцать седьмого. Она рассказывала (и записала) историю, которую называла «Искры паровоза», о том, как в августовский вечер 1921 года в поезде из Царского в Петроград почувствовала приближение стихов, вышла в тамбур, где стояла группа красноармейцев, достала папиросу, прикурила ее под их одобрителльные замечания от жирных искр, летевших с паровоза и садившихся на поручни площадки между вагонами, и под стук колес сочинила стихотворение на казнь Гумилева, знаменитое впоследствии «Не бывать тебе в живых». Когда однажды кто-то из близких сказал, что у ее сына трудный характер, она ответила резко: «Не забывайте, что его с девяти лет не записывали ни в одну библиотеку как сына расстрелянного врага народа». А вспоминая о периоде после постановления 1946 года, сказала: «С того дня не было ни разу, что-

³ «Чтоб с сиделками тридцать седьмого мыла я окровавленный пол» — строчки из стихотворения «Все ушли, и никто не вернулся».

бы я вышла из Фонтанного дома и со ступенек, ведущих к реке, не поднялся человек и не пошел за мной». Я по молодости спросил: «А как вы знали, что он за вами идет,— оборачивались?» Она ответила: «Когда пойдут за вами, вы не ошибетесь».

В конце 1963 года, то есть в несоизмеримо более благополучное по сравнению со сталинским время, началось дело Бродского. В ноябре в ленинградской газете был напечатан фельетон «Окололитературный трутень», выдержанный в лучших традициях клеветы и гонительства. Я тогда жил в Москве, мне привезли газету на завтра, и в то же утро мы с Бродским, который незадолго до того также приехал в Москву, встретились в кафе. Настроение было серьезное, но не подавленное. В середине декабря Ахматова пригласила к себе Шостаковича, он был депутатом Верховного Совета как раз от того района Ленинграда, где жил Бродский. Меня она просила присутствовать на случай, если понадобится что-то уточнить или дать справку, сам Бродский уже уехал из Москвы. Шостакович, с несколькими тиками и со скороговоркой, в которую надо было напряженно вслушиваться, главным образом свидетельствовал Ахматовой свое глубокое и искреннее почтение, о деле же говорил с тоской и безнадежно, мне задал лишь один вопрос: «Он с иностранцами не встречался?» Я ответил, что встречался, но... Он, не дослушав выстрелил: «Тогда-ничего-сделать-нельзя!» — и больше уже этой темы не касался, только уходя сказал, что «узнает» и все, что от него зависит, сделает. В феврале Бродского на улице впихнули в легковую машину и отвезли в камеру при отделении милиции. Через несколько дней его судили и послали на экспертизу в сумасшедший дом. В марте, на втором суде, его приговорили к ссылке за тунеядство и отправили в Архангельскую область в деревню Все это время Вигдорова, Чуковская и еще два-три десятка людей, включая Ахматову, делали попытки его спасти. Не то Ахматова, не то Чуковская, выслушав пришедшие из Ленинграда после ареста сведения, сказала: «Опять — «разрешено передать зубную щетку», опять посылки шерстяных носков, теплого белья, опять свидания, посылки. Все как всегда».

В конце апреля я неожиданно заболел, попал в больницу, выписался к концу мая в жалком виде и в июне в ночь накануне дня рождения Ахматовой переехал вместе с нею и Ольшевской в Ленинград, где, против всякой вероятности, оказался Бродский, добившийся отпуска на три дня. Относительно оправился я только к осени, и Ахматова сказала Ольшевской, когда я в один из дней в конце августа подходил к Будке после купания: «А помните, Ниночка, какую мы в июне везли из Москвы тряпочку вместо Толи?» В середине октября я поехал в деревню Норинскую Коношского района, Архангельской области, где Бродский отбывал ссылку. Я вез продукты, сигареты и теплые вещи. Звонили знакомые, просили передать письма и разные мелочи; один предложил кожаные рукавицы, я поехал за ними, но дверь открыла жена и сказала, что муж не знал, что рукавицы уже носит сын. Ахматова, узнав, произнесла: «Негодяй» Я подумал, что из-за того, что он напрасно сгонял меня через весь город,— и стал защищать его: дескать, мог не знать, что рукавицы у сына. «Тогда спускаются в лавку,— прервала она меня раздраженно,— и покупают другие».

Коноша — это большая станция и маленький городок, до Норинской от нее около тридцати километров. Добираться надо было на попутном грузовике, которых за день проходило пять-шесть, из них верный — один, почтовый, по закону никого перевозить не имеющий права, но по безвзводности положения странников подхватывавший их. Приехав, я пошел наугад и в первой же избе по левую руку увидел в окне блок сигарет «Кент». Бродский снимал дом у хозяев, мужа и жены Пестеревых, кажется, за десять рублей в месяц. Пестерева жили рядом, в другой избе, более новой и крепкой. Люди были добрые, участливые, к Бродскому расположенные, называли его Есиф Александрович. Дом был покосившийся с высоким крыльцом, с дымовой трубой, половина кирпичной которой обвалилась, а железо, когда топились печь, раскалялось, в темноте светилось красным, и Пестерева каждый день ждали пожара. Вокруг деревни были поля, голые к тому времени, близко подступал лес, невысокий, сырой, дикий. На другом конце деревни протекала речушка, над ней стоял клуб, он же начальная школа, мы в нем посмотрели фильм с Баталовым в главной роли. Однажды, когда мы шли по деревне в ранних сумерках и на землю садились редкие снежинки из дома выбежал мужик, пьяный, в валенках, в подштанниках и в накинутах на плечи ватнике, с ружьем, крича: «Куны! Куны!» — вскинул ружье и выстрелил в рябину с которой шмякнулся оземь какой-то зверек; мы подошли одновременно, оказалась не куница, а кошка, охотник плюнул и ушел обратно в избу. Тишина стояла такая, что звук мотора возникал минут за десять до того, как появлялся автомобиль.

Место было глухое, тоскливое, но не тоскливей и не глуше других, немногим глуше, например, того же Михайловского. По вечерам Би-би-си и «Голос Америки» передавали разные новости, в частности и про Бродского. Еды хватало, дров тоже, времени для стихов тоже. Приходили письма, присылались книги. Иногда можно было дозвониться до Ленинграда с почты в соседнем селе Данилово. Сутки я провел в одиночестве, потому что Бродского командировали в Коношу на однодневный семинар по противораковой защите. Он вернулся с удостоверением и с фантастическими представлениями о протонах и нейтронах, равно как и об атомной и водородной бомбах. Я объяснил предмет на школьном уровне, и мы легли спать, но он несколько раз будил меня и спрашивал: «А-Гэ, а скольквалентен жидкий кислород?» — или: «Так это точно, что эйч-бомб (он называл водородную бомбу на английский манер) не замораживает? Ни при каких условиях?» Словом, все было бы обыкновенно, а иногда и хорошо, если бы это была не ссылка, если бы он не был заперт здесь, и на пять лет.

В следующий раз я поехал туда в феврале с Михаилом Мейлахом, тогда девятнадцатилетним Мишей. По приезде, как договаривались, я дал Ахматовой телеграмму, что добрались благополучно. От нее пришла ответная: «Из Ленинграда 23.02.65 в Данилово Бродскому для Наймана. Благодарю телеграмму, подписала бег времени набор, целую всех троих, Ахматова». Стояли сильные морозы, вода в сенях замерзала. В День Советской Армии пришел председатель сельсовета, сильно выпивший, но, что называется, ни в одном глазу, в шапке с поднятыми ушами и без варежек. Я открыл бутылку водки и налил ему и себе — Бродскому не полагалось по статусу ссыльного, Мейлаху по малолетству. Председатель спросил весело: «С собой забирать приехали?» — «Отпустите?» — «Да я не держу, хоть сейчас же увозите». — «А кто держит?» — «Начальство». «Тунеядец?» — мотнул я головой в сторону Бродского. «Так не скажу», — отозвался председатель серьезно. «Может, шпион?» «А вот это точно!» — быстро проговорил он, засмеявшись. И перед уходом объявил. «По случаю гостей — три дня отгула».

В мае Бродскому исполнялось двадцать пять лет, и мы с Рейном к нему отправились. Когда с тяжелыми рюкзаками подошли к дому, дверь оказалась на замке, и тут же подбежал Пестерев, крича издали: «А Ёсиф Алексаньч посажонный!» За нарушение административного режима его увезли в Коношу и там приговорили к семи суткам тюрьмы. Через час появился грузовик в сторону Коноши, и я двинулся в обратный путь. Коношская тюрьма помещалась в длинном одноэтажном доме, сложенном из толстых бревен. В ту минуту, когда я подходил к ней, Бродский спускался с крыльца с двумя белыми ведрами, на одном было написано «вода», на другом «хлеб». Он объяснил мне, что все зависит от судьи, а судья сейчас в суде, точно в таком же доме напротив. Я стал ждать судью, подошел мужичок, попросил закурить. Поинтересовался, по какому я делу, и, узнав, сказал, что судья сейчас свободен, в суде перерыв, судят же убийцу, а именно его, дадут восемь лет, так прокурор просил. Зарубил жену топором, пьяный был, сам ярцевский, в лагерь в Ярцево и пошлют, это станция через одну от Коноши. Вежливо попросил еще пару сигарет на потом, я отдал пачку, тут появился судья, и убийца исчез за какой-то дверью. Судья мне в просьбе отказал, я пошел к секретарю райкома в дом, ближайший к суду, перед ним стоял бюст Ленина серебряного цвета. Секретарь был моих лет, с институтским значком, серьезный, слушал меня без враждебности. Набрал по телефону трехзначный номер, сказал: «Ты Бродского выпусти на вечер, потом отсидит. Круглая дата, друг приехал», — выслушал, видимо, возражения, повторил: «Выпусти на вечер», — повесил трубку и мне: «В буфете вокзального отдохните» (в смысле отпразднуйте день рождения). Я сказал, что в деревне ждет еще один человек, что там водка и закуска, дайте уж сутки. Он подумал и согласился на сутки. Когда я выходил из дверей, он сказал, что учился в Ленинграде, и спросил, сколько уже станций в ленинградском метро. Я перечислил. «Почему он патриотических стихов не пишет?» — сказал он и отпустил меня. Попутных машин в этот час не ожидалось, и мы с Бродским и еще одним ссыльным, с которым он там свел знакомство, зашагали не мешкая в сторону Норинской. На середине пути находилась деревня, где жил бригадир, по чьему заявлению Бродский и попал под арест, так что деревню надо было обходить стороной. К счастью, метров за сто до нее нас догнал грузовик и вскоре довез до места.

11 сентября я получил телеграмму из Комарова: «Ликуюем — Анна, Сарра, Эмма». Сарра Иосифовна Аренс вела хозяйство Ахматовой, Эмма Григорьевна Герштейн тогда гостила у нее. Ликование было по поводу того, что Бродский наконец на воле. Этому

предшествовало несколько ложных обещаний скорого его освобождения. В октябре 1964 года я встречал в Ленинграде Вигдорову, ехавшую из Москвы собирать подписи тех, кто хотел поручиться за Бродского перед властями. Ступив на перрон, она воскликнула: «Толя, победа!» В Прокуратуре СССР ей сказали, что его вот-вот выпустят. В том же уверяли перед поездкой в Лондон Ахматову в Союзе писателей.

Разумеется, «дело Бродского» по сравнению с «тридцать седьмым» было «бой бабочек» как любила говорить Ахматова. Оно обернулось для него страданиями, стихами и славой, и Ахматова хлопоча за него, одновременно приговаривала одобрительно про биографию, которую «делают нашему рыжему».

«Реквием» начал ходить по рукам приблизительно в те же дни, в тех же кругах и в стольких же экземплярах, что и запись процесса Бродского, сделанная Вигдоровой. Общественное мнение бессознательно ставило обе эти вещи и во внутреннюю, хотя прямо не называемую связь: поэт защищал свое право быть поэтом и *больше никем*, для того чтобы в нужную минуту сказать за всех Стенограмма суда над поэтом прозвучала как гражданская поэзия; гражданская поэзия «Реквиема» — как стенограмма репрессий, своего рода мартиролог, запись мученических актов.

Стихотворения военного времени в цикле «Ветер войны», которые заслужили Ахматовой официальное одобрение и официальный перевод из камерных поэтесс в поэты общественного звучания, были написаны в той же манере, что и «Реквием», точнее — в истоциях этой манеры. В промежутке между «Реквиемом» и «Ветром войны» появились стихи, принадлежавшие и той и этой теме. Война с Финляндией 1939—1940 годов наложила на аресты и тюремные очереди предшествовавших лет, и посвященное зиме «финской кампании» стихотворение «С Новым годом! С новым горем!» звучит в реквиемной тональности:

И какой он жребий вынул
Тем, кого застенки минул?
Вышли в поле умирать.

О том же стихотворение «Уж я ль не знала бессонницы»: по цензурным соображениям *Финляндия* в нем спрятана за *Нормандией*, но выдает себя «чужими зеркалами»:

Вхожу в дома опустелые,
В недавний чей-то уют.
Все тихо, лишь тени белые
В чужих зеркалах плывут.

«Дома опустелые» и «чужие зеркала» открыли свою финскую принадлежность, когда сфокусировались в «пустых зеркалах» Финляндии позднейшего стихотворения «Пусть кто-то еще отдыхает на юге», замененных другим цензурным вариантом: вместо

Где странное что-то в вечерней истоме
Хранят для себя зеркала,—

было:

И нежно и тайно глядится Суоми
В пустые свои зеркала,—

так же как «старый зазубренный нож» заменил собою «финский зазубренный нож». Конец стихотворения «Уж я ль не знала бессонницы» прозрачен:

И что там в тумане — Дания,
Нормандия или тут
Сама я бывала ранее,
И это — переиздание
Навек забытых минут?

Если *Нормандия* на самом деле *Финляндия*, то «белые тени» — не только лыжники-пехотинцы в маскировочных халатах (самый распространенный образ той войны), а и призраки «навек забытых минут»:

Царского Села, прежде именовавшегося Сарским по своему финскому названию Саари-моис;

гумилевского имения Слепнево — «тихой Корельской земли» (стихотворение «Тот август»); переселенные карелы составляли немалую часть Бежецкого уезда;

Хювинкки, где она в туберкулезном санатории «гостила у смерти белой» (стихотворение «Как невеста получаю»);

и наконец, всей культурной, символистской «Скандинавии» начала века — «тогдашний властитель дум Кнут Гамсун», «другой властитель Ибсен», как вспоминала она через много лет.

Этот «старый друг, мой верный Север», в пространстве ахматовской поэзии отчетливо противопоставлен враждебным Западу, Востоку и Югу:

Запад клеветал и сам же верил,
И роскошно предавал Восток,
Юг мне воздух очень скупо мерил,
Ухмыляясь из-за бойких строк.

Словом, «земля хотя и не родная, но памятная навсегда», в конце жизни давшая ей приют под комаровскими соснами, под ними же и упокоившая ее прах.

Еще об одной вынужденной замене в ее стихах. Как-то вечером ей позвонил редактор «Бега времени» и предложил исправить в «Путем всея земли» строчку «Столицей распятой»:

И будет свиданье
Печальней стократ
Всего, что когда-то
Случилось со мной...
Столицей распятой
Иду я домой,—

о Ленинграде так выражаться не следовало. Кроме меня, у нее в гостях тогда были Бродский и Самойлов. Она сказала нам: «Давайте замену». Я сравнительно быстро придумал «за новой утратой», она немедленно произнесла: «Принято». Бродский и Самойлов фыркали, выказывали неодобрение, но ничего конкретного не предлагали, она только посмеивалась. Новый вариант был имитацией и эксплуатацией ахматовского метода и больше ничем. Вся история наравне с прочим цензурным разбоем и всей вообще судьбой ее поэзии описывается строчками из «Застольной песенки», обращенными ею к своим стихам:

Сплетней изучены,
Виты кистенем,
Мечены, мечены
Каторжным клеймом

И вовсе не применительно к Пушкину написала она четверостишие, грубо и наивно пришитое к «Слову о Пушкине» белыми нитками: «они могли бы услышать от поэта» — с единственной целью опубликовать запрещенное к публикации:

За меня не будете в ответе,
Можете пока спокойно спать.
Сила — право, только ваши дети
За меня вас будут проклинять

* * *

С начала 1962 года я стал исполнять у Ахматовой обязанности литературного секретаря. Поначалу от случая к случаю, потом регулярно. Обязанности были невеликие: ответить на второстепенное письмо, позвонить, реже съездить, по какому-то делу, переписать на машинке новое или вспомненное стихотворение, отредактировать — очень внешне, главным образом скомпоновать — заметки, чаще всего мемуарные. Все это — раз в несколько дней и всякий раз недолгое время. Когда я предлагал сделать не откладывая еще то-то и то-то, она величественно изрекала: «Запомните: одно дело в один день».

Ежедневно приходило несколько читательских писем, в основном безудержно комплиментарных. «Мне шестьдесят семь лет, всю жизнь целовала и целую ваши стихи...» — когда я дочитал до этого места, Ахматова вдруг переспросила: «Сколько?» «Шестьдесят семь» «Шалуныя», — проговорила она через «ы»: шылуныя. На некоторые диктовала ответ, всегда короткий. Вообще все личные ахматовские письма короткие. Кто-то написал, что в трудные моменты жизни находил утешение в ее стихах. Она немедленно продиктовала: «Меня же мои стихи никогда не утешали. Так и живу неутешенная — Ахматова». Время от времени приходили письма из зоны: «Вы меня не знаете» — и так далее, иногда длинные, человек изливал душу. Однажды прислал письмо только что освободившийся из заключения, писал из Томска не то Иркутска, что уже рассказывал о себе, еще когда сидел, теперь просит о помощи. Она сразу же велела выслать деньги телеграфом.

Первое письмо от нее я получил, когда она переехала в Комарово из ленинградской квартиры, а я был в Москве. Оно начиналось четверостишием: похоже было, что она сочиняла стихи и на том же листе решила написать письмо:

«Из-под смертного свода кургана
Вышла. может быть, чтобы опять
Поздней ночью иль утром рано
Под зеленой луной волковать»

Сегодня я вернулась в Будку. Без меня сюда решительно проникла осень и пропитала все своим дыханием. Но мак дождался меня.

Комната одичала, и пришлось приводить ее в чувства Чаконой Баха, Симфонией Псалмов Стравинского, раскаленной печкой, цветами и Вашей телеграммой.

Сейчас уже почти все хорошо. Горят свечи. безмольная и таинственная Марина рисует меня. Когда приеду в город — буду ждать звонка из Москвы, хотя бы от Нины.

А.

21 сентября
1963».

Вместо «решительно» сперва было «бесповоротно». «Волковать» (а не «волховать») — так она написала.

Марина Басманова, художница, была тогда невестой Бродского. Она рисовала Ахматову в маленьком, с ладонь величиной, блокноте не просто молча, но как бы сжав губы.

Мак посреди газончика, посеянного под окном с большим опозданием, неожиданно расцвел уже в осенние дни.

Хозяйство в комаровском домике вела Сарра Иосифовна Аренс, почти семидесятилетняя старушка, маленькая, с утра до вечера в переднике, всегда с улыбкой на морщинистом личике, со всегда печальными глазами. Тихая нежная, услужливая, самоотверженная, она боялась Ахматовой, но ничего не могла поделать с неистребимым желанием дать отчет о расходах и находила момент пробормотать что-то о подорожавшем твороге, на что та немедленно разъярялась: «Сарра! Я вам запретила говорить мне про творог». Еще больше Ахматовой она боялась — и безгранично любила и почитала — своего мужа, Льва Евгеньевича, брата первой жены Пунина. Он тоже был маленького роста, с выразительным живым лицом чудака, с живыми веселыми глазами и длинной белой бородой, которая развеивалась по ветру, когда он ехал на велосипеде, а ездил он на велосипеде главным образом купаться на Щучье озеро. Ботаник, и, кажется, с ученой степенью, он знал названия и свойства множества растений. Человек был верующий, православный, часто уезжал на электричке в шувадовскую церковь. В свое время был репрессирован и на слова следователя: «Как же вы, просвещенный человек, и в бога веруете?» — ответил: «Потому и просвещенный, что верую». Он сочинял стихи исключительно для души, и когда на дне его рождения, праздновавшемся на веранде в присутствии Ахматовой, Раневской и еще десятка гостей, в основном молодых, друг его сына, выпив, сказал в умилении: «Дядя Лева прочтите ваши стихи», — рявкнул, не давая ему договорить: «Молчать! Думай, перед кем сидишь!» Вообще тот день рождения был шумный. Винючник торжества порывался проводить Раневскую до Дома актеров, она же делала испуганный вид и шептала соседям: «Когда наша парочка покажется на пороге, все станут говорить, что я нарочно смешу людей». Один из гостей, артист театра «Современник», встал с рюмкой в руке, чтобы провозгласить тост за Раневскую, но спутал отчество. вместо Георгиевна сказал: «Позвольте, великолепная Фаина Абрамовна...» — не смог продолжать, пошатнулся и в мгновение ока был отнесен дружескими руками на тюфяк за диваном; наутро выйдя к столу Ахматова спросила: «А где некто, кто рухнул?» В связи же с перепутанным отчеством вспомнила, что когда МХАТ поставил «Анну Каренину» и все неумеренно хвалили спектакль, а она в каких-то гостях разругала и высмеяла его, мхатовская поклонница, присутствовавшая там, волнуясь, запротестовала: «Вы несправедливы, дорогая Анна Аркадьевна...»

По утрам она выходила к завтраку свежая, как-то внезапно, и создавалось впечатление, что от вчерашней «спокойной ночи» до сегодняшнего «доброе утро» прошло время, в течение которого ей удалось побывать где-то в таком месте, о котором есть что порассказать, и что ей приятно после такой разлуки снова встретиться с друзьями.

Вдоль ахматовской стороны забора тянулась поросшая травой колея, по ней время от времени проезжала одна и та же телега. Лошадью правила жившая наискосок от Будки женщина-конюх, с которой у Ахматовой были подчеркнута приятные, хотя и шапочные, отношения выражавшиеся в том что, заслышав шум телеги, она отрывалась от беседы, от перевода, от любого занятия и поднятой рукой приветствовала знакомую. Та радостно отвечала тем же, и Ахматова, непонятно — всерьез или в шутку, признавалась, что боится мнения соседки и чуть-чуть заискивает перед ней.

Другим соседом был Виктор Максимович Жирмунский, в ту пору уже академик, но еще приват-доцентом в 10-е годы знавший Ахматову. О приват-доцентстве он вспоминал всякий раз когда выпивал рюмочку: казалось, он ценил его выше нынешнего академства, может быть, потому, что это было славное время и его молодость. Однажды к Ахматовой приехал славист-англичанин, женатый на русской из первой эмиграции. Он должен был навестить и Жирмунского, чья дача была в трех минутах ходьбы, и Ахматова попросила меня показать дорогу. Жирмунские в этот час сели ужинать и пригласили нас обоих к столу. Было время белых ночей, светло, только что прошел дождь. Англичанин передал привет от своей тещи, вдовы университетского учителя Жирмунского. Жирмунский благодарил: «Он был не только моим учителем, но и старшим товарищем. Я писал у него курсовую работу по этике, эстетике и математике». Потом вдруг спросил: «Сколько же лет вашей жене? Они уехали в двадцатом, она была вот такого роста, лет десяти — значит, сколько сейчас?» И мне и жене Жирмунского стало ясно, что она порядочно старше мужа, который, очень смутившись повторил: «Нет, нет, не может быть». Жена Жирмунского перевела разговор на другую тему, но хозяин, возраста гостя, кажется, не оценивавший и неловкости не замечавший, вернулся к прежней и попросил меня как имеющего техническое образование сосчитать, сколько лет сейчас женщине если в двадцатом и так далее. Я понимал, что эта история как раз для Ахматовой, и, вернувшись, сразу стал рассказывать ее. Она жадно слушала и даже по мере развития сюжета медленно наклонялась в мою сторону. «Получалось, что ей не меньше пятидесяти пяти», — подытожил я. Она откинулась в кресле и тоном человека, присутствовавшего при рождении, произнесла с ударением на первом слове: «*Шестьдесят* пять, если не семьдесят... Они там все себе убавили на десять лет». То же самое тем же тоном она говорила о Бальзаке: «Он был обманут женщинами. Его увядающая «тридцатилетняя» — это, конечно же, сорока-, а то и пятидесятилетняя дама. Она настаивала на том, что ей тридцать: расчет был на доверчивость великого писателя. Тридцатилетняя — вы сами видите — никакая не увядающая, а цветущая молодая женщина. Не изменилась же она за полвека. Это, надо думать, постаралась наша прекрасная госпожа Ганская».

С большой неохотой она выходила на единственную прогулку в день, хотя врачи настаивали на двух-трех. Маршрут был, как правило, до Озерной и обратно аллеюшкой, проложенной в сосновом лесу. В нескольких метрах от Озерной была низенькая скамейка, она ненадолго присаживалась и, продолжая разговор, начинала водить концом трости по земле влево и вправо так что вскоре появлялся свободный от опавшей хвои сегмент чистой сыроватой почвы. Было что-то завораживающее в этом похожем на качания стрелки метронома скольжении тонкой коричневой палочки и постепенном очищении черной земли, как бы грифельной доски, готовой для письма, в окружении желтых иголок. Я ловил себя на том, что это неожиданно становилось существенней и интересней беседы, что под эти шаркающие звуки и вычерчивание дуг беседа может быть все равно какая.

Однажды мы отправились в противоположную сторону, а именно к Жирмунскому. Был солнечный августовский день, но уже с бессильным теплом, с осенним недостатком тепла. У солдат, рывших вдоль улицы канаву для каких-то труб, был перекур, и многие повалились тут же на землю и спали. Она сказала: «Вот поэтому русская армия и непобедимая, что они могут так спать». Через несколько шагов у нее с ноги стал сползать чулок, я сделал вид, что не замечаю, она попросила меня пройти немного вперед и там подождать. Вскоре догнала, но чулок опять пополз вниз, и сцена повторилась. И еще раза два. Вышедшая на звонок домработница Жирмунского сказала: «Они спят». Получалось, что спали все, кроме нас, мы повернули назад, настроение у Ахматовой было окончательное испорчено. Однако Жирмунский, заспанный, явился через полчаса с извинениями, а через неделю Ахматова, заговорив о чем-то, вскользь заметила: «В тот день, помните, когда с меня спадали одежды...»

Недалеко от ее домика стояла дача критика, который в конце 40-х годов сделал

карьеру на травле Ахматовой. Проходя мимо этой двухэтажной виллы, она приговаривала: «На моих костях построена». Однажды мы медленно шли по дороге на озеро, когда появился шагнувший нам навстречу хозяин дачи со своей молоденькой дочерью. Сняв берет, он почтительно поздоровался с Ахматовой. Она не ответила потому, может быть, что действительно не заметила или могла не заметить. Тогда он обогнал нас лесом, зашел вперед и еще раз так же ее приветствовал. Она поклонилась. Через несколько минут я спросил, зачем она это сделала, если узнала его. Она ответила: «Когда вам будет семьдесят пять и такое же дырявое, как у меня, сердце, вы поймете, что легче поздороваться, чем не поздороваться». Про двух знаменитых ленинградских писательниц говорила: «Пишут большие романы и строят большие дачи».

В другой раз мы сидели на скамейке, с залива дул ветерок, сосны покачивались и шумели. Она сказала: «Разговаривают без устали». Помолчав, прибавила: «Член Союза писателей N написал: сосен медный звон. Ну — разговаривают, шепчутся, спорят, стонут — что угодно. Но откуда медный звон? Где он его услышал?» «А полет фантазии! — стал я, насмешничая, защищать. — Или издержки вдохновения! Или оригинальное виденье! Он же все-таки поэт». «Да, — произнесла она скучным голосом. — Поэт. Бильярд». Возможно, стрелы были направлены против куда более значительной фигуры, чем ленинградский советский лирик, а именно против Николая Клюева («„Русь моя — жена моя“, — это он Блока научил», — говорила Ахматова), на книжку стихов которого «Сосен перезвон» писал рецензию Гумилев... Вообще же к деревьям относилась с нежностью старшей сестры и с почтительностью младшей и по ходу разговора о пантеизме в ответ на мою реплику сказала — не продекларировала, как стихи, а выставила как довод, так что я стихи не сразу и услышал, — начало гумилевского стихотворения из «Костра»: «Я знаю, что деревьям, а не нам, дано величье совершенной жизни». И через мгновение, уже как стихи, уже для своего удовольствия, прочла напевно:

Есть Моисей посреди дубов.
Марии между пальм...

Заметив на руке комара, она не била его, а сдувала. Высказывалась против кровожадного старичка-паучка из «Мухи-цокотухи», который «мужу в уголок поволол», приговаривала: «Вовсе это детям необязательно знать». Огромного дачного кота Глюка, который с грохотом прыгал с сосновой ветки на крышу дома, называла «полтора кота» и однажды сказала про Бродского: «Вам не кажется, что Иосиф — типичные полтора кота?» Когда мужа Пуниной укусила оса и он возмущенно и многословно обрушился на соседского мальчика, интересовавшегося насекомыми, за то, что тот «свил осам гнездо в жилом доме», она невозмутимо возразила: «Им никто ничего не вил, они сами выют где хотят».

Окно ее комнаты выходило в сосновую рощицу, летом наполненную «зеленым воздухом», который она охотно и с некоторой гордостью за природу показывала гостям. Раза два в неделю перед домом устраивался костер — из сухих веток, шишек, опавшей хвои. Она эти часы — гудящее пламя, тлеющие красные угли — очень любила. Но предупреждала, если устроитель был неопытный: «Мой костер — одно из коварнейших на свете существ», — и следила, чтобы на ночь его тщательно засыпали землей: дескать, однажды она проснулась среди ночи оттого, что пламя полыхало выше сосен. «А вечером притворялся смиренным. Вы его не знаете».

Она любила лето и зиму — за устойчивость, определенность, а весну и осень недолюбливала — за непостоянство, «переходность», хотя московская весна, жаркая, грязная, стремительно обрушивающаяся на город, всегда была ей очень по душе.

Ей нравилось собирать грибы — вокруг дома и по дороге на озеро — и чистить их. Пришел неожиданный посетитель, Сарра Иосифовна доложила, она раздраженно и громко сказала: «Передайте, что я чищу грибы». Через пять минут молодой человек постучал, просунул голову в дверь и представился как знаток и поклонник стихов и личности Волошина. Она ответила резким тоном: «Вы видите, я чищу грибы!» Похоже, что причиной гнева больше был Волошин, чем бесцеремонный его почитатель. «Я последняя херсонидка», — часто со значением говорила она, настойчиво повторяя эту фразу еще и для того, чтобы не путали ее Крым с коктебельским, волошинским. Волошина она не любила как человека, не прощала ему истории с Черубиной де Габриак, как поэтша считала дутой фигурой, которой невероятно повезло в мемуарной литературе: «Сначала Цветаева пишет о нем в качестве влюбленной в него женщины, потом Эренбург, реабилитируя все имена подряд, подает его только со знаком плюс».

Стоявший в ее комнате у окна ломберный столик служил и письменным столом и обеденным — «Застольная песенка» описывает именно это двойное его употребление: «Под узорной скатертью не видать стола», а дальше о стихах, то есть о том, что творилось на нем как на письменном. Из гостиной комната вдруг превращалась в столовую. Когда приближалось время обеда, на столик набрасывалась скатерка, расставлялись приборы. Ахматова могла сказать таким тоном, как если бы ей только что пришло в голову: «Может быть, l'eau-de-vie? Ну и чего-нибудь еще», — и доставала из старого портмоне десятку. Я или кто-то из молодых гостей ехал на велосипеде в магазинчик около станции. L' eau-de-vie необязательно должна была быть водкой, одобрялся и коньяк, а «что-нибудь еще» означало ветчину, шпроты или другие консервы, иногда специально оговариваемые бычки в томате, тогда самые дешевые, штабелями стоявшие на полках. Приятель, увидев, что я их покупаю, и узнав, для кого, заметил понимающе: «Наверно, напоминает ей одесское детство». Фирменным блюдом Сарры Иосифовны была вареная чечевица, к которой Ахматова приступала с присказкой — словами Исава из Книги Бытия: «Дай мне поесть красного, красного этого», — а кончала похвалой: «Можно отдать первородство». Водку она пила, как вино, маленькими глотками, и если к ней кто-нибудь в это мгновение обращался, отнимала рюмку от рта, отвечала и потом так же медленно допивала.

В ее комнате против деревянной полки с самыми разными книгами, от подаренной, только что вышедшей которую она, как правило, спешила кому-то передать, до французского томика Парни или латинского Горация, стоял старый ламповый радиоприемник «Рекорд» с двумя диапазонами: средних и длинных волн. Она говорила, что у него внешность, предполагающая на стене над ним обязательный портрет Сталина: в журналах 40-х годов печатались фотографии уютных комнат с улыбающимся семейством, с изобилием на столе, с фикусом, со Сталиным в красном углу, а под ним — «Рекорд». Однажды среди бела дня мы поймали по нему передачу радио «Свобода»: диктор безо всяких помех читал нечто зубодробительное из книги Абрама Терца «Город Любимов». Уже были арестованы Терц-Синявский и Аржак-Даниэль, уже Ахматова показала мне фамилию Синявского под каким-то круглым номером в составленном ею месяце до того списке ста людей, которым она собиралась дарить выходящий в свет «Бег времени». Когда передача кончилась, она сказала: «Я не люблю такого гарцевания на костях. Но что касается воровства, так нас на юридических курсах учили, что воровство в России объясняется пониженным чувством частной собственности как следствием первобытнообщинного строя славян. А что пьянство, так не нужно юридических курсов, просто поглядеть в окно».

У изголовья топчана на низеньком столе стоял электрический проигрыватель: либо я брал его в местном пункте проката, либо кто-то привозил из города. Она слушала музыку часто, и подолгу, и разную, но получалось, что на какой-то отрезок времени какая-то пьеса или пьесы вызывали ее особый интерес. Летом 1963 года это были сонаты Бетховена, осенью — Вивальди; летом 1964 года — Восьмой квартет Шостаковича; весной 1965-го — «Стабат матер» Перголези, а летом и осенью — «Коронование Поппеи» Монтеверди и особенно часто «Дидона и Эней» Перселла, английская запись со Шварцкопф. Она любила слушать «Багателли» Бетховена, много Шопена (в исполнении Софроницкого), «Времена года» и другие концерты Вивальди и еще Баха, Моцарта, Гайдна, Генделя. Адажио Вивальди, как известно, попало в «Полночные стихи»: «Мы с тобой в адажио Вивальди встретимся опять». Маленькая пластинка так и называлась — «Вивальди, Адажио», без ссылок на конкретное сочинение композитора. Пьеса была скрипичная, отсюда:

•

Но смычок не спросит, как вошел ты
В мой полночный дом.

Французский переводчик перевел эти строчки как-то так: «Пес не залает, когда ты войдешь», решив, что Смычок — кличка собаки.

В один из дней она попросила для разнообразия найти какую-нибудь музыку по приемнику. Я стал передвигать стрелку по шкале и заметил вслух, что полно легкой. Ахматова отозвалась: «Кому она нужна». — «А вот какая-то опера». — «Оперы не всегда плохи». — «Когда, например, не плохи?» — «Когда „Хованщина“. Или „Град Китеж“». Вдруг послышалось из «Пиковой дамы»: «Я подвиг силы беспримерной готов сейчас для вас свершить». «Ну и ну, что ж это значит? — сказала она, как если бы услышала в первый раз. — Впрочем, «Пиковая» — всегда хорошо. «Онегин» — вот ужас».

Говорить про Ахматову «она писала стихи» — неточно: она записывала стихи. Открывала тетрадь и записывала те строки, которые прежде уже сложились в голове. Часто вместо строчки, еще не существующей, еще не пришедшей, ставила точки, записывала дальше, а пропущенные вставляла потом, иногда через несколько дней. Кстати сказать, две последние строки четверостишия в письме ко мне от 21 сентября записаны поверх двух пунктирных линий, прочеркнутых прежде. Некоторые стихи она как будто находила: они уже существовали где-то, никому на свете еще не известные, а ей удавалось их открыть — целиком, сразу, без изменений впоследствии. Чаще всего это бывали четверостишия, например:

Глаза безумные твои
И ледяные речи
И объяснение в любви
Еще до первой встречи

Когда она «слагала стихи», этот процесс не прерывался ни на минуту: вдруг во время очередной реплики собеседника, за чтением книги, за письмом, за едой она почти в полный голос пропевала-проборматывала — «жужжала» — неразборчивые гласные и согласные приближающихся строк, уже нашедших ритм. Это гудение представлялось звуковым, и потому всеми слышимым, выражением не воспринимаемого обычным слухом постоянного гула поэзии. Или, если угодно, первичным превращением хаоса в поэтический космос. С годами эта работа переходила на все более конкретные самоутрачивающиеся уровни: знаменитый ее дольник подавлялся классическим метром, трех- или четырехкратное стихотворение тяготело к модифицированному сонету, приблизительное созвучие вытеснялось изысканной рифмой. Она рассказывала, что Лозинский говорил про рифмы *сказал — глаза или наш — отгана*: «Так рифмовать и чтобы выходило хорошо — получается только у вас». А когда продиктовала мне песенку, позднее отданную «Поэме без героя»:

За тебя я заплатила
Чистоганом.
Ровно десять лет ходила
Под наганом,
Ни налево, ни направо
Не глядела,
А за мной худая слава
Шелестела.—

то заметила: «Я люблю так рифмовать, глухие со звонкими: заплатила — ходила, глядела — шелестела».

Она настаивала на том, чтобы в стихах было меньше запятых и вообще знаков препинания, но широко пользовалась знаком, который называла своим, запятой-тире, при этом ссылаясь на того же Лозинского, который сказал ей: «Вообще такого знака нет, но вам можно». Когда я однажды указал ей на одно место в рукописи: «Тут следовало бы поставить запятую», — ответ был: «Я сама чувствовала, что тут есть что-то запятое». Уставая и меньше контролируя себя, она писала некоторые слова по-старому, например через фиту: «Привет Феде» — в одной записке; или прилагательные в родительном падеже через «в»: «молодова». Эти описки придавала словам большую выразительность, всему письму — прелесть.

Стихи не оставляли ее и во время болезни — в больнице она написала много известных стихотворений — и даже в бреду, в тифозном бараке сочинила:

Где-то ночка молодая,
Звездная, морозная...
Ой худая, ой худая
Голова тифозная,—

и так далее — стихи, которые, по ее словам, некий почтенный профессор цитировал студентам-медикам как пример документальной фиксации видений, посещающих больного тифом.

Иногда стихи ей снились, но к таким она относилась с недоверием и подвергала строгой проверке на трезвую, дневную голову.

(Окончание следует)

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

★

1984

Роман

ПЕРВАЯ

I

Был холодный, ясный апрельский день, и часы пробили тринадцать. Уткнув подбородок в грудь, чтобы спастись от злого ветра, Уинстон Смит торопливо шмыгнул за стеклянную дверь жилого дома «Победа», но все-таки впустил за собой вихрь зернистой пыли.

В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. Против входа на стене висел цветной плакат, слишком большой для помещения. На плакате было изображено громадное, больше метра в ширину, лицо: лицо человека лет сорока пяти, с густыми черными усами, грубое, но по-мужски привлекательное. Уинстон направился к лестнице. К лифту не стоило и подходить. Он даже в лучшие времена редко работал, а теперь в дневное время электричество вообще отключали. Действовал режим экономии — готовились к Неделе ненависти. Уинстону предстояло одолеть семь маршей; ему шел сороковой год, над щиколоткой у него была варикозная язва; он поднимался медленно и несколько раз останавливался передохнуть. На каждой площадке со стены глядело все то же лицо. Портрет был выполнен так, что, куда бы ты ни стал, глаза тебя не отпускали. **СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ** — гласила подпись.

В квартире сочный голос что-то говорил о производстве чугуна, зачитывал цифры. Голос шел из заделанной в правую стену продолговатой металлической пластины, похожей на мутное зеркало. Уинстон повернул ручку, голос ослаб, но речь по-прежнему звучала внятно. Аппарат этот (он назывался телекран) притупить было можно, полностью же выключить — нельзя. Уинстон отошел к окну; невысокий, тщедушный человек, он казался еще более щуплым в синем форменном комбинезоне партийца. Волосы у него были совсем светлые, а румяное лицо шелушилось от скверного мыла, тупых лезвий и холода только что кончившейся зимы.

Мир снаружи, за закрытыми окнами, дышал холодом. Ветер закручивал спиралями пыль и обрывки бумаги; и хотя светило солнце, а небо было резко-голубым, все в городе выглядело бесцветным — кроме расклеенных повсюду плакатов. С каждого заметного угла смотрело лицо черноусого. С дома напротив — тоже. **СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ** — говорила подпись, и темные глаза глядели в глаза Уинстону. Внизу, над тротуаром трепался на ветру плакат с оторванным углом, то пряча, то открывая единственное слово: **АНГСОЦ**. Вдалеке между крышами скользнул вертолет, завис на мгновение, как трупная муха, и по кривой унесся прочь. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна. Но патрули в счет не шли. В счет шла только полиция мыслей.

За спиной Уинстона голос из телекрана все еще болтал о выплавке чугуна и перевыполнении девятого трехлетнего плана. Телекран работал на прием и на передачу. Он ловил каждое слово, если его произносили не слишком тихим шепотом.

том; мало того: покуда Уинстон оставался в поле зрения мутной пластины, он был не только слышен, но и виден. Конечно, никто не знал, наблюдают за ним в данную минуту или нет. Часто ли и по какому расписанию подключается к твоему кабелю полиция мыслей, об этом можно было только гадать. Не исключено, что следили за каждым — и круглые сутки. Во всяком случае, подключиться могли когда угодно. Приходилось жить — и ты жил, по привычке, которая превратилась в инстинкт, — с сознанием того, что каждое твое слово подслушивают и каждое твое движение, пока не погас свет, наблюдают.

Уинстон держался к телекрану спиной. Так безопаснее; хотя — он знал это — спина тоже выдает. В километре от его окна громоздилось над чумазым городом белое здание министерства правды — место его службы. Вот он, со смутным отвращением подумал Уинстон, вот он, Лондон, главный город Взлетной полосы 1, третьей по населению провинции государства Океания. Он обратился к детству — попытался вспомнить, всегда ли был таким Лондон. Всегда ли тянулись вдаль эти вереницы обветшалых домов девятнадцатого века, подпертых бревнами, с залатанными картоном окнами, лоскутными крышами, пьяными стенками палисадников? И эти прогалины от бомбежек, где вилась алебастровая пыль и кипрей карабкался по грудам обломков; и большие пустыри, где бомбы расчистили место для целой грибной семьи убогих дощатых хибарок, похожих на курятники? Но — без толку, вспомнить он не мог: ничего не осталось от детства, кроме отрывочных ярко освещенных сцен, лишенных фона и чаще всего невразумительных

Министерство правды — на новоязе¹ Миниправ — разительно отличалось от всего, что лежало вокруг. Это исполинское пирамидальное здание, сияющее белым бетоном, вздымалось, уступ за уступом, на трехсотметровую высоту. Из своего окна Уинстон мог прочесть на белом фасаде написанные элегантно шрифтом три партийных лозунга:

ВОЙНА ЭТО МИР
СВОБОДА ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ — СИЛА

По слухам, министерство правды заключало в себе три тысячи кабинетов над поверхностью земли и соответствующую корневую систему в недрах. В разных концах Лондона стояли лишь три еще здания подобного вида и размеров. Они настолько возвышались над городом, что с крыши жилого дома «Победа» можно было видеть все четыре разом. В них помещались четыре министерства, весь государственный аппарат: министерство правды, ведавшее информацией, образованием, досугом и искусствами; министерство мира, ведавшее войной; министерство любви, ведавшее охраной порядка, и министерство изобилия, отвечавшее за экономику. На новоязе: Миниправ, Минимир, Минилюб и Минизо.

Министерство любви внушало страх. В здании отсутствовали окна. Уинстон ни разу не переступал его порога, ни разу не подходил к нему ближе чем на полкилометра. Попасть туда можно было только по официальному делу, да и то преодолев целый лабиринт колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Даже на улицах, ведущих к внешнему кольцу ограждений, патрулировали охранники в черной форме, с лицами горилл, вооруженные суставчатыми дубинками

Уинстон резко повернулся. Он придал лицу выражение спокойного оптимизма — наиболее уместное перед телекраном. Он прошел в другой конец комнаты, к крохотной кухоньке. Покинув в этот час министерство, он пожертвовал обедом в столовой, а дома никакой еды не было — кроме ломтя черного хлеба, который надо было поберечь до завтрашнего утра. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой «Джин Победа». Запах у джина был противный, маслянистый, как у китайской рисовой водки. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с духом и проглотил, как лекарство.

Лицо у него сразу покраснело, а из глаз потекли слезы. Напиток был похож на азотную кислоту; мало того: после глотка ощущение было такое, будто тебя огрели по спине резиновой дубинкой. Но вскоре жжение в желудке утихло, а мир

¹ Новояз — официальный язык Океании. О структуре его см. Приложение в конце романа.

стал выглядеть веселее. Он вытянул сигарету из мятой пачки с надписью «Сигареты Победа», по рассеянности держа ее вертикально — в результате весь табак из сигареты высыпался на пол. Со следующей Уинстон обошелся аккуратнее. Он вернулся в комнату и сел за столик слева от телекрана. Из ящика стола он вынул ручку, пузырек с чернилами и толстую книгу для записей с красным корешком и переплетом под мрамор.

По неизвестной причине телекран в комнате был установлен не так, как принято. Он помещался не в торцовой стене, откуда мог бы обозревать всю комнату, а в длинной, напротив окна. Сбоку от него была неглубокая ниша, предназначенная, вероятно, для книжных полок, — там и сидел сейчас Уинстон. Сев в ней поглубже, он оказывался недосыгаемым для телекрана, вернее невидимым. Подслушивать его, конечно, могли, но наблюдать, пока он сидел там, — нет. Эта несколько необычная планировка комнаты, возможно, и натолкнула его на мысль заняться тем, чем он намерен был сейчас заняться.

Но кроме того, натолкнула книга в мраморном переплете. Книга была удивительно красива. Гладкая кремовая бумага чуть пожелтела от старости — такой бумаги не выпускали уже лет сорок, а то и больше. Уинстон подозревал, что книга еще древнее. Он заметил ее на витрине старьевщика в трущобном районе (где именно, он уже забыл) и загорелся желанием купить. Членам партии не полагалось ходить в обыкновенные магазины (это называлось «приобретать товары на свободном рынке»), но запретом часто пренебрегали: множество вещей, таких, как шнурки и бритвенные лезвия, раздобыть иным способом было невозможно. Уинстон быстро оглянулся по сторонам, нырнул в лавку и купил книгу за два доллара пятьдесят. Зачем — он сам еще не знал. Он воровато принес ее домой в портфеле. Даже пустая, она компрометировала владельца.

Намеревался же он теперь — начать дневник. Это не было противозаконным поступком (противозаконного вообще ничего не существовало, поскольку не существовало больше самих законов), но если дневник обнаружат, Уинстона ожидает смерть или, в лучшем случае, двадцать пять лет каторжного лагеря. Уинстон вставил в ручку перо и облизнул, чтобы снять смазку. Ручка была архаическим инструментом, ими даже расписывались редко, и Уинстон раздобыл свою тайком и не без труда: эта красивая кремовая бумага, казалось ему, заслуживает того, чтобы по ней писали настоящими чернилами, а не корябали чернильным карандашом. Вообще-то он не привык писать рукой. Кроме самых коротких заметок, он все диктовал в речепис, но тут диктовка, понятно, не годилась. Он обмакнул перо и замешкался. У него схватило живот. Коснуться пером бумаги — бесповоротный шаг. Мелкими корявыми буквами он вывел:

4 апреля 1984 года

И откинулся. Им овладело чувство полной беспомощности. Прежде всего он не знал, правда ли, что год — 1984-й. Около этого — несомненно: он был почти уверен, что ему тридцать девять лет, а родился он в 1944-м или сорок пятом; но теперь невозможно установить никакую дату точнее чем с ошибкой в год или два.

А для кого, вдруг озадачился он, пишется этот дневник? Для будущего, для тех, кто еще не родился. Мысль его покружила над сомнительной датой, записанной на листе, и вдруг наткнулась на новоязовское слово *д в о е м ы с л и е*. И впервые ему стал виден весь масштаб его затеи. С будущим как общаться? Это по самой сути невозможно. Либо завтра будет похоже на сегодня и тогда не станет его слушать, либо оно будет другим, и невзгоды Уинстона ничего ему не скажут.

Уинстон сидел, бессмысленно уставясь на бумагу. Из телекрана ударила резкая военная музыка. Любопытно: он не только потерял способность выражать свои мысли, но даже забыл, что ему хотелось сказать. Сколько недель готовился он к этой минуте, и ему даже в голову не пришло, что потребуется тут не одна храбрость. Только записать — чего проще? Перенести на бумагу нескончаемый тревожный монолог, который звучит у него в голове годы, годы. И вот даже этот монолог иссяк. А язва над щиколоткой зудела невыносимо. Он боялся почесать ногу — от этого всегда начиналось воспаление. Секунды капали. Только белизна бумаги, да зуд над щиколоткой, да гремучая музыка, да легкий хмель в голове — вот и все, что воспринимали сейчас его чувства.

И вдруг он начал писать — просто от паники, очень смутно сознавая, что идет из-под пера. Бисерные, но по-детски корявые строки ползли то вверх, то вниз по листу, теряя сперва заглавные буквы, а потом и точки.

4 апреля 1984 года. Вчера в кино. Сплошь военные фильмы. Один очень хороший где-то в Средиземном море бомбят судно с беженцами. Публику забавляют кадры, где пробует уплыть громадный толстенный мужчина, а его преследует вертолет. Сперва мы видим как он по-дельфиньи бултыхается в воде, потом видим его с вертолета через прицел потом он весь продырявлен и море вокруг него розовое и сразу тонет словно через дыры набрал воды. когда он пошел на дно зрители загоготали. Потом шлюпка полная детей и над ней вьется вертолет там на носу сидела женщина средних лет похожая на еврейку а на руках у нее мальчик лет трех. Мальчик кричит от страха и прячет голову у нее на груди как будто хочет в нее ввинтиться а она его успокаивает и прикрывает руками хотя сама посинела от страха. все время старается закрыть его руками получше, как будто может заслонить от пуль. потом вертолет сбросил на них 20-килограммовую бомбу ужасный взрыв и лодка разлетелась в щепки. потом замечательный кадр детская рука летит вверх, вверх прямо в небо наверно ее снимали из стеклянного носа вертолета и в партийных рядах громко аплодировали но там где сидели пролы какая-то женщина подняла скандал и крик что этого нельзя показывать при детях куда это годится куда это годится при детях и скандалила пока полицейские не вывели не вывели ее вряд ли ей что-нибудь сделают мало ли что говорят пролы типичная проловская реакция на это никто не обращает...

Уинстон перестал писать, отчасти из-за того, что у него свело руку. Он сам не понимал, почему выплеснул на бумагу этот вздор. Но любопытно, что, пока он водил пером, в памяти у него отстоялось совсем другое происшествие, да так, что хоть сейчас записывай. Ему стало понятно, что из-за этого происшествия он и решил вдруг пойти домой и начать дневник сегодня.

Случилось оно утром в министерстве — если о такой туманности можно сказать «случилась».

Время приближалось к одиннадцати ноль-ноль, и в отделе документации, где работал Уинстон, сотрудники выносили стулья из кабин и расставляли в середине холла перед большим телекраном — собирались на двухминутку ненависти. Уинстон приготовился занять свое место в средних рядах, и тут неожиданно появились еще двое: лица знакомые, но разговаривать с ними ему не приходилось. Девилу он часто встречал в коридорах. Как ее зовут, он не знал, знал только, что она работает в отделе литературы. Судя по тому, что иногда он видел ее с гаечным ключом и масляными руками, она обслуживала одну из машин для сочинения романов. Она была веснушчатая, с густыми темными волосами, лет двадцати семи; держалась самоуверенно, двигалась по-спортивному стремительно. Узкий алый кушак — эмблема Молодежного антиполового союза, — туго обернутый несколько раз вокруг талии комбинезона, подчеркивал крутые бедра. Уинстон с первого взгляда невзлюбил ее. И знал за что. Вокруг нее витал дух хоккейных полей, холодных купаний, туристских вылазок и вообще правоверности. Он не любил почти всех женщин, в особенности молодых и хорошеньких. Именно женщины, и молодые в первую очередь, были самыми фанатичными приверженцами партии, глотателями лозунгов, добровольными шпионами и вынохивателями ереси. А эта казалась ему даже опаснее других. Однажды она повстречалась ему в коридоре, взглянула искоса — будто пронзила взглядом, — и в душу ему вполз черный страх. У него даже мелькнуло подозрение, что она служит в полиции мыслей. Впрочем, это было маловероятно. Тем не менее всякий раз, когда она оказывалась рядом, Уинстон испытывал неловкое чувство, к которому примешивались и враждебность и страх.

Одновременно с женщиной вошел О'Брайен, член внутренней партии, занимавший настолько высокий и удаленный пост, что Уинстон имел о нем лишь самое смутное представление. Увидев черный комбинезон члена внутренней партии, люди, сидевшие перед телекраном, на миг затихли. О'Брайен был рослый плотный мужчина с толстой шеей и грубым насмешливым лицом. Несмотря на грозную внешность, он был не лишен обаяния. Он имел привычку поправлять

очки на носу, и в этом характерном жесте было что-то до странности обезоруживающее, что-то неуловимо интеллигентное. Дворянин восемнадцатого века, предлагающий свою табакерку, — вот что пришло бы на ум тому, кто еще способен был бы мыслить такими сравнениями. Лет за десять Уинстон видел О'Брайена, наверно, с десяток раз. Его тянуло к О'Брайену, но не только потому, что озадачивал этот контраст между воспитанностью и телосложением боксера-тяжеловеса. В глубине души Уинстон подозревал — а может быть, не подозревал, а лишь надеялся, — что О'Брайен политически не вполне правокрен. Его лицо наводило на такие мысли. Но опять-таки возможно, что на лице было написано не сомнение в догмах, а просто ум. Так или иначе, он производил впечатление человека, с которым можно поговорить — если остаться с ним наедине и укрыться от телекрана. Уинстон ни разу не попытался проверить эту догадку; да и не в его это было силах. О'Брайен взглянул на свои часы, увидел, что время — почти однанадцать ноль-ноль, и решил остаться на двухминутку ненависти в отделе документации. Он сел в одном ряду с Уинстоном, за два места от него. Между ними расположилась маленькая рыжеватая женщина, работавшая по соседству с Уинстоном. Темноволосая села прямо за ним.

И вот из большого телекрана в стене вырвался отвратительный вой и скрежет — словно запустили какую-то чудовищную несмазанную машину. От этого звука вставали дыбом волосы и ломило зубы. Ненависть началась.

Как всегда, на экране появился враг народа Эммануэль Голдстейн. Зрители заикались. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами взвизгнула от страха и омерзения. Голдстейн, отступник и ренегат, когда-то, давным-давно (так давно, что никто уже и не помнил когда), был одним из руководителей партии, почти равным самому Старшему Брату, а потом встал на путь контрреволюции, был приговорен к смертной казни и таинственным образом сбежал, исчез. Программа двухминутки каждый день менялась, но главным действующим лицом в ней всегда был Голдстейн. Первый изменник, главный осквернитель партийной чистоты. Из его теорий произрастали все дальнейшие преступления против партии, все вредительства, предательства, ереси, уклоны. Неведомо где он все еще жил и ковал крамолу: возможно, за морем, под защитой своих иностранных хозяев, а возможно — ходили и такие слухи, — здесь, в Океании, в подполье.

Уинстону стало трудно дышать. Лицо Голдстейна всегда вызывало у него сложное и мучительное чувство. Сухое еврейское лицо в ореоле легких седых волос, козлиная бородка — умное лицо и вместе с тем необъяснимо отталкивающее; и было что-то сенильное в этом длинном хрящеватом носе с очками, съехавшими почти на самый кончик. Он напоминал овцу, и в голосе его слышалось бляение. Как всегда, Голдстейн злобно обрушился на партийное учение; нападки были настолько вздорными и несуразными, что не обманули бы и ребенка, но при этом не лишены убедительности, и слушатель невольно опасался, что другие люди, менее трезвые, чем он, могут Голдстейну поверить. Он поносил Старшего Брата, он обличал диктатуру партии, требовал немедленного мира с Евразией, призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли, он истерически кричал, что революцию предали, — и все скороговоркой, с составными словами, будто пародируя стиль партийных ораторов, даже с новоязовскими словами, причем у него они встречались чаще, чем в речи любого партийца. И все время, дабы не было сомнений в том, что стоит за лицемерными разглагольствованиями Голдстейна, позади его лица на экране маршировали бесконечные евразийские колонны: шеренга за шеренгой кряжистые солдаты с невозмутимыми азиатскими физиономиями выплывали из глубины на поверхность и растворялись, уступая место точно таким же. Глухой мерный топот солдатских сапог сопровождал бляению Голдстейна.

Ненависть началась каких-нибудь тридцать секунд назад, а половина зрителей уже не могла сдержать яростных восклицаний. Невыносимо было видеть это самодовольное овечьё лицо и за ним — устрашающую мощь евразийских войск; кроме того, при виде Голдстейна и даже при мысли о нем страх и гнев возникали рефлекторно. Ненависть к нему была постояннее, чем к Евразии и Остазии, ибо когда Океания воевала с одной из них, с другой она обыкновенно заключала мир. Но вот что удивительно: хотя Голдстейна ненавидели и презирали все, хотя каждый день, по тысяче раз на дню, его учение опровергали, громили, уничтожали,

высмеивали как жалкий вздор, влияние его нисколько не убывало. Все время находились новые простофилы, только и дожидавшиеся, чтобы он их совратил. Не проходило и дня без того, чтобы полиция мыслей не разоблачала шпионов и вредителей, действовавших по его указке. Он командовал огромной подпольной армией, сетью заговорщиков, стремящихся к свержению строя. Предполагалось, что она называется Братство. Поговаривали шепотом и об ужасной книге, своде всех ересей — автором ее был Голдстейн, и распространялась она нелегально. Заглавия у книги не было. В разговорах о ней упоминали — если упоминали вообще — просто как о книге. Но о таких вещах было известно только по неясным слухам. Член партии по возможности старался не говорить ни о Братстве, ни о книге.

Во второй минуте ненависть перешла в иступление. Люди вскакивали с мест и кричали во все горло, чтобы заглушить непереносимый блеющий голос Голдстейна. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами стала пунцовой и разевала рот, как рыба на суше. Тяжелое лицо О'Брайена тоже побагровело. Он сидел выпрямившись, и его мощная грудь вздымалась и содрогалась, словно в нее бил прибой. Темноволосая девица позади Уинстона закричала: «Подлец! Подлец! Подлец!» — а потом схватила тяжелый словарь новояза и запустила им в телекран. Словарь угодил Голдстейну в нос и отлетел. Но голос был неистребим. В какой-то миг просветления Уинстон осознал, что сам кричит вместе с остальными и яростно лягает перекладину стула. Ужасным в двухминутке ненависти было не то, что ты должен разыгрывать роль, а то, что ты просто не мог остаться в стороне. Какие-нибудь тридцать секунд — и притворяться тебе уже не надо. Слово от электрического разряда нападали на все собрание гнусные корчи страха и мстительности, иступленное желание убивать, терзать, крушить лица молотом; люди гримасничали и вопили, превращались в сумасшедших. При этом ярость была абстрактной и ненацеленной, ее можно было повернуть в любую сторону, как пламя паяльной лампы. И вдруг оказывалось, что ненависть Уинстона обращена вовсе не на Голдстейна, а, наоборот, на Старшего Брата, на партию, на полицию мыслей; в такие мгновения сердцем он был с этим одиноким осмеянным еретиком, единственным хранителем здравого смысла и правды в мире лжи. А через секунду он был уже заодно с остальными, и правдой ему казалось все, что говорят о Голдстейне. Тогда тайное отвращение к Старшему Брату превращалось в обожание, и Старший Брат возносился над всеми — неуязвимый, бесстрашный защитник, скалою вставший перед азиатскими ордами, а Голдстейн, несмотря на его изгойство и беспомощность, несмотря на сомнения в том, что он вообще еще жив, представлялся зловещим колдуном, способным одной только силой голоса разрушить здание цивилизации.

А иногда можно было, напрягшись, сознательно обратить свою ненависть на тот или иной предмет. Каким-то бешеным усилием воли, как отрываешь голову от подушки во время кошмара, Уинстон переключил ненависть с экранного лица на темноволосую девицу позади. В воображении замелькали прекрасные отчетливые картины. Он забьет ее резиновой дубинкой. Голую привяжет к столбу, истычет стрелами, как святого Себастьяна. Изнасилует и в последних судорогах пережрет глотку. И яснее, чем прежде, он понял, за что ее ненавидит. За то, что молодая, красивая и бесполоая; за то, что он хочет с ней спать и никогда этого не добьется; за то, что на нежной тонкой талии, будто созданной для того, чтобы ее обнимали, — не его рука, а этот алый кушак, воинствующий символ непорочности.

Ненависть кончалась в судорогах. Речь Голдстейна превратилась в натуральное блеяние, а его лицо на миг вытеснила овечья морда. Потом морда растворилась в евразийском солдате: огромный и ужасный, он шел на них, паля из автомата, грозя прорвать поверхность экрана, — так что многие отпрянули на своих стульях. Но тут же с облегчением вздохнули: фигуру врага заслонила наплывом голова Старшего Брата, черноволосая, черноусая, полная силы и таинственного спокойствия, такая огромная, что заняла почти весь экран. Что говорит Старший Брат, никто не расслышал. Всего несколько слов ободрения, вроде тех, которые произносит вождь в громе битвы, — сами по себе пускай невнятные, они вселяют уверенность одним тем, что их произнесли. Потом лицо Старшего Брата потускнело, и выступила четкая крупная надпись — три партийных лозунга:

**ВОЙНА ЭТО МИР
СВОБОДА ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ — СИЛА**

Но еще несколько мгновений лицо Старшего Брата как бы держалось на экране: так ярко был отпечаток, оставленный им в глазу, что не мог стереться сразу. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами навалилась на спинку переднего стула. Всхлипывающим шепотом она произнесла что-то вроде: «Спаситель мой!» — и простерла руки к телекрану. Потом закрыла лицо ладонями. По-видимому, она молилась.

Тут все собрание принялось медленно, мерно, низкими голосами скандировать: «ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!» — снова и снова, втяжку, с долгой паузой между «ЭС» и «БЭ», и было в этом тяжелом волнообразном звуке что-то странно первобытное — мерещился за ним топот босых ног и рокот больших барабанов. Продолжалось это с полминуты. Вообще такое нередко происходило в те мгновения, когда чувства достигали особенного накала. Отчасти это был гимн величию и мудрости Старшего Брата, но в большей степени самогипноз — люди топили свой разум в ритмическом шуме. Уинстон ощутил холод в животе. На двухминутках ненависти он не мог не отдаваться всеобщему безумию, но этот дикарский клич: «ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!» — всегда внушал ему ужас. Конечно, он скандировал с остальными, иначе было нельзя. Скрывать чувства, владеть лицом, делать то же, что другие, — все это стало инстинктом. Но был такой промежуток секунды в две, когда его вполне могло выдать выражение глаз. Как раз в это время и произошло удивительное событие — если вправду произошло.

Он встретился взглядом с О'Брайеном. О'Брайен уже встал. Он снял очки и сейчас, надев их, поправлял на носу характерным жестом. Но на какую-то долю секунды их взгляды пересеклись, и за это короткое мгновение Уинстон понял — да, понял! — что О'Брайен думает о том же самом. Сигнал нельзя было истолковать иначе. Как будто их умы раскрылись и мысли потекли от одного к другому через глаза. «Я с вами, — будто говорил О'Брайен. — Я отлично знаю, что вы чувствуете. Знаю о вашем презрении, вашей ненависти, вашем отвращении. Не тревожьтесь, я на вашей стороне!» Но этот проблеск ума погас, и лицо у О'Брайена стало таким же непроницаемым, как у остальных.

Вот и все — и Уинстон уже сомневался, было ли это на самом деле. Такие случаи не имели продолжения. Одно только они поддерживали в нем веру — или надежду, — что есть еще, кроме него, враги у партии. Может быть, слухи о разветвленных заговорах все-таки верны — может быть, Братство впрямь существует! Ведь несмотря на бесконечные аресты, признания, казни, не было уверенности, что Братство не миф. Иной день он верил в это, иной день — нет. Доказательств не было — только взгляды мельком, которые могли означать все что угодно и ничего не означать, обрывки чужих разговоров, полустертые надписи в уборных, — а однажды, когда при нем встретились двое незнакомых, он заметил легкое движение рук, в котором можно было усмотреть приветствие. Только догадки; весьма возможно, что все это плод воображения. Он ушел в свою кабину, не взглянув на О'Брайена. О том, чтобы развить мимолетную связь, он и не думал. Даже если бы он знал, как к этому подступиться, такая попытка была бы невообразимо опасной. Обменялись раз двусмысленным взглядом — вот и все. Но даже это было памятным событием для человека, чья жизнь проходит под замком одиночества...

Уинстон встряхнулся, сел прямо. Он рыгнул. Джин бунтовал в желудке.

Глаза его снова сфокусировались на странице. Оказалось, что, пока он был занят беспомощными размышлениями, рука продолжала писать автоматически. Но не судорожные каракули, как вначале. Перо сладострастно скользило по глянцева бумаге, крупными печатными буквами выводило:

ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА, —

раз за разом, и уже исписана была половина страницы.

1984

На него напал панический страх. Бессмысленный, конечно: написать эти слова ничуть не опаснее, чем просто завести дневник; тем не менее у него возникло искушение разорвать испорченные страницы и отказаться от своей затеи совсем.

Но он не сделал этого, он знал, что это бесполезно. Напишет он ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА или не напишет — разницы никакой. Будет продолжать дневник или не будет — разницы никакой. Полиция мыслей и так и так до него доберется. Он совершил — и если бы не коснулся бумаги пером, все равно совершил бы — абсолютное преступление, содержащее в себе все остальные. Мысле-преступление — вот как оно называлось. Мыслепреступление нельзя скрывать вечно. Изворачиваться какое-то время ты можешь, и даже не один год, но рано или поздно до тебя доберутся.

Бывало это всегда по ночам — арестовывали по ночам. Внезапно будят, грубая рука трясет тебя за плечи, светят в глаза, кровать окружили суровые лица. Как правило, суда не бывало, об аресте нигде не сообщалось. Люди просто исчезали, и всегда — ночью. Твое имя вынута из списков, все упоминания о том, что ты делал, стерт, факт твоего существования отрицается и будет забыт. Ты отменен, уничтожен: как принято говорить, р а с п ы л е н.

На минуту он поддался истерике. Торопливыми кривыми буквами стал писать:

меня расстреляют мне все равно пускай выстрелят в затылок мне все равно долой старшего брата всегда стреляют в затылок мне все равно долой старшего брата.

С легким стыдом он оторвался от стола и положил ручку. И тут же вздрогнул всем телом. Постучали в дверь.

Уже! Он затаился, как мышь, в надежде, что, не достучавшись с первого раза, они уйдут. Но нет, стук повторился. Самое скверное тут — мешкать. Его сердце бухало, как барабан, но лицо от долгой привычки, наверное, осталось невозмутимым. Он встал и с трудом пошел к двери.

II

Уже взявшись за дверную ручку, Уинстон увидел, что дневник остался на столе раскрытым. Весь в надписях ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА, да таких крупных, что можно разглядеть с другого конца комнаты. Непостижимая глупость. Нет, сообразил он, жалко стало пачкать кремовую бумагу, даже в панике не захотел захлопнуть дневник на непросохшей странице.

Он вздохнул и отпер дверь. И сразу по телу прошла теплая волна облегчения. На пороге стояла бесцветная подавленная женщина с жидкими растрепанными волосами и морщинистым лицом.

— Ой, товарищ, — скулящим голосом завела она, — значит, правильно мне послышалось, что вы пришли. Вы не можете зайти посмотреть нашу раковину в кухне? Она засорилась, а...

Это была миссис Парсонс, жена соседа по этажу. (Партия не вполне одобряла слово «миссис», всех полагалось называть товарищами, но с некоторыми женщинами это почему-то не получалось.) Ей было лет тридцать, но выглядела она гораздо старше. Впечатление было такое, что в морщинах ее лица лежит пыль. Уинстон пошел за ней по коридору. Этой слесарной самодеятельностью он занимался чуть ли не ежедневно. Дом «Победа» был старой постройки, года 1930-го или около того, и пришел в полный упадок. От стен и потолка постоянно отваливалась штукатурка, трубы лопались при каждом крепком морозе, крыша текла, стоило только выпасть снегу, отопительная система работала на половинном давлении — если ее не выключали совсем из соображений экономии. Для ремонта, которого ты не мог сделать сам, требовалось распоряжение высоких комиссий, а они и с починкой разбитого окна тянули два года.

— Конечно, если бы Том был дома... — неуверенно сказала миссис Парсонс.

Квартира у Парсонсов была больше, чем у него, и убожество ее было другого рода. Все вещи выглядели потрепанными и потоптанными, как будто сюда наведальсь большое и злое животное. По полу были разбросаны спортивные принадлежности — хоккейные клюшки, боксерские перчатки, дырявый футбольный

мяч, пропотевшие и вывернутые наизнанку трусы, — а на столе вперемешку с грязной посудой валялись мятые тетради. На стенах алые знамена Молодежного союза и разведчиков и плакат уличных размеров — со Старшим Братом. Как и во всем доме, здесь витал душок вареной капусты, но его перешибал крепкий запах пота, оставленный — это можно было угадать с первой понюшки, хотя и непонятно, по какому признаку, — человеком, в данное время отсутствующим.

В другой комнате кто-то на гребенке пытался подыгрывать телекрану, все еще передававшему военную музыку.

— Это дети, — пояснила миссис Парсонс, бросив несколько опасливый взгляд на дверь. — Они сегодня дома. И конечно...

Она часто обрывала фразы на половине. Кухонная раковина была почти до краев полна грязной зеленоватой водой, пахшей еще хуже капусты. Уинстон опустился на колени и осмотрел угольник на трубе. Он терпеть не мог ручного труда и не любил нагибаться — от этого начинался кашель. Миссис Парсонс беспомощно наблюдала.

— Конечно, если бы Том был дома, он бы в два счета прочистил, — сказала она. — Том обожает такую работу. У него золотые руки — у Тома.

Парсонс работал вместе с Уинстоном в министерстве правды. Это был толстый, но деятельный человек, ошеломляюще глупый — сгусток слабоумного энтузиазма, один из тех преданных, невопрошающих работяг, которые подпирали собой партию надежнее, чем полиция мыслей. В возрасте тридцати пяти лет он неохотно покинул ряды Молодежного союза; перед тем же как поступить туда, он умудрился пробыть в разведчиках на год дольше положенного. В министерстве он занимал мелкую должность, которая не требовала умственных способностей, зато был одним из главных деятелей спортивного комитета и разных других комитетов, отвечавших за организацию туристских вылазок, стихийных демонстраций, кампаний по экономии и прочих добровольных начинаний. Со скромной гордостью он сообщал о себе, попыхивая трубкой, что за четыре года не пропустил в общественном центре ни единого вечера. Сокрушительный запах пота — как бы нечаянный спутник многотрудной жизни — сопровождал его повсюду и даже оставался после него, когда он уходил.

— У вас есть гаечный ключ? — спросил Уинстон, пробуя гайку на соединении.

— Гаечный? — сказала миссис Парсонс, слабея на глазах. — Правда, не знаю. Может быть, дети...

Раздался топот, еще раз взревела гребенка, и в комнату ворвались дети. Миссис Парсонс принесла ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением извлек из трубы клок волос. Потом как мог отмыл пальцы под холодной струей и перешел в комнату.

— Руки вверх! — гаркнули ему.

Красивый девятилетний мальчик с суровым лицом вынырнул из-за стола, нацелив на него игрушечный автоматический пистолет, а его сестра, года на два моложе, нацелилась деревяшкой. Оба были в форме разведчиков — синие трусы, серая рубашка и красный галстук. Уинстон поднял руки, но с неприятным чувством: чересчур уж злобно держался мальчик, игра была не совсем понарошку.

— Ты изменник! — завопил мальчик. — Ты мыслепреступник! Ты евразийский шпион! Я тебя расстреляю, я тебя распылю, я тебя отправлю на соляные шахты!

Они принялись скакать вокруг него, выкрикивая: «Изменник! Мыслепреступник!» — и девочка подражала каждому движению мальчика. Это немного пугало, как возня тигрят, которые скоро вырастут в людоедов. В глазах у мальчика была расчетливая жестокость, явное желание ударить или пнуть Уинстона, и он знал, что скоро это будет ему по силам, осталось только чуть-чуть подрасти. Спасибо хоть пистолет не настоящий, подумал Уинстон.

Взгляд миссис Парсонс испуганно метался от Уинстона к детям и обратно. В этой комнате было светлее, и Уинстон с любопытством отметил, что у нее действительно пыль в морщинах.

— Расшумелись, — сказала она. — Огорчились, что нельзя посмотреть на висельников, — вот почему. Мне с ними пойти некогда, а Том еще не вернется с работы.

— Почему нам нельзя посмотреть, как вешают? — оглушительно взревел мальчик.

— Хочу посмотреть, как вешают! Хочу посмотреть, как вешают! — подхватила девочка, прыгая вокруг.

Уинстон вспомнил, что сегодня вечером в Парке будут вешать евразийских пленных — военных преступников. Это популярное зрелище устраивали примерно раз в месяц. Дети всегда скандалили — требовали, чтобы их повели смотреть. Он отправился к себе. Но не успел пройти по коридору и шести шагов, как затылок его обожгла невыносимая боль. Будто ткнули в шею докрасна раскаленной проволокой. Он повернулся на месте и увидел, как миссис Парсонс утаскивает мальчика в дверь, а он засовывает в карман рогатку.

— Голдстейн! — заорал мальчик, перед тем как закрылась дверь. Но больше всего Уинстона поразило выражение беспомощного страха на сером лице матери.

Уинстон вернулся к себе, поскорее прошел мимо телекрана и снова сел за стол, все еще потирая затылок. Музыка в телекране смолкла. Отрывистый военный голос с грубым удовольствием стал описывать вооружение новой плавающей крепости, поставленной на якорь между Исландией и Фарерскими островами.

Несчастная женщина, подумал он, жизнь с такими детьми — это жизнь в постоянном страхе. Через год-другой они станут следить за ней днем и ночью, чтобы поймать на идейной невыдержанности. Теперь почти все дети ужасны. И хуже всего, что при помощи таких организаций, как разведчики, их методически превращают в необузданных маленьких дикарей, причём у них вовсе не возникает желания бунтовать против партийной дисциплины. Наоборот, они обожают партию и все, что с ней связано. Песни, шествия, знамена, походы, муштра с учебными винтовками, выкрикивание лозунгов, поклонение Старшему Брату — все это для них увлекательная игра. Их натравливают на чужаков, на врагов системы, на иностранцев, изменников, вредителей, мыслепреступников. Стало обычным делом, что тридцатилетние люди боятся своих детей. И не зря: не проходило недели, чтобы в «Таймс» не мелькнула заметка о том, как юный согладатай — «маленький герой», по принятому выражению, — подслушал нехорошую фразу и донес на родителей в полицию мыслей.

Боль от пульки утихла. Уинстон без воодушевления взял ручку, не зная, что еще написать в дневнике. Вдруг он снова начал думать про О'Брайена.

Несколько лет назад... — сколько же? лет семь, наверно, — ему приснилось, что он идет в крошечной тьме по какой-то комнате. И кто-то сидящий сбоку говорит ему: «Мы встретимся там, где нет темноты». Сказано это было тихо, как бы между прочим, — не приказ, просто фраза. Любопытно, что тогда, во сне, большого впечатления эти слова не произвели. Лишь впоследствии, постепенно, приобрели они значительность. Он не мог припомнить, было это до или после его первой встречи с О'Брайеном; и когда именно узнал в том голосе голос О'Брайена — тоже не мог припомнить. Так или иначе, голос был опознан. Говорил с ним во тьме О'Брайен.

Уинстон до сих пор не уяснил себе — даже после того, как они переглянулись, не смог уяснить, — друг О'Брайен или враг. Да и не так уж это, казалось, важно. Между ними протянулась ниточка понимания, а это важнее дружеских чувств или соучастия. «Мы встретимся там, где нет темноты», — сказал О'Брайен. Что это значит, Уинстон не понимал, но чувствовал, что каким-то образом это сбудется.

Голос в телекране прервался. Душную комнату наполнил звонкий, красивый звук фанфар. Скрипучий голос продолжал:

— Внимание! Внимание! Только что поступила сводка-«молния» с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали большую победу. Мне поручено заявить, что в результате битвы, о которой мы сообщаем, конец войны может стать делом обозримого будущего. Слушайте сводку.

Жди неприятности, подумал Уинстон. И точно: вслед за кровавым описанием разгрома евразийской армии с умопомрачительными цифрами убитых и взятых в плен последовало объявление о том, что с будущей недели норма отпуска шоколада сокращается с тридцати граммов до двадцати.

Уинстон опять рыгнул. Джин уже выветрился, оставив после себя ощущение упадка. Телекран, то ли празднует победу, то ли чтобы отвлечь от мыслей об отня-

том шоколаде, громыхнул: «Тебе, Океания». Полагалось встать по стойке «мирно». Но здесь он был невидим.

«Тебе, Океания» сменилась легкой музыкой. Держась к телекрану спиной, Уинстон подошел к окну. День был все так же холоден и ясен. Где-то вдалеке с глухим раскатистым грохотом разорвалась ракета. Теперь их падало на Лондон по двадцать — тридцать штук в неделю.

Внизу на улице ветер трепал рваный плакат, на нем мелькало слово АНГСОЦ. Ангсоц. Священные устои ангсоца. Новояз, двоемыслие, зыбкость прошлого. У него возникло такое чувство, как будто он бредет по лесу на океанском дне, заблудился в мире чудищ и сам он — чудище. Он был один. Прошлое умерло, будущее нельзя вообразить. Есть ли какая-нибудь уверенность, что хоть один человек из живых — на его стороне? И как узнать, что владычество партии не будет вечным? И ответом встали перед его глазами три лозунга на белом фасаде министерства правды:

ВОЙНА ЭТО МИР
СВОБОДА ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ — СИЛА

Он вынул из кармана двадцатипятицентовую монету. И здесь мелкими четкими буквами те же лозунги, а на оборотной стороне — голова Старшего Брата. Даже с монеты преследовал тебя его взгляд. На монетах, на марках, на книжных обложках, на знаменах, плакатах, на сигаретных пачках — повсюду. Всюду тебя преследуют эти глаза и обволакивает голос. Во сне и наяву, на работе и за едой, на улице и дома, в ванной, в постели — нет спасения. Нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе.

Солнце ушло, погасив тысячи окон на фасаде министерства, и теперь они глядели угрюмо, как крепостные бойницы. Сердце у него сжалось при виде исполинской пирамиды. Слишком прочна она, ее нельзя взять штурмом. Ее не разрушит и тысяча ракет. Он снова спросил себя, для кого пишет дневник. Для будущего, для прошлого, для века, быть может, просто воображаемого. И ждет его не смерть, а уничтожение. Дневник превратят в пепел, а его — в пыль. Написанное им прочтет только полиция мыслей — чтобы стереть с лица земли и из памяти. Как обратиться к будущему, если следа твоего и даже безымянного слова на земле не сохранится?

Телекран пробил четырнадцать. Через десять минут ему уходить. В четырнадцать тридцать он должен быть на службе.

Как ни странно, бой часов словно вернул ему мужество. Одинокий призрак, он возвещает правду, которой никто никогда не расслышит. Но пока он говорит ее, что-то в мире не прервется. Не тем, что заставишь себя услышать, а тем, что остался нормальным, хранишь ты наследие человека. Он вернулся за стол, обмакнул перо и написал.

Будущему или прошлому — времени, когда мысль свободна, люди отличаются друг от друга и живут не в одиночку, времени, где правда есть правда и бывшее не превращается в небыль.

От эпохи одинаковых, эпохи одиноких, от эпохи Старшего Брата, от эпохи двоемыслия — привет!

Я уже мертв, подумал он. Ему казалось, что только теперь, вернув себе способность выражать мысли, сделал он бесповоротный шаг. Последствия любого поступка содержатся в самом поступке. Он написал:

Мыслепреступление не влечет за собой смерть: мыслепреступление
ЕСТЬ смерть.

Теперь, когда он понял, что он мертвец, важно прожить как можно дольше. Два пальца на правой руке были в чернилах. Вот такая мелочь тебя и выдаст. Какой-нибудь востроносый ретивец в министерстве (скорее женщина — хотя бы та маленькая с рыжеватыми волосами или темноволосая из отдела литературы) задумается, почему это он писал в обеденный перерыв, и почему писал старинной ручкой, и что писал, а потом сообщит куда следует. Он отправился в ванную и тщательно отмыл пальцы зернистым коричневым мылом, которое скребло, как наждак, и отлично годилось для этой цели.

Дневник он положил в ящик стола. Прячь, не прячь — его все равно найдут; но можно хотя бы проверить, узнали о нем или нет. Волос поперек обреза слишком заметен. Кончиком пальца Уинстон подобрал крупинку белесой пыли и положил на угол переплета: если книгу тронут, крупинка свалится.

III

Уинстону снилась мать.

Насколько он помнил, мать исчезла, когда ему было лет десять-одиннадцать. Это была высокая женщина с роскошными светлыми волосами, величая, неразговорчивая, медлительная в движениях. Отец запомнился ему хуже: темноволосый, худой, всегда в опрятном темном костюме (почему-то запомнились очень тонкие подошвы его туфель) и в очках. Судя по всему, обоих смела одна из первых больших чисток в пятидесятые годы.

И вот мать сидела где-то под ним, в глубине, с его сестренкой на руках. Сестру он совсем не помнил — только маленьким хилым грудным ребенком, всегда тихим, с большими внимательными глазами. Обе они смотрели на него снизу. Они находились где-то под землей — то ли на дне колодца, то ли в очень глубокой могиле — и опускались всё глубже. Они сидели в салоне тонущего корабля и смотрели на Уинстона сквозь темную воду. В салоне еще был воздух, и они еще видели его, а он — их, но они все погружались, погружались в зеленую воду. еще секунда — и она скроет их навсегда. Он на воздухе и на свету, а их заглатывает пучина, и они там, внизу, потому что он наверху. Он понимал это, и они это понимали, и он видел по их лицам, что они понимают. Упрека не было ни на лицах, ни в душе их, а только понимание, что они должны заплатить своей смертью за его жизнь, ибо такова природа вещей.

Уинстон не мог вспомнить, как это было, но во сне он знал, что жизни матери и сестры принесены в жертву его жизни. Это был один из тех снов, когда в ландшафте, характерном для сновидения, продолжается дневная работа мысли и тебе открываются идеи и факты, которые и по пробуждении остаются новыми и значительными. Уинстона вдруг осенило, что смерть матери почти тридцать лет назад была трагической и горестной в том смысле, какой уже и непонятен ныне. Трагедия, открылось ему, — достойные старых времен, времен, когда еще существовало личное, существовала любовь и дружба, и люди в семье стояли друг за друга, не нуждаясь для этого в доводах. Воспоминание о матери рвало ему сердце потому, что она умерла, любя его, а он был слишком молод и эгоистичен, чтобы любить ответно. и потому, что она каким-то образом — он не помнил каким — принесла себя в жертву идее верности, которая была личной и несокрушимой. Сегодня, понял он, такое не может случиться. Сегодня есть страх, ненависть и боль, но нет достоинства чувств. нет ни глубокого, ни сложного горя. Все это он словно прочел в больших глазах матери, которые смотрели на него из зеленой воды, с глубины в сотни саженей, и все еще погружались.

Вдруг он очутился на короткой, упругой травке, и был летний вечер, и косые лучи солнца золотили землю. Местность эта как часто появлялась в снах, что он не мог определенно решить, видел ее когда-нибудь наяву или нет. Про себя Уинстон называл ее Золотой страной. Это был старый, выщипанный кроликами луг, но нему бежала тропинка, там и сям виднелись кротовые чокки. На дальнем краю ветер чуть шевелил ветки вязов, вставших неровной изгородью, и плотная масса листвы волновалась, как волосы женщины. А где-то рядом, невидимый, лениво тек ручей, и под ветлами в заводях ходила плотва.

Через луг к нему шла та женщина с темными волосами. Одним движением она сорвала с себя одежду и презрительно отбросила прочь. Тело было белое и гладкое, но не вызвало в нем желания; на тело он едва ли даже взглянул. Его восхитил жест, которым она отшвырнула одежду. Изяществом своим и небрежностью он будто уничтожал целую культуру, целую систему: и Старший Брат, и партия, и полиция мыслей были сметены в небытие одним прекрасным взмахом руки. Этот жест тоже принадлежал старому времени. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на устах.

Телекран испускал оглушительный свист, длившийся на одной ноте тридцать секунд. Семь пятнадцать, сигнал подъема для служащих Уинстон выдрался из постели — нагишом, потому что члену внешней партии выдавали в год всего

три тысячи одежных талонов, а пижама стояла шестьсот, — и схватил со стула выношенную фуфайку и трусы. Через три минуты физзарядка А Уинстон согнулся пополам от кашля — кашель почти всегда нападал после сна. Он вытряхивал легкие настолько, что восстановить дыхание Уинстону удавалось, лишь лежа на спине, после нескольких глубоких вдохов. Жилы у него вздулись от натуги, и варикозная язва начала зудеть.

— Группа от тридцати до сорока! — залаял пронзительный женский голос. — Группа от тридцати до сорока! Займите исходное положение. От тридцати до сорока!

Уинстон встал по стойке «смирно» перед телекраном: там уже появилась жилистая, сравнительно молодая женщина в короткой юбке и гимнастических туфлях.

— Сгибание рук и потягивание! — выкрикнула она. — Делаем по счету. И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре! Веселей, товарищи, больше жизни! И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре!

Боль от кашля не успела вытеснить впечатления сна, а ритм зарядки их как будто оживил. Машинально выбрасывая и сгибая руки с выражением угрюмого удовольствия, как подобало на гимнастике, Уинстон пробивался к смутным воспоминаниям о раннем детстве. Это было крайне трудно. Все, что происходило в пятидесятые годы, выветрилось из головы. Когда не можешь обратиться к посторонним свидетельствам, теряют четкость даже очертания собственной жизни. Ты помнишь великие события, но возможно, что их и не было; помнишь подробности происшествий, но не можешь ощутить его атмосферу; а есть и пустые промежутки, долгие и не отмеченные вообще ничем. Тогда все было другим. Другими были даже названия стран и контуры их на карте. Взлетная полоса 1, например, называлась тогда иначе: она называлась Англией или Британией, а вот Лондон — Уинстон помнил это более или менее твердо — всегда назывался Лондоном.

Уинстон не мог отчетливо припомнить такое время, когда бы страна не воевала; но, по всей видимости, на его детство пришелся довольно продолжительный мирный период, потому что одним из самых ранних воспоминаний был воздушный налет, всех заставший врасплох. Может быть, как раз тогда и сбросила атомную бомбу на Колчестер. Самого налета он не помнил, а помнил только, как отец крепко держал его за руку и они быстро спускались, спускались, спускались куда-то под землю, круг за кругом, по винтовой лестнице, гудевшей под ногами. и он устал от этого. захныкал, и они остановились отдохнуть. Мать шла, как всегда, мечтательно и медленно, далеко отстав от них. Она несла грудную сестренку — а может быть, просто одеяло: Уинстон не был уверен, что к тому времени сестра уже появилась на свет. Наконец они пришли на людное, шумное место — он понял, что это станция метро.

На каменном полу сидели люди, другие теснились на железных нарах. Уинстон с отцом и матерью нашли себе место на полу, а возле них на нарах сидели рядышком старик и старуха. Старик в приличном темном костюме и сдвинутой на затылок черной кепке, совершенно седой; лицо у него было багровое, в голубых глазах стояли слезы. От него разлило джином. Пахло как будто от всего тела. как будто он потел джином, и можно было вообразить, что слезы его — тоже чистый джин. Пьяненький был старик, но весь его вид выражал неподдельное и нестерпимое горе. Уинстон детским своим умом догадался, что с ним произошла ужасная беда — и ее нельзя простить и нельзя исправить. Он даже понял какая. У старика убили любимого человека — может быть, маленькую внучку. Каждые две минуты старик повторял:

— Не надо было им верить. Ведь говорил я, мать, говорил? Вот что значит им верить. Я всегда говорил. Нельзя было верить этим стервецам.

Но что это за стервецы, которым нельзя было верить, Уинстон уже не помнил.

С тех пор война продолжалась непрерывно, хотя, строго говоря, не одна и та же война. Несколько месяцев, опять же в его детские годы, шли беспорядочные уличные бои в самом Лондоне, и кое-что помнилось очень живо. Но проследить историю тех лет, определить, кто с кем и когда сражался, было совершенно невозможно: ни единого письменного документа, ни единого устного слова

об иной расстановке сил, чем нынешняя. Нынче, к примеру, в 1984 году (если год — 1984-й), Океания воевала с Евразией и состояла в союзе с Остзией. Ни публично, ни с глазу на глаз никто не упоминал о том, что в прошлом отношения трех держав могли быть другими. Уинстон прекрасно знал, что на самом деле Океания воюет с Евразией и дружит с Остзией всего четыре года. Но знал украдкой — и только потому, что его памятью не вполне управляли. Официально союзник и враг никогда не менялись. Океания воюет с Евразией, следовательно, Океания всегда воевала с Евразией. Нынешний враг всегда воплощал в себе абсолютное зло, а значит, ни в прошлом, ни в будущем соглашение с ним немислимо.

Самое ужасное, в сотый, тысячный раз думал он, переламываясь в пояс (сейчас они вращали корпусом, держа руки на бедрах, — считалось полезным для спины), — самое ужасное, что все это может оказаться правдой. Если партия может запустить руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что его никогда не было, — это страшнее, чем пытка или смерть.

Партия говорит, что Океания никогда не заключала союза с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что Океания была в союзе с Евразией всего четыре года назад. Но где хранится это знание? Только в его уме, а он, так или иначе, скоро будет уничтожен. И если все принимают ложь, навязанную партией — если во всех документах одна и та же песня, — тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой. «Кто управляет прошлым, — гласит партийный лозунг, — тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». И, однако, прошлое, по природе своей изменяемое, изменению никогда не подвергалось. То, что истинно сейчас, истинно от века и на веки вечные. Все очень просто. Нужна всего-навсего непрерывная цепь побед над собственной памятью. Это называется «покорение действительности»; на новоязе — «двоемыслие».

— Вольно! — рывнула преподавательница чуть добродушнее.

Уинстон опустил руки и сделал медленный, глубокий вдох. Ум его забрел в лабиринты двоемыслия. Зная, не зная; верить в свою правдивость, излагая обдуманную ложь; придерживаться одновременно двух противоположных мнений, понимая, что одно исключает другое, и быть убежденным в обоих: логикой убивать логику; отвергать мораль, провозглашая ее; полагать, что демократия невозможна и что партия — блюститель демократии; забыть то, что требуется забыть, и снова вызвать в памяти, когда это понадобится, и снова немедленно забыть, и, главное, применять этот процесс к самому процессу — вот в чем самая тонкость сознательно преодолевать сознание и при этом не сознавать, что занимаешься самогипнозом. И даже слова «двоемыслие» не поймешь, не прибегнув к двоемыслию.

Преподавательница велела им снова встать «смирно»

— А теперь посмотрим, кто у нас сумеет достать до носков! — с энтузиазмом сказала она. — Прямо с бедер, товарищи. Рраз-два! Рраз-два!

Уинстон ненавидел это упражнение: ноги от ягодиц до пяток пронзало болью, и от него нередко начинался припадок кашля. Приятная грусть из его размышлений исчезла. Прошлое, подумал он, не просто было изменено — оно уничтожено. Ибо как ты можешь установить даже самый очевидный факт, если он не запечатлен нигде, кроме как в твоей памяти? Он попробовал вспомнить, когда услышал впервые о Старшем Брате. Кажется, в шестидесятых. Но разве теперь вспомнишь? В истории партии Старший Брат, конечно, фигурировал как вождь революции с самых первых ее дней. Подвиги его постепенно отодвигались все дальше в глубь времен и протерлись уже в легендарный мир сороковых и тридцатых, когда капиталисты в диковинных шляпах цилиндрах еще разъезжали по улицам Лондона в больших лакированных автомобилях и конных экипажах со стеклянными боками. Неизвестно, сколько правды в этих сказаниях и сколько вымысла. Уинстон не мог вспомнить даже, когда появилась сама партия. Кажется, слова «ангсоц» он тоже не слышал до 1960 года, хотя возможно, что в старорычичной форме — «английский социализм» — оно имело хождение и раньше. Все растворяется в тумане. Впрочем, иногда можно поймать и явную ложь. Неправда, например, что партия изобрела самолет, как утверждают книги по партийной истории. Самолеты он помнил с самого раннего детства. Но доказать ничего нельзя. Никаких свидетельств не бывает. Лишь один раз в жизни держал он в

руках неопровержимое документальное доказательство подделки исторического факта. Да и то...

— Смит! — раздался сварливый окрик. — Шестьдесят — семьдесят девять, Смит У.! Да, вы! Глубже наклон! Вы ведь можете. Вы не стараетесь. Ниже! Так уже лучше, товарищ. А теперь вся группа вольно — и следите за мной.

Уинстона прошиб горячий пот. Лицо его оставалось совершенно невозмутимым. Не показать тревоги! Не показать возмущения! Только моргни глазом — и ты себя выдал. Он наблюдал, как преподавательница вскинула руки над головой и — не сказать, что грациозно, но с завидной четкостью и сноровкой, — нагнувшись, зацепилась пальцами за носки туфель.

— Вот так, товарищи! Покажите мне, что вы можете так же. Посмотрите еще раз. Мне тридцать девять лет, и у меня четверо детей. Прошу смотреть. — Она снова нагнулась. — Видите, у меня колени прямые. Вы все сможете так сделать, если захотите, — добавила она, выпрямившись. — Все, кому нет сорока пяти, способны дотянуться до носков. Нам не выпало чести сразиться на передовой, но по крайней мере мы можем держать себя в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте! И моряков на плавающих крепостях! Подумайте, каково приходится им. А теперь попробуем еще раз. Вот, уже лучше, товарищ, гораздо лучше. — похвалила она Уинстона, когда он с размаху, согнувшись на прямых ногах, сумел достать до носков — первый раз за несколько лет.

IV

С глубоким безотчетным вздохом, которого он по обыкновению не сумел сдержать, несмотря на близость телекрана, Уинстон начал свой рабочий день: притянул к себе речепис, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул и соединил скрепкой четыре бумажных цилиндрика, выскочивших из пневматической трубы справа от стола.

В стенах его кабины было три отверстия. Справа от речеписа — маленькая пневматическая труба для печатных заданий; слева — побольше, для газет; и в боковой стене, только руку протянуть, — широкая щель с проволочным забралом. Эта — для ненужных бумаг. Таких щелей в министерстве были тысячи, десятки тысяч — не только в каждой комнате, но и в коридорах на каждом шагу. Почему-то их прозвали гнездами памяти. Если человек хотел избавиться от ненужного документа или просто замечал на полу обрывок бумаги, он механически поднимал забрало ближайшего гнезда и бросал туда бумагу; ее подхватывал поток теплого воздуха и уносил к огромным топкам, спрятанным в утробе здания.

Уинстон просмотрел четыре развернутых листка. На каждом — задание в одну-две строки, на телеграфном жаргоне, который не был, по существу, новоязом, но состоял из новоязовских слов и служил в министерстве только для внутреннего употребления. Задания выглядели так:

таймс 17.3.84 речь с. б. превратно африка уточнить

таймс 19.12.83 план 4 квартала 83 опечатки согласовать сегодняшним номером

таймс 14.2.84 заяв минизо превратно шоколад уточнить

таймс 3.12.83 минусминус изложен наказ с. б. упомянуты нелица переписать сквозь наверх до подшивки.

С тихим удовлетворением Уинстон отодвинул четвертый листок в сторону. Работа тонкая и ответственная, лучше оставить ее напоследок. Остальные три — шаблонные задачи, хотя для второй, наверное, надо будет основательно покопаться в цифрах.

Уинстон набрал на телекране «задние числа» — затребовал старые выпуски «Таймс»: через несколько минут их уже вытолкнула пневматическая труба. На листках были указаны газетные статьи и сообщения, которые по той или иной причине требовалось изменить, или, выражаясь официальным языком, уточнить. Например, из сообщения «Таймс» от 17 марта явствовало, что накануне в своей речи Старший Брат предсказал затишье на южноиндийском фронте и скорое наступление войск Евразии в Северной Африке. На самом же деле евразийцы начали наступление в Южной Индии, а в Северной Африке никаких действий не предпринимали. Надо было переписать этот абзац в речи Старшего Брата

так, чтобы он предсказал действительный ход событий. Или, опять же, 19 декабря «Таймс» опубликовала официальный прогноз выпуска различных потребительских товаров на четвертый квартал 1983 года, то есть шестой квартал девятой трехлетки. В сегодняшнем выпуске напечатаны данные о фактическом производстве, и оказалось, что прогноз был совершенно неверен. Уинстону предстояло уточнить первоначальные цифры, дабы они совпали с сегодняшними. На третьем листке речь шла об очень простой ошибке, которую можно исправить в одну минуту. Не далее как в феврале министерство избылиа обещало (категорически утверждало, по официальному выражению), что в 1984 году норму выдачи шоколада не уменьшат. На самом деле, как было известно и самому Уинстону, в конце нынешней недели норму собирались уменьшить с тридцати граммов до двадцати. Ему надо было просто заменить старое обещание предуведомлением, что в апреле норму, возможно, придется сократить.

Выполнив первые три задачи, Уинстон скрепил исправленные варианты, вынутые из речеписа, с соответствующими выпусками газеты и отправил в пневматическую трубу. Затем почти бессознательным движением скомкал полученные листки и собственные заметки, сделанные во время работы, и сунул в гнездо памяти для предания их огню.

Что происходило в невидимом лабиринте, к которому вели пневматические трубы, он в точности не знал, имел лишь общее представление. Когда все поправки к данному номеру газеты будут собраны и сверены, номер напечатают заново, старый экземпляр уничтожат и вместо него пошлют исправленный. В этот процесс непрерывного изменения вовлечены не только газеты, но и книги, журналы, брошюры, плакаты, листовки, фильмы, фонограммы, карикатуры, фотографии — все виды литературы и документов, которые могли бы иметь политическое или идеологическое значение. Ежедневно и чуть ли не ежеминутно прошлое подгонялось под настоящее. Поэтому документами можно было подтвердить верность любого предсказания партии; ни единого известия, ни единого мнения, противоречащего нуждам дня, не существовало в записях Историю, как старый пергамент, выскабливали начисто и писали заново — столько раз, сколько нужно. И не было никакого способа доказать потом подделку.

В самой большой секции документального отдела — она была гораздо больше той, где трудился Уинстон, — работали люди, чьей единственной задачей было выискывать и собирать все экземпляры газет, книг и других изданий, подлежащих уничтожению и замене. Номер «Таймс», который из-за политических переналадок и ошибочных пророчеств Старшего Брата перепечатывался, быть может десяток раз, все равно датирован в подшивке прежним числом, и нет в природе ни единого опровергающего экземпляра. Книги тоже переписывались снова и снова и выходили без упоминания о том, что они переиначены. Даже в заказах, получаемых Уинстоном и уничтожаемых сразу после выполнения, не было и намека на то, что требуется подделка: речь шла только об ошибках, искаженных цитатах, оговорках, опечатках, которые надо устранить в интересах точности.

А в общем, думал он, перекраивая арифметику министерства избылиа, это даже не подлог. Просто замена одного вздора другим. Материал твой по большей части вообще не имеет отношения к действительному миру — даже такого, какое содержит в себе откровенная ложь. Статистика в первоначальном виде — такая же фантазия, как и в исправленном. Чаще всего требуется, чтобы ты высасывала ее из пальца. Например, министерство избылиа предполагало выпустить в четвертом квартале 145 миллионов пар обуви. Сообщают, что реально произведено 62 миллиона. Уинстон же, переписывая прогноз, уменьшил плановую цифру до 57 миллионов, чтобы план, как всегда, оказался перевыполненным. Во всяком случае, 62 миллиона ничуть не ближе к истине, чем 57 миллионов или 145. Весьма вероятно, что обуви вообще не произвели. Еще вероятнее, что никто не знает, сколько ее произвели, и, главное, не желает знать. Известно только одно: каждый квартал на бумаге производят астрономическое количество обуви, между тем как половина населения Океании ходит босиком. То же самое — с любым документированным фактом, крупным и мелким. Все расплывается в призрачном мире, и даже сегодняшнее число едва ли определишь.

Уинстон взглянул на стеклянную кабину по ту сторону коридора. Маленький, аккуратный, с синим подбородком человек по фамилии Тиллотсон усердно

трудился там, держа на коленях сложенную газету и прикинув к микрофону речеписа. Вид у него был такой, будто он хочет, чтобы все сказанное осталось между ними двоими — между ним и речеписом. Он поднял голову, и его очки враждебно сверкнули Уинстону.

Уинстон почти не знал Тиллотсона и не имел представления о том, чем он занимается. Сотрудники отдела документации неохотно говорили о своей работе. В длинном, без окон коридоре с двумя рядами стеклянных кабин, с нескончаемым шелестом бумаги и гудением голосов, бубнящих в речеписы, было не меньше десятка людей, которых Уинстон не знал даже по имени, хотя они круглый год мелькали перед ним на этаже и махали руками на двухминутках ненависти. Он знал, что низенькая женщина с рыжеватыми волосами, сидящая в соседней кабине, весь день занимается только тем, что выискивает в прессе и убирает фамилии распяленных, а следовательно, никогда не существовавших людей. В определенном смысле занятие как раз для нее: года два назад ее мужа тоже распялили. А за несколько кабин от Уинстона помещалось кроткое, нескладное, рассеянное создание с очень волосатыми ушами; этот человек по фамилии Амплфорт, удивлявший всех своей сноровкой по части рифм и размеров, изготовлял препарированные варианты — канонические тексты, как их называли, — стихотворений, которые стали идеологически невыдержанными, но по той или иной причине не могли быть исключены из антологий. И весь этот коридор с полусотней сотрудников был лишь подсекцией — так сказать, клеткой — в сложном организме отдела документации. Дальше, выше, ниже сонмы служащих трудились над невообразимым множеством задач. Тут были огромные типографии со своими редакторами, полиграфистами и отлично оборудованными студиями для фальсификации фотоснимков. Была секция телепрограмм со своими инженерами, режиссерами и целыми труппами артистов, искусно подражающих чужим голосам. Были полки референтов, чья работа сводилась исключительно к тому, чтобы составлять списки книг и периодических изданий, нуждающихся в ревизии. Были необъятные хранилища для подправленных документов и скрытые топки для уничтожения исходных. И где-то, непонятно где, анонимно, существовал руководящий мозг, чертивший политическую линию, в соответствии с которой одну часть прошлого надо было сохранить, другую фальсифицировать, а третью уничтожить без остатка.

Весь отдел документации был лишь ячейкой министерства правды, главной задачей которого была не переделка прошлого, а снабжение жителей Океании газетами, фильмами, учебниками, телепередачами, пьесами, романами — всеми мыслимыми разновидностями информации, развлечений и наставлений, от памятника до лозунга, от лирического стихотворения до биологического трактата, от школьных прописей до словаря новояза. Министерство обеспечивало не только разнообразные нужды партии, но и производило аналогичную продукцию — сортом ниже — на потребу пролетариям. Существовала целая система отделов, занимавшихся пролетарской литературой, музыкой, драматургией и развлечениями вообще. Здесь делались низкопробные газеты, не содержавшие ничего, кроме спорта, уголовной хроники и астрологии, забористые пятицентовые повестушки, скабрзные фильмы, чувствительные песенки, сочиняемые чисто механическим способом — на особого рода калейдоскопе, так называемом версификаторе. Был даже особый подотдел — на новоязе именуемый порносеком, — выпускавший порнографию самого последнего разбора — ее рассылали в запечатанных пакетах, и членам партии, за исключением непосредственных изготовителей, смотреть ее запрещалось.

Пока Уинстон работал, пневматическая труба вытолкнула еще три заказа, но они оказались простыми, и он разделался с ними до того, как пришлось уйти на двухминутку ненависти. После ненависти он вернулся к себе в кабину, снял с полки словарь новояза, отодвинул речепис, протер очки и взялся за главное задание дня.

Самым большим удовольствием в жизни Уинстона была работа. В основном она состояла из скучных и рутинных дел, но иногда попадались такие, что в них можно было уйти с головой, как в математическую задачу, — такие фальсификации, где руководствоваться ты мог только своим знанием принципов ангоца и своим представлением о том, что желает услышать от тебя партия. С такими

задачами Уинстон справлялся хорошо. Ему даже доверяли уточнять передовицы «Таймс», писавшиеся исключительно на новоязе. Он взял отложенный утром четвертый листок:

таймс 3.12.83 минусминус изложен наказ с. б. упомянуты неллица переписать сквозь наверх до подшивки.

На староязе (обычном английском) это означало примерно следующее: в номере «Таймс» от 3 декабря 1983 года крайне неудовлетворительно изложен приказ Старшего Брата по стране; упомянуты несуществующие лица. Перепишите полностью и представьте ваш вариант руководству до того, как отправить в архив

Уинстон прочел ошибочную статью. Насколько он мог судить, большая часть приказа по стране посвящена была похвалам ПКПП — организации, которая снабжала сигаретами и другими предметами потребления матросов на плавающих крепостях. Особо выделен был некий товарищ Уидерс, крупный деятель внутренней партии, — его наградили орденом «За выдающиеся заслуги» второй степени.

Тремя месяцами позже ПКПП внезапно была распущена без объявления причин. Судя по всему, Уидерс и его сотрудники теперь не в чести, хотя ни в газетах, ни по телекрану сообщений об этом не было. Тоже ничего удивительного: судить и даже публично разоблачать политически провинившегося не принято. Большие чистки, захватывавшие тысячи людей, с открытыми процессами предателей и мыслепреступников, которые жалко каялись в своих преступлениях, а затем подвергались казни, были особыми спектаклями и происходили раз в несколько лет, не чаще. А обычно люди, вызвавшие неудовольствие партии, просто исчезали, и о них больше никто не слышал. И бесполезно было гадать, что с ними стало. Возможно, что некоторые даже оставались в живых. Так в разное время исчезли человек тридцать знакомых Уинстона, не говоря о его родителях.

Уинстон легонько поглаживал себя по носу скрепкой. В кабине напротив товарищ Тиллотсон по-прежнему таинственно бормотал, прильнув к микрофону. Он поднял голову, опять враждебно сверкнули очки. Не той же ли задачей занят Тиллотсон? — подумал Уинстон. Очень может быть. Такую тонкую работу ни за что не доверили бы одному исполнителю; с другой стороны, поручить ее комиссии значит открыто признать, что происходит фальсификация. Возможно, не меньше десятка работников трудились сейчас над собственными версиями того, что сказал на самом деле Старший Брат. Потом какой-то начальственный ум во внутренней партии выберет одну версию, отредактирует ее, приведет в действие сложный механизм перекрестных ссылок, после чего избранная ложь будет сдана на постоянное хранение и сделается правдой.

Уинстон не знал, за что попал в немилость Уидерс. Может быть, за разложение или за плохую работу. Может быть, Старший Брат решил избавиться от подчиненного, который стал слишком популярен. Может быть, Уидерс или кто-нибудь из его окружения заподозрен в уклоне. А может быть — и вероятнее всего, — случилось это просто потому, что чистки и распыления были необходимой частью государственной механики. Единственный определенный намек содержался в словах «упомянуты неллица» — это означало, что Уидерса уже нет в живых. Даже арест человека не всегда означал смерть. Иногда его выпускали, и до казни он год или два гулял на свободе. А случалось и так, что человек, которого давно считали мертвым, появлялся, словно призрак, на открытом процессе и давал показания против сотен людей, прежде чем исчезнуть — на этот раз окончательно. Но Уидерс уже был н е л и ц о м. Он не существовал; он никогда не существовал. Уинстон решил, что просто изменить направление речи Старшего Брата мало. Пусть он скажет о чем-то, совершенно не связанном с первоначальной темой.

Уинстон мог превратить речь в типовое разоблачение предателей и мыслепреступников — но это слишком прозрачно, а если изобрести победу на фронте или триумфальное перевыполнение трехлетнего плана, то чересчур усложнится документация. Чистая фантазия — вот что подойдет лучше всего. И вдруг в голове у него возник — можно сказать, готовеньким — образ товарища Огиливи, не давно павшего в бою смертью храбрых. Бывали случаи, когда Старший Брат посвящал «наказ» памяти какого-нибудь скромного рядового партийца, чью жизнь и смерть он приводил как пример для подражания. Сегодня он посвятит

речь памяти товарища Огилви. Правда, такого товарища на свете не было, но несколько печатных строк и одна-две поддельные фотографии вызовут его к жизни.

Уинстон на минуту задумался, потом подтянул к себе речепис и начал диктовать в привычном стиле Старшего Брата: стиль этот, военный и одновременно педантический, благодаря постоянному приему — задавать вопросы и тут же на них отвечать («Какие уроки мы извлекаем отсюда, товарищи? Уроки — а они являются также основополагающими принципами англоца — состоят в том...» — и т. д. и т. п.) — легко поддавался имитации.

В трехлетнем возрасте товарищ Огилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, автомата и вертолета. Шести лет — в виде особого исключения — был принят в разведчики; в девять стал командиром отряда. Одиннадцати лет от роду, услышав дядин разговор, уловил в нем преступные идеи и сообщил на дядю в полицию мыслей. В семнадцать стал районным руководителем Молодежного антиполового союза. В девятнадцать изобрел гранату, которая была принята на вооружение министерством мира и на первом испытании уничтожила взрывом тридцать одного евразийского военнопленного. Двадцатитрехлетним погиб на войне. Летя над Индийским океаном с важными донесениями, был атакован вражескими истребителями, привязал к телу пулемет как грузило, выпрыгнул из вертолета и вместе с донесениями и прочим ушел на дно; такой кончине, сказал Старший Брат, можно только завидовать. Старший Брат подчеркнул, что вся жизнь товарища Огилви была отмечена чистотой и целеустремленностью. Товарищ Огилви не пил и не курил, не знал иных развлечений, кроме ежедневной часовой тренировки в гимнастическом зале; считая, что женитьба и семейные заботы несовместимы с круглосуточным служением долгу, он дал обет безбрачия. Он не знал иной темы для разговора, кроме принципов англоца, иной цели в жизни, кроме разгрома евразийских полчищ и выявления шпионов, вредителей, мыслепреступников и прочих изменников.

Уинстон подумал, не наградить ли товарища Огилви орденом «За выдающиеся заслуги»; решил все-таки не награждать — это потребовало бы лишних перекрестных ссылок

Он еще раз взглянул на соперника напротив. Непонятно почему он догадался, что Тиллотсон занят той же работой. Чью версию примут, узнать было невозможно, но он ощутил твердую уверенность, что версия будет его. Товарищ Огилви, которого и в помине не было час назад, обрел реальность. Уинстону показалось занятным, что создавать можно мертвых, но не живых. Товарищ Огилви никогда не существовал в настоящем, а теперь существует в прошлом — и, едва сотрутся следы подделки, будет существовать так же доподлинно и непровержимо, как Карл Великий и Юлий Цезарь.

V

В столовой с низким потолком, глубоко под землей, очередь за обедом продвигалась толчками. В зале было полно народу и стоял оглушительный шум. От жаркого за прилавком валил пар с кислым металлическим запахом, но и он не мог заглушить вездесущий душок джина «Победа». В конце зала располагался маленький бар, попросту дыра в стене, где продавали джин по десять центов за шкалик.

— Вот кого я искал, — раздался голос за спиной Уинстона.

Он обернулся. Это был его приятель Сайм из исследовательского отдела. «Приятель», пожалуй, не совсем то слово. Приятелей теперь не было, были товарищи; но общество одних товарищей приятнее, чем общество других. Сайм был филолог, специалист по новоязу. Он состоял в громадном научном коллективе, трудившемся над одиннадцатым изданием словаря новояза. Маленький мельче Уинстона, с темными волосами и большими выпуклыми глазами, скорбными и насмешливыми одновременно, которые будто ощупывали лицо собеседника.

— Хотел спросить, нет ли у вас лезвий, — сказал он.

— Ни одного, — с виноватой поспешностью ответил Уинстон. — По всему городу искал. Нигде нет.

Все спрашивали бритвенные лезвия. На самом-то деле у него еще были в запасе две штуки. Лезвий не стало несколько месяцев назад. В партийных магазинах вечно исчезал то один обиходный товар, то другой. То пуговицы сгинули, то штопка, то шнурки; а теперь вот — лезвия. Достать их можно было тайком — и то если повезет — на «свободном» рынке.

— Сам полтора месяца одним бреюсь. — солгал он.

Очередь продвинулась вперед. Остановившись, он снова обернулся к Сайму. Оба взяли по салыному металлическому подносу из стопки.

— Ходили вчера смотреть, как вешают пленных? — спросил Сайм.

— Работал, — безразлично ответил Уинстон. — В кино, наверно, увижу.

— Весьма неравноценная замена, — сказал Сайм.

Его насмешливый взгляд рыскал по лицу Уинстона. «Знаем вас, — говорил этот взгляд. — Насквозь тебя вижу, отлично знаю, почему не пошел смотреть на казнь пленных».

Интеллектуал Сайм был остервенело правоверен. С неприятным сладострастием он говорил об атаках вертолетов на вражеские деревни, о процессах и признаниях мыслепреступников, о казнях в подвалах министерства любви. В разговорах приходилось отвлекать его от этих тем и наводить — когда удавалось — на проблемы новояза, о которых он рассуждал интересно и со знанием дела. Уинстон чуть отвернул лицо от испытующего взгляда больших черных глаз.

— Красивая получилась казнь, — мечтательно промолвил Сайм. — Когда им связывают ноги, по-моему, это только портит картину. Люблю, когда они брыкаются. Но лучше всего конец, когда вываливается синий язык... я бы сказал, ярко-синий. Эта деталь мне особенно мила.

— След'щий! — крикнула прола в белом фартуке, с половником в руке.

Уинстон и Сайм сунули свои подносы. Обоим выкинули стандартный обед: жестяную миску с розовато-серым жарким, кусок хлеба, кубик сыра, кружку черного кофе «Победа» и одну таблетку сахара.

— Есть столик, вон под тем телекраном, — сказал Сайм. — По дороге возьмем джину.

Джин им дали в фаянсовых кружках без ручек. Они пробрались через людный зал и разгрузили подносы на столик с металлической крышкой; на углу кто-то разлил соус: грязная жижа напоминала рвоту. Уинстон взял свой джин, секунду помешкал, собираясь с духом, и залпом выпил маслянистую жидкость. Потом сморгнул слезы — и вдруг почувствовал, что голоден. Он стал заглатывать жаркое полными ложками; в похлебке попадались розовые рыхлые кубики — возможно, мясной продукт. Оба молчали, пока не опорожнили миски. За столиком сзади и слева от Уинстона кто-то без умолку тараторил — резкая торопливая речь, похожая на утиное кряканье, пробивалась сквозь общий гомон.

— Как подвигается словарь? — Из-за шума Уинстон тоже повысил голос.

— Медленно, — ответил Сайм. — Сижу над прилагательными. Очарование

Заговорив о новоязе, Сайм сразу взбодрился. Отодвинул миску, хрупкой рукой взял хлеб, в другую — кубик сыра и, чтобы не кричать, подался к Уинстону.

— Одиннадцатое издание — окончательное издание. Мы придаем языку завершенный вид — в этом виде он сохранится, когда ни на чем другом не будут говорить. Когда мы закончим, людям вроде вас придется изучать его сызнова. Вы, вероятно, полагаете, что главная наша работа — придумывать новые слова. Ничуть не бывало. Мы уничтожаем слова — десятками, сотнями ежедневно. Если удобно, оставляем от языка скелет. В две тысячи пятидесятом году ни одно слово, включенное в одиннадцатое издание, не будет устаревшим.

Он жадно откусил хлеб, прожевал и с педантским жаром продолжал речь. Его худое темное лицо оживилось, насмешка в глазах исчезла, и они стали чуть ли не мечтательными.

— Это прекрасно — уничтожать слова. Главный мусор скопился, конечно в глаголах и прилагательных, но и среди существительных — сотни и сотни лишних. Не только синонимов; есть ведь и антонимы. Ну скажите, для чего нужно слово, которое есть полная противоположность другому? Слово само содержит свою противоположность. Возьмем, например, «голод». Если есть слово «голод», зачем вам «сытость»? «Неголод» ничем не хуже, даже лучше, потому что

оно — прямая противоположность, а «сытость» — нет. Или оттенки и степени прилагательных. «Хороший» — для кого хороший? А «плюсовой» исключает субъективность. Опять же, если вам нужно что-то сильнее «плюсового», какой смысл иметь целый набор расплывчатых бесполезных слов: «великолепный», «отличный» и так далее? «Плюс плюсовой» охватывает те же значения, а если нужно еще сильнее — «плюсплюс плюсовой». Конечно, мы и сейчас уже пользуемся этими формами, но в окончательном варианте новояза других просто не останется. В итоге все понятия плохого и хорошего будут описываться только шестью словами, а по сути, двумя. Вы чувствуете, какая стройность, Уинстон? Идея, разумеется, принадлежит Старшему Брату, — спохватившись, добавил он.

При имени Старшего Брата лицо Уинстона вяло изобразило пыл. Сайму его энтузиазм показался неубедительным.

— Вы не цените новояз по достоинству, — заметил он как бы с печалью. — Пишете на нем, а думаете все равно на староязе. Мне попались ваши материалы в «Таймс». В душе вы верны староязу со всей его расплывчатостью и ненужными оттенками значений. Вам не открылась красота уничтожения слов. Знаете ли вы, что новояз — единственный на свете язык, чей словарь с каждым годом сокращается?

Этого Уинстон, конечно, не знал. Он улынулся насколько мог сочувственно, не решаясь раскрыть рот. Сайм откусил еще от черного ломтя, наскоро прожевал и заговорил снова.

— Неужели вам непонятно, что задача новояза — сузить горизонты мысли? В конце концов мы сделаем мыслепреступление попросту невозможным — для него не останется слов. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним-единственным словом, значение слова будет строго определено, а побочные значения упразднены и забыты. В одиннадцатом издании мы уже на подходе к этой цели. Но процесс будет продолжаться и тогда, когда нас с вами не будет на свете. С каждым годом все меньше и меньше слов, все уже и уже границы мысли. Разумеется, и теперь для мыслепреступления нет ни оправданий, ни причин. Это только вопрос самодисциплины, управления реальностью. Но в конце концов и в них нужда отпадет. Революция завершится тогда, когда язык станет совершенным. Новояз — это ангсоц. ангсоц — это новояз, — проговорил он с какой-то религиозной умиротворенностью. — Приходило ли вам в голову, Уинстон, что к две тысячи пятидесятому году, а то и раньше, на земле не останется человека, который смог бы понять наш с вами разговор?

— Кроме... — с сомнением начал Уинстон и осекся.

У него чуть не сорвалось с языка «кроме пролов», но он сдержался, не будучи уверен в дозволительности этого замечания. Сайм, однако, угадал его мысль.

— Пролы не люди, — небрежно парировал он. — К две тысячи пятидесятому году, если не раньше, по-настоящему владеть староязом не будет никто. Вся литература прошлого будет уничтожена. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон останутся только в новоязовском варианте, превращенные не просто в нечто иное, а в собственную противоположность. Даже партийная литература станет иной. Даже лозунги изменятся. Откуда взяться лозунгу «Свобода это рабство», если упразднено само понятие свободы? А т м о с ф е р а мышления станет иной. Мышления в нашем современном значении вообще не будет. Правоверный не мыслит — не нуждается в мышлении. Правоверность — состояние бессознательное.

В один прекрасный день, внезапно решил Уинстон, Сайма распылят. Слишком умен. Слишком глубоко смотрит и слишком ясно выражается. Партия таких не любит. Однажды он исчезнет. У него это на лице написано.

Уинстон доел свой хлеб и сыр. Чуть повернулся на стуле, чтобы взять кружку с кофе. За столиком слева немилосердно продолжал свои разглагольствования мужчина со скрипучим голосом. Молодая женщина — возможно, секретарша — внимала ему и радостно соглашалась с каждым словом. Время от времени до Уинстона долетал ее молодой и довольно глупый голос, фразы вроде «Как это верно!» Мужчина не умолкал ни на мгновение — даже когда говорила она. Уинстон встречал его в министерстве и знал, что он занимает какую-то важную должность в отделе литературы. Это был человек лет тридцати, с мускулистой

шеей и большим подвижным ртом. Он слегка откинул голову, и в таком ракурсе Уинстон видел вместо его глаз пустые блики света, отраженного очками. Жутковато делалось оттого, что в хлеставшем изо рта потоке звуков невозможно было поймать ни одного слова. Только раз Уинстон расслышал обрывок фразы «...полная и окончательная ликвидация голдстейновщины», — обрывок выскочил целиком, как отлитая строка в линолите. В остальном это был сплошной шум — кря-кря-кря. Речь нельзя было разобрать, но общий характер ее не вызывал ни каких сомнений. Метал ли он громы против Голдстейна и требовал более суровых мер против мыслепреступников и вредителей, возмущался ли зверствами евразийской военщины, восхвалял ли Старшего Брата и героев Малабарского фронта — значения не имело. В любом случае каждое его слово было — чистая правота, чистый ангсоц. Глядя на хлопавшее ртом безглазое лицо, Уинстон испытывал странное чувство, что перед ним не живой человек, а манекен. Не в человеческом мозгу рождалась эта речь — в гортани. Извержение состояло из слов, но не было речью в подлинном смысле, это был шум, производимый в бессознательном состоянии, утиное кряканье.

Сайм умолк и черенком ложки рисовал в лужице соуса. Кряканье за соседним столом продолжалось с прежней быстротой, легко различимое в общем гуле

— В новоязе есть слово, — сказал Сайм. — Не знаю, известно ли оно вам «речекряк» — крякающий по-утиному. Одно из тех интересных слов, у которых два противоположных значения. В применении к противнику это ругательство; в применении к тому, с кем вы согласны, — похвала.

Сайма несомненно распылят, снова подумал Уинстон. Подумал с грустью, хотя отлично знал, что Сайм презирает его и не слишком любит и вполне может объявить его мыслепреступником, если найдет для этого основания. Чуть-чуть что-то не так с Саймом. Чего-то ему не хватает: осмотрительности, отстраненности, некоей спасительной глупости. Нельзя сказать, что неправововерен. Он верит в принципы ангсоца, чтит Старшего Брата, он радуется победам, ненавидит мыслепреступников не только искренне, но рьяно и неутомимо, причем располагая самыми последними сведениями, но нужными рядовому партийцу. Но всегда от него шел какой-то малопочтенный душок. Он говорил то, о чем говорить не стоило, он прочел слишком много книжек, он наведывался в кафе «Под каштаном», которое облюбовали художники и музыканты. Запрета, даже неписаного запрета, на посещение этого кафе не было, но над ним тяготело что-то злое. Когда-то там собирались отставные, потерявшие доверие партийные вожди (потом их убрали окончательно). По слухам, бывал там сколько-то лет или десятилетий назад сам Голдстейн. Судьбу Сайма негрудно было угадать. Но несомненно было и то, что если бы Сайму открылось, хоть на три секунды, каких взглядов держится Уинстон, Сайм немедленно донес бы на Уинстона в полицию мыслей. Впрочем, как и любой на его месте, но все же Сайм скорее. Правота — состояние бессознательное.

Сайм поднял голову.

— Вон идет Парсонс, — сказал он.

В голосе его прозвучало: несносный дурак. И в самом деле между столиками пробирался сосед Уинстона по дому «Победа» — невысокий, бочкообразных очертаний человек с русыми волосами и лягушачьим лицом. В тридцать пять лет он уже отрастил брюшко и складки жира на загривке, но двигался по-мальчишески легко. Да и выглядел он мальчиком, только большим: хотя он был одет в форменный комбинезон, все время хотелось представить его себе в синих шортах, серой рубашке и красном галстуке разведчика. Воображению рисовались ямки на коленях и закатанные рукава на пухлых руках. В шорты Парсонс действительно облачался при всяком удобном случае — и в туристских вылазках и на других мероприятиях, требовавших физической активности. Он приветствовал обоих веселым «здрасьте, здрастьте!» и сел за стол, обдав их крепким запахом нота. Все лицо его было покрыто росой. Потоотделительные способности у Парсонса были выдающиеся. В клубе всегда можно было угадать, что он поиграл в настольный теннис, по мокрой ручке ракетки. Сайм вытащил полоску бумаги с длинным столбиком слов и принялся читать, держа наготове чернильный карандаш.

— Смотри, даже в обед работает, — сказал Парсонс, толкнув Уинстона в

бок. — Увлекается, а? Что у вас там? Не по моим, наверно, мозгам. Смит, знаете, почему я за вами гоняюсь? Вы у меня подписаться забыли.

— На что подписка? — спросил Уинстон, машинально потянувшись к карману. Примерно четверть зарплаты уходила на добровольные подписки, настолько многочисленные, что их и упомянуть было трудно.

— На Неделю ненависти — подписка по месту жительства. Я домовый казначей. Не шадим усилий — в грязь лицом не ударим. Скажу прямо: если наш дом «Победа» не выставит больше всех флагов на улице, так не по моей вине. Вы два доллара обещали.

Уинстон нашел и отдал две мятых, замусоленных бумажки, и Парсонс аккуратным почерком малограмотного записал его в блокнотик.

— Между прочим, — сказал он, — я слышал, мой паршивец задушил в вас вчера из рогатки. Я ему задал по первое число. Даже пригрозил: еще раз повторится — отберу рогатку.

— Наверное, расстроился, что его не пустили на казнь, — сказал Уинстон.

— Да, знаете... я что хочу сказать: сразу видно, что воспитан в правильном духе. Озорные паршивцы, что один, что другая, но увлеченные! Одно на уме — разведчики, ну и война, конечно. Знаете, что дочурка выкинула в прошлое воскресенье? У них поход был в Беркампстед — так она сманила еще двух девочек, откололись от отряда и до вечера следили за одним человеком. Два часа шли за ним, и все лесом, а в Амершеме сдали его патрулю.

— Зачем это? — слегка опешив, спросил Уинстон.

Парсонс победоносно продолжал:

— Дочурка догадалась, что он вражеский агент, на парашюте сброшенный или еще как. Но вот в чем самая штука-то. С чего, вы думаете, она его заподозрила? Туфли на нем чудные — никогда, говорит, не видала на человеке таких туфель. Что, если иностранец? Семь лет пигалице, а смышленная какая, а?

— И что с ним сделали? — спросил Уинстон.

— Ну уж этого я не знаю. Но не особенно удивлюсь, если... — Парсонс изобразил, будто целится из ружья, и щелкнул язычком.

— Отлично, — в рассеянности произнес Сайм, не отрываясь от своего листка.

— Конечно, нам без бдительности нельзя, — поддакнул Уинстон.

— Война, сами понимаете. — сказал Парсонс.

Как будто в подтверждение его слов телекран у них над головами сыграл фанфару. Но на этот раз была не победа на фронте, а сообщение министерства изобилия.

— Товарищи! — крикнул энергичный молодой голос. — Внимание, товарищи! Замечательные известия! Победа на производственном фронте. Итоговые сводки о производстве всех видов потребительских товаров показывают, что по сравнению с прошлым годом уровень жизни поднялся не менее чем на двадцать процентов. Сегодня утром по всей Океании прокатилась неудержимая волна стихийных демонстраций. Трудящиеся покинули заводы и учреждения и со знаменами прошли по улицам, выражая благодарность Старшему Брату за новую счастливую жизнь под его мудрым руководством. Вот некоторые итоговые показатели. Продовольственные товары...

Слова «наша новая счастливая жизнь» повторились несколько раз. В последнее время их полюбило министерство изобилия. Парсонс, восторженно от фанфары, слушал, приоткрыв рот, торжественно, с выражением впитывающей скуки. За цифрами он уследить не мог, но понимал, что они должны радовать. Он выпростал из кармана громадную вонючую трубку, до половины набитую обуглившимся табаком. При норме табака сто граммов в неделю человек редко позволял себе набить трубку доверху. Уинстон курил сигарету «Победа», стараясь держать ее горизонтально. Новый талон действовал только с завтрашнего дня, а у него осталось всего четыре сигареты. Сейчас он пробовал отключиться от постороннего шума и расслышать то, что изливалось из телекрана. Кажется, были даже демонстрации благодарности Старшему Брату за то, что он увеличил норму шоколада до двадцати граммов в неделю. А ведь только вчера объявили, что норма уменьшена до двадцати граммов, подумал Уинстон. Неужели в это поверят — через какие-нибудь сутки? Верят. Парсонс поверил легко, глупое жи-

вотное. Безглазый за соседним столом — фанатично, со страстью, с иступленным желанием выявить, разоблачить, распылить всякого, кто скажет, что на прошлой неделе норма была тридцать граммов. Сайм тоже поверил, только затайливее, при помощи двоемыслия. Так что же, у него одного не отшибло память?

Телекран все извергал сказочную статистику. По сравнению с прошлым годом стало больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг, больше новорожденных — всего больше, кроме болезней, преступлений и сумасшествия. С каждым годом, с каждой минутой все и вся стремительно поднималось к новым и новым высотам. Так же, как Сайм перед этим, Уинстон взял ложку и стал возить ею в пролитом соусе, придавая длинной лужице правильные очертания. Он с возмущением думал о своем быте, об условиях жизни. Всегда ли она была такой? Всегда ли был такой вкус у еды? Он окинул взглядом столовую. Низкий потолок, набитый зал, грязные от трения бесчисленных тел стены; обшарпанные металлические столы и стулья, стоящие так тесно, что сталкиваешься локтями с соседом; гнутые ложки, шерватые подносы, грубые белые кружки; все поверхности салыные, в каждой трещине грязь; и кислотоватый смешанный запах скверного джина, скверного кофе, подливки с медью и заношенной одежды. Всегда ли так неприятно было твоему желудку и коже, всегда ли было это ощущение, что ты обкраден, обделен? Правда, за всю свою жизнь он не мог припомнить ничего существенно иного. Сколько он себя помнил, еды никогда не было вдоволь, никогда не было целых носков и белья, мебель всегда была обшарпанной и шаткой, комнаты — нетопленными, поезда в метро — переполненными, дома — обветшалыми, хлеб — темным, кофе — гнусным, чай — редкостью, сигареты — считанными: ничего дешевого и в достатке, кроме синтетического джина. Конечно, тело старится, и все для него становится не так, но если тошно тебе от неудобного, грязного, скудного житья, от нескончаемых зим, заскорузлых носков, вечно неисправных лифтов, от ледяной воды, шершавого мыла, от сигареты, распадающейся в пальцах, от странного и мерзкого вкуса пищи — не означает ли это, что такой уклад жизни не н о р м а л е н? Если он кажется непереносимым — неужели это родовая память нашептывает тебе, что когда-то жили иначе?

Он снова окинул взглядом зал. Почти все люди были уродливыми — и будут уродливыми, даже если переоденутся из форменных синих комбинезонов во что-нибудь другое. Вдалеке пил кофе коротенький человек, удивительно похожий на жука, и стрелял по сторонам подозрительными глазками. Если не оглядываешься вокруг, подумал Уинстон, до чего же легко поверить, будто существует и даже преобладает предписанный партией идеальный тип: высокие мускулистые юноши и пышногрудые девы, светловолосые, беззаботные, загорелые, жизнерадостные. На самом же деле, сколько он мог судить, жители Взлетной полосы 1 в большинстве были мелкие, темные и некрасивые. Любопытно, как размножился в министерствах жукоподобный тип: приземистые, коротконогие, очень рано полнеющие мужчины с суетливыми движениями, толстыми непроницаемыми лицами и маленькими глазами. Этот тип как-то особенно процветал под партийной властью.

Завершив фанфарой сводку из министерства изобилия, телекран заиграл браваурную музыку. Парсонс от бомбардировки цифрами исполнился рассеянного энтузиазма и вынул изо рта трубку.

— Да, хорошо потрудились в нынешнем году министерство изобилия, — промолвил он и с видом знатока кивнул. — Кстати, Смит, у вас, случайно, не найдется свободного лезвия?

— Ни одного, — ответил Уинстон. — Полтора месяца последним бреюсь.

— Ну да... просто решил спросить на всякий случай.

— Не взъщичте, — сказал Уинстон.

Кряканье за соседним столом, смолкшее было во время министерского отчета, возобновилось с прежней силой. Уинстон почему-то вспомнил миссис Парсонс, ее жидкие растрепанные волосы, пыль в морщинах. Года через два, если не раньше, детки донесут на нее в полицию мысли. Ее распылят. Сайма распылят. Его, Уинстона, распылят. О'Брайена распылят. Парсонса же, напротив,

никогда не распылят. Безглазого кричающего никогда не распылят. Мелких жукоподобных, шустро спящих по лабиринтам министерств. — их тоже никогда не распылят. И ту девицу из отдела литературы не распылят. Ему казалось, что он инстинктивно чувствует, кто погибнет, а кто сохранится, хотя чем именно обеспечивается сохранность, даже не объяснишь

Тут его вывело из задумчивости грубое вторжение. Женщина за соседним столиком, слегка поворотившись, смотрела на него. Та самая, с темными волосами. Она смотрела на него искоса, с непонятной пристальностью. И как только они встретились глазами, отвернулась.

Уинстон почувствовал, что по хребту потек пот. Его охватил отвратительный ужас. Ужас почти сразу прошел, но назойливое ощущение неуютности осталось. Почему она за ним наблюдает? Он, к сожалению, не мог вспомнить, сидела она за столом, когда он пришел, или появилась после. Но вчера на двухминутке ненависти она села прямо за ним, хотя никакой надобности в этом не было. Очень вероятно, что она хотела послушать его — проверить, достаточно ли громко он кричит.

Как и в прошлый раз, он подумал: вряд ли она штатный сотрудник полиции мыслей, но ведь добровольный-то шпион и есть самый опасный. Он не знал, давно ли она на него смотрит — может быть, уже пять минут, а следил ли он сам за своим лицом все это время — неизвестно. Если ты в общественном месте или в поле зрения телекрана и позволил себе задуматься — это опасно, это страшно. Тебя может выдать ничтожная мелочь. Нервный тик, тревога на лице, привычка бормотать себе под нос — все, в чем можно усмотреть признак аномалии, попытку что-то скрыть. В любом случае неподобающее выражение лица (например, недобрыешное, когда объявляют о победе) — уже наказуемое преступление. На новоязе даже есть слово для него: *л и ц е п р е с т у п л е н и е*.

Девица опять сидела к Уинстону спиной. В конце концов, может, она и не следит за ним; может, это просто совпадение, что она два дня подряд оказывается с ним рядом. Сигарета у него потухла, и он осторожно положил ее на край стола. Докурит после работы, если удастся не просыпать табак. Вполне возможно, что женщина за соседним столом — осведомительница, вполне возможно, что в ближайшие три дня он очутится в подвалах министерства любви, но окуроч пропасть не должен. Сайм сложил свою бумажку и спрятал в карман. Парсонс опять заговорил.

— Я вам не рассказывал, как мои сорванцы юбку подожгли на базарной торговке? — начал он, похохатывая и не выпуская изо рта чубук. — За то, что заворачивала колбасу в плакат со Старшим Братом. Подкрались сзади и целым коробком спичек подожгли. Думаю, сильно обгорела. Вот паршивцы, а? Но увлеченные, но с огоньком! Это их в разведчиках так натаскивают — первоклассно, тучше даже, чем в мое время. Как думаете, чем их вооружили в последний раз? Слуховыми трубками, чтобы подслушивать через замочную скважину! Дочка принесла вчера домой и проверила на двери в общую комнату — говорит, слышно в два раза лучше, чем просто ухом! Конечно, я вам скажу, это только игрушка. Но мыслям дает правильное направление, а?

Тут телекран издал пронзительный свист. Это был сигнал приступить к работе. Все трое вскочили, чтобы принять участие в давке перед лифтами, и остатки табака высыпались из сигареты Уинстона.

VI

Уинстон писал в дневнике:

Это было три года назад. Темным вечером, в переулке около большого вокзала. Она стояла у подъезда под уличным фонарем, почти не дававшим света. Молодое лицо было сильно накрашено. Это и привлекло меня — белизна лица, похужего на маску, ярко-красные губы. Партийные женщины никогда не красятся. На улице не было больше никого, не было телекранов. Она сказала два доллара. Я...

Ему стало трудно продолжать. Он закрыл глаза и нажал на веки пальцами, чтобы прогнать неотвязное видение. Ему нестерпимо хотелось выругаться —

длинно и во весь голос. Или удариться головой о стену, пинком опрокинуть стол, запустить в окно чернильницей — буйством, шумом, болью, чем угодно, заглушить рвущее душу воспоминание.

Твой злейший враг, подумал он, это твоя нервная система. В любую минуту внутреннее напряжение может отразиться на твоей наружности. Он вспомнил прохожего, которого встретил на улице несколько недель назад: ничем не примечательный человек, член партии, лет тридцати пяти или сорока, худой и довольно высокий, с портфелем. Они были в нескольких шагах друг от друга, и вдруг левая сторона лица у прохожего дернулась. Когда они поравнялись, это повторилось еще раз: мимолетная судорога, гик, краткий, как щелчок фотографического затвора, но, видимо, привычный. Уинстон тогда подумал: бедняге крышка. Страшно, что человек этого скорее всего не замечал. Но самая ужасная опасность из всех — разговаривать во сне. От этого, казалось Уинстону, ты вообще не можешь предохраниться.

Он перевел дух и стал писать дальше.

Я вошел за ней в подъезд, а оттуда через двор в полуподвальную кухню. У стены стояла кровать, на столе лампа с привернутым фитилем. Женщина...

Раздражение не проходило. Ему хотелось плюнуть. Вспомнив женщину в полуподвальной кухне, он вспомнил Кэтрин, жену. Уинстон был женат — когда-то был, а может, и до сих пор; насколько он знал, жена не умерла. Он будто снова вдохнул тяжелый, спертый воздух кухни, смешанный запах грязного белья, клопов и дешевых духов — гнусных и вместе с тем соблазнительных, потому что пахло не партийной женщиной, партийная не могла надуться. Душились только пролы. Для Уинстона запах духов был неразрывно связан с блудом.

Это было его первое прегрешение за два года. Иметь дело с проститутками конечно, запрещалось, но запрет был из тех, которые ты время от времени осмеливаешься нарушить. Опасно, но не смертельно. Попался с проституткой — пять лет лагеря, не больше, если нет отягчающих обстоятельств. И дело не такое уж сложное; лишь бы не застигли за преступным актом. Бедные кварталы кишели женщинами, готовыми продать себя. А купить иную можно было за бутылку джина: пролам джин не полагался. Негласно партия даже поощряла проститутку — как выпускной клапан для инстинктов, которые все равно нельзя подавить. Сам по себе разврат мало значил, лишь бы был он вороватым и безрадостным, а женщина — из беднейшего и презираемого класса. Непростительное преступление — связь между членами партии. Но хотя во время больших чисток обвиняемые неизменно признавались и в этом преступлении, вообразить, что такое случается в жизни, было трудно.

Партия стремилась не просто помешать тому, чтобы между мужчинами и женщинами возникли узы, которые не всегда поддаются ее воздействию. Ее главной целью было лишить половой акт удовольствия. Главным врагом была не столько любовь, сколько эротика — и в браке и вне его. Все браки между членами партии утверждал особый комитет, и — хотя этот принцип не провозглашали открыто — если создавалось впечатление, что будущие супруги физически привлекательны друг для друга, им отказывали в разрешении. У брака признавали только одну цель: производить детей для службы государству. Половое сношение следовало рассматривать как маленькую противную процедуру, вроде клизмы. Это тоже никогда не объявляли прямо, но исподволь вколачивали в каждого партийца с детства. Существовали даже организации наподобие Молодежного антиполового союза, проповедовавшие полное целомудрие для обоих полов. Зачатие должно происходить путем искусственного осеменения («искус» на новоязе), в общественных пунктах Уинстон знал, что это требование выдвигали не совсем всерьез, но, в общем, оно вписывалось в идеологию партии. Партия стремилась убить половой инстинкт, а раз убить нельзя, то хотя бы извратить и запачкать. Зачем это надо, он не понимал; но и удивляться тут было нечему. Что касается женщин, партия в этом изрядно преуспела.

Он вновь подумал о Кэтрин Девять, десять почти одиннадцать лет как они разошлись. Но до чего редко он о ней думает. Иногда за неделю ни разу не вспомнит, что был женат. Они прожили всего пятнадцать месяцев. Развод партия запретила, но расходиться бездетным не препятствовала, наоборот.

Кэтрин была высокая, очень прямая блондинка, даже грациозная. Четное, с орлиным профилем лицо ее можно было назвать благородным — пока ты не понял, что за ним настолько ничего нет, насколько это вообще возможно. Уже в самом начале совместной жизни Уинстон решил — впрочем, только потому, быть может, что узнал ее ближе, чем других людей, — что никогда не встречал более глупого, пошлого, пустого создания. Мысли в ее голове все до единой состояли из лозунгов, и не было на свете такой ахинеи, которой бы она не склевала с руки у партии. Ходячий граммофон — прозвал он ее про себя. Но он бы выдержал совместную жизнь, если бы не одна вещь — постель.

Стоило только прикоснуться к ней, как она вздрагивала и цепенела. Обнять ее было — все равно что обнять деревянный манекен. И странно: когда она прижимала его к себе, у него было чувство, что она в то же время отталкивает его изо всех сил. Такое впечатление создавали ее окоченелые мышцы. Она лежала с закрытыми глазами, не сопротивляясь и не помогая, а подчиняясь. Сперва это приводило его в крайнее замешательство; потом ему стало жутко. Но он все равно бы вытерпел, если бы они условились больше не спать. Как ни удивительно, на это не согласилась Кэтрин. Мы должны, сказала она, если удасться, родить ребенка. Так что занятия продолжались, и вполне регулярно, раз в неделю, если к тому не было препятствий. Она даже напоминала ему по утрам, что им предстоит сегодня вечером, дабы он не забыл. Для этого у нее было два названия. Одно — «подумать о ребенке», другое — «наш партийный долг» (да, она именно так выражалась). Довольно скоро приближение назначенного дня стало вызывать у него форменный ужас. Но, к счастью, ребенка не получилось, Кэтрин решила прекратить попытки, и вскоре они разошлись.

Уинстон беззвучно вздохнул. Он снова взял ручку и написал:

Женщина бросилась на кровать и сразу, без всяких предисловий, с неопишуемой грубостью и вульгарностью задрала юбку. Я...

Он увидел себя там, при тусклом свете лампы, и снова ударил в нос запах дешевых духов с клопами, снова стеснилось сердце от возмущения и бессилия, и так же, как в ту минуту, вспомнил он белое тело Кэтрин, навеки окоченевшее под гипнозом партии. Почему всегда должно быть так? Почему у него не может быть своей женщины и удел его — грязные, торопливые случки, разделенные годами? Но нормальный роман — это что-то почти немислимое. Все партийные женщины одинаковы. Целомудрие вколочено в них так же крепко, как преданность партии. Продуманной обработкой сызмала, играми и холодными купаниями, вздором, которым их пичкали в школе, в разведчиках, в Молодежном союзе, докладами, парадами, песнями, лозунгами, военной музыкой в них убили естественное чувство. Разум говорил ему, что должны быть исключения, но сердце отказывалось верить. Они все неприступны — партия добилась своего. И еще больше, чем быть любимым, ему хотелось — пусть только раз в жизни — пробить эту стену добродетели. Удачный половой акт — уже восстание. Страсть — мыслепреступление. Растопить Кэтрин — если бы удалось — и то было бы чем-то вроде совращения, хотя она ему жена.

Но надо было дописать до конца. Он написал:

Я прибавил огня в лампе. Когда я увидел ее при свете...

После темноты чахлый огонек керосиновой лампы показался очень ярким. Только теперь он разглядел женщину как следует. Он шагнул к ней и остановился, разрываясь между похотью и ужасом. Он сознавал, чем рискует, придя сюда. Вполне возможно, что при выходе его схватит патруль; может быть, уже сейчас его ждут за дверью. Даже если он уйдет, не сделав того, ради чего пришел...

Это надо было записать; надо было исповедаться. А увидел он при свете лампы — что женщина с т а р а я. Румяна лежали на лице таким толстым слоем, что, казалось, треснут сейчас, как картонная маска. В волосах седые пряди; и самая жуткая деталь: рот приоткрылся, а в нем — ничего, черный, как пещера. Ни одного зуба.

Торопливо, валкими буквами он написал:

Когда я увидел ее при свете, она оказалась совсем старой, ей было не меньше пятидесяти. Но я не остановился и довел дело до конца.

Уинстон опять нажал пальцами на веки. Ну вот, он все записал, а ничего не изменилось. Лечение не помогло. Выругаться во весь голос хотелось ничуть не меньше.

VII

Если есть надежда (писал Уинстон), то она в пролах.

Если есть надежда, то больше ей негде быть: только в пролах, в этой клубящейся на государственных задворках массе, которая составляет восемьдесят пять процентов населения Океании, может родиться сила, способная уничтожить партию. Партию нельзя свергнуть изнутри. Ее враги — если у нее есть враги — не могут соединиться, не могут даже узнать друг друга. Даже если существует легендарное Братство — а это не исключено, — нельзя себе представить, чтобы члены его собирались группами больше двух или трех человек. Их бунт — выражение глаз, интонация в голосе; самое большое — словечко, произнесенное шепотом. А пролам, если б только они могли осознать свою силу, заговоры ни к чему. Им достаточно встать и встряхнуться — как лошадь стряхивает мух. Стоит им захотеть — и завтра утром они разнесут партию в щепки. Рано или поздно они до этого додумаются. Но!..

Он вспомнил, как однажды шел по людной улице, и вдруг из переулка впереди вырвался оглушительный, в тысячу глоток, крик, женский крик. Мощный, грозный вопль гнева и отчаяния, густое «а-а-а-а!», гудящее, как колокол. Сердце у него застучало. Началось! — подумал он. Мятеж! Наконец-то они восстали! Он подошел ближе и увидел толпу: двести или триста женщин сгрудились перед рыночными ларьками, и лица у них были трагические, как у пассажиров на тонущем пароходе. У него на глазах объединенная отчаянием толпа будто распалась: раздробилась на островки отдельных ссор. По-видимому, один из ларьков торговал кастрюлями. Убогие, утлые жестянки — но кухонную посуду всегда было трудно достать. А сейчас товар неожиданно кончился. Счастливицы, провозжаемые толчками и тычками, протискивались прочь со своими кастрюлями, а неудачливые галдели вокруг ларька и обвиняли ларечника в том, что дает по благу, что прячет под прилавком. Раздался новый крик. Две толстухи — одна с распушенными волосами — вцепились в кастрюльку и тянули в разные стороны. Обе дернули, ручка оторвалась. Уинстон наблюдал с отвращением. Однако какая же устрашающая сила прозвучала в крике всего двухсот или трехсот голосов! Ну почему они никогда не крикнут так из-за чего-нибудь стоящего!

Он написал:

Они никогда не взбунтуются, пока не станут сознательными, а сознательными не станут, пока не взбунтуются.

Прямо как из партийного учебника фраза, подумал он. Партия, конечно, утверждала, что освободила пролов от цепей. До революции их страшно угнетали капиталисты, морили голодом и пороли, женщин заставляли работать в шахтах (между прочим, они там работают до сих пор), детей в шесть лет продавали на фабрики. Но одновременно, в соответствии с принципом двоемыслия, партия учила, что пролы по своей природе низшие существа, их, как животных, надо держать в повиновении, руководствуясь несколькими простыми правилами. В сущности, о пролах знали очень мало. Много и незачем знать. Лишь бы трудились и размножались — а там пусть делают что хотят. Предоставленные сами себе, как скот на равнинах Аргентины, они всегда возвращались к тому образу жизни, который для них естествен, — шли по стопам предков. Они рождаются, растут в грязи, в двенадцать лет начинают работать, переживают короткий период физического расцвета и сексуальности, в двадцать лет женятся, в тридцать уже немолоды, к шестидесяти обычно умирают. Тяжелый физический труд, заботы о доме и детях, мелкие свары с соседями, кино, футбол, пиво и, главное, азартные игры — вот и все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими несложно. Среди них всегда вращаются агенты полиции мыслей — выявляют и устраняют тех, кто мог бы стать опасным; но приобщить их к партийной идеологии не стремятся. Считается нежелательным, чтобы пролы испытывали большой интерес к политике.

От них требуется лишь примитивный патриотизм — чтобы взывать к нему когда идет речь об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. А если и

«Владевает ими недовольство — такое тоже бывало, — это недовольство ни к чему не ведет, ибо из-за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких конкретных неприятностей. Большие беды неизменно ускользали от их внимания. У огромного большинства пролов нет даже телекранов в квартирах. Обычная полиция занимается ими очень мало. В Лондоне существует громадная преступность, целое государство в государстве: воры, бандиты, проститутки, торговцы наркотиками, вымогатели всех мастей; но поскольку она замыкается в среде пролов, внимания на нее не обращают. Во всех моральных вопросах им позволено следовать обычаям предков. Партийное сексуальное пуританство на пролов не распространилось. За разврат их не преследуют, разводы разрешены. Собственно говоря, и религия была бы разрешена, если бы пролы проявили к ней склонность. Пролы ниже подозрений. Как гласит партийный лозунг: «Пролы и животные свободны».

Уинстон тихоноч почесал варикозную язву. Опять начался зуд. Волей-неволей всегда возвращаешься к одному вопросу: какова все-таки была жизнь до революции? Он вынул из стола школьный учебник истории, одолженный у миссис Парсонс, и стал переписывать в дневник.

В прежнее время, до славной революции, Лондон не был тем прекрасным городом, каким мы его знаем сегодня. Это был темный, грязный, мрачный город, и там почти все жили впроголодь, а сотни и тысячи бедняков ходили разутыми и не имели крышки над головой. Детям, твоим сверстникам, приходилось работать двенадцать часов в день на жестоких хозяев; если они работали медленно, их пороли кнутом, а питались они черствыми корками и водой. Но среди этой ужасной нищеты стояли большие красивые дома богатей, которым прислуживали иногда до тридцати слуг. Богачи назывались капиталистами. Это были толстые уродливые люди со злыми лицами — наподобие того, что изображен на следующей странице. Как видишь, на нем длинный черный пиджак, который назывался фраком, и странная шелковая шляпа в форме печной трубы — так называемый цилиндр. Это была форменная одежда капиталистов, и больше никто не смел ее носить. Капиталистам принадлежало все на свете, а остальные люди были их рабами. Им принадлежали вся земля, все дома, все фабрики и все деньги. Того, кто их ослушался, бросали в тюрьму или же выгоняли с работы, чтобы уморить голодом. Когда простой человек разговаривал с капиталистом, он должен был пресмыкаться, кланяться, снимать шапку и называть его «сэр». Самый главный капиталист именовался королем и...

Он знал этот список назубок. Будут епископы с батистовыми рукавами, судьи в мантиях, отороченных горностаем, позорный столб, колодки, топчак, девятихвостая плеть, банкет у лорд-мэра, обычай целовать туфлю у папы. Было еще так называемое право первой ночи, но в детском учебнике оно, наверно, не упомянуто. По этому закону капиталист имел право спать с любой работницей своей фабрики.

Как узнать, сколько тут лжи? Может быть, и вправду средний человек живет сейчас лучше, чем до революции. Единственное свидетельство против — безмолвный протест у тебя в потрохах, инстинктивное ощущение, что условия твоей жизни невыносимы, что некогда они наверное были другими. Ему пришло в голову, что самое характерное в нынешней жизни — не жестокость ее и не шаткость, а просто убожество, тусклость, апатия. Оглянешься вокруг — и не увидишь ничего похожего ни на ложь, льющуюся из телекранов, ни на те идеалы, к которым стремится партия. Даже у партийца большая часть жизни проходит вне политики корзинь на нудной службе, бьешься за место в вагоне метро, штопаешь дырявый носок, клячишь сахариновую таблетку, зазначаешь окурок. Партийный идеал — это нечто исполненное, грозное, сверкающее: мир стали и бетона, чудовищных машин и жуткого оружия, страна воинов и фанатиков, которые шагают в едином строю, думают одну мысль, кричат один лозунг, неуставно грудятся, сражаются, торжествуют, карают — триста миллионов человек, и все на одно лицо. В жизни же — города-трущобы, где спуют несытые люди в худых башмаках, ветхие дома девятнадцатого века, где всегда пахнет капустой и нужником. Перед ним возникло видение Лондона — громадный город развалин, город миллиона мусорных ящиков, — и на него наложился образ миссис

Парсонс. женщины с морщинистым лицом и жидкими волосами, безнадежно ко-выряющей засоренную канализационную трубу.

Он опять почесал лодыжку. День и ночь телекраны хлещут тебя по ушам статистикой, доказывают, что у людей сегодня больше еды, больше одежды, лучше дома, веселее развлечения, что они живут дольше, работают меньше и сами стали крупнее, здоровее, сильнее, счастливее, умнее, просвещеннее, чем пятьдесят лет назад. Ни слова тут нельзя доказать и нельзя опровергнуть. Партия, например, утверждает, что грамотных сегодня сорок процентов взрослых пролов, а до революции грамотных было только пятнадцать процентов. Партия утверждает, что детская смертность сегодня — всего сто шестьдесят на тысячу, а до революции была — триста... и так далее. Это что-то вроде одного уравнения с двумя неизвестными. Очень может быть, что буквально каждое слово в исторических книжках — даже те, которые принимаешь как самоочевидные, — чистый вымысел. Кто его знает, может, и не было никогда такого закона, как право первой ночи, или такой твари, как капиталист, или такого головного убора, как цилиндр.

Все расплывается в тумане. Прошлое подчищено, подчистка забыта, ложь стала правдой. Лишь однажды в жизни он располагал — после событий, вот что важно — ясным и недвусмысленным доказательством того, что совершена подделка. Он держал его в руках целых полминуты. Было это, кажется, в 1973 году... словом, в то время, когда он расстался с Кэтрин. Но речь шла о событиях семи- или восьмилетней давности.

Началась эта история в середине шестидесятых годов, в период больших чисток, когда были поголовно истреблены подлиннее вожди революции. К 1970 году в живых не осталось ни одного, кроме Старшего Брата. Всех разоблачили как предателей и контрреволюционеров. Голдстейн сбежал и скрывался неведомо где, кто-то просто исчез, большинство же после шумных процессов, где все признались в своих преступлениях, было казнено. Среди последних, кого постигла эта участь, были трое: Джонс, Аронсон и Резерфорд. Их взяли году в шестьдесят пятом. По обыкновению, они исчезли на год или год с лишним, и никто не знал, живы они или нет; но потом их вдруг извлекли дабы они, как принято, изобличили себя сами. Они признались в сношениях с врагом (тогда врагом тоже была Евразия), в растрате общественных фондов, в убийстве преданных партийцев, в подкопах под руководство Старшего Брата, которыми они занялись еще задолго до революции, во вредительских актах, стоивших жизни сотням тысяч людей. Признались, были помилованы, восстановлены в партии и получили посты, по названию важные, а по сути — синекуры. Все трое выступили с длинными покаянными статьями в «Таймс», где рассматривали корни своей измены и обещали искупить вину.

После их освобождения Уинстон действительно видел всю троицу в кафе «Под каштаном». Он наблюдал за ними исподтишка, с ужасом и не мог оторвать глаз. Они были гораздо старше его — реликты древнего мира, наверное, последние крупные фигуры, оставшиеся от ратных героических дней партии. Славный дух подпольной борьбы и гражданской войны все еще витал над ними. У него было ощущение — хотя факты и даты уже порядком расплылись, — что их именно он услышал на несколько лет раньше, чем имя Старшего Брата. Но они были вне закона — враги, парии, обреченные исчезнуть в течение ближайшего года или двух. Тем, кто раз побывал в руках у полиции мыслей, уже не было спасения. Они группы — и только ждут, когда их отправят на кладбище.

За столиками вокруг них не было ни души. Неразумно даже показываться поблизости от таких людей. Они молча сидели за стаканами джина, сдобренного гвоздикой, — фирменным напитком этого кафе. Наибольшее впечатление на Уинстона произвел Резерфорд. Некогда знаменитый карикатурист, он своими злыми рисунками немало способствовал разжиганию общественных страстей в период революции. Его карикатуры и теперь изредка появлялись в «Таймс». Это было всего лишь подражание его прежней манере, на редкость безжизненное и неубедительное. Перемены старинных тем: трущобы, хижины, голодные дети, уличные бои, капиталисты в цилиндрах (кажется, даже на баррикадах они не желали расстаться с цилиндрами). — бесконечные и безнадежные попытки вернуться в прошлое. Он был громаден и уродлив — грива седых волос, лицо в

морщинах и припухлостях, выпяченные губы. Когда-то он, должно быть, отличался неимоверной силой, теперь же его большое тело местами разбухло, обвисло, осело, местами усохло. Он будто распадался на глазах — осыпающаяся гора.

Было пятнадцать часов, время затишья. Уинстон уже не помнил, как его туда занесло в такой час. Кафе почти опустело. Из телекранов точилась бодрая музыка. Трое сидели в своем углу молча и почти неподвижно. Официант, не дожидаясь их просьбы, принес еще по стакану джина. На их столе лежала шахматная доска с расставленными фигурами, но никто не играл. Вдруг с телекранами что-то произошло — и продолжалось это с полминуты. Сменилась мелодия, и сменилось настроение музыки. Вторглось что-то другое... трудно объяснить что. Станный, надтреснутый, визгливый, глумливый тон — Уинстон назвал его про себя желтым тоном. Потом голос запел:

Под развесистым каштаном
Продали средь бела дня —
Я тебя, а ты меня.
Под развесистым каштаном
Мы лежим средь бела дня —
Справа ты, а слева я.

Трое не пошевелились. Но когда Уинстон снова взглянул на разрушенное лицо Резерфорда, оказалось, что в глазах у него стоят слезы. И только теперь Уинстон заметил с внутренним содроганием — не понимая еще, почему содрогнулся, — что и у Аронсона и у Резерфорда перебитые носы.

Чуть позже всех троих опять арестовали. Выяснилось, что сразу же после освобождения они вступили в новые заговоры. На втором процессе они вновь сознались во всех прежних преступлениях и во множестве новых. Их казнили, а дело их в назидание потомкам увековечили в истории партии. Лет через пять после этого, в 1973-м, разворачивая материалы, только что выпавшие на стол из пневматической трубы, Уинстон обнаружил случайный обрывок бумаги. Значение обрывка он понял сразу, как только расправил его на столе. Это была половина страницы, вырванная из «Таймс» примерно десятилетней давности, — верхняя половина, так что число там стояло, — и на ней фотография участников какого-то партийного торжества в Нью-Йорке. В центре группы выделялись Джонс, Аронсон и Резерфорд. Не узнать их было нельзя, да и фамилии их значились в подписи под фотографией.

А на обоих процессах все трое показали, что в тот день они находились на территории Евразии. С тайного аэродрома в Канаде их доставили куда-то в Сибирь на встречу с работниками Евразийского генштаба, которому они выдавали важные военные тайны. Дата засела в памяти Уинстона, потому что это был Иванов день, впрочем, это дело наверняка описано повсюду. Вывод возможен только один: их признания были ложью.

Конечно, не бог весть какое открытие. Уже тогда Уинстон не допускал мысли, что люди, уничтоженные во время чисток, в самом деле преступники. Но тут было точное доказательство, обломок отмененного прошлого: так одна ископаемая кость, найденная не в том слое отложений, разрушает целую геологическую теорию. Если бы этот факт можно было обнародовать, разъяснить его значение, он один разбил бы партию вдребезги.

Уинстон сразу взялся за работу. Увидев фотографию и поняв, что она означает, он прикрыл ее другим листом. К счастью, телекрану она была видна вверх ногами.

Он положил блокнот на колено и отодвинулся со стулом подальше от телекрана. Сделать непроницаемое лицо легко, даже дышать можно ровно, если постараться, но вот с сердцебиением неладишь, а телекран — штука чувствительная, подметит. Он выждал, по своим расчетам, десять минут, все время мучаясь страхом, что его выдаст какая-нибудь случайность — например, внезапный сквозняк смахнет бумагу. Затем, уже не открывая фотографию, он сунул ее вместе с ненужными листками в гнездо памяти. И через минуту она, наверное, превратилась в пепел.

* Здесь и далее стихи в переводе Елены Кассировой.

Это было десять-одиннадцать лет назад. Сегодня он эту фотографию скорее бы всего сохранил. Любопытно: хотя и фотография и отраженный на ней факт были всего лишь воспоминанием, само то, что он когда-то держал ее в руках, влияло на него до сих пор. Неужели, спросил он себя, власть партии над прошлым ослабла оттого, что уже не существующее мелкое свидетельство к о г д а - т о существовало?

А сегодня, если бы удалось воскресить фотографию, она, вероятно, и уликой не была бы. Ведь когда он увидел ее, Океания уже не воевала с Евразией и трое покойных должны были бы продавать родину агентам Остазии. А с той поры произошли еще повороты — два, три, он не помнил сколько. Наверное, признания покойных переписывались и переписывались, так что первоначальные факты и даты совсем уже ничего не значат. Прошлое не просто меняется, оно меняется непрерывно. Самым же кошмарным для него было то, что он никогда не понимал отчетливо, какую цель преследует это грандиозное надувательство. Сиюминутные выгоды от подделки прошлого очевидны, но конечная ее цель — загадка. Он снова взял ручку и написал:

Я понимаю КАК; не понимаю ЗАЧЕМ.

Он задумался, как задумывался уже не раз, а не сумасшедший ли он сам. Может быть, сумасшедший тот, кто в меньшинстве, в единственном числе. Когда-то безумием было думать, что Земля вращается вокруг Солнца; сегодня — что прошлое неизменно. Возможно, он один придерживается этого убеждения, а раз один, значит — сумасшедший. Но мысль, что он сумасшедший, не очень его тревожила: ужасно, если он вдобавок ошибается.

Он взял детскую книжку по истории и посмотрел на фронтиспис с портретом Старшего Брата. Его встретил гипнотический взгляд. Словно какая-то исполинская сила давила на тебя — проникала в череп, трамбовала мозг, страхом вышибала из тебя твои убеждения, принуждала не верить собственным органам чувств. В конце концов партия объявит, что дважды два — пять, и придется в это верить. Рано или поздно она издаст такой указ, к этому неизбежно ведет логика ее власти. Ее философия молчаливо отрицает не только верность твоих восприятий, но и само существование внешнего мира. Ересь из ересей — здравый смысл. И ужасно не то, что тебя убьют за противоположное мнение, а то, что они, может быть, правы. В самом деле, откуда мы знаем, что дважды два — четыре? Или что существует сила тяжести. Или что прошлое нельзя изменить. Если и прошлое и внешний мир существуют только в сознании, а сознанием можно управлять — тогда что?

Нет! Он ощутил неожиданный прилив мужества. Непонятно, по какой ассоциации в уме возникло лицо О'Брайена. Теперь он еще тверже знал, что О'Брайен на его стороне. Он пишет дневник для О'Брайена — О'Брайену; никто не прочтет его бесконечного письма, но предназначено оно определенному человеку и этим окрашено.

Партия велела тебе не верить своим глазам и ушам. И это ее окончательный, самый важный приказ. Сердце у него упало при мысли о том, какая огромная сила выстроилась против него, с какой легкостью собьет его в споре любой партийный идеолог хитрыми доводами, которых он не то что опровергнуть — понять не сможет. И однако он прав! Они не правы, а прав он. Очевидное, азбучное, верное надо защищать. Прописная истина истинна — и стой на этом! Прочно существует мир, его законы не меняются. Камни — твердые, вода — мокрая, предмет, лишенный опоры, устремляется к центру Земли. С ощущением, что он говорит это О'Брайену и выдвигает важную аксиому, Уинстон написал:

Свобода — это возможность сказать, что дважды два — четыре. Если дозволено это, все остальное отсюда следует.

VIII

Откуда-то из глубины прохода пахнуло жареным кофе — настоящим кофе, не «Победой». Уинстон невольно остановился. Секунды на две он вернулся в полузабытый мир детства. Потом хлопнула дверь и отрубил запах, как звук.

Он прошел по улицам несколько километров, и язва над щиколоткой сад-

нила. Вот уже второй раз за три недели он пропустил вечер в общественном центре — опрометчивый поступок, за посещениями наверняка следят. В принципе у члена партии нет свободного времени, и наедине с собой он бывает только в постели. Предполагается, что, когда он не занят работой, едой и сном, он участвует в общественных развлечениях; все, в чем можно усмотреть любовь к одиночеству, даже прогулка без спутников, подозрительно. Для этого в новоязе есть слово *с а м о ж и т* — означает индивидуализм и чудачество. Но нынче вечером выйдя из министерства, он соблазнился нежностью апрельского воздуха. Такого мягкого голубого тона в небе он за последний год ни разу не видел, и долгий шумный вечер в общественном центре, скучные, изнурительные игры, лекции, поскрипывающее, хоть и смазанное джином, товарищество — все это показалось ему непереносимым. Поддавшись внезапному порыву, он повернул прочь от автобусной остановки и побрел по лабиринту Лондона, сперва на юг, потом на восток и обратно на север, заплутался на незнакомых улицах и шел уже куда глаза глядят.

«Если есть надежда,— написал он в дневнике,— то она — в пролах». И в голове все время крутилась эта фраза — мистическая истина и очевидная нелепость. Он находился в бурых трущобах, где-то к северо-востоку от того, что было некогда вокзалом Сент-Панкрас. Он шел по бульжной улочке мимо двухэтажных домов с обшарпанными дверями, которые открывались прямо на тротуар и почему-то наводили на мысль о крысиных норах. На бульжнике там и сям стояли грязные лужи. И в темных подъездах и в узких проулках по обе стороны было удивительно много народу — зрелые девушки с грубо намалеванными ртами, парни, гонявшиеся за девушками, толстомясые тетki, при виде которых становилось понятно, во что превратятся эти девушки через десяток лет, согнутые старухи, шаркавшие растоптанными ногами, и оборванные босые дети, которые играли в лужах и бросались врассыпную от материнских окриков. Наверно, каждое четвертое окно было выбито и забрано досками. На Уинстона почти не обращали внимания, но кое-кто провожал его опасливым и любопытным взглядом. Перед дверью, сложив кирпично-красные руки на фартуках, беседовали две необъятные женщины. Уинстон, подходя к ним, услышал обрывки разговора.

— Да, говорю, это все очень хорошо, говорю. Но на моем месте ты бы сделала то же самое. Легко, говорю, судить — а вот хлебнула бы ты с мое...

— Да-а,— отозвалась другая. — То-то и оно. В том-то все и дело.

Резкие голоса вдруг смолкли. В молчании женщины окинули его враждебным взглядом. Впрочем, не враждебным даже, скорее настороженным, замерев на миг, как будто мимо проходило неведомое животное. Синий комбинезон партийца не часто мелькал на этих улицах. Показываться в таких местах без дела не стоило. Налетишь на патруль — могут остановить. «Товарищ, ваши документы. Что вы здесь делаете? В котором часу ушли с работы? Вы всегда ходите домой этой дорогой?» — и так далее и так далее. Разными дорогами ходить домой не запрещалось, но если узнает полиция мыслей, этого достаточно, чтобы тебя взяли на заметку.

Вдруг вся улица пришла в движение. Со всех сторон послышались предостерегающие крики. Люди разбежались по домам, как кролики. Из двери недалеко от Уинстона выскочила молодая женщина, подхватила маленького ребенка, игравшего в луже, накинула на него фартук и метнулась обратно. В тот же миг из переулка появился мужчина в черном костюме, напоминавшем гармонь, подбежал к Уинстону, взволнованно показывая на небо.

— Паровоз! — закричал он. — Смотри, директор! Сейчас по башке! Ложись быстро!

Паровозом пролы почему-то прозвали ракету. Уинстон бросился ничком на землю. В таких случаях пролы почти никогда не ошибались. Им будто инстинкт подсказывал за несколько секунд, что подлетает ракета. — считалось ведь, что ракеты летят быстрее звука. Уинстон прикрыл голову руками. Раздался грохот, встряхнувший мостовую; на спину ему дождем посыпался какой-то мусор. Поднявшись, он обнаружил, что весь усыпан осколками оконного стекла.

Он пошел дальше. Метрах в двухстах ракета снесла несколько домов. В воздухе стоял черный столб дыма, а под ним в туче алебастровой пыли уже собирались вокруг развалин люди. Впереди возвышалась кучка штукатурки, и

на ней Уинстон разглядел ярко-красное пятно. Подойдя поближе, он увидел, что это оторванная кисть руки. За исключением кровавого пенька кисть была совершенно белая, как гипсовый слепок.

Он сбросил ее ногой в водосток, а потом, чтобы обойти толпу, свернул направо в переулок. Минуты через три-четыре он вышел из зоны взрыва, и здесь улица жила своей убогой муравьиной жизнью как ни в чем не бывало. Время шло к двадцати часам, питейные лавки пролов ломились от посетителей. Их грязные двери беспрерывно раскрывались, обдавая улицу запахами мочи, опилок и кислого пива. В углу возле выступающего дома вплотную друг к другу стояли трое мужчин: средний держал сложенную газету, а двое заглядывали через его плечо. Издали Уинстон не мог различить выражения их лиц, но их позы выдавали увлеченность. Видимо, они читали какое-то важное сообщение. Когда до них оставалось несколько шагов, группа вдруг разделилась, и двое вступили в яростную перебранку. Казалось, она вот-вот перейдет в драку.

— Да ты слушай, балда, что тебе говорят! С семеркой на конце ни один номер не выиграл за четырнадцать месяцев.

— А я говорю, выиграл!

— А я говорю, нет. У меня дома все выписаны за два года. Записываю, как часы. Я тебе говорю, ни один с семеркой...

— Нет, выигрывала семерка! Да я почти весь номер назову. Кончался на четверта семья. В феврале — вторая неделя февраля.

— Бабушку твою в феврале! У меня черным по белому. Ни разу, говорю, с семеркой...

— Да закройте вы! — вмешался третий.

Они говорили о лотерее. Отойдя метров на тридцать, Уинстон оглянулся. Они продолжали спорить оживленно, страстно. Лотерея с ее еженедельными сказочными выигрышами была единственным общественным событием, которое волновало пролов. Вероятно, миллионы людей видели в ней главное, если не единственное дело, ради которого стоит жить. Это была их улада, их безумство, их отдохновение, их интеллектуальный возбудитель. Тут даже те, кто едва умел читать и писать, проявляли искусство сложнейших расчетов и сверхъестественную память. Существовал целый клан, кормившийся продажей систем, прогнозов и талисманов. К работе лотереи Уинстон никакого касательства не имел — ею занималось министерство изобилия. — но он знал (в партии все знали), что выигрыши по большей части мнимые. На самом деле выплачивались только мелкие суммы, а обладатели крупных выигрышей были лицами вымышленными. При отсутствии настоящей связи между отдельными частями Океании устроить это не составляло труда.

Но если есть надежда, то она — в пролах. За эту идею надо держаться. Когда выражаешь ее словами, она кажется здоровой; когда смотришь на тех, кто мимо тебя проходит, верить в нее — подвижничество. Он свернул на улицу, шедшую под уклон. Место показалось ему смутно знакомым — невдалеке лежал главный проспект. Где-то впереди слышался гам. Улица круто повернула и закончилась лестницей, спускавшейся в переулок, где лоточники торговали вялыми овощами. Уинстон вспомнил это место. Переулок вел на главную улицу, а за следующим поворотом, в пяти минутах ходу — лавка старьевщика, где он купил книгу, стагшую дневником. Чуть дальше, в канцелярском магазинчике, он приобрел чернила и ручку.

Перед лестницей он остановился. На другой стороне переулка была захудалая пивная с как будто матовыми, а на самом деле просто пыльными окнами. Древний старик, согнутый, но энергичный, с седыми, торчащими, как у рака, усами, распахнул дверь и скрылся в пивной. Уинстону пришло в голову, что этот старик, которому сейчас не меньше восемьдесят, застал революцию уже взрослым мужчиной. Он да еще немногие вроде него — последняя связь с исчезнувшим миром капитализма. И в партии осталось мало таких, чьи взгляды сложились до революции. Старшее поколение почти все перебито в больших чистках пятидесятых и шестидесятых годов, а уцелевшие запуганы до полной умственной капитуляции. И если есть живой человек, который способен рассказать правду о первой половине века, то он может быть только пролом. Уинстон вдруг вспомнил переписанное в дневник место из детской книжки по истории и загорелся

безумной идеей. Он войдет в пивную, завяжет со стариком знакомство и расспросит его: «Расскажите, как вы жили в детстве. Какая была жизнь? Лучше, чем в наши дни, или хуже?»

Поскорее, чтобы не успеть испугаться, он спустился по лестнице и перешел на другую сторону переуллка. Сумасшествие, конечно. Разговаривать с пролами и посещать их пивные тоже, конечно, не запрещалось, но такая странная выходка не останется незамеченной. Если зайдет патруль, можно прикинуться, что стало дурно, но они вряд ли поверят. Он толкнул дверь, в нос ему шибануло пивной кислотой. Когда он вошел, гвалт в пивной сделался вдвое тише. Он спиной чувствовал, что все глаза уставились на его синий комбинезон. Люди, метавшие дротники в мишень, прервали свою игру на целых полминуты. Старик, из-за которого он пришел, препирался у стойки с барменом — крупным, грузным молодым человеком, горбоносым и толсторуким. Вокруг кучкой стояли слушатели со своими стаканами.

— Тебя как человека просят, — петушился старик и надувал грудь. — А ты мне говоришь, что в твоём кабаке не найдется пинтовой кружки?

— Да что это за чертовщина такая — пинта? — возражал бармен, упершись пальцами в стойку.

— Нет, вы слышали? Бармен называется — что такое пинта, не знает! Пинта — это полкварти, а четыре кварты — галлон. Может, тебя азбуке поучить?

— Сроду не слышал, — отрезал бармен. — Подаем литр, подаем пол-литра — и все. Вон на полке посуда.

— Пинту хочу, — не унимался старик. — Трудно, что ли, нацедить пинту? В мое время никаких ваших литров не было.

— В твоё время мы все на ветках жили, — ответил бармен, оглянувшись на слушателей.

Раздался громкий смех, и неловкость, вызванная появлением Уинстона, прошла. Лицо у старика сделалось красным. Он повернулся, ворча, и налетел на Уинстона. Уинстон вежливо взял его под руку.

— Разрешите вас угостить? — сказал он.

— Благородный человек, — ответил тот, снова выпятив грудь. Он будто не замечал на Уинстоне синего комбинезона. — Пинту! — воинственно приказал он бармену. — Пинту тычка.

Бармен ополоснул два толстых пол-литровых стакана в бочонке под стойкой и налил темного пива. Кроме пива, в этих заведениях ничего не подавали. Пролам джин не полагался, но добывали они его без особого труда. Метание дротников возобновилось, а люди у стойки заговорили о лотерейных билетах. Об Уинстоне на время забыли. У окна стоял сосновый стол — там можно было поговорить со стариком с глазу на глаз. Риск ужасный; но по крайней мере телекрана нет — в этом Уинстон удостоверился, как только вошел.

— Мог бы нацедить мне пинту, — ворчал старик, усаживаясь со стаканом. — Пол-литра мало — не напьешься. А литр — много. Бегаешь часто. Не говоря, что дорого.

— Со времен вашей молодости вы, наверно, видели много перемен, — осторожно начал Уинстон.

Выцветшими голубыми глазами старик посмотрел на мишень для дротников, потом на стойку, потом на дверь мужской уборной, словно перемены эти хотел отыскать здесь, в пивной.

— Пиво было лучше. — сказал он наконец. — И дешевле! Когда я был молодым, слабое пиво — называлось у нас тычок — стоило четыре пенса пинта. Но это до войны, конечно.

— До какой? — спросил Уинстон.

— Ну, война. она всегда. — неопределенно пояснил старик. Он взял стакан и снова выпятил грудь. — Будь здоров!

Кадык на тощей шее удивительно быстро запрыгал, и пива как не бывало. Уинстон сходил к стойке и принес еще два стакана. Старик как будто забыл о своем предубеждении против целого литра.

— Вы намного старше меня, — сказал Уинстон. — Я еще на свет не родился, а вы уже, наверно, были взрослым. И можете вспомнить прежнюю жизнь, до революции. Люди моих лет, по сути, ничего не знают о том времени. Только

в книгах прочтешь, а кто его знает — правду ли пишут в книгах. Хотелось бы от вас услышать. В книгах по истории говорится, что жизнь до революции была совсем не похожа на нынешнюю. Ужасное угнетение, несправедливость, нищета — такие, что мы и вообразить не можем. Здесь, в Лондоне, огромное множество людей с рождения до смерти никогда не ели досыта. Половина ходила босиком. Работали двенадцать часов, школу бросали в девять лет, спали по десять человек в комнате. А в то же время меньшинство — какие-нибудь несколько тысяч, так называемые капиталисты — располагало богатством и властью. Владели всем, чем можно владеть. Жили в роскошных домах, держали по тридцать слуг, разъезжали на автомобилях и четверках, пили шампанское, носили цилиндры...

Старик внезапно оживился.

— Цилиндры! — сказал он. — Как это ты вспомнил? Только вчера про них думал. Сам не знаю с чего вдруг. Сколько лет уж, думаю, не видел цилиндра. Совсем отошли. А я последний раз надевал на невесткины похороны. Вот когда еще... год вам не скажу, но уж лет пятьдесят тому. Напрокат, понятно, брали по такому случаю.

— Цилиндры не так важно, — терпеливо заметил Уинстон. — Главное то, что капиталисты... они и священники, адвокаты и прочие, кто при них кормился, были хозяевами земли. Все на свете было для них. Вы, простые рабочие люди, были у них рабами. Они могли делать с вами что угодно. Могли отправить вас на пароходе в Канаду, как скот. Спать с вашими дочерью, если захочется. Приказать, чтобы вас выпороли какой-то девятихвостой плеткой. При встрече с ними вы снимали шапку. Каждый капиталист ходил со сворой лакеев...

Старик вновь оживился.

— Лакеи! Сколько же лет не слышал этого слова, а? Лакеи. Прямо молодость вспоминаешь, честное слово. Помню... вон еще когда... ходил я по воскресеньям в Гайд-парк речи слушать. Кого там только не было — и Армия спасения, и католики, и евреи, и индусы... И был там один... имени сейчас не вспомню, но сильно выступал! Ох он их чихвосгил. Лакеи, говорит Лакеи буржуазии! Приспешники правящего класса! Паразиты — вот как загнул еще. И гниены... гниенами точно называл. Все это, конечно, про лейбористов, сам понимаешь.

Уинстон почувствовал, что разговор не получается.

— Я вот что хотел узнать, — сказал он. — Как вам кажется, у вас сейчас больше свободы, чем тогда? Отношение к вам более человеческое? В прежнее время богатые люди, люди у власти...

— Палата лордов. — задумчиво вставил старик.

— Палата лордов, если угодно. Я спрашиваю, могли эти люди обращаться с вами как с низшим только потому, что они богатые, а вы бедный? Правда ли, например, что вы должны были говорить им «сэр» и снимать шапку при встрече?

Старик тяжело задумался. И ответил не раньше чем выпил четверть стакана.

— Да, — сказал он. — Любили, чтобы ты дотронулся до кепки. Вроде оказал уважение. Мне это, правду сказать, не нравилось — но делал, не без того. Куда денешься, можно сказать.

— А было принято — я пересказываю то, что читал в книгах по истории, — у этих людей и их слуг было принято сталкивать вас с тротуара в сточную канаву?

— Один такой меня раз толкнул, — ответил старик. — Как вчера помню. В вечер после гребных гонок... ужасно они буянили после этих гонок... на Шафтсбери-авеню налетает я на парня. Вид благородный — парадный костюм, цилиндр, черное пальто. Идет по тротуару, виляет — и я на него случайно налетел. Говорит: «Не видишь, куда идешь?» — говорит. Я говорю: «А ты что, купил тротуар-то?» А он: «Грубить мне будешь? Голову, к чертям, отверну». Я говорю: «Пьяный ты, — говорю. — Сдам тебя полиции, оглянуться не успеешь». И, веришь ли, берет меня за грудь и так пихает, что я чуть под автобус не попал. Ну а я молодой тогда был и навесил бы ему, да тут...

Уинстон почувствовал отчаяние. Память старика была просто свалкой мелких подробностей. Можешь расспрашивать его целый день — и никаких стоящих сведений не получишь. Так что история партии, может быть, правдива в каком-то смысле, а может быть, совсем правдива. Он сделал последнюю попытку.

— Я, наверное, неясно выражаюсь, — сказал он. — Я вот что хочу сказать. Вы очень давно живете на свете, половину жизни вы прожили до революции. Например, в тысяча девятьсот двадцать пятом году вы уже были взрослым. Из того, что вы помните, как, по-вашему, в двадцать пятом году жить было лучше, чем сейчас, или хуже? Если бы вы могли выбрать, когда бы вы предпочли жить — тогда или теперь?

Старик задумчиво посмотрел на мишень. Допил пиво — совсем уже медленно. И наконец ответил с философской примиренностью, как будто пиво смягчило его:

— Знаю, каких ты слов от меня ждешь. Думаешь, скажу, что хочется снова стать молодым. Спроси людей: большинство тебе скажут, что хотели бы стать молодыми. В молодости здоровье, сила, все при тебе. Кто дожил до моих лет, тому всегда нездоровится. И у меня ноги другой раз болят хоть плачь и мочевой пузырь — хуже некуда. По шесть-семь раз ночью бегаешь. Но и у старости есть радости. Забот уже тех нет. С женщинами канителиться не надо — это большое дело. Веришь ли, у меня тридцать лет не было женщины. И неохота, вот что главное-то.

Уинстон отвалился к подоконнику. Продолжать не имело смысла. Он собрался взять еще пива, но старик вдруг встал и быстро зашаркал к вонючей кабинке у боковой стены. Лишние пол-литра произвели свое действие. Минуту-другую Уинстон глядел в пустой стакан, а потом даже сам не заметил, как ноги вынесли его на улицу. Через двадцать лет, размышляя он, великий и простой вопрос «лучше ли жилось до революции?» окончательно станет неразрешимым. Да и сейчас он, в сущности, неразрешим: случайные свидетели старого мира не способны сравнить одну эпоху с другой. Они помнят множество бесполезных фактов: ссору с сотрудником, потерю и поиски велосипедного насоса, выражение лица давно умершей сестры, вихрь пыли ветреным утром семьдесят лет назад; но то, что важно, вне их кругозора. Они подобны муравью, который видит мелкое и не видит большого. А когда память отказала и письменные свидетельства подделаны, тогда с утверждениями партии, что она улучшила людям жизнь, надо согласиться — ведь нет и никогда уже не будет исходных данных для проверки.

Тут размышления его прервались. Он остановился и поднял глаза. Он стоял на узкой улице, где между жилых домов втиснулись несколько темных лавчонок. У него над головой висели три облезлых металлических шара, когда-то, должно быть, позолоченных. Он как будто узнал эту улицу. Ну конечно! Перед ним была лавка старьевщика, где он купил дневник.

Накатил страх. Покупка книги была опрометчивым поступком, и Уинстон зарекся подходить к этому месту. Но вот, стоило ему задуматься, ноги сами принесли его сюда. А ведь для того он и завел дневник, чтобы предохранить себя от таких самоубийственных порывов. Лавка еще была открыта, хотя время близилось к двадцати одному. Он подумал, что, слоняясь по тротуару, скорее привлечет внимание, чем в лавке, и вошел. Станут спрашивать — хотел купить лезвия.

Хозяин только что зажег висячую керосиновую лампу, издававшую нечистый, но какой-то уютный запах. Это был человек лет шестидесяти, щуплый, сутулый, с длинным дружелюбным носом, и глаза его за толстыми линзами очков казались большими и кроткими. Волосы у него были почти совсем седые, а брови густые и еще черные. Очки, добрая суетливость, старый пиджак из черного бархата — все это придавало ему интеллигентный вид: не то литератора, не то музыканта. Говорил он тихим, будто выцветшим голосом и не так коверкал слова, как большинство пролов.

— Я узнал вас на тротуаре, — сразу сказал он. — Это вы покупали подарочный альбом для девушек. Превосходная бумага, превосходная. Ее называли кремевая верже. Такой бумаги не делают, я думаю... уж лет пятьдесят. — Он посмотрел на Уинстона поверх очков. — Вам требуется что-то определенное? Или хотели просто посмотреть вещи?

— Шел мимо, — уклончиво ответил Уинстон. — Решил заглянуть. Ничего конкретного мне не надо.

— Тем лучше — едва ли бы я смог вас удовлетворить. — Как бы извиняясь, он повернул кверху мягкую ладонь. — Сами видите: можно сказать, пустая

лавка. Между нами говоря, торговля антиквариатом почти иссякла. Спросу нет, да и предложить нечего. Мебель, фарфор, хрусталь — все это мало-помалу перебилося, переломалось. А металлическое по большей части ушло в переплавку. Сколько уже лет я не видел латунного подсвечника.

На самом деле тесная лавочка была забита вещами, но ни малейшей ценности они не представляли. Свободного места почти не осталось — возле всех стен штабелями лежали пыльные рамы для картин. В витрине — подносы с болтами и гайками, сточенные стамески, сломанные перочинные ножи, облупленные часы, даже не притворявшиеся исправными, и прочий разнообразный хлам. Какой-то интерес могла возбудить только мелочь, валявшаяся на столике в углу, — лакированные табакерки, агатовые брошки и тому подобное. Уинстон подошел к столику, и взгляд его привлекла какая-то гладкая округлая вещь, тускло блестящая при свете лампы; он взял ее.

Это была тяжелая стекляшка, плоская с одной стороны и выпуклая с другой — почти полушарие. И в цвете и в строении стекла была непонятная мягкость — оно напоминало дождевую воду. А в сердцевине, увеличенный выпуклостью, находился странный розовый предмет узорчатого строения, напоминавший розу или морской анемон.

— Что это? — спросил очарованный Уинстон.

— Это? Это коралл, — ответил старик. — Надо полагать, из Индийского океана. Прежде их иногда заливали в стекло. Сделано не меньше ста лет назад. По виду даже раньше.

— Красивая вещь, — сказал Уинстон.

— Красивая вещь, — признательно подхватил старьевщик. — Но в наши дни мало кто ее оценит. — Он кашлянул. — Если вам вдруг захочется купить, она стоит четыре доллара. Было время, когда за такую вещь давали восемь фунтов, а восемь фунтов... ну, сейчас не сумею сказать точно — это были большие деньги. Но кому нынче нужны подлинные древности — хотя их так мало сохранилось.

Уинстон немедленно заплатил четыре доллара и опустил вожделенную игрушку в карман. Соблазнила его не столько красота вещи, сколько аромат века, совсем не похожего на нынешний. Стекло такой дождевой мягкости ему никогда не встречалось. Самым симпатичным в этой штуке была ее бесполезность, хотя Уинстон догадался, что когда-то она служила пресс-папье. Стекло оттягивало карман, но, к счастью, не слишком выпирало. Это странный предмет, даже компрометирующий предмет для члена партии. Все старое и, если на то пошло, все красивое вызывало некоторое подозрение. Хозяин же, получив четыре доллара, заметно повеселел. Уинстон понял, что можно было сторговаться на трех или даже на двух.

— Если есть желание посмотреть, у меня наверху еще одна комната, — сказал старик. — Там ничего особенного. Всего несколько предметов. Если пойдешь, нам понадобится свет.

Он зажег еще одну лампу, потом, согнувшись, медленно поднялся по стертым ступенькам и через крохотный коридорчик привел Уинстона в комнату; окно ее смотрело не на улицу, а на мощный двор и на чашу печных труб с колпаками. Уинстон заметил, что мебель здесь расставлена, как в жилой комнате. На полу дорожка, на стенах две-три картины, глубокое неопрятное кресло у камина. На каминной полке тикали старинные стеклянные часы с двенадцатичасовым циферблатом. Под окном, заняв чуть ли не четверть комнаты, стояла громадная кровать, причем с матрасом.

— Мы здесь жили, пока не умерла жена, — объяснил старик, как бы извиняясь. — Понемногу распродаю мебель. Вот превосходная кровать красного дерева... То есть была бы превосходной, если выселить из нее клопов. Впрочем, вам, наверно, она кажется громоздкой.

Он поднял лампу над головой, чтобы осветить всю комнату, и в теплом тусклом свете она выглядела даже уютной. А ведь можно было бы снять ее за несколько долларов в неделю, подумал Уинстон, если хватит смелости. Это была дикая, вздорная мысль, и умерла она так же быстро, как родилась; но комната пробудила в нем какую-то ностальгию, какую-то память, дремавшую в крови.

Ему казалось, что он хорошо знает это ощущение, когда сидишь в такой комнате, в кресле перед горящим камином, поставив ноги на решетку, на огне — чайник, и ты совсем один, в полной безопасности, никто не следит за тобой, ничей голос тебя не донимает, только чайник поет в камине да дружелюбно тикают часы.

— Тут нет телекрана. — вырвалось у него.

— Ах этого, — ответил старик. — У меня никогда не было. Они дорогие. Да и потребности, знаете, никогда не испытывал. А вот в углу хороший раскладной стол. Правда, чтобы пользоваться боковинами, надо заменить петли.

В другом углу стояла книжная полка, и Уинстона уже притянуло к ней. На полке была только дрянь. Охота за книгами и уничтожение велась в кварталах пролов так же основательно, как везде. Едва ли в целой Океании существовал хоть один экземпляр книги, изданной до 1960 года. Старик с лампой в руке стоял перед картинкой в палисандровой раме; она висела по другую сторону от камина, напротив кровати.

— Кстати, если вас интересуют старинные гравюры... — деликатно начал он.

Уинстон подошел ближе. Это была гравюра на стали: здание с овальным фронтоном, прямоугольными окнами и башней впереди. Вокруг здания шла ограда, а в глубине стояла, по-видимому, статуя. Уинстон присмотрелся. Здание казалось смутно знакомым, но статуи он не помнил.

— Рамка привинчена к стене. — сказал старик, — но если хотите, я сниму.

— Я знаю это здание. — промолвил наконец Уинстон, — оно разрушено. В середине улицы, за Дворцом юстиции.

— Верно. За Домом правосудия. Его разбомбили... ну, много лет назад. Это была церковь. Сент-Клемент — святой Климент у датчан. — Он виновато улыбнулся, словно понимая, что говорит нелепость, и добавил: — «Апельсинчики как мед, в колокол Сент-Клемент бьет».

— Что это? — спросил Уинстон.

— А-а. «Апельсинчики как мед, в колокол Сент-Клемент бьет». В детстве был такой стишок. Как там дальше, я не помню, а кончается так: «Вот зажгу я пару свеч — ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч — и головка твоя с плеч». Игра была наподобие танца. Они стояли, взявшись за руки, а ты шел под руками, и когда доходили до «вот возьму я острый меч — и головка твоя с плеч», руки опускались и ловили тебя. Там были только названия церквей. Все лондонские церкви... То есть самые знаменитые.

Уинстон рассеянно спросил себя, какого века могла быть эта церковь. Возраст лондонских домов определить всегда трудно. Все большие и внушительные и более или менее новые на вид считались, конечно, построенными после революции, а все то, что было очевидно старше, относили к какому-то далекому, неясному времени, называвшемуся средними веками. Таким образом, века капитализма ничего стоящего не произвели. По архитектуре изучить историю было так же невозможно, как по книгам. Статуи, памятники, мемориальные доски, названия улиц — все, что могло пролить свет на прошлое, систематически передувалось.

— Я не знал, что это церковь, — сказал он.

— Вообще-то их много осталось, — сказал старик, — только их используют для других нужд. Как же там этот стишок? А! Вспомнил!

Апельсинчики как мед,
В колокол Сент-Клемент бьет.
И звонит Сент-Мартин:
Отдавай мне фартинг!

Вот, дальше опять не помню. А фартинг — это была маленькая медная монета, наподобие цента.

— А где Сент-Мартин? — спросил Уинстон.

— Сент-Мартин? Эта еще стоит. На площади Победы, рядом с картинной галереей. Здание с портиком и колоннами, с широкой лестницей.

Уинстон хорошо знал здание. Это был музей, предназначенный для разных пропагандистских выставок: моделей ракет и плавающих крепостей, восковых панорам, изображающих вражеские зверства, и тому подобного.

— Называлась Святой Мартин на полях, — добавил старик, — хотя никаких полей в этом районе не припомню.

Гравюру Уинстон не купил. Предмет был еще более неподходящий, чем стеклянное пресс-папье, да и домой ее не унесешь — разве только без рамки. Но он задержался еще на несколько минут, беседуя со стариком, и выяснил, что фамилия его не Уикс, как можно было заключить по надписи на лавке, а Чаррингтон. Оказалось, что мистеру Чаррингтону шестьдесят три года, он вдовец и обитает в лавке тридцать лет. Все эти годы он собирался сменить вывеску, но так и не собрался. Пока они беседовали, Уинстон все твердил про себя начало стишка: «Апельсинчики как мед, в колокол Сент-Клемент бьет. И звонит Сент-Мартин: отдавай мне фартинг!» Любопытно: когда он произносил про себя стишок, ему чудилось, будто звучат сами колокола — колокола исчезнувшего Лондона, который еще существует где-то, невидимый и забытый. И слышалось ему, как поднимают они трезвон, одна за другой, призрачные колокольни. Между тем, сколько он себя помнил, он ни разу не слышал церковного звона.

Он попрощался с мистером Чаррингтоном и спустился по лестнице один, чтобы старик не увидел, как он оглядывает улицу, прежде чем выйти за дверь. Он уже решил, что, выждав время — хотя бы месяц, — рискнет еще раз посетить лавку. Едва ли это опасней, чем пропустить вечер в общественном центре. Большой опрометчивостью было уже то, что после покупки книги он пришел сюда снова, не зная, можно ли доверять хозяину. И все же!..

Да, сказал он себе, надо будет прийти еще. Он купит гравюру с церковью святого Климента у датчан, вынет из рамы и унесет под комбинезоном домой. Заставит мистера Чаррингтона вспомнить стишок до конца. И снова мелькнула безумная мысль снять верхнюю комнату. От восторга он секунд на пять забыл об осторожности — вышел на улицу, ограничившись беглым взглядом в окно. И даже начал напевать на самодельный мотив:

Апельсинчики как мед,
В колокол Сент-Клемент бьет
И звонит Сент-Мартин:
Отдавай мне фартинг!

Вдруг сердце у него екнуло от страха, живот схватило. В каких-нибудь десяти метрах — фигура в синем комбинезоне, идет к нему. Это была девица из отдела литературы, темноволосяя. Уже смеркалось, но Уинстон узнал ее без труда. Она посмотрела ему прямо в глаза и быстро прошла дальше, как будто не заметила.

Несколько секунд он не мог двинуться с места, словно отнялись ноги. Потом повернулся направо и с трудом пошел, не замечая, что идет не в ту сторону. Одно по крайней мере стало ясно. Сомнений быть не могло: девица за ним шпионит. Она выследила его — нельзя же поверить, что она по чистой случайности забрела в тот же вечер на ту же захудалую улочку в нескольких километрах от района, где живут партийцы. Слишком много совпадений. А служит она в полиции мыслей или же это самодеятельность — значения не имеет. Она за ним следит, этого довольно. Может быть, даже видела, как он заходил в нивнуу.

Идти было тяжело. Стекланный груз в кармане при каждом шаге стучал по бедру, и Уинстона подмывало выбросить его. Но хуже всего была спазма в животе. Несколько минут ему казалось, что если он сейчас же не найдет уборную, то умрет. Но в таком районе не могло быть общественной уборной. Потом спазма прошла, осталась только глухая боль.

Улица оказалась тупиком. Уинстон остановился, постоял несколько секунд, рассеянно соображая, что делать, потом повернул назад. Когда он повернул, ему пришло в голову, что он разминулся с девицей каких-нибудь три минуты назад, и если бегом, то можно ее догнать. Можно дойти за ней до какого-нибудь тихого места, а там проломить ей череп булыжником. Стекланное пресс-папье тоже сгодится, оно тяжелое. Но он сразу отбросил этот план невыносима была даже мысль о том, чтобы совершить физическое усилие. Нет сил бежать, нет сил ударить. Вдобавок девица молодая и крепкая, будет защищаться. Потом он подумал, что надо сейчас же пойти в общественный центр и пробыть там до закрытия —

обеспечить себе хотя бы частичное алиби. Но и это невозможно. Им овладела смертельная вялость. Хотелось одного: вернуться к себе в квартиру и ничего не делать.

Домой он пришел только в двадцать третьем часу. Ток в сети должны были отключить в двадцать три тридцать. Он отправился на кухню и выпил почти целую чашку джина «Победа». Потом подошел к столу в нише, сел и вынул из ящика дневник. Но раскрыл его не сразу. Женщина в телекране томным голосом пела патристическую песню. Уинстон смотрел на мраморный переплет, безуспешно стараясь отвлечься от этого голоса.

Приходят за тобой ночью, всегда ночью. Самое правильное — покончить с собой, пока тебя не взяли. Наверняка так поступали многие. Многие исчезновения на самом деле были самоубийствами. Но в стране, где ни огнестрельного оружия, ни надежного яда не достанешь, нужна отчаянная отвага, чтобы покончить с собой. Он с удивлением подумал о том, что боль и страх биологически бесполезны, подумал о вероломстве человеческого тела, цепенеющего в гот самый миг, когда требуется особое усилие. Он мог бы избавиться от темноволосой, если бы сразу приступил к делу, но именно из-за того, что опасность была чрезвычайной, он лишился сил. Ему пришло в голову, что в критические минуты человек борется не с внешним врагом, а всегда с собственным телом. Даже сейчас, несмотря на джин, тупая боль в животе не позволяла ему свяно думать. И то же самое, понял он во всех трагических или по видимости героических ситуациях. На поле боя, в камере пыток, на тонущем корабле то, за что ты бился, всегда забывается — тело твое разрастается и заполняет вселенную, и даже когда ты не парализован страхом и не кричишь от боли, жизнь — это ежеминутная борьба с голодом или холодом, с бессонницей, изжогой или зубной болью.

Он раскрыл дневник. Важно хоть что-нибудь записать. Женщина в телекране разразилась новой песней. Голос вонзался ему в мозг, как острые осколки стекла. Он пытался думать об О'Брайене, для которого — которому — пишется дневник, но вместо этого стал думать, что с ним будет, когда его арестует полиция мыслей. Если бы сразу убили — полбеды. Смерть — дело предешенное. Но перед смертью (никто об этом не распространялся, но знали все) будет признание по заведенному порядку — с ползанием по полу, мольбами о пощаде, с хрустом ломаемых костей, с выбитыми зубами и кровавыми колтунами в волосах. Почему ты должен пройти через это, если итог все равно известен? Почему нельзя сократить тебе жизнь на несколько дней или недель? От разоблачения не ушел ни один, и признавались все до единого. В тот миг, когда ты преступил в мыслях, ты уже подписал себе смертный приговор. Так зачем ждут тебя эти муки в будущем, если они ничего не изменят?

Он опять попробовал вызвать образ О'Брайена, и теперь это удалось. «Мы встретимся там, где нет темноты», — сказал ему О'Брайен. Уинстон понял его слова — ему казалось, что понял. Где нет темноты — это воображаемое будущее; ты его не увидишь при жизни, но, предвидя, можешь мистически причаститься к нему. Голос из телекрана бил по ушам и не давал додумать эту мысль до конца. Уинстон взял в рот сигарету. Половина табака тут же высыпалась на язык — не скоро и отплюешься от этой горечи. Перед ним, вытеснив О'Брайена, возникло лицо Старшего Брата. Так же, как несколько дней назад, Уинстон вынул из кармана монету и взгляделся. Лицо смотрело на него тяжело, спокойно, отечески, — но что за улыбка прячется в черных усах? Свинцовым погребальным звоном приплыли слова:

ВОЙНА ЭТО МИР
СВОБОДА ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ — СИЛА

Перевел с английского В ГОЛЫШЕВ.

(Продолжение следует)

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МИХАИЛ ЛЬВОВ



ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

СОРОК ЛЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ...

«Нас не то чтобы мало осталось, нас почти уже нет...» Строчки эти — из последней прижизненной книги Михаила Львова, и книжка-то вроде бы недавно подарена, и стихи посвящены мне, и вот только что вышел трехтомник стихотворений, а я пишу о своем друге — «был». Пусть все это «в порядке вещей», поколение фронтовиков давно перешагнуло статистическую черту положенного «в среднем» бытия, а все-таки куда ~~не~~ деться от чувства горечи и несправедливости!

Из всех моих ровесников-поэтов он был самым, если можно так сказать, жизнеутверждающим

Он часто повторял в строчках слово «восторг». Однажды в полемическом задоре (полемика — в собственной душе, «с самим собой, с самим собой», как говорил Пастернак) Михаил Львов воскликнул: «Я жить могу в восторге только!» Конечно же, не только, но произнесено именно так.

И тут же попутно вспоминаю его строчки, запавшие в память: «И занимается тоска примериваньем пистолета к размеру твоего виска». Казалось бы, полное, неразрешимое противоречие. Уверяю вас, что ничуть

Или — скажем по-другому — противоречие не в поэте, не в его творчестве, а в самом времени. Я вспоминаю 9 мая 1945 года — какое чувство охватило нас тогда? Ликование! Конечно, с привкусом горечи, конечно, мы помнили обо всех, до этого дня не дошедших, но все-таки врага — и какого! — одолели, родину спасли, и куда деться от восторга, если ты пусть раненный, пусть пробившийся сквозь немислимые мытарства, но живой

А фронтовое братство, великое чувство, которое будет жить, пока последний из нас не покинет эту не чересчур добрую, но такую дорогую землю! А стихи, порой удивительные, долгого звучания которые мы — пусть хоть по одному на брата — все-таки написали! Книги Михаила Львова переполнены посвящениями — для него удача товарища была личной радостью. Не только работа поэта, но и уральского металлурга, якутского певца, московского строителя...

Человек, умеющий открыто радоваться, умеет и открыто негодовать. Все, что мешало бы планете хорошо оборудованной для радости, вызывало яростный гнев Михаила Львова, несдержанный как все в его характере. Иногда он приходил в отчаяние от беспомощности, от невозможности противостоять злу. Но наше поколение как-то не приучено выходить на люди не в форме, что ли. Потому и не удивительно, когда горькие строки обнаруживаются посмертно. Есть у Валерия Брюсова наблюдение — по-моему, точное: «Значение писателя определяется количеством его произведений, оставшихся в рукописи. Посредственности успевают все напечатать».

Одна из книжек Михаила Львова называется «Круглые сутки». Очень точное название, потому что творческая работа поэта была поистине круглосуточной. Не знаю, что ему снилось по ночам, но с момента пробуждения, с первого же мига он жил как поэт, в состоянии ежеминутной поэтической мобилизованности. Друзья хорошо помнят, как вдруг среди разговора, работы редакторской или застолья он выхватывал из кармана или портфеля листки бумаги и быстро-быстро записывал что-то, пришедшее в голову: рифму, строчку, наблюдение, мысль. Достигнув почтенного возраста, он все равно срывался в поездки, командировки, и все, казалось, мало ему было встреч, знакомств, узнаваний.

Я хочу здесь ухватить какие-то главные его черточки, не пытаюсь дать какой-либо художественный анализ или нечто подобное. Вообще не уверен, нужны ли рецензии или характеристики перед стихами, они сами все расскажут. Но о человеке и поэте, с которым дружил, как говорится, без выходных сорок лет, мне рассказать хочется.

Вот всего лишь одна деталь. В тяжкие, гнетущие дни недобро памятного «дела врачей» я из-за ряда обстоятельств оказался без московской прописки. Ситуация опасная: хоть давняя судимость по 58-й — политической — статья была снята с меня на фронте, полной реабилитации я еще не получил. И в этом, казалось, безысходном положении меня выручил Михаил, прописав у себя в Переделкине — отнюдь не на даче, а в комнате барака, где он тогда жил. Я предупредил его, что могут быть всяческие чреватые крупными неприятностями осложнения, тем более для члена партии и работника редакции. Миша отнесся к этому спокойно, и когда действительно два соответствующих товарища пришли справляться, на каком основании я у него прописан (не будучи ни братом ни сватом), он ответил: на основании фронтовой дружбы и поэтического братства. Короче говоря, он меня попросту спас, и счастье, что вскоре обстоятельства времени переменились. Тут не во мне дело — в рискованную минуту сказалась верность товариществу.

«Перед людьми, кому стихами нравлюсь, я виноватым чувствую себя», — сказал он в одном из давних стихотворений. Это не только самохарактеристика Михаила Львова, тут одно из главных ощущений всей русской поэзии — вспомните хотя бы знаменитое «И все же, все же, все же...» Александра Гвардовского.

Понятие «долг» — а Львов часто произносит в строчках это слово — для него не только солдатское, но и всечеловеческое. И чисто российское, хотя от рождения был не Михаилом Львовым, а Рифкатом Маликовым.

Еще слишком свежа утрата, чтоб можно было говорить о Михаиле Львове беспристрастно, сменив горестные заметы сердца холодными наблюдениями ума. Лично мне, думаю, это просто уже не удастся.

Марк СОБОЛЬ.

* * *

Художник не прощает никому —
 Ни богу,
 ни царю
 и ни народу —
 Навязанную временем ему
 Гнетущую
 и злую несвободу.
 И в нем шумит
 иль еле шелестит
 До крайних дней, до самого ухода
 (И всех и проклинает и шерстит)
 Однажды оскорбленная свобода...

1986.

Игра в одни ворота...

Историю
 листал —
 и стало грустно что-то:
 То параноит
 вождь,
 то самодурит
 царь...
 История,
 иль ты —
 игра в одни ворота?
 В воротах —
 сам народ,
 как взмыленный вратарь?

1987.

* *
* *

Я уповаю, уповаю,
Что не окончусь никогда.
Я только тихо убываю,
Как после паводка вода...

И что меня туда, где не был,
Реки уносит благодать,
Хотя все меньше, меньше небо
Я начинаю отражать.

И хоть ничуть, ничуть не грустно
Мне в лодке у прибрежных ив,
Но только меньше, меньше русло
И тише, тише мой разлив...

И все-таки я уповаю,
Что не окончусь никогда...
Я только тихо убываю,
Как после паводка вода.

1986.

* *
* *

Отбрасываю угнетенья
Любые с нынешнего дня.
Не призрак немощный, не тень я,
А всадник, вздыбивший коня.
Еще при мне — и стих и воля,
Еще я в силе на дыбы —
Как тот, что скачет над Невою, —
Взметнуть коня своей судьбы.
Случалось это и с тобою,
Моя беспечная страна,
Бывало нужно нам — с тобою —
Себя взметнуть,
как скакуна.

1987.

Публикация А. А. ГЛОБЫ



ДАНИИЛ АНДРЕЕВ

★

РОЗА МИРА

Фрагменты

РУССКИЙ СВЕДЕНБОРГ

Нам сейчас трудно представить размеры той славы, которой пользовался при жизни Леонид Андреев. Маленькие рассказы «В тумане» и «Бездна» вызывали полемику, за которой следила вся читающая Россия. Библиография прижизненных статей и рецензий о Л. Андрееве насчитывает тысячи названий.

Иногда кажется, что второй сын писателя, Даниил Леонидович, огаренный по своему, быть может не менее отца искупал своей полной безвестностью непомерную литературную славу родителя. В самом деле, за пятьдесят два года жизни (отец прожил сорок восемь лет) Даниил Леонидович смог издать всего одну брошюру да и то в соавторстве с С. Матвеевым, — «Замечательные исследователи горной Средней Азии» (Географгиз, 1946). Когда 30 марта 1959 года его не стало лишь несколько друзей знали, что ушел из жизни замечательный поэт и не менее замечательный философ и историк русской культуры.

Даниил Леонидович родился 2 ноября 1906 года в Берлине где тогда жил его отец. Его рождение стоило жизни матери Александре Михайловне Велигорской которая умерла через две недели от последствий родовой горячки. Восприемником то есть крестным отцом мальчика, был «цеховой малярного цеха Алексей Максимович Пешков», в ту пору, впрочем уже всемирно известный писатель.

Работа о воспитании мальчика легла на сестру матери, Елизавету Михайловну Велигорскую. Она была замужем за московским врачом-терапевтом Филиппом Александровичем Добровым. Открытый для всех хлебосольный дом Добровых был одним из центров литературной и интеллектуальной Москвы. В этом доме, который стал для Даниила родительским домом, он сложился как человек и определились его будущие духовные интересы.

Учеба в частной московской гимназии Репман в Мерзляковском переулке дала неплохое общее образование, которое Даниил продолжил с 1924 года на только что открытых Высших государственных литературных курсах — они помещались сперва в Доме Герцена на Тверском бульваре потом переехали на Сухаревку а потом еще куда-то. Среди преподавателей были два брата Соболевские — Сергей Иванович (вел курс латинского языка) и Алексей Иванович (русский язык). Можно назвать еще Ивана Рукавишников (стиховедение) и Ивана Никаноровича Розанова (история русской поэзии).. Вряд ли было больше одного выпуска курсов, потому что в 1929 году они закрылись. Друзья в частности писатель В. Сафонов помнят Даню (так его называли близкие) человеком не от мира сего, погруженным в поэзию Блока и Белого, вдохновенно читающим «Родине» А. Белого:

Россия, Россия Россия —
Мессия грядущего дня!

Мы мало знаем о жизни Д. Л. Андреева в 30-е годы. Средства к существованию он зарабатывал как художник-шифтовик, писавший объявления, рекламы, наг-

В № 4 «Нового мира» за 1987 год была напечатана подборка стихотворений Даниила Андреева, сопровождавшаяся краткой вступительной заметкой Б. Чукова. Эта публикация вызвала большую читательскую почту. Откликаясь на пожелания читателей, мы публикуем отрывки из философско-исторического трактата Д. Андреева «Роза мира», предварив их более подробным рассказом С. Джимбинова о творческой личности автора и его мировоззрении и комментарием А. Андреевой и Б. Чукова.

писи. Эта работа давала определенную независимость, оставляла много свободного времени. Можно не сомневаться, что Д. Л. Андреев жил интенсивной духовной жизнью. Достаточно прочесть названия некоторых его стихотворений: «Концертный зал», «Художественному театру», «Ленинская библиотека», вошедших в посмертный, очень неполный и до сих пор единственный сборник стихов «Ранью заревою» («Советский писатель». 1975).

Во время войны Даниил Андреев — рядовой 196-й стрелковой дивизии, вместе с которой в числе первых вошел по льду Ладожского озера в блокадный Ленинград. Этому времени посвящена поэма «Ленинградский апокалипсис», до сих пор не опубликованная.

21 апреля 1947 года Даниил Леонидович был арестован по пресловутой 58-й статье — по грем ее подпунктам, включая террор. Теперь мы знаем цену этим обвинениям, но ровно десять лет Д. Л. Андреев пробыл во Владимирской тюрьме. Здесь он продумал и начал записывать главный труд своей жизни — обширный историософский трактат «Роза мира», который обеспечит ему свое место в истории русской культуры и философии.

Мы точно знаем время работы Д. Л. Андреева над «Розой мира» — 24 декабря 1950 — 12 октября 1958 — эти даты стоят в рукописи. Следует добавить, что до 21 апреля 1957 года автор находился в тюрьме и только в течение последних полутора лет мог еще раз записать книгу на свободе. Заканчивая эту невероятную трудоемкую работу, Даниил Леонидович не раз брал силы взаймы у будущего, а долги нужно было платить. После окончания рукописи Д. Л. Андреев прожил всего пять с половиной месяцев, но он умер с сознанием исполненного долга. Это произошло 30 марта 1959 года. Конечно, он понимал, что его рукопись увидит свет не скоро. Она и до сих пор его не увидела. Эфемерный нью-йоркский журнал «Гнозис» опубликовал в конце 70-х годов одну из двенадцати ее книг и вскоре сам прекратил существование. Однако люди, подобные Д. Л. Андрееву мыслят другими временными категориями.

Но обратимся к самой рукописи «Розы мира». Чтение ее способно не только удивить современного читателя но и повергнуть его в состояние шока или по крайней мере недоумения. Поэтому очень важно «нанести на карту» вселенную Даниила Андреева, то есть найти ей место в европейской и русской культуре. Сделать это не так просто потому что на первый взгляд «Роза мира» поражает именно своей «ни на что непохожестью». Чтобы как-то подступиться к этой непохожести, начнем с вопроса о жанре книги. Жанр этот — видение — один из самых грехных и почтенных в европейской культуре. Новый завет завершается книгой «Откровение Иоанна Богослова» которая и стала истоком многочисленных видений в средневековой и более поздней европейской литературе. Но еще ранее, в важнейшей историософской книге Ветхого завета, книге пророка Даниила, мы встречаемся с первым опытом философии истории, и притом данным как видение.

Самое грандиозное видение в мировой литературе конечно «Божественная комедия» Данте. Можно не сомневаться что название книги Д. Андреева — «Роза мира» — восходит к видению гигантской розы, составленной из святых и праведников, которым завершается «Божественная комедия» («Рай», песни 30 — 33). Особенно богата видениями английская литература — от средневековых «Видений о Петре Пахаре» Ленгленда через Эдмунда Спенсера и Джона Мильтона до «Видений дочерей Альбиона» У. Блейка, «Королевы Маб» Шелли, «Тьмы» и «Видения суда» Байрона, «Сна Геронтиуса» кардинала Дж. Ньюмена «Сна про Джона Болла» У. Морриса и т. д. Конечно, сравнивать средневековые видения которые были созерцанием высшей реальности, с вполне условными, ставшими литературным приемом видениями Байрона и Шелли, не совсем правильно. «Роза мира» примыкает к жанру средневековых видений. Д. Л. Андреев пишет обстоятельно о шести основных видениях в период с 1921 по 1949 год. Там же он говорит что видение состоит из трех стадий: озарения, созерцания и осмысления, причем первая из них длится минуты или часы, вторая — недели или месяцы, а третья может длиться и годы.

Д. Л. Андреев был, как в старину говорили, духовидцем визионером. Для людей другого, обычного склада все эти видения объясняются очень просто — зрительными или слуховыми галлюцинациями. Пусть так. Но глядя Д. Л. Андреева они были подлинной реальностью, и в этом отличие «Розы мира» хотя бы от «Властелина колец» Толкиена или других сознательно вымышленных миров.

Замечательный очерк Д. Андреева о Блоке заканчивается такой фразой: «Я видел его (Блока.— С. Д.) летом и осенью 1949 года»,— и это невольно вызывает в памяти образ самого известного духовидца Европы — шведского естествоиспытателя и философа Э. Сведенборга (1688 — 1772). До пятидесяти семи лет Сведенборг занимался добрым десятком наук одновременно и во многих из них сделал открытия, опередившие свое время. Но в 1745 году он имел видение, «открывшее ему небо», и с этого времени и до конца жизни занимался главным образом толкованием книг Библии и разработкой сложной системы духовидения. Чтобы показать его роль в европейской культуре, напомним, что пламенными swedenборгианцами были английские поэты У. Блейк и С. Т. Колридж. Молодой Гёте читал книги Сведенборга, и отголоски этого чтения остались в «Фаусте» в первой сцене (вызывание духа Земли) и в последней (где *Pater segraphicus* позволяет блаженным младенцам смотреть на мир его глазами). Но гораздо важнее, что убежденным swedenборгианцем был писатель, которого мы считаем величайшим реалистом в европейской литературе XIX века, — Онуре де Бальзак. «Его религия — единственная, которую может принять высокий дух», — писал Бальзак К сожалению, главный swedenборгианский роман Бальзака — «Серафита», входящий в важнейший узел «Человеческой комедии» — «Философские этюды», — у нас так никогда и не перевели (хотя перед первой мировой войной анонсировался перевод А. Чеботаревской). Значит, реализм Бальзака если не питался, то хотя бы подсвечивался мистикой Сведенборга.

А были ли русские swedenборгианцы? Были. В России все было, хотя об издании неортодоксальных сочинений шведского философа до 1906 года не могло быть и речи. Его переводили и читали в рукописи. В 1914 году издательство «Мусагет» выпустило книгу Сведенборга «Увеселения премудрости о любви супружественной», переведенную безымянным русским переводчиком еще в 1850 году. Племянник Сергея Тимофеевича Аксакова, Александр Николаевич Аксаков (1832 — 1903), издал в 1863 году (разумеется, не в России, а в Лейпциге) перевод одной из главных книг Сведенборга — «О небесах, о мире духов и об аде», а затем в том же Лейпциге и два собственных исследования о шведском философе.

Д. Л. Андреева со Сведенборгом сближала твердая вера в существование сложной неогматической иерархии добрых и злых сил и в возможность общения с ними.

Если «Фаусту» Гёте предшествует «Пролог на небесах», то в «Розе мира» повествование все время движется в двух планах — земном и запредельном — и в этом смысле отдаленно напоминает даже поэмы Гомера.

Иерархия добрых и злых сил разработана Д. Л. Андреевым самостоятельно, да у Сведенборга и нет ничего напоминающего сложную номенклатуру запредельных действующих лиц, приложенную к «Розе мира» в виде краткого и весьма неполного словаря. Нельзя надвигаться языковому чутью Д. Л. Андреева, создавшего, нет — услышавшего десятки названий. Иногда этимология их прозрачна — Ярусвет, Родомысл, — иногда совершенно загадочна — уицраор, Шаганакар, — но даже эти слова не воспринимаются как насилие над языком, они живут, дышат, и сознание принимает их.

Почти половина «Розы мира» (пять книг из двенадцати) посвящена философии русской истории (Д. Л. Андреев употребляет термин «метаистория», считая обычное историческое объяснение неполным и недостаточным). Десятая книга называется «К метаистории русской культуры». Здесь определяется дар вестничества и отличие его от пророческого дара. Вестник дает почувствовать людям сквозь образы искусства высшую правду. А пророк может действовать и минуя искусство, прямой проповедью и даже образом жизни. Далее Д. Л. Андреев характеризует некоторых главных деятелей русской культуры: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Л. Н. Толстого и А. К. Толстого, Достоевского, Тургенева, Вл. Соловьева и А. Блока.

В этих характеристиках (кстати неравноценных: образ Лермонтова намного рельефнее пушкинского и здесь сказались, наверное, личные пристрастия) поражает вот какая особенность: всегда Д. Л. Андреев с безошибочностью магнитной стрелки выделяет в писателе то, что делает его русским писателем, представителем русской культуры. Так, у Тургенева он выделяет образ Лизы Калитиной из «Дворянского гнезда» и рассказ «Живые мощи». Из всего А. К. Толстого — два-три стихотворения, но каких стихотворения! И как много это дает для настоящего понимания писателя!

Знакомство с «Розой мира» легче всего начать с таких характеристик, с образцов из наименее спорной части большой книги Д. Л. Андреева.

Публикация даже фрагментов «Розы мира» Д. Л. Андреева ставит вопрос, от которого мы так долго отмахивались, — вопрос о существовании и развитии религиозной традиции внутри немигрантской русской культуры нашего времени. Даже о вере А. Ахматовой и Б. Пастернака у нас говорят скороговоркой и спешат пройти дальше, мимо

Только за последний год ситуация стала меняться. Сейчас много и справедливо пишут об убогости нашего официального атеизма, который не изменился с 20-х годов и вообще не обнаружил способности к развитию или углублению. Как тут не вспомнить незабвенных Ивана Бездомного и Берлиоза из «Мастера и Маргариты» Булгакова! Если в 20-е годы все-таки с митрополитом А. Введенским еще мог вести публичные диспуты А. Луначарский, то уже в 30-е годы невозможно себе представить, чтобы кто-то мог полемизировать, скажем, с о. Павлом Флоренским. И дело не только в том, что «образовательный ценз» у оппонентов был бы слишком неравным, — просто с П. Флоренским полемизировали уже по-другому

...У Диогена Лаэртского рассказывается, как драматург Еврипид дал Сократу почитать сочинения Гераклита, чтобы услышать его мнение. Вот отзыв Сократа: «То, что я понял, — превосходно. Очевидно, так же превосходно должно быть и то, чего я не понял. Впрочем, тут нужен делосский водолаз»

В этом отзыве интересны два момента. Человек, которого дельфийский оракул признал самым мудрым из всех греков, не боится признать, что не понял чего-то в сочинении. И второе. Этот человек вовсе не спешит осудить не понятое им за темноту и недоступность. Он только выражает желание самому стать таким же искусным в исследовании глубин, как водолазы с острова Делос.

Нам бы немного от этой доброжелательности и этой терпимости при встрече с трудной и «темной» рукописью, если она того заслуживает. А книга Д. Л. Андреева, конечно, заслуживает.

С. ДЖИМБИНОВ.

Миссия Лермонтова — одна из глубочайших загадок нашей культуры.

С самых ранних лет — неотступное чувство собственного избранничества, какого-то исключительного долга, тяготеющего над судьбой и душой; феноменально раннее развитие бушующего, раскаленного воображения и мощного, холодного ума; наднациональность психического строя при исконно русской стихийности чувств; пронизывающий насквозь человеческую душу суровый и зоркий взор; глубокая религиозность натуры, переключающая даже сомнение из плана философских рассуждений в план богоборческого бунта, — наследие древних воплощений этой монады в человечестве титанов; высшая степень художественной одаренности при строжайшей взыскательности к себе, понуждающей отбирать для публикации только шедевры из шедевров... Все это, сочетаясь в Лермонтове, укрепляет нашу уверенность в том, что гроза вблизи Пятигорска, заглушившая выстрел Мартынова, бушевала в этот час не в одном только Энрофе¹. Это, настигнутая общим Врагом, оборвалась не довершенной миссией того, кто должен был создать со временем нечто, превосходящее размерами и значением догадки нашего ума, — нечто и в самом деле титаническое.

Великих созерцателей «обеих бездн», бездны горнего мира и бездны слоев демонических, в нашей культуре я до сих пор знаю три: Иоанн Грозный, Лермонтов и Достоевский. Четвертым следовало бы назвать Александра Блока, если бы не меньший, сравнительно с этими тремя, масштаб его личности.

Если и не приоткрыть завесу над тайной миссии, не свершенной Лермонтовым, то хотя бы угадать ее направление могут помочь метаисторическое созерцание и размышление о полярности его души.

Такое созерцание приведет к следующему выводу:

В личности и творчестве Лермонтова различаются без особого

¹ Объяснения авторской терминологии даны в конце публикации.

усилия две противоположных тенденции. Первая: линия богоборческая, обозначающаяся уже в детских его стихах и поверхностным наблюдателям кажущаяся видоизменением модного байронизма. Если байронизм есть противопоставление свободной, гордой личности скованному цепями условностей и посредственности человеческому обществу то конечно, здесь налицо и байронизм. Но это — поверхность; глубинные же, подпочвенные слои этих проявлений в творческих путях обоих поэтов весьма различны. Бунт Байрона есть, прежде всего, бунт именно против общества. Образы Люцифера, Каина, Манфреда суть только литературные приемы, художественные маски. Носитель гениального поэтического дарования, Байрон, как человек, обладал скромным масштабом; никакого воплощения в человечестве титанов у него в прошлом не было. Истинному титану мечта о короне Греции показалась бы жалкой и мелкой детской игрой, а демонические позы, в которые любил становиться Байрон, вызвали бы у него лишь улыбку, если он не усмотрел бы в них действительных внушений демонических сил. А такие внушения были, и притом весьма настоячивые. Жгучее стремление к славе и к власти, постоянный маскарад в жизни, изменчивость итальянских приключений — все это указывает отнюдь не на титаническую природу этого человека, а только на его незащищенность от демонической инвольтации. А так как общая одаренность его натуры была огромна, а фон, на котором он действовал — общество того времени, — совершенно тускл, то маскарад этот мог ввести в заблуждение не только графиню Гвиччиоли, но и настоящего титана, каким был Гёте. Байрон амистичен. Его творчество являет собою, в сущности, не что иное, как английский вариант того культурного явления, которое на континенте оформилось в идеологической революции энциклопедистов: революции скептического сознания против, как сказал бы Шпенглер, «великих форм древности». У Лермонтова же его бунт против общества является не первичным, а производным: этот бунт вовсе не так последователен, упорен и глубок, как у Байрона, он не уводит поэта ни в добровольное изгнание, ни к очагам освободительных движений. Но зато лермонтовский Демон не литературный прием, не средство эпатировать аристократию или буржуазию, а попытка художественно выразить некий глубочайший, с незапамятного времени несомый опыт души, приобретенный ею в предсуществовании от встреч со столь грозной и могущественной иерархией, что след этих встреч проступал из слоев глубинной памяти поэта на поверхность сознания всю его жизнь. В противоположность Байрону Лермонтов — мистик по преимуществу. Не мистик-декадент поздней, истощающейся культуры, мистицизм которого предопределен эпохой, модой, социально-политическим бытием, а мистик, если можно так выразиться, милостью Божьей; мистик потому, что внутренние его органы — духовное зрение, слух и глубинная память, а также дар созерцания космических панорам и дар постижения человеческих душ — приоткрыты с самого рождения и через них в сферу сознания просачивается вторая реальность: реальность, а не фантастика. Это превосходно показал на анализе лермонтовских текстов Мережковский — единственный из критиков и мыслителей, который в суждениях о Лермонтове не скользил по поверхности, а коснулся трансфизического корня вещей (Д. С. Мережковский, «Лермонтов»).

Лермонтов до конца своей жизни испытывал неудовлетворенность своей поэмой о Демоне. По мере возрастания зрелости и зоркости он не мог не видеть, сколько частного, эпохального, человеческого случайно-автобиографического вплелось в ткань поэмы, снижая ее трансфизический уровень, замутняя и измельчая образ, антропоморфизировав сюжет. Очевидно, если бы не смерть, он еще много раз возвращался бы к этим текстам и в итоге создал бы произведение, в котором от известной нам поэмы осталось бы, может быть, несколько десятков строк. Но дело в том, что Лермонтов был не только великий

мистик: он был живущий всею полнотою жизни человек и огромный — один из величайших у нас в XIX веке — ум. Богоборческая тенденция проявлялась у него поэтому не только в слое мистического опыта и глубинной памяти, но и в слое сугубо интеллектуальном, и в слое повседневных действенных проявлений, в жизни. Так следует понимать многие факты его внешней биографии: его кутежи и бретерство, его юношеский разврат — не пушкински веселый, а угрюмый и тяжкий, его поведение с теми женщинами, перед которыми он представлял то Печорина, то почти что Демона, и даже, может быть, его воинское удачество. (К двадцати пяти годам все эти мечтания Лермонтова кончились, утратили для него всякий интерес и были изжиты, в то время как Байрон продолжал быть игралищем всевозможных сил до конца своей тридцатипятилетней жизни.) В интеллектуальном же плане эта бунтарская тенденция приобрела вид холодного и горького скепсиса, вид скорбных, разъедающе-пессимистических раздумий теща человеческих душ. Такою эта тенденция сказалась в «Герое нашего времени», в «Сашке», в «Сказке для детей» и т. д.

И наряду с этой тенденцией в глубине его стихов, с первых лет до последних, тихо струится, журча и поднимаясь порою до неповторимо дивных звучаний, вторая струя: светлая, задушевная, теплая вера. Надо было утратить всякую способность к пониманию духовной реальности до такой степени, как это случилось с русской критикой последнего столетия, чтобы не уразуметь черным по белому написанных, прямо в уши кричащих свидетельств об этой реальности в лермонтовских стихах. Надо окаменеть мыслью, чтобы не додуматься до того, что Ангел, несший его душу на землю и певший ту песнь, которой потом «заменить не могли ей скучные песни земли», есть не литературный прием, как это было бы у Байрона, а факт. Хотелось бы знать: в каком же ином поэтическом образе следовало бы ждать от гения и вестника свидетельств о Д а и м о н е, давно сопутствующем ему, как не именно в таком? — Нужно быть начисто лишенным религиозного слуха, чтобы не почувствовать всю подлинность и глубину его переживания породившего лирический акафист «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...», чтобы не уловить того музыкально-поэтического факта, что наиболее совершенные по своей небывалой поэтической музыкальности строфы Лермонтова говорят именно о второй реальности, просвечивающей сквозь зримую всеми: «Ветка Палестины», «Русалка», изумительные строфы о Востоке в «Споре», «Когда волнуется желтеющая нива...», «На воздушном океане...», «В полдневный жар в долине Дагестана...», «Три пальмы», картины природы в «Мцыри», в «Демоне» и многое другое.

Очевидно, в направлении еще большей, предельной поляризации этих двух тенденций, в их смертельной борьбе, в победе утверждающего начала и в достижении наивысшей мудрости и просветленности иворческого духа и лежала несвершенная миссия Лермонтова. Но дело в том, что Лермонтов был не «художественный гений вообще» и не только вестник, — он был русским художественным гением и русским вестником, и в качестве таковых он не мог удовлетвориться формулой «слова поэта суть дела его». Вся жизнь Михаила Юрьевича была, в сущности, мучительными поисками, к чему приложить разрывающую его силу. Университет, конечно, оказался тесен. Богемная жизнь литераторов-профессионалов того времени была безнадежно мелка. Представить себе Лермонтова замкнувшимся в семейном кругу, в личном благополучии, не может, я думаю, самая благонамеренная фантазия. Военная эпопея Кавказа увлекла было его своей романтической стороной, обогатила массой впечатлений, но после «Валерика» не приходится сомневаться, что и военная деятельность была осознана им как нечто, в корне чуждое тому, что он должен совершить в жизни. Но что же? Какой жизненный подвиг мог найти для себя человек такого размаха и такого круга идей, если бы его жизнь про-

длилась еще на сорок или пятьдесят лет? Представить Лермонтова, примкнувшего к революционному движению 60-х и 70-х годов, так же невозможно, как вообразить Толстого, в преклонных годах участвующим в террористической организации, или Достоевского — вступившим в социал-демократическую партию. — Поэтическое уединение в Тарханах? Но этого ли требовали его богатырские силы? — Монастырь, скит? — Действительно: ноша затвора была бы по плечу этому духовному атлету, на этом пути сила его могла бы найти для себя точку приложения. Но православное иночество не совместимо с художественным творчеством того типа, тех форм, которые оно приобрело в наши поздние времена, а от этого творчества Лермонтов, по-видимому, не отрекся бы никогда. Возможно, что этот титан так и не разрешил бы заданную ему задачу: слить художественное творчество с духовным делом и с подвигом жизни, превратиться из вестника в пророка. Но мне лично кажется более вероятным другое: если бы не разразилась пятигорская катастрофа, со временем русское общество оказалось бы зрителем такого — непредставимого для нас и не повторимого ни для кого — жизненного пути, который привел бы Лермонтова-старца к вершинам, где этика, религия и искусство сливаются в одно, где все блуждания и падения прошлого преодолены, осмыслены и послужили к обогащению духа и где мудрость, прозорливость и просветленное величие таковы, что все человечество взирает на этих владык горных вершин культуры с благоговением, любовью и с трепетом радости.

В каких созданиях художественного слова нашел бы свое выражение этот жизненный и духовный опыт? Лермонтов, как известно, замыслил роман-трилогию, первая часть которой должна была протекать в годы пугачевского бунта, вторая — в эпоху декабристов, а третья — в 40-х годах. Но эту трилогию он завершил бы, вероятно, к сорокалетнему возрасту. А дальше?.. Появился ли бы цикл «романов идей»? Или эпопея-мистерия типа «Фауста»? Или возник бы новый, невиданный жанр?.. Так или иначе, в 70-х и 80-х годах прошлого века Европа стала бы созерцательницей небывалого творения, восходящего к ней из таинственного лона России <...>

Общеизвестно, что в ранней юности, в пору своих еще совершенно наивных и расплывчатых поэтических вдохновений, ничем оригинальным не отмеченных, Блок познакомился не столько с философией, сколько с поэзией Владимира Соловьева. Самого Соловьева он успел повидать только один раз и, кажется, даже не был представлен знаменитому тогда философу. Об этой встрече Блок сам рассказывает в статье «Рыцарь-монах», малоизвестной, но в метаисторическом отношении весьма значительной. Дело происходило на панихиде и похоронах какого-то литературного или общественного деятеля в серый, зимний столичный день. Молодой, никому еще не ведомый поэт не мог, конечно, отвести глаз с фигуры властителя его дум, фигуры, поражавшей людей и с гораздо меньшей восприимчивостью. Но встретились они глазами, кажется, только раз; синие очи духовидца Звенты-Свентаны остановились на прозрачных серо-голубых глазах высокого статного юноши с кудрявою, гордо приподнятой головой. Бог знает, что прочитал Соловьев в этих глазах; только взор его странно замедлился. Если же вспомнить горячую любовь Блока к стихам Соловьева и необычайный пиетет к его личности, то покажется естественным, чтобы в момент этой первой и единственной между ними встречи глаза будущего творца «Стихов о Прекрасной Даме» отразили многое, столь многое, что великий мистик без труда мог прочитать в них и заветную мечту, и слишком страстную душу, и подстерегающие ее соблазны сладостных и непоправимых подмен.

Рассказывая об этой встрече, Блок явно недоговаривает. Свойственная ему скромность и естественное нежелание обнажать в журнальной статье свое слишком интимное и неприкосновенное помешали ему высказать до конца смысл этой встречи глаз под редкими перепархивающими снежинками петербургского дня. Очевидно только то, что встреча эта осталась в памяти Блока на всю жизнь и что он придавал ей какое-то особое значение.

Через три года в книжных магазинах появились «Стихи о Прекрасной Даме». Соловьева — единственного человека, который мог бы понять эти стихи до последней глубины, поддержать своего молодого последователя на трудном пути, предупредить об угрожающих опасностях, — уже не было в живых. Но литературною молвой Александр Блок был признан как преемник и поэт-наследник пророка Вечной Женственности.

Не приходится удивляться тому, что ни критика, ни публика того времени не смогли осилить, не сумели осмыслить мистическую двойственность, даже множественность, уже отметившую этот первый блоковский сборник. Слишком еще был нов и неизведан мир этих идей и чувств, этих туманных иерархий, хотя каждому казалось, будто он отлично разгадывает этот поэтический шифр, как игру художественными приемами.

Между тем анализ текста позволяет с точностью установить и здесь наличие трех существенно различных пластов.

Прежде всего, в этом сборнике останавливают поэтический слух мотивы, начинающие порою звучать гордым и мужественным металлом, интонациями торжественного самоутверждения:

...Мне в сердце вонзился
Красноватый уголь пророка!

Я их хранил в приделе Иоанна,
Недвижный страж, — хранил огонь лампад.
И вот — Она, и к Ней — моя Осанна —
Венец трудов — превыше всех наград.

Но не космическими видениями, не чистым сверхмирным блистанием, а смутно и тихо светится здесь луч Женственности. Он проходит как бы сквозь туманы, поднимающиеся с русских лугов и озер, он окрашивается в специфические оттенки метакультуры российской. Самое наименование — Прекрасная Дама — еще говорит об отдаленных реминисценциях Запада: недаром Блоку так близок был всегда мир германских легенд и романтизм средневековья. Но нет: эти отблески Европы не проникают глубже наименования. Образ той, кто назван Прекрасной Дамой, обрамляется русскими пейзажами, еловыми лесами, скитскими лампадами, дремотной поэзией зачарованных теремов. Старая усадебная культура, мечтательная, клонящаяся к упадку, но еще живая, дышит в этих стихах — поздняя стадия этой культуры, ее вечерние сумерки. Если бы о Прекрасной Даме писал не двадцатидвухлетний юноша, а тридцатилетний или сорокалетний мастер слова, господин собственных чувств и аналитик собственных идей, он, вероятно, дал бы Ей даже другое имя и мы увидели бы наиболее чистое и ясное отображение одной из Великих сестер: идеальной Соборной Души российской сверхнарода. Именно вследствие этого Андрей Белый, Сергей Соловьев, Сергей Булгаков не могли признать в Прекрасной Даме Ту, Кому усопший духовидец посвятил свои «Три свидания», ничего еще не зная о таких иерархиях, как Навна, они недоумевали перед слишком человеческими, слишком национальными одеждами Прекрасной Дамы, чуждыми мирам святой Софии.

Но есть в стихах этих еще и другой пласт, и многопытного Соловьева он заставил бы тревожно насторожиться. Сборник писался в пору влюбленности Блока в его невесту, Любовь Дмитриевну Менделееву. Голос живой человеческой страсти лишь вуалируется мато-

выми, мягкими звучаниями стиха; постоянное же переплетение томительно-влюбленного мотива с именем и образом Прекрасной Дамы окончательно погружает все стихи в мглистую, тревожную и зыбкую неопределенность. Чувствуется, что эту неопределенность сам поэт даже не сознает, что он весь — в ней, внутри ее, в романтическом смешении недоговоренного земного с недопроявившимся небесным.

Недопроявившимся в этом и заключается корень несчастья. Взгляните на портреты молодого Блока: прекрасное, гордое, полное обаяния, но как бы взирающее из глубины сна лицо; печать какой-то неотчетливости, что-то грезящее, почти сомнамбулическое. Это отмечалось уже и некоторыми из его современников. Да: водимый, как сомнамбула, своим Даймоном во время медиумического сна, <...> он, пробуждаясь и творя, смешивал отблески воспоминаний с кипевшими в его дневной жизни эмоциями влюбленности и страсти, а свойственная его строю души бесконтрольность мешала ему заметить, что он — на пути к совершению не только опасного и недолжного, но и кощунственного: к допуску в культ Вечно Женственного чисто человеческих, сексуальных, стихийных струй, то есть к тому, что Владимир Соловьев называл «величайшей мерзостью».

Существует нечто вроде «души» лирического произведения — песни, романса, гимна (конечно, я имею в виду лишь небольшое их число: критерий — значительность и талантливость). Эти тонко-материальные сгущения пребывают в различных слоях, в зависимости от своего содержания. Ни малейшей антропоморфности, разумеется, в их обликах нет; скорее они близки к волокнам тумана различных оттенков и музыкального звучания. Для них возможно просветление, совершающееся параллельно просветлению их творца; впоследствии они включаются в объем его личности. Те же из них, которые лучезарны с самой минуты их создания, воздействуют озаряющим и поднимающим образом и на того, кто их создал, и на тех, кто их воспринял. Но стихи, исполненные уныния и отчаяния либо вызывающие к низшим инстинктам похоти, зависти, ненависти, ничем не озаренной чувственности, не только понижают душевный уровень многих из тех, кто их воспринял, но и становятся проклятием для их творца. На его пути неизбежны будут такие излучины, когда эти души стихов, мутные, сладострастные, злобные и липкие, обступят клубами его собственную душу, заслоняя от нее всякий свет и требуя в нее допуска для своих извивающихся и присасывающихся волокон. Строки Блока в поздний период его жизни:

Молчите, проклятые книги!
Я вас не писал никогда!—

выражение отчаянной попытки избавиться от последствий того, что он создавал сам.

Миновало еще три года. Отшумела первая революция. Был окончен университет, давно определилась семейная жизнь. Но — сперва изредка, потом все чаще — вино и омуты ночного Петербурга начинали предрешать окраску месяцев и лет.

И вот из печати выходит том второй: «Нечаянная Радость».

Название красивое, но мало подходящее. Нет здесь ни Нечаянной радости (это наименование одной из чтимых чудотворных икон Божией Матери), ни просто радости, ни вообще чего бы то ни было нечаянного. Все именно то, чего следовало ждать. Радостно только одно: то, что появился колоссальный поэт, какого давно не было в России, но поэт с тенями тяжкого духовного недуга на лице.

Только наивные люди могли ожидать от автора «Стихов о Прекрасной Даме», что следующим его этапом, и притом в двадцатипятилетнем возрасте, будет решительный шаг к некоей просветленности и солнечной гармоничности. Как будто груз чувственного и неизжи-

того, уже вторгшегося в культ его души, мог исчезнуть неизвестно куда и отчего за три года жизни с молодой женой и слушанья цыганских песен по ресторанам.

Когда читаешь критические разборы этих стихов Андреем Белым или Мережковским, то есть теми, от кого можно было бы ждать наибольшей чуткости и понимания, сперва охватывает недоумение, потом чувство горечи, а под конец — глубокая грусть. Какое отсутствие бережности, дружественности, любви, даже простой человеческой деликатности! Точно даже злорадство какое-то сквозит в этих ханжеских тирадах по поводу «измены» и «падения» Блока. И все облечено в такой нагло поучающий тон, что даже ангел на месте Блока крикнул бы, вероятно: «Падаю — так падаю. Лучше быть мытарем, чем фарисеем».

И все же измена действительно совершилась. И по существу дела каждый из этих непрошенных судей был прав.

Блок не был «Рыцарем бедным». Видение, «непостижное уму», если и было ему явлено, то в глубоком сомнамбулическом сне. Для того чтобы «не смотреть на женщин» и «не поднимать с лица стальной решетки», он был слишком молод, здоров, физически силен и всегда испытывал глубокое отвращение к воспитанию самого себя: оно казалось ему насилием над собственными, неотъемлемыми правами человека. Низшая свобода, свобода самости, была ему слишком дорога. Мало того: это был человек с повышенной стихийностью, сильной чувственностью и, как я уже отмечал, бесконтрольностью. Преждевременные устремления к бесплотному повлекли за собой бунт стихии. Естественность такой эволюции была бы, конечно, ясна Соловьеву, если бы он знал стихи о Прекрасной Даме. Не ее ли предугадал он в ту короткую минуту, когда погрузил взор в дремотно-голубые глаза неизвестного юноши-поэта?

Однако эволюция эта была естественна, но не неизбежна. Вряд ли можно всецело оправдывать кого бы то ни было ссылками на слабость характера или на нежелание разобраться в самом себе. Блок не был человеком гениального разума, но он был достаточно интеллигентен и умен, чтобы проанализировать и понять полярность, враждебность, непримиримость влекущих его сил. Поняв же, он мог по крайней мере расслоить их проекции в своей жизни и в творчестве отдать дань стихийному, но не смешивать смертельного яда с причастным вином, не путать высочайший источник Божественной премудрости и любви с Великой блудницей.

Во втором и потом в третьем томе стихов художественный гений Блока достигает своего зенита. Многие десятки стихотворений принадлежат к числу ярчайших драгоценных камней русской поэзии. Звучание стиха таково, что с этих пор за Блоком упрочивается приоритет музыкальнейшего из русских поэтов. Появляется даже нечто превышающее музыкальность, нечто околдовывающее, завораживающее, особая магия стиха, какую до Блока можно было встретить только в лучших лирических созданиях Лермонтова и Тютчева. Но сам Блок говорил, что не любит людей, предпочитающих его второй том. Неудивительно! Нельзя жлать от человека, затаившего в душе любовь, чтобы его радовало поклонение людей, восхваляющих его измену.

И в «Нечаянной Радости» и в «Земле в снегу» звучит, разрастаясь и варьируясь, щемяще-тревожный, сладостный и пьянящий мотив: жгучая любовь — и мистическая и чувственная — к России. Кто, кроме Блока, посмел бы воскликнуть:

О, Русь моя! Жена² моя! До боли
Нам ясен долгий путь!

² Здесь и далее разрядка в цитатах автора.

Эта любовь взмывает порой до молитвенного экстаза — Куликово поле, трубные клики лебедей, белые туманы над Непрядвой...

И с туманом, над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла, в одежде свет струящей,
Не спугнув коня.

Серебром волны блеснула другу
На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу
На моем плече.

И когда, наутро, гучей черной
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.

Да ведь это Навна! Кто и когда так ясно, так точно, так буквально писал о Ней, о великой вдохновительнице, об идеальной душе России, об ее нисхождении в сердца героев, в судьбы защитников родины, ее поэтов, творцов и мучеников?

Какие бы грехи ни отягчили корму того, кто создал подобные песнопения, но гибель духовная для него невозможна, даже если бы в какие-то минуты он ее желал: рано или поздно его бессмертное будет извлечено Соборной Душою народа из любого чистилища.

Да... но и нерукотворный лик в щите остаться «светлым навсегда» не сможет.

И дальше путь, и месяц выше,
И звезды меркнут в серебре.
И тихо озарились крыши
В ночной деревне, на горе.

Иду, и холодеют росы,
И серебрятся о тебе.
Все о тебе, расплетшей косы
Для друга тайного, в избе.

Дай мне пахучих, душистых зелий
И ядом сладким заморочь,
Чтоб, раз вкусив твоих веселий,
Навеки помнить эту ночь.

О ком это, кому это? Раскрываются широкие дали, затуманенные пеленой осенних дождей; пустынные тракты, притаившиеся деревни со зловещими огнями кабаков; душу охватывают тоска и удаль, страстная жажда потеряться в этих просторах, забыться в разгульной, в запретной любви — где-то у бродяжких костров, среди полуночных трав, рдеющих колдовскими огнями.

Любые берлоги утробной, кромешной жизни, богохульство и бесстыдство, пьяный омрак и разврат —

Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Не только такой, но уже именно такой. Слышатся бубенцы бешеных троек, крики хмельных голосов, удалая песня — то ли разгул, то ли уже разбой, — и она, несущаяся и ведовская, в колдовской пляске:

...Каким это светом
Ты дразнишь и манишь?
В кружении этом
Когда ты устанешь?

Чьи песни? И звуки?
Чего я боюсь?
Щемящие звуки
И — вольная Русь?

Да, Русь, но какая? Что общего с Навной в этой разбойной, в этой бесовской красе?

Где буйно заметает выюга
До крыши — утлое жильё,
И девушка на злого друга
Под снегом точит лезвее.

Закружила плясками, затуманила зельями, заморочила ласками, а теперь точит нож.

Не Навна, не Идеальная Душа, а ее противоположность.

Сперва пел о Навне, принимая ее в слепоте за Вечную Женственность. Теперь поет о Велге, принимая ее за Навну в своей возросшей слепоте.

Но это еще только начало. Страстная, не утолимая никакими встречами с женщинами, никаким разгулом, никаким растворением в народе любовь к России, любовь к полярно-враждебным ее началам, мистическое сладострастие к ней, то есть сладострастие к тому, что по самой своей иноприродной сути не может быть объектом физического обладания, — все это лишь одно из русел его душевной жизни в эти годы. А параллельно с ним возникает и другое.

Сперва — двумя-тремя стихотворениями, скорее описательными, а потом все настойчивее и полновластнее, от цикла к циклу, вторгается в его творчество великий город. Это город Медного Всадника и Расстреливаемых колонн, портовых окраин с пахнувшими морем переулками, белых ночей над зеркалами исполинской реки, но это уже не просто Петербург, не только Петербург. Это — тот трансфизический слой под великим городом Энрофа, где в простертой руке Петра может плясать по ночам факельное пламя; где сам Петр или какой-то его двойник может властвовать в некие минуты над перекрестками лунных улиц, скликая тысячи безликих и безымянных к соитию и наслаждению; где сфинкс «с выщербленным ликом» уже не каменное изваяние из далекого Египта, а царственная химера, сотканная из эфирной мглы... Еще немного — и цепи фонарей станут мутно-синими, и не громада Исаакия, а громада в виде темной усеченной пирамиды — жертвенник-дворец-капище — выступит из мутно-лунной тьмы. Это — Петербург нездешний, невидимый телесными очами, но увиденный и исхоженный им не в поэтических вдохновениях и не в ночных путешествиях по островам и набережным вместе с женщиной, в которую он сегодня влюблен, но в те ночи, когда он спал глубочайшим сном, а кто-то водил его по урочищам, пустырям, расщелинам и व्यюжным мостам инфра-Петербурга.

Я говорил уже: среди инозначных слоев Шаданакара есть один, обиталище могучих темных стихийалей женственной природы: демониц великих городов. Они вампирически завлекают человеческие сердца в вихреобразные воронки страстной жажды, которую нельзя утолить ничем в нашем мире. Они внушают томительную любовь-страсть к великому городу, мучительную и неотступную, как подлинное чувственное влечение. Это другой вид мистического сладострастия — сладострастие к городу, и притом непременно ночному, порочному, либо к удушливо-знойному городу летних предвечерий, когда даже шорох переливающихся по улицам толп внушает беспредметное вожделе. Возникают мимолетные встречи, чадные мутные ночи, но утоления они не дают, а только разжигают. Из этой неутолимой жажды, из запредельного сладострастия возникает образ для каждого свой, но тот самый, который всякому, прошедшему этим путем, встречался реально в трансфизических странствиях, забытых полностью или на девять десятых и кажущихся сном. О, не Даймон, совсем уже не Даймон водил его по кругам этих соблазнов: кто-то из обитательниц Дуггура подменил Даймона собой, кто-то из мелких демониц внушал ему все большее и большее сладострастие, показывая ему такие формы ду-

шевного и телесного — хотя и не физического — разврата, какие возможны в Дуггуре — и нигде более.

Я не уверен, что «каждый вечер, в час назначенный», мечтая о своем за уединенным столиком ресторана, Блок видел иначе, как только в мечте, «девичий стан, шелками схваченный», и как «без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна». Но мечтал он о ней и отравлял свои дни и ночи неутолимимым томлением потому, что смутно помнил о встречах с нею в Дуггуре.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Да, воистину: незнакомка. Пока не раскрылась глубинная память, пока не вспомнился со всею отчетливостью Дуггур, до тех пор невозможно понять, кто это!.. Но ни падениями, ни разгулом, ни вином эта память не раскроется; и от тоски по нестерпимо-влекущему, но в Энрофе отсутствующему, от сладострастия к той, кого нельзя забыть и нельзя до конца припомнить, спешешь за призраком «от одной страстной ночи к другой», потому что вино дает хоть иллюзию ее близости, а физические сближения — хоть иллюзию обладания необладаемым.

Смутными воспоминаниями о Дуггуре насыщена вся «Снежная маска». Едва начинается любое из этих стихотворений, и вдруг уже реальный план сдвинулся, мгновенное колебание всех тканей стиха — и вот уже пейзаж другого, смежного мира, другой Невы, других выюг, других громад, по берегам — каких-то ледяных громад с пещерами и гротами, каких-то полетов на «пасмурных конях», по воздушным пучинам другого слоя: инфра-Петербурга.

Нет исхода из выюг,
И погибнуть мне весело.
Завела в очарованный круг,
Серебром своих выюг занавесила...

«Снежная маска» — шедевр из шедевров. Совершенство стиха завораживающее, форма каждого стихотворения в отдельности и всего цикла в целом бесподобна, ритмика неповторима по своей выразительности, эмоциональный накал достигает предела. Здесь, как и во многих стихах последующего тома, Блок — величайший поэт со времен Лермонтова. Но возрастание художественного уровня идет параллельно линии глубокого духовного падения. Более того: каждое такое стихотворение — потрясающий документ о нисхождении по лестнице подмен, это купленное ценой гибели предупреждение.

Спутанности, туманности, неясности происходящего для самого автора, которые в какой-то мере смягчали ответственность за цепь подмен, совершенных по отношению к Душе России, здесь уже нет. Гибельность избранного пути осознана совершенно отчетливо.

Что быть бесстрастным? Что — крылатым?
Сто раз бичуй и укори,
Чтоб только быть на миг проклятым
С тобой — в огне ночной зари!

Вряд ли сыщется в русской литературе другой документ, с такой силой и художественным совершенством говорящий о жажде быть проклятым, духовно отвергнутым, духовно погибшим, о жажде саморазрушения, своего рода духовного самоубийства. И что тут можно сделать,

Если сердце хочет гибели,
Тайно просится на дно?

Сперва — тайно, а потом уже и совершенно явно. Любовь к Н. Н. Волоховой (а «Снежная маска» посвящена именно ей) оказывается только своего рода магическим кристаллом: с невероятной настойчивостью следуют друг за другом такие образы женственного, какие неприменимы ни к какой женщине в нашем физическом слое. Они возрастают в своей запредельности, в своей колоссальности от стихотворения к стихотворению, пока наконец —

В ледяной моей пещере —
Вихрей северная дочь!

Из очей ее крылатых
Светит мгла.
Трехвенечная тиара
Вкруг чела.

Стерегите, злые звери,
Чтобы ангелам самим
Не поднять меня крылами,
Не вскружить меня хвалами,
Не пронзить меня Дарами
И Причастием своим!

У меня в померкшей келье —
Два меча.

У меня над ложем — знаки
Черных дней.

И струит мое веселье
Два луча:

То горят и дремлют маки
Злых очей.

Уж, кажется, яснее ясного, что это за злые очи! Неужто и после этого придет в голову хоть одному чуткому исследователю, будто центральный женский образ «Снежной маски» — конкретная женщина, любимая поэтом, актриса такого-то театра Н. Н. Волохова? Тонкая, умная, благородная Волохова, по-видимому, никогда (насколько можно судить по ее не опубликованным еще воспоминаниям) не могла понять до конца пучин этой любви к ней, понять, кого любил Блок в ней, за ней, сквозь нее. Это ее непонимание сознавал, кажется, и сам Блок:

Меж всех — не знаешь ты одна,
Каким раденьям ты причастна,
Какою верой крещена

Ведь не попусту же, в конце концов, это многозначительное заглавие: «Снежная м а с к а»! Недаром же все время проходит мотив маскарада, мотив женского лица, скрытого от взоров. Можно сказать в некотором смысле, что для Блока сама Волохова была маскою на лице женственной сущности, неудержимо увлекавшей его то ли в вихри звезд и вьюг, то ли вниз и вниз в трясину Дуггура.

Разумеется, не на каждое стихотворение Блока следует смотреть под таким углом зрения. Многие чудесные стихи его совершенно свободны от всякой душевной мути. Но я говорю здесь об основном его пути, о линии его жизни.

В глубоких сумерках собора
Прочитан мною свиток твой;
Твой голос — только стон из хора,
Стон протяженный и глухой

Таким обращением некой женственной сущности к поэту начинается одно из стихотворений, которое Блок даже не решился напечатать. Начало, перекликающееся со стихами его юности, когда вхо-

дил он «в темные храмы», совершая «бедный обряд»: там ждал он «Прекрасной Дамы в мерцании красных лампад». Не Прекрасная ли Дама и сейчас мерцает своему погибающему певцу? Что говорит она? Чем утешит, чем обнадежит? Но голос звучит холодно и сурово, едва доносясь из других, далеких, инозначных слоев:

И испытать тебя мне надо;
Их много, ищущих меня,
Неповторяемого взгляда,
Неугасимого огня.

И вот тебе ответный свиток
На том же месте, на стене,
За то, что много страстных пыток
Узнал ты на пути ко мне.

• • • • •

Твои стенанья и мученья,
Твоя тоска — что мне до них?
Ты — только смутное виденье
Миров далеких и глухих.

Как будто бы очень похоже на Прекрасную Даму. Прекрасной Даме, госпоже небесных чертогов, человек, может быть, тоже кажется видением миров далеких и глухих. Говорящая теперь утверждает, что его страдание, томление и тоска были о ней. Но о ком же они были, как не о Прекрасной Даме? Значит, мы слышим, наконец, в этих стихах или голос Прекрасной Дамы, или кого-то, говорящего ее голосом. Так что же начертывает она в «ответном свитке» сердцу, ее ищущему?

Кто я, ты долго не узнаешь,
Ночами глаз ты не сомкнешь,
Ты, может быть, как воск, истаешь,
Ты смертью, может быть, умрешь

• • • • •

И если отдаленным эхом
Ко мне дойдет твой вздох «люблю»,
Я громовым холодным смехом
Тебя, как плетью, опалю!

Так вот она кто! Пускай остается неизвестным ее имя — если имя у нее вообще есть, — но из каких мировых провалов, из каких инфрафизических пустынь звучит этот вероломный, хищный голос, — это, кажется яснее ясного. Госпожа... да, Госпожа, только не небесных чертогов, а других, похожих на ледяные, запорошенные серым снегом преисподних. Это еще не сама Великая Блудница, но одно из исчадий, царящих на ступенях спуска к ней подобно Велге.

«Там человек сгорел» — эту строку Фета взял он однажды эпиграфом к своему стихотворению:

Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельный пожар!

Но в чем же, собственно, заключался пожар жизни и что в нем было гибельного? Блок всю жизнь оставался благородным, глубоко порядочным, отзывчивым, добрым человеком. Ничего непоправимого, непрощаемого, преступного он не совершил. Падение выражалось во внешнем слое его жизни, в плане деяний только цепью хмельных вечеров, страстных ночей да угаром цыганщины. Людям, скользящим по поверхности жизни, даже непонятно: в сущности, какое тут уж такое будто бы ужасное падение, о какой гибели можно говорить? Но понять чужое падение как падение могут только те, кому самим есть откуда падать. Те же, кто сидит в болоте всю жизнь, воображают, что это в порядке вещей и для всех смертных. Когда вчи-

таешься в стихи Блока, как в автобиографический документ, как в исповедь, тогда уяснится само собой, что это за падение и что за гибель.

Третий том — это, в сущности, уже пепелище. Душевное состояние поэта ужасно.

...Ты изменил давно,
Бесповоротно.

Непробудная ночь плотно обняла все — и землю, и то, что под ней, и то, что свыше. Одна беспросветная страница сменяется другой, еще крошечнее. Ключья, уцелевшие в памяти от трансфизических странствий, переплетаются с повседневностью в единый непрерывный кошмар. Вспоминается стих Корана: «Один мрак глубже другого в глубоком море».

Не таюсь я перед вами,
Посмотрите на меня:
Я стою среди пожарищ,
Обожженный языками
Преисподнего огня

Вот в эти-то годы и была написана Блоком коротенькая статья-воспоминание «Рыцарь-монах», та самая, с напомнимания о которой я начал эту главу. Заголовок — странный, вне метаисторического толкования не имеющий смысла. Каким рыцарем был при жизни Соловьев — человек, во весь век свой не прикоснувшийся к оружию, доктор философии, лектор, кабинетный ученый? и каким монахом — он, никакого пострига никогда не принимавший, обета целомудрия не дававший и, несмотря на всю свою православную религиозность живший обыкновенной мирской жизнью? Но Блок и не говорит о таком Соловьеве, каким он был. Он говорит о том, каким он стал. Каким он видел его, спустя ряд лет, где-то в иных слоях: в темных длинных одеждах и с руками, соединенными на рукояти меча. Ясно, что и меч был не физический, и рыцарство — такое, какое предугадывал лишь «Рыцарь бедный», и монашество — не историческое, не в Энрофе, но не от мира сего.

Ничего нет более закономерного, чем то, что рыцарь Звенты-Свентаны не оставлял младшего брата, который мечтал таким рыцарем стать даже после его измены. Но что именно совершалось во время их трансфизических встреч, какие круги были ими посещены, от каких действительно и окончательно непоправимых срывов он спас поэта — это, конечно, должно остаться неприкосновенной тайной Александра Блока.

Но из того, что было показано Блоку в потусторонних странствиях этой поры его жизни, проистекло наряду с другими одно обстоятельство, на которое мне хочется указать особо. Блок и раньше, даже в период Прекрасной Дамы, показал, что провидческой способностью в узком смысле этого слова, то есть способностью исторического предвозвещения, он обладал, хотя редко ею владел. Стоит вспомнить стихотворение, написанное за два года до революции 1905-го: «...Все ли спокойно в народе? — Нет. Император убит», — и в особенности его окончание:

— Кто ж он, народный смиритель?
— Темен, и зол, и свиреп:
Инок у входа в обитель
Видел его — и ослеп.

Он к неизведанным безднам
Гонит людей, как стада...
Посохом гонит железным...
— Боже! Бежим от Суда!

Теперь эта способность обогатилась новым опытом, но опытом, связанным только с демоническими мирами. Поэтому мы не найдем у

Блока никаких пророчеств о грядущем Свете, об отражении Звенты-Свентаны в исторической действительности будущих эпох, о Розе Мира, о золотом веке человечества. Но страшное стихотворение «Голос из хора» рисует далекую грядущую эпоху: ту, когда после господства Розы Мира над всем человечеством придет величайший враг и ее и всякой духовности,— тот, кого Гагтунгр выпестывает столько веков.

И век последний, ужасней всех,
Увидим и вы и я.
Все небо скроет гнусный грех,
На всех устах застынет смех,
Тоска небытия...

Весны, дитя, ты будешь ждать —
Весна обманет.
Ты будешь солнце на небо звать —
Солнце не встанет.
И крик, когда ты начнешь кричать,
Как камень, канет...

Но исторической и метаисторической развязки всемирной трагедии Первого Эона ему не дано было знать: этого утешения он лишил себя сам своими падениями, замглившими его духовные очи ко всему, что исходило от Высот, а не от бездн.

После «Земли в снегу» он прожил еще двенадцать лет. Стихи рождались все реже, все с большими интервалами — памятники опустошенности и поздних, бессильных сожалений. А после «Розы и Креста» и художественное качество стихов быстро пошло под уклон, и за целых пять лет ни одного стихотворения, отмеченного высоким даром, мы не найдем у Блока. В последний раз угасающий гений был пробужден Великой Революцией. Все стихийное, чем было так богато его существо, отозвалось на стихию всенародной бури. С неповторимостью подлинной гениальности были уловлены и воплощены в знаменитой поэме «Двенадцать» ее рваные ритмы, всплески страстей, ключья идей, вьюжные ночи переворотов, фигуры, олицетворяющие целые классы, столкнувшиеся между собой, матросский разгул и речитатив солдатских скороговорок. Но в осмыслении Блоком этой бушующей эпохи спуталось все: и его собственная стихийность, и бунтарская ненависть к старому, ветхому порядку вещей, и реминисценции христианской мистики, и неизжитая его любовь к «разбойной красе» России-Велги, и смутная вера вопреки всему в грядущую правду России-Навны. В итоге получился великолепный художественный памятник первому году Революции, но не только элементов пророчества — хотя бы просто исторической дальновидности в этой поэме нет. «Двенадцать» — последняя вспышка светильника, в котором нет больше масла; это отчаянная попытка найти точку опоры в том что само по себе есть исторический мальстрем, бушующая хлябь, и только; это — предсмертный крик.

Смерть явилась лишь через три с половиной года. Душевный мрак этих последних лет не поддается описанию. Психика уже не выдерживала, появились признаки ее распада. Скорбунт сократил мучения, точнее — тот вид мучений, который присущ нашему физическому слою. Блок умер, не достигнув сорокадвухлетнего возраста. Впрочем, еще при жизни многие, встречавшие его, отзывались о нем, как о живом трупце.

Я видел его летом и осенью 1949 года. Кое-что рассказать об этом — не только мое право, но и мой долг. С гордостью говорю, что Блок был и остается моим другом, хотя в жизни мы не встречались и, когда он умер, я был еще ребенком. Но на некоторых отрезках своего пути я прошел там же, где когда-то проходил он. Другая эпоха, другое окружение, другая индивидуальность, отчасти даже его предупредительный пример, а главное — иные во много раз более мощные силы предохранили меня от повтора некоторых его ошибок. Я

его встречал в трансфизических странствиях уже давно, много лет, но утрачивал воспоминание об этом. Лишь в 1949 году обстановка тюремного заключения оказалась способствующей тому, что впечатления от новых ночных странствий с ним вторглись уже и в дневную память.

Он мне показывал Агр. Ни солнца, ни звезд там нет, небо черно, как плотный свод, но некоторые предметы и здания светятся сами собой — все одним цветом, отдаленно напоминающим наш багровый. Я уже два раза описывал этот слой; во второй раз — в четвертой части этой книги; снова напоминать этот жуткий ландшафт мне кажется излишним. Важно отметить только, что неслучайно мой вожатый тогда показывал мне именно Агр: это был тот слой, в котором он пребывал довольно долгое время после поднятия его из Дуггура. Избавление принес ему Рыцарь-монах, и теперь все, подлежащее искуплению, уже искуплено. Испепеленное подземным пламенем лицо его начинает превращаться в просветленный лик. За истекшие с той нашей встречи несколько лет он вступил уже в Синклит России.

НЕОБХОДИМЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

Теодицея «Роза мира», будучи планетарным, историософским учением, как представлялось автору, должна была привести к решению духовно-исторических задач человечества: «объединение земного шара в Федерацию государств с этической контролирующей инстанцией над нею, распространение материального достатка и высокого культурного уровня на население всех стран, воспитание поколений облагороженного образа, воссоединение христианских церквей и свободная уния со всеми религиями светлой направленности, превращение планеты в сад, а государств — в братство. Но это — задачи лишь первой очереди. Их осуществление откроет путь к разрешению задач еще более высоких: к одухотворению природы».

В «Розе мира» много внимания уделено «второй реальности, просвечивающей сквозь зримую всеми» и непосредственно влияющей на разворачивающиеся в ней события. Своими религиозно-философскими воззрениями Андреев привлекает к видным трансценденталистски настроенным русским мыслителям прошлого.

Находить созвучия в творчестве Андреева с религиозно-философскими творениями прежних времен — тема специальных исследований. Отметим только, что наряду с сочинениями Вл. Соловьева и Достоевского наибольшее влияние оказали на него индийская и немецкая идеалистическая философии.

Вселенная «Розы мира» представляет собою многослойную систему, название которой — Ш а д а н а к а р. Слой, где мы, люди живем — это средний слой системы. Он называется Энроф. Вверх от этого слоя идут Миры Просветления, вниз — Миры Возмездия. В публикуемых отрывках упоминаются два из нижних миров — Дуггур и Агр.

Каждый народ имеет своего светлого Водителя, демиурга. Имя русского — Ярослав. Каждый народ имеет свою светлую Соборную Душу. Имя русской — Навна. В будущем из одного из высочайших Миров Просветления — Раориса — снизойдет Звента-Свентана, дочь Яросвета и Навны. В человечестве она проявится Всемирным братством — Розой Мира.

Этим силам Света противостоят силы Тьмы, тоже персонифицированные: Гагтунгр — темный, антихристианский демон человечества и Велга — исчадие, связанное с войнами, разрушением, анархией.

Все люди вовлечены в эту борьбу Света и Тьмы. Наиболее просветленные, отдавшие жизнь на стороне сил Света, после смерти входят в Синклит своего народа; те, кто был в России, — в Синклит России.

Некоторые из поэтов, писателей, музыкантов, художников посланы в мир Вестникам иных миров. Такому творцу сопутствует Даймон, помогающий ему в выполнении возложенной на него миссии

Публикация А. АНДРЕЕВОЙ и Б. ЧУКОВА.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ПЕРЕПИСКА В. И. ВЕРНАДСКОГО И П. А. ФЛОРЕНСКОГО

Владимир Иванович Вернадский (1863—1945) и Павел Александрович Флоренский (1882—1937?) принадлежали, можно сказать, к разным поколениям: между ними разница в девятнадцать лет. Когда в начале 900-х годов П. А. Флоренский учился на физико-математическом факультете Московского университета, В. И. Вернадский преподавал на естественном. В относящихся к университетским годам бумагах Флоренского имя Вернадского встречается лишь раз — среди имен других профессоров университета, подписавших знаменитое обращение к студентам с советом прекратить забастовку в 1901 году.

В 1920—1921 годах, будучи ректором Таврического университета в Симферополе, В. И. Вернадский возобновил знакомство с Сергеем Николаевичем Булгаковым — экономистом и религиозным философом, который был дружен с Флоренским. Вероятно, разговоры Вернадского с Булгаковым касались и трудов Флоренского. Во всяком случае, в дороге из Симферополя в Петроград Владимир Иванович читал труд П. А. Флоренского «Столп и утверждение истины: опыт православной теодицеи в двенадцати письмах» (М. «Путь». 1914). Судя по записям, он прочитал в дороге письма I—IV и примечания к ним. Как обычно, В. И. Вернадский делал выписки, сопровождая их библиографическими справками и своими замечаниями (Архив АН СССР, ф. 518, оп. 1, № 162, л. 12—14). Кроме того, в дневнике (там же, оп. 2, № 4, л. 292) он дал краткую оценку труда Флоренского: «27 февраля 1921 г. Ст. Лозовая <...>. Теперь начал читать Флоренского «Оплот» (описка: надо «Столп». — П. В. Ф.) и утверждение истины» Книга, кажется, очень интересная. Я страшно ценю самостоятельное творчество, какую бы форму оно ни принимало. Здесь чувствуется сильная и оригинальная личность»

Много лет спустя в письме президенту АН СССР академику В. А. Комарову (от 21 мая 1943 года) В. И. Вернадский, давая характеристику П. А. Флоренскому, вновь обратится к своему впечатлению от этой книги: «П. А. Флоренский <...>, бывший профессор философии или богословия Духовной Академии и в то же время теолог и философ, очень выдающийся человек, кончивший математический факультет, в советское время долго заведовал какой-то лабораторией <...>. Это редкое совмещение богослова и экспериментатора и математика указывает его талантливость. Я помню, когда я был еще профессором в Москве, его диссертация в Духовной Академии — Столп и утверждение истины — произвела огромное впечатление. Я прочел потом эту книгу и нахожу ее чрезвычайно интересной» (Архив АН СССР, ф. 518, оп. 2, № 55, л. 209).

Первое из известных писем П. А. Флоренского В. И. Вернадскому отправлено 30 ноября 1927 года. К этому времени П. А. Флоренский работал над реализацией плана ГОЭЛРО в Государственном экспериментальном электротехническом институте (с июля 1928 года — Всесоюзный электротехнический институт) П. А. Флоренского интересовали специальные работы В. И. Вернадского по кристаллографии и минералогии, необходимые для решения задач по электротехническому материаловедению

В 1928 году В. И. Вернадский создал Биогеохимическую лабораторию с целью «количественного изучения миграции атомов химических элементов в биосфере» (И. И. Мочалов Владимир Иванович Вернадский М. «Наука» 1982, стр. 260). Работы Вернадского о биосфере получили широкое распространение и вызвали большой резонанс. Под влиянием лекций В. И. Вернадского в Сорбонне (1922—1925) Тейяр де Шарден и Леруа ввели понятие ноосферы, которую они рассматривали как духовный покров земли. 21 сентября 1929 года П. А. Флоренский написал В. И. Вернадскому письмо, где высказал мысль «о существовании в биосфере, или, может быть, на биосфере, того, что можно было бы назвать пневматосферой, т. е. о существовании особой части веществ»

ва, вовлеченной в круговорот культуры или, точнее, круговорот духа». Здесь выявляется различие подходов двух ученых к оценке роли человечества. Перспективы жизни, рассматриваемые в русле эволюционной структуры мира, П. А. Флоренского не устраивали, и гуманизации — прогрессирующего одухотворения человечества — он не признавал. «<...> научные «истины» весьма недолговечны и ускорительным процессом современной науки делаются все более недолговечными, а кроме того — чрезвычайно субъективны, хотя и не индивидуально-субъективны, а группово, кружковски, не говоря уже об узости их, определяемой применимостью в области лишь отдельных дисциплин и ветвей дисциплин.— писал П. А. Флоренский еще в 1917 году в статье «Макрокосм и микрокосм». — Напротив, истины и символы религии все-человечны и все-историчны, в основе своей вселенски же понятны и вселенски же приемлемы, оставаясь устойчивою осью истории, и, подобно радуге, не сдуваемые вихрями времени» («Богословские труды» XXIV М 1983, стр. 234).

Отвечая П. А. Флоренскому (письмо от 13 октября 1929 года), Владимир Иванович почти дословно излагает начало своей будущей принципиально важной статьи «Изучение явлений жизни и новая физика», опубликованной «Известиями АН СССР» в 1931 году, с оговоркой, что, «не разделяя ряда основных положений автора, Ред-Изд. Совет тем не менее публикует его статью ввиду глубокого интереса затрагиваемых ею вопросов».

26 февраля 1933 года П. А. Флоренский был арестован, затем репрессирован. Из Москвы он был вывезен в августе 1933 года вместе со своим сотрудником из Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры П. Н. Каптеревым, позже специалистом в области мерзлотоведения. После ряда перемещений П. А. Флоренский и П. Н. Каптерев оказались на Сквородинской мерзлотной станции. Заключение в лагерь не прервало научного общения с В. И. Вернадским, которому Флоренский направлял подготовленные для публикации статьи, получая от Вернадского в свою очередь его новые работы, в том числе необходимую Флоренскому для исследований и вызвавшую его восхищение монографию о воде.

1 сентября 1934 года П. А. Флоренский был неожиданно отправлен под конвоем в Соловецкий лагерь Беломорско-Балтийского канала. В дальнейшем он переписывался с В. И. Вернадским через свою жену Анну Михайловну и сыновей-геологов Василия Павловича и Кирилла Павловича (последний с 1935 года являлся личным лаборантом Вернадского). В этих письмах привлекают внимание характеристики, данные Павлом Александровичем В. И. Вернадскому, — в то время мало кто с такой полнотой осознавал масштаб личности Вернадского и роль, которую предстоит сыграть его учению. Называя ученого «одним из самых глубоких натуралистов нашего времени в мировом масштабе», Флоренский, в частности, по поводу его монографии о воде писал: «Большинство мыслей, им высказываемых, очень созвучны мне, я думал о том же, хотя подходил с несколько иных отправных пунктов...»

Письма, которые В. И. Вернадский отправлял в Соловецкий лагерь, утрачены. (О том, что они были, говорит не только то, что в архиве Владимира Ивановича сохранился адрес последнего местопребывания П. А. Флоренского. В письме сыну Кириллу от 4 апреля 1936 года П. А. Флоренский сообщает о получении новой статьи В. И. Вернадского «О некоторых очередных проблемах радиогеологии» и просит поблагодарить автора за ее присылку. Павел Александрович был далеко не единственный, кому В. И. Вернадский писал в места заключения и кому старался помочь.)

В 1940 году А. М. Флоренская обратилась с письмом к И. В. Сталину:

«Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович.

Прошу Вас обратить внимание на участь моего мужа, Павла Александровича ФЛОРЕНСКОГО.

Ему уже больше 58 лет, у него большое сердце.

Муж был арестован 25 февраля 1933 г.* в Москве и осужден на 10 лет к/л.

Он был выслан на Дальний Восток, где работал на Сквородинской Мерзлотной Научно-исследовательской станции (при Г. У. Лаг.).

Получив ряд ценных открытий, достижений при исследовании вечной мерзлоты, он думал посвятить остаток своей жизни изучению этих явлений, но в самый разгар его научной работы (в августе 1934 г.) был неожиданно переброшен в Соловецкий лагерь. Там ему пришлось заняться вопросами добычи йода и агар-агара из морских

* Этим числом подписан ордер на арест П. А. Флоренского. Арестован он был 26 февраля.

водорослей, что также им было разрешено настолько успешно, что он не раз был премирован.

С июля 1937 г. всякие сношения с ним прекратились и, несмотря на многократные запросы о его местопребывании в ГУЛАГ НКВД и его Соловецкое отделение, я ничего о нем не знаю.

На мою просьбу в НКВД весной 1939 г. о сокращении мужу срока мне отказано.

Очень прошу Вас лично обратить внимание на его дело и вернуть мужа моего, ФЛОРЕНСКОГО Павла Александровича, всю свою жизнь посвятившего научной работе на благо Родины.

За время с 1921 по 1933 г. (год ареста) им было написано свыше 225 научно-технических работ и сделано большое количество изобретений в области электротехники.

С 1921 г. он работал в ВСНХ, а с 1924 г. по 1933 г. во Всесоюзном электротехническом институте (ВЭИ), в качестве научного руководителя отдела электротехнического материаловедения.

С момента организации издания Технической Энциклопедии он принимал деятельное участие в ее составлении в качестве редактора отдела и пользовался там большим научным авторитетом.

Учитывая крупные научные заслуги ФЛОРЕНСКОГО Павла Александровича в деле электрофикации страны и будучи уверенной в его невинности, прошу Вас, Иосиф Виссарионович, не отказать в моей глубокой просьбе и освободить от наказания уже престарелого и больного человека.

Список научных трудов Флоренского П. А. прилагаю.

Год рождения 1882, селение Евлах, Азербайджанской ССР

Искренне уважающая Вас

А. М. Флоренская.

1940 г. <...> марта.

Загорск Московской обл.,
Пионерская, 19».

Хотя официально датой смерти П. А. Флоренского называют 15 декабря 1943 года, есть все основания считать, что ко времени написания этого письма его уже не было в живых. Видимо, он погиб сразу после 25 ноября 1937 года, когда Особая тройка УНКВД по Ленинградской области повторно его репрессировала. Приговор «10 лет без права переписки» теперь прочитывается однозначно...

П. А. Флоренский реабилитирован дважды. Московским городским судом 5 мая 1958 года отменено постановление ПП ОГПУ Московской области от 26 мая 1933 года, а дело в отношении П. А. Флоренского прекращено производством за отсутствием в его действиях состава преступления. Архангельским областным судом 6 мая 1959 года отменено постановление Особой тройки УНКВД по Ленинградской области.

Переписка В. И. Вернадского с семьей Флоренских хранится в Архиве АН СССР (ААН) в фонде В. И. Вернадского и в архивах семьи Флоренских.

П. А. Флоренский — В. И. Вернадскому¹

<Москва. 30 ноября 1927 года.>

Глубокоуважаемый Владимир Иванович.

Простите, что решаюсь беспокоить Вас вопросом о Ваших работах. Весьма интересуюсь ими, я стараюсь подобрать все Вами напечатанное, но до сих пор мог добыть только:

- 1) Опыт описат<ельной> минералогии, т. 2, вып. 1 и 2.
- 2) История минералов земной коры, т. 1, вып. 1.
- 3) Основы кристаллографии, 1903, ч. 1.
- 4) Явления скольжения крист<аллических> веществ.
- 5) О полиморфизме.

Моя просьба к Вам, указать, где склад Ваших изданий и вышли ли дальнейшие выпуски №№ 1, 2 и 3 приведенного перечня.

Простите великодушно причиняемое Вам беспокойство.

С уважением к Вам

П. Флоренский.

ААН, ф. 518, оп. 3, № 1730, л. 1.

¹ Письмо написано на бланке Государственного экспериментального электротехнического института НТО ВСНХ СССР.

П. А. Флоренский — В. И. Вернадскому

Глубокоуважаемый Владимир Иванович,

мне давно хотелось выразить Вам свою радость по поводу Ваших последних геохимических работ, и в особенности — по поводу концепции биосферы¹. Однако сделать это лично не удастся, и потому позвольте высказать свою признательность в нескольких словах письменно. Общее направление Ваших мыслей не было для меня новостью, и мне кажется, оно не может быть новостью ни для кого, вдумывающегося в основы и методы науки о космосе и учитывающего исторический ход наших знаний. В этом — высшая похвала Вам. Слово наука о космосе пишу не случайно, ибо для науки, в противоположность произвольному схемостроительству и системоверию, космос ограничивается или почти ограничивается биосферой, а все остальное относится либо к области домыслов, либо к формальным соотношениям, конкретное значение которых весьма многозначно. От души приветствую, что Вы имели мужество назвать мнимое знание о внутренности земли настоящим именем; общественно было бы чрезвычайно важно твердить нашей полуграмотной интеллигенции (со включением сюда многих «профф.») о незаконности экстраполяции, на которых зиждется обычно мнимое знание. Позвольте в виде анекдота рассказать действительный случай, характеризующий склонность нашей интеллигенции к экстраполяции. В Главэлектро однажды был представлен доклад, в котором развивалась мысль, якобы полученная из опыта, о повышении экономической рациональности какого-то процесса в связи с расширением каких-то условий (на которые требовалось отпустить большой кредит); мысль эта доказывалась кривою, построенной по эмпирическим точкам, причем огромный чертеж, величиною чуть не с целый стол, имел буквально такой вид².

Эта кривая напоминает многие «научные» построения.

Подобное тому, что Вы говорите о внутренности Земли, необходимо развить и в отношении внешнего биосфере пространства. Тому, кто сколько-нибудь вникал в основания геометрии и в ее психофизиологические и физические источники, не может не быть очевидной произвольность истолкования данных астрономического опыта. Тут мы опять имеем дело с невероятной экстраполяцией данных биосферического опыта и выносим эти данные в такие новые условия, что они утрачивают не только свою надежность, но и вообще какое-либо конкретное содержание. В талмуде есть мудрое изречение: «Приучай уста твои говорить как можно чаще: я не знаю». Как было бы полезно современности обратить внимание на него, сделать лозунгом и вывесить во всех аудиториях *Systemglaube ist Aberglaube**, и это *Aberglaube* ведет к нежеланию действительно познавать, действительно изучать то, что нам доступно. Вы отмечаете, что нет ни одного полного химического анализа животного организма. Сюда бы следовало добавить еще, что в какую область ни ткнешься, на первых же шагах оказывается, что самые простые и самые насущные необходимые явления вовсе не изучены систематически, а имеются лишь разрозненные обрывки, разболтанные в произвольных схемах. В результате все то, что действительно существует, что всячески для нас важно, полупризнается или вовсе не признается. В истории общественного сознания следует считать событием огромной важности, что явление жизни, наиболее близкий нам доступный и бесспорный факт, Вы и Ваша школа сделали предметом особого внимания и изучения и космической категорией. В частности, мне представляется чрезвычайно многообещающим высказываемое Вами положение о неотъемлемости от жизни того вещества, которое вовлечено (или, может быть, точнее сказать, просто участвует) в круговорот жизни. Вы высказываете предположение об особой изотопичности этого вещества; хотя этот момент возможен и вероятен, однако установка эмпирических изысканий должна, мне кажется, идти как-то глубже в строение вещества. Ведь наивный схематизм современных моделей атома исходит из метафизического механизма, который в самом основании своем отрицает явление жизни.

Переходя на новый путь и провожающая «верность земле», т. е. биосферическому опыту, мы должны настаивать на категориальном характере понятия жизни, т. е. коренном и, во всяком случае, не выводимом из наивных моделей механики факте жизни, но наоборот их порождающем. Теперь мы — экономические материалисты; так вот, механические модели есть не что иное как надстройка над устарелой формой хозяйства, давно превзойденной промышленностью, и потому, следовательно, эти модели ничуть не соответствуют экономике настоящего момента. Скажу больше, они общественно и экономически вредны, как ведущие к реакционной экономической мысли

* Вера в систему есть суеверие (нем.).

и, следовательно, задерживающие и искажающие развитие промышленности. Если в настоящий момент промышленность есть электрохозяйство, и отчасти теплоснабжение, но вовсе не механохозяйство, а физика есть электрофизика, то присматривающемуся к ходу развития промышленности не может не быть очевидным, что промышленность будущего, и может быть близкого будущего, станет биопромышленностью, что за электротехникой, почти сменившей паротехнику, идет биотехника, и что, в соответствии с этим, химия и физика будут перестроены, как биохимия и биофизика. Мое убеждение, что Ваш биосферический лозунг должен повести к эмпирическим поискам каких-то биоформ и биоотношений в недрах самой материи, и в этом смысле желание подойти к этому вопросу только из моделей наличных, т. е. пассивно в отношении учения о материи, а не активно, может быть тормозящим развитие знания и реакционным. Может быть, гораздо более целесообразно твердо сказать по талмуду «я не знаю» и тем побудить других к поискам. У платоника Ксенократа³ говорится, что душа (т. е. жизнь) различает вещи между собою тем, что налагает на каждую из них форму и отпечаток — *μορφή καὶ τύπος*. Епископ эмесский Немезий⁴ указывает, что при разрушении тела его «качества — *ποιότητες* — не погибают, а изменяются». Григорий Нисский⁵ развивает теорию сфрагидации — наложения душою знаков на вещество. Согласно этой теории, индивидуальный тип — *εἶδος* — человека, подобно печати и ее оттиску, наложен на душу и на тело, так что элементы тела, хотя бы они и были рассеяны, вновь могут быть узнаны по совпадению их оттиска — *σφραγίς* — и печати, принадлежащей душе. Таким образом, духовная сила всегда остается в частях тела, ею оформленного, где бы и как бы они ни были рассеяны и смешаны с другим веществом. Следовательно, вещество, участвовавшее в процессе жизни, и притом жизни индивидуальной, остается навеки в этом круговороте, хотя бы концентрация жизненного процесса в данный момент и была чрезвычайно малой. Упоминаю здесь об этих воззрениях только как сообщение, может быть вам небезынтересное. С своей же стороны хочу высказать мысль, нуждающуюся в конкретном обосновании и представляющую скорее эвристическое начало. Это именно мысль о существовании в биосфере, или, может быть, на биосфере того, что можно было бы назвать пневмосферой, т. е. о существовании особой части вещества, вовлеченной в круговорот культуры или, точнее, круговорот духа. Несводимость этого круговорота к общему круговороту жизни едва ли может подлежать сомнению. Но есть много данных, правда, еще недостаточно оформленных, намекающих на особую стойкость вещественных образований, проработанных духом, например, предметов искусства. Это заставляет подозревать существование и соответственной особой сферы вещества в космосе. В настоящее время еще преждевременно говорить о пневмосфере как предмете научного изучения; может быть подобный вопрос не следовало бы и закреплять письменно. Однако невозможность личной беседы побудила меня высказать эту мысль в письме.

С уважением к Вам

П. Флоренский.

1929.IX.21.

Москва, Б. Спасская, д. 11, кв. 1.

ААН, ф. 518, оп. 3, № 1730, л. 5, 6

¹ Концепция биосферы создана В. И. Вернадским в 1916—1926 годах. Особенно плодотворным в этом отношении оказалось время, проведенное во Франции (1922—1925). В 1924 году в Париже вышла книга В. И. Вернадского «La géochimie» (в русском издании — «Очерки геохимии» М.—Л., 1927), в 1926 году в Ленинграде — книга «Биосфера». В 30-е годы В. И. Вернадский продолжал активно разрабатывать учение о биосфере.

² Нарисована кривая, напоминающая гиперболу $Y = \frac{1}{X}$ в первом квадранте, под которой ближе к началу координат жмутся шесть точек.

³ Ксенократ (из Халиедона на Боспоре, 396—314 до н. э.) — древнегреческий философ. Руководил платоновской Академией. Развивал учение о мировой душе («самодвижущемся числе») как о посреднике между миром чувств и миром идей.

⁴ Немезий (современное написание — Немесий) Эмесский — церковный писатель, предполагаемый автор написанного на рубеже V—VI веков сочинения «О природе человека».

⁵ Нисский Григорий (ок. 335 — ок. 394) — церковный деятель, богослов, философ.

В. И. Вернадский — П. А. Флоренскому¹

<Ленинград, > 13 октября 1929 года.

Глубокоуважаемый Павел Александрович!

Вернувшись из-за границы, я застал здесь Ваше письмо. Очень мне хотелось бы

повидать Вас и поговорить о некоторых затронутых в нем вопросах. Я буду в Москве 16—18 октября и может быть мне удастся с Вами свидеться. Я остановлюсь в квартире П. Е. Старицкого (Зубовский бульвар, 15) и может быть Вы мне дадите знать, как свидеться, например, утром 17-го? Я вечером 16-го делаю доклад в Обществе испытателей природы «Об изучении явлений жизни и новой физике»². Мне кажется, мы сейчас переживаем очень ответственный перелом в научном мировоззрении. Впервые в научное мировоззрение должны войти явления жизни и м<ожет> б<ыть> мы подойдем к ослаблению того противоречия, которое наблюдается между научным представлением о Космосе и философским или религиозным его постижением. Ведь сейчас все дорогое для человечества не находит в нем — в научном образе Космоса — места.

Надеюсь свидеться с Вами и затронуть некоторые вопросы, поднятые в вашем письме.

С искренним уважением

В. Вернадский.

Архив семьи Флоренских.

¹ Надпись на конверте: «Павлу Александровичу Флоренскому, В. Спасская, д. 11, кв. 1. Москва».

² В. И. Вернадский, «Изучение явлений жизни и новая физика» («Известия Академии наук СССР». VII серия. ОМОН. 1931, № 3).

П. А. Флоренский — В. И. Вернадскому

<Москва. 1929.>¹

Владимир Иванович,
прошу Вас черкнуть, когда можно будет повидать Вас.

П. Флоренский.

ААН, ф. 518, оп. 3, № 1730, л. 11.

¹ Дата указана предположительно. Вероятно, записка была передана В. И. Вернадскому во время одного из его приездов в Москву.

П. А. Флоренский — В. И. Вернадскому¹

<Москва. 27 октября 1929 года.>

Глубокоуважаемый Владимир Иванович,
вчера я отправил Вам несколько своих брошюр, которые прошу принять в знак уважения. Брошюра «Смысл идеализма»² у меня имеется лишь в одном экземпляре, и поэтому не откажите по просмотре прислать ее мне обратно.

Благодарю Вас за Ваш доклад «О задачах и организации»³.

Обращаюсь к Вам от имени Института⁴ со следующим деловым вопросом. У нас ведется работа по технологии специальных осветительных углей, содержащих редкие земли. Может быть, удастся использовать непосредственно монациты⁵ или после соотвествующей обработки. Мы просим Вас указать, откуда и каким образом мы могли бы выписать себе образцы монацитов в достаточном для экспериментирования количестве. Кроме того, следовало бы использовать отбросы или полуотбросы различных <...>ственных⁶ производств

С уважением к Вам

П. Флоренский.

ААН, ф. 518, оп. 3, № 1730, л. 2.

¹ Письмо написано на бланке ВЭИ НТО ВСНХ.

² П. А. Флоренский Смысл идеализма. Сергиев Посад, типогр. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 1914 (на обложке: 1915). Пропедевтические лекции к ряду чтений из истории платонизма читанных студентам первого курса Московской духовной академии.

³ В. И. Вернадский О задачах и организации прикладной научной работы Академии наук СССР Л Изд-во АН СССР. 1928

⁴ Всесоюзный электротехнический институт (ВЭИ) входил в систему научно-исследовательских учреждений ВСНХ СССР и подчинялся Научно-техническому отделу (затем Научно-техническому управлению) ВСНХ. Директором института был К. А. Круг. П. А. Флоренский заведовал в институте созданной им лабораторией испытания материалов, впоследствии преобразованной в отдел материаловедения В январе 1930 года он стал помощником директора по научной части и заведующим еще четырьмя отделами ВЭИ

⁵ Монациты — минералы, состоящие из фосфата редкоземельных элементов (церия, лантана и других) и содержащие торий.

⁶ В письме неразборчиво.

П. А. Флоренский — В. И. Вернадскому

Глубокоуважаемый Владимир Иванович.

Благодарю за доклад о необходимости изучения истории науки¹. Задачи, ставимые Вами, много лет разрабатывались мною в специальных курсах², так что я не могу не радоваться, видя осуществление того же в больших размерах. Можно быть уверенным, что углубленное исследование источников и путей знания будет полезно не только чисто исторически, но и по существу, так как таким образом будут доведены до общественного сознания ценные, но не нашедшие в свое время благоприятных условий для роста концепции, а с другой стороны, будет получено предостережение не повторять попыток, исчерпывающе выяснивших нецелесообразность известных путей. Самое же главное, что может и должна дать Ваша Комиссия³, это — ввести в сознание некоторую долю здорового исторического скептицизма и тем избавить от самодовольного и крепкологобого догматизма и приучить к большей скромности. Настоящее письмо служит для меня поводом возобновить некоторое предложение, сделанное мною когда-то «Природе», но оставшееся без ответа. Оно состоит в следующем: за долгое время моих занятий в области истории мысли, в связи с филологией, историей философии и т. д., у меня накопился значительный материал по истории научной терминологии и отдельных научных понятий и концепций, причем мое внимание особенно привлекали наиболее далеко прослеживаемые исторические корни терминов и понятий. Было бы нецелесообразно дать этому материалу погибнуть, так как лишь при известном, редко встречающемся сочетании интересов подобные вопросы могут быть освещаемы, а мне приходилось пользоваться для освещения не только обычными ресурсами, вроде математики, математического естествознания, философии и т. п., но и прибегать к данным лингвистическим, филологическим и археологическим. Мои материалы не оформлены, и для приведения их в порядок требуется немало труда. К тому же многое держится просто памятью или в заметках — разобрать которые могу лишь я один. Заниматься приведением этих материалов в порядок, не имея в виду возможности напечатать их, требовало бы энергии, которой у меня сейчас нет. Но если бы Комиссия выразила принципиальное согласие на печатание таких материалов отдельными брошюрками, то я стал бы понемногу готовить их. Форма, представляющаяся по разным соображениям наиболее желательной при настоящих условиях, — фрагментарная, в виде отдельных между собой не связанных, небольших статей, которые располагаются без какого-либо порядка. Содержание этих статей — главным образом история терминов (минералогических, химических, физических, математических и т. д.), конечно в связи с историей понятия, и история тех или других открытий в соответственных областях, в частности, установление, что известные знания существовали до официально принятой их даты. Характер изложения очень сжатый, справочный. Само собой разумеется, я не ищу от Комиссии гарантии напечатания до получения рукописи, но лишь принципиального согласия⁴. Во избежание недоразумений должен заранее оговорить, что, поскольку речь идет во многих случаях о весьма глубоких корнях исторических явлений, мне придется пользоваться древними языками, в том числе еврейским, отчасти другими, и непременно условием необходимо поставить печатание соответственных слов и цитат в подлиннике.

С уважением к Вам

П. Флоренский.

1929. XI. 9 н. с.
Москва.

ААН. ф. 518. оп. 3, № 1730, л. 3, 4.

¹ Доклад, носивший в печатном виде название «Мысли о современном значении истории знаний» («Труды Комиссии по истории знаний» Вып. 1 Л. 1927), был прочитан В. И. Вернадским на первом публичном заседании КИЗ (см. ниже примечание 3) 14 ноября 1926 года. Анализируя всесторонний «взрыв научного творчества», идущий «в прочных и стойких не разрушающихся рамках, заранее созданных», В. И. Вернадский находит в современности «возвращение к нитям искания истины, оставленным <...> в XVII столетии», и предсказывает неизбежный вслед за переломом в науке «новый рост философской мысли» и «новый подъем религиозного творчества». В новой картине мира внимание В. И. Вернадского привлекают, в частности, учения об относительности и симметрии, замена понятий «образов» понятиями «символами». По мнению ученого, наступило время когда науки о человеке и человечестве «смыкаются с науками о природе».

² В 1908—1919 годах П. А. Флоренский читал в Московской духовной академии курсы по истории античной философии, философии культа, кантовской проблематике.

Кафедра истории философии академии, где Флоренский поначалу исполнял должность доцента, а с августа 1914 года — экстраординарного профессора, была им впоследствии названа Кафедрой истории мировоззрений. В 1919—1921 годах в Сергиевском институте народного образования П. А. Флоренский читал разработанные им курсы «Энциклопедия математики» и «История материальной культуры». в 1921—1927 годах во ВХУТЕМАСе — курс анализа пространственности в художественных произведениях, в котором много внимания было уделено генезису пространственных представлений человека и их отражению в реальных художественных и культурных памятниках.

³ Комиссия по истории знаний (КИЗ) была учреждена в Российской АН в мае 1921 года по предложению В.И. Вернадского, представившего «Записку о необходимости создания Комиссии по истории науки, философии и техники». Из-за отъезда Вернадского за границу деятельность КИЗ замерла, и только по его возвращении благодаря новой инициативе ученого («Записка о необходимости возобновления работ Комиссии по истории знаний», представленная общему собранию АН в апреле 1926 года) КИЗ — снова под председательством Вернадского — развернула свою деятельность. С 1927 года КИЗ издавала «Очерки по истории знаний» и «Труды Комиссии по истории знаний», сосредоточившись на истории русской науки. На всех этапах существования КИЗ В. И. Вернадский считал, что она должна объединять работу как натуралистов, так и представителей гуманитарных наук. В 1932 году КИЗ была преобразована в Институт истории науки и техники (ИИИТ), где В. И. Вернадский входил в ученый совет (директором ИИИТ был назначен Н. И. Бухарин). В 1937—1938 годах многие сотрудники ИИИТа были арестованы, а сам институт вскоре закрыт. В «Записке о необходимости продолжения изучения истории науки и техники» (1938) В. И. Вернадский пытался протестовать против «внезапного закрытия» этого «единственного центра работы», в 1939 году предложил академию план воссоздания института, в течение ряда лет развивал идею создания «Дома Менделеева или Лобачевского» (по аналогии с Пушкинским Домом), задачей которого было бы «сохранение и изучение истории науки и техники в России и в Союзе на мировом фоне». Институт естествознания начал работать при АН уже после смерти В. И. Вернадского. В 1953 году частично на его базе создан существующий ныне Институт истории естествознания и техники АН СССР.

⁴ Сотрудничество П. А. Флоренского в изданиях КИЗ не состоялось. Интерес к истории терминов, понятий и концепций в наиболее явной форме выразился в неопубликованной работе П. А. Флоренского «У водоразделов мысли» (1922), а также в не осуществленном «Symbolarium» — Словаре символов (предисловие к нему, написанное Флоренским в 1923 году, издано в «Ученых записках» Тартуского государственного университета в 1971 году).

П. А. Флоренский — В. И. Вернадскому

Глубокоуважаемый Владимир Иванович,

простите, что напоминаю о себе и притом большой просьбой. Настоящее письмо доставит Вам сын мой, студент <ент> 3 курса I МГУ, Василий¹. Он учится на геологическом отделении с минералогическим уклоном и в настоящее время направлен Университетом в Ленинград на практику. Прошу Вас не отказать ему в помощи — устроиться в одной из лабораторий и в общем направлении работы. Мне очень хотелось бы, чтобы он сумел почувствовать традиции, которых Вы теперь едва ли не единственный носитель у нас. Дело не в приобретении частных знаний, на что надо много времени и что можно сделать и самостоятельно, а в общих линиях умственной деятельности, а они у большинства отсутствуют и по-видимому утрачиваются безнадежно.

Второе дело, с которым обращаюсь к Вам, — это о Н. И. Гулаке-Артемовском². Вы предполагали написать в Украинскую Академию Наук о том, чтобы мне были доставлены вновь опубликованные сведения о нем. Мне казалось бы весьма важным написать биографию Гулака, но не внешнюю только, а с приложением его работы. В моих руках уже есть важные материалы, собранные на месте, в Тифлисе от людей, знавших Гулака близко, и его труды. Как я говорил Вам, Гулак мне представляется одним из наиболее блестяще одаренных людей 2-й половины XIX в., и для истории русской культуры было бы непостыдно не знать его или ограничивать свое знание сообщением об участии его в Кирилло-Мефодиевском братстве. Если Вы можете помочь в получении новых материалов (к сожалению, я не знаю, каких и где опубликованных), то дайте указания; я сильно опасаюсь, что кроме меня писать о Гулаке сейчас никому.

Простите за беспокойство.

С всегдашним уважением к Вам

П. Флоренский.

1930.XII.5.

Москва (Б. Спасская, д. 11, кв. 1).

¹ Флоренский Василий Павлович (1911—1956) — с 1937 года доцент Московского института нефти и газа имени И. М. Губкина, заложил основы изучения глубокопогруженных пород нефтегазоносных областей.

² Гулак Николай Иванович (1822—1899) — украинский общественный деятель, ученый и педагог из рода Гулаков-Артемовских, один из организаторов нелегального Кирилло-Мефодиевского братства в Киеве (1846), в которое входили Н. И. Костомаров и Т. Г. Шевченко. Исходя из раннехристианских идеалов, члены братства ратовали за создание Славянской федеративной республики, ликвидацию крепостного права и свержение царизма. В 1847—1850 годах Н. И. Гулак — узник Шлиссельбургской крепости. С 1859 года преподавал в городах юга России, в том числе в Тифлисе, широкий круг дисциплин. Автор ряда оригинальных книг по математике, первый перевел на русский язык поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Н. И. Гулак — дядя матери В. И. Вернадского, интересовавшейся, быть может и под влиянием Н. И. Гулака, судьбами славянства.

П. А. Флоренский — В. И. Вернадскому¹

Академику Владимиру Ивановичу Вернадскому².

Ленинград, Васильевский о-в, Тучкова набережная, Академия наук.

Глубокоуважаемый Владимир Иванович,

извините, что решаюсь беспокоить Вас присылкою своей работы, которую я считал бы нужным напечатать, если Вы ее одобрите. Печатать можно там, где это окажется удобным. Знаю, что нарушаю Ваши издательские требования относительно внешнего вида рукописей, но, к сожалению, у меня сейчас нет возможностей переписать ее на машинке³.

Если Вы найдете возможным напечатать эту работу, то не откажите заказать оттиски и направить их на имя моей жены Анны Михайловны Флоренской (г. Загорск (б. Сергиев) Московской области, Пионерская, 19).

Мой адрес: ст. Ксениевская Забайкальской ж. д., почтовый ящик № 1, 5-й Лагпункт, П. А. Флоренскому. Корректуру можно прислать по этому адресу. Простите за беспокойство.

С уважением к Вам

П. Флоренский.

1933.X.16.

ААН, ф. 518, оп. 3, № 1730, л. 9, 10.

¹ Надпись на конверте:

«Ленинград. Академику Владимиру Ивановичу Вернадскому Васильевский остров. Тучкова набережная. Всесоюзная Академия наук.

От П. А. Флоренского (ст. Ксениевская Забайкальской ж. д. почт. ящ. № 1, 5 лагпункт)».

² Написано на оберточной бумаге.

³ Проведя почти полгода в заключении, П. А. Флоренский в конце лета 1933 года был вывезен на Дальний Восток. С дороги он писал своим домашним: «1933.VIII. 18. <...> Еду с П. Н. Каптеревым и еще несколькими в таком же роде. Всех обокрали весьма сильно и вероятно при дальнейшем следовании дочистят остающееся: бороться с этим злом почти нет возможности, т. к. в этапных условиях воровство ненаказуемо. <...> А кроме того, сопровождающие выпрашивают решительно все и рвут из рук. Все голодны, оборваны и в жалком состоянии».

А. М. Флоренская — В. И. Вернадскому

<Загорск.>

Глубокоуважаемый Владимир Иванович,

примите мою искреннюю благодарность за внимание к П<авлу> А<лександровичу>. Статьи Ваши я бы попросила перелать непосредственно П<авлу> А<лександровичу>, т. к. в Загорске и в Москве он лишился своей библиотеки и части рукописей. От П<авла> А<лександровича> имею письма приблизительно раз в месяц. Потерей библиотеки он очень огорчен. раньше писал бодрые письма. Много работает в области мерзлоты. Адрес его: «Сковородино» Уссурийской ж. д. Опытная Мерзлотная Станция (О. М. С.). П<авлу> А<лександровичу> Ф<лоренскому>¹. К сожалению, сын мой не собирается быть в Ленинграде

Уважающая Вас

А. Флоренская.

1934 г. 17 апреля.

¹ Об интенсивности научной жизни на Сквородинской опытной мерзлотной станции говорит письмо В. И. Вернадскому директора ОМС Н. И. Быкова:

«21 июня 1934 года.

Глубокоуважаемый Владимир Иванович.

Препровождаю Вам перепечатанную рукопись о замерзании воды с чертежами, о которой я говорил при нашем свидании. Авторы—профессора Флоренский Павел Александрович и Каптерев Павел Николаевич.

Ваш отзыв и замечания, которые будут, конечно, учтены в постановке всей исследовательской работы станции по изучению вечной мерзлоты, не откажите направить на ст. Сквородино Уссурийской ж. д. Мерзлотная станция БАМ ОГПУ. Директору станции Быкову Николаю Ивановичу

С совершенным уважением

Н. Быков.

За ответ заранее приношу глубокую благодарность» (ААН, ф. 518, оп. 3 № 217; л. 3—5).

П. А. Флоренский — К. П. Флоренскому

Словки. 2—9 января 1935 года¹.

<...> Постарайся получить от Влад<имира> Иван<овича> указания по работам, он единственный у нас ученый, мыслящий глубоко в области круговорота веществ в земной коре и один из самых глубоких натуралистов нашего времени в мировом масштабе <...>

Архив семьи Флоренских

¹ 2 декабря 1934 года Н. И. Быков писал В. И. Вернадскому из Сквородина: «К сожалению, я не могу передать Вам мнение и впечатление П<авла> А<лександровича>, который читал эту книгу, потому что в конце августа он был снят с работы на мерзлотной станции и переброшен в неизвестном направлении; как выяснилось потом, в Солов<ецкий> мон<астырь>. С его уходом станция потеряла крупнейшего работника, и ряд начатых им чрезвычайно интересных работ, к сожалению, остался незаконченным. П<авел> Н<иколаевич> <Каптерев> продолжает работать на станции по-прежнему...» (ААН, ф. 518, оп. 3, № 217, л. 2—3).

А вот отрывок из письма П. А. Флоренского жене: «1934.X.13. Писать мне было нельзя, да и нечего, т. к. я ничего не знал определенного. 16 авг. выехал из Рухлово, с 17 по 1 сент. сидел в изоляторе в Свободном, с 1 по 12 сент. со спецконвоем на Медвежью гору, с 12 сент. по 12 окт. сидел в изоляторе на Медв. горе, а 13 приехал в Кемь, где нахожусь сейчас. По приезде был ограблен в лагере при вооруж. нападении и сидел под тремя топорами, но как видишь спасся, хотя лишился вещей и денег; впрочем, часть вещей найдена, все это время голодал и холодал. Вообще было гораздо тяжелее и хуже, чем мог себе представить, уезжая со станции Сквородинской. Должен был ехать в Соловки, что было бы неплохо, но задержан в Кемь и занимаюсь надписыванием и заполнением учетных карточек. Все складывается безнадежно тяжело, но не стоит писать Никаких общих причин к моему переводу не было, и сейчас довольно многих переводят на север. Крепко целую вас всех. Живу я сейчас в колоссальном баране и притом в огромной комнате с нацменами, так что слышу разговор на всех восточных языках. Послать телеграмму не могу, т. к. нет денег, хорошо продались 2 открытки. Здоров, но конечно очень отоцал и ослаб...» (архив семьи Флоренских).

ИГОРЬ КЛЯМКИН

★

ПОЧЕМУ ТРУДНО ГОВОРИТЬ ПРАВДУ

Выбранные места из истории одной болезни

Так оно и есть: все, что становится прошлым, разительно отличается от себя самого той поры, когда оно было настоящим, отличается по цвету, запаху, а главное — по смыслу. Быть может, только произведения искусства обладают в этом отношении определенной устойчивостью, мы сами меняемся, а они — нет или почти нет, зато наибольшей изменчивостью в наших оценках всегда обладает политика, все то, что мы называем политической и общественной жизнью. Может быть, потому, что она всегда сегодняшняя и обладает только сегодняшней шкалой оценок всех событий, всего окружающего, и нас самих прежде всего.

Мы говорим «опыт истории» — и думаем и даже убеждены при этом, будто ежедневно и чуть ли не ежечасно используем сегодня этот опыт, но, вернее всего, мы ежечасно его зачеркиваем, а то и решительно искажаем. Тем более что это такой опыт, который никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах не повторим.

Другое дело, когда день сегодняшний становится вчерашним и прошлым, — вот тогда-то и мы становимся по отношению к нему истыми (хотя и не всегда истинными) историками, тогда и у нас является способностью не только по-иному рассмотреть наше вчера, но и вписать его чуть ли не в весь предшествующий ряд прошлого — в позавчера, в прошлые десятилетия, века и как бы даже не в тысячелетия.

Тогда-то мы и овладеваем, пытаемся овладеть, «опытом прошлого» и в соответствии с ним создаем ту новую шкалу оценок, которая, как это ни банально звучит, если уж не во всем, так во многом снова и снова представляет собою хорошо забытое старое, хорошо забытые нравственные оценки, такие, как «ложь» и «правда», с точки зрения которых и начинают переоцениваться такие представления, как «правильно» и «неправильно», как «цель» и «средства», как «догма» и «теория», и многие-многие другие.

И это прекрасно, и только одно обстоятельство, один вопрос омрачает эту переоценку: да где же она была-то, правда, когда вчера было днем сегодняшним? Где была — такая очевидная, такая необходимая, такая бесспорная? Почему тогда не заступилась за невинных и не обличила виноватых?

Вместо ответа на этот вопрос приходит мечта: вот уж еще одно поколение и правда обретет свое истинное, свое законное место повсюду, где этого до сих пор почему-то нет и нет, — во всех без исключения отношениях между людьми: личных, общественных, государственных, международных, во всех! Даже в политике, в которой ложь и правда будто сами по себе всегда норовили поменяться местами, так что остается впечатление, что и существует-то она именно ради этой взаимозаменяемости. Быть может, человечество XX — XXI веков, объединенное грамматической задачей общезыживания, и вправду найдет новые пути к правде, даже не потому найдет, что враз поумнеет и похорошеет, а потому, что обстоятельства заставят, но чтобы это произошло, правду нужно к этому готовить, не давать ей бездействовать, а тренировать ежедневно на любом доступном для этого материале. Если это материал исторический, если в современности мы все еще недостаточно четко различаем, что такое хорошо, а что такое плохо, — значит, чтобы приобрести к этому действительную способность, мы должны делать то, что умеем делать сейчас, сегодня: беспристрастно и правдиво рассматривать свою историю, отвечая на вопрос о том, как мы дошли до жизни такой.

Настоящая статья и является очередной попыткой такого рода. Попытка сама по себе, конечно же, не безупречна, и не во всем редакция согласна с автором, но дело не в этом, дело в том, что такие попытки обязательно должны быть свободны как от редакторского, так и от любого другого диктата и насилия.

(О)коло трех лет назад слово «правда» стало едва ли не главным в нашем словаре. Нетрудно догадаться, почему оно выдвинулось на первые роли, почему оказалось символом и лозунгом перемен. Потому и только потому, что раньше мы (или нам) в основном врали

Но вот что интересно. За время, прошедшее после объявления перестройки, мы сказали о нашем постыдном прошлом и печальном настоящем столько, что дальше, кажется, некуда. Но слово «правда» не сходит с газетных полос, звучит в эфире, остается лозунгом очищения и обновления. А лозунги, как известно, выражают стремление людей не к тому, чего у них и без того в избытке, а к тому, чего им не хватает. Если я сыт, то не стану требовать хлеба; если уверен, что не буду обманут, то мне и в голову не придет призывать окружающих к правдивости.

Иногда кажется, окончательная победа совсем рядом, надо лишь поднатужиться и поднажать — и последние бастионы лжи, именуемые нередко «зонами, закрытыми для критики», наконец-то падут и высокий идеал правды станет самой обыкновенной действительностью. К сожалению, это не так. Ложь нельзя прогнать, как врага с занятой им территории, потому что она, ложь, в отличие от неприятельской армии имеет свойство прорастать и на территории, уже, казалось бы, отвоеванной. Не стало пока исключением из этого правила и освободительное движение, названное перестройкой. Конечно, мы только учимся, а у учеников случаются ошибки. Но если не признавать и не разбирать их, то чему же мы научимся?

Туман таинственности вокруг «дела Ельцина», дезинформация — особенно вначале — о событиях в Нагорном Карабахе и вокруг него, выборы делегатов на Всесоюзную партконференцию, свертывание начавшегося было разговора о привилегиях руководителей работников под предлогом того, что никаких привилегий не было и нет, бесконтрольное использование народных средств и природных ресурсов ведомствами — все это не могло не смущать, и если поначалу был соблазн объяснить новую неправду происками правых, консервативных сил, то вскоре выяснилось, что правые скрывают мотивы своих действий не только тогда, когда громят левых, но и тогда, когда сами уходят со сцены.

Трудно, ох как трудно дается правда! Я пишу эти строки в конце октября, в прессе обсуждается проект нового Закона о выборах народных депутатов, и многие люди недоумевают, почему это общественные организации получают право на особое представительство, почему в число этих организаций попала партия (по конституции она общественной не является) и не попали другие, в том числе и весьма многочисленные. Люди начинают размышлять о том, почему демократизация политической системы сопровождается такими мерами, которые при самом развитом воображении трудно назвать демократическими. А начав размышлять, приходят к выводу, что дело не в том вовсе, что левые горюпятся, а правые гормозят, а в серьезном заболевании всего общественного организма, гораздо более серьезном, чем еще совсем недавно казалось. Похоже, мы только начинаем осознавать, какое глубокое и трудное духовное обновление нам предстоит пережить.

Но любой недуг имеет свои истоки, и именно сейчас, в пору напряженных размышлений о нашей общей судьбе, не мешает еще раз перелистать историю болезни и остановиться на некоторых ее (истории) страницах, которые не привлекли пока того внимания, какого заслуживают.

Спор о свободе совести в ВКП(б)

Хочу сразу оговориться: я не собираюсь пополнять ряды моралистов и писать еще одно поучение на тему о том, что в политической деятельности надо действовать в соответствии с принципами добра и велениями совести. Задолго до Макиавелли было известно: правдивость и искренность не самый надежный путь к политическому успеху, то есть к завоеванию и упрочению власти. Еще меньше хотелось бы быть понятым в том привычном нам смысле, что ложь органична для любой политики, кроме нашей, что «при социализме» согласно природе вещей ничего такого быть не должно, а если есть, то это всего лишь случайное и нелепое отклонение от того, чему только и положено быть. Не то меня волнует, что наши политики не всегда говорили друг другу и народу правду. Меня интересует, почему эти нелепые случайности в наших условиях привели к такой катастрофе, к какой политический обман не приводил даже там, где его никто не считал предосудительным. Меня интересует, с другой стороны, почему именно та политика, которая провозглашала себя служанкой правды и отбросила как исторический хлам «буржуазную ложь», обернулась таким цинизмом, таким разрывом с элементарными представлениями о добре и зле, каких цивилизованный мир до сих пор не видывал.

Самый, быть может, главный урок, преподанный нам нашим опытом: политическая ложь ведет к катастрофе там, где какая-то организация или группа лиц обладает абсолютной монополией на власть и информацию, где в обмане некому уличить, или, говоря проще, там, где нет демократии. Даже самый бескорыстный обман в недемократической среде неотвратимо и необратимо становится орудием чьей-то корысти. Тут ложь не спасает, даже если она «во спасение». Тут она неизбежно отбирает и поднимает наверх самых лживых. Читайте, изучайте историю нашей общей болезни — и вы найдете тысячи подтверждений этих страшных, вписанных кровью истин.

Возможно, например, что Зиновьев и Каменев после смерти Ленина шли на союз со Сталиным и сокрытие ленинского «Завещания» из побуждений, которые казались им чем-то вроде лжи «во спасение». Имея некоторое представление о духовном складе своего союзника, они не могли не понимать, что сказанное о нем в «Завещании» не лишено оснований. Но они изучали всемирную историю и знали, что революции заканчиваются обычно военными переворотами, и гораздо больше, чем неизвестного стране Сталина, боялись Троцкого, силу которого составляли огромная личная популярность и возглавляемая им армия.

Они просчитались. Троцкий с его малоподходящей для национального сплочения уставшего народа идеей перманентной мировой революции и насмешками над «строительством социализма в одной стране» меньше всего годился на роль диктатора и вряд ли мог воспринимать себя кандидатом на нее, а потому и не предпринял ни одного серьезного шага для захвата власти (как я его представляю, он предпочитал оставаться вторым, считая себя и давая всем понять, что он-то и есть настоящий первый). Зато усиление сталинского партаппарата, на которое сознательно пошла Зиновьев и Каменев за неимением другой силы, способной противостоять армии, обернулось не только желанным «разгромом троцкизма», но и совсем не желаемым и не ожидаемым политическим крахом их самих.

Когда Каменев спустя всего два года, даже меньше, потребует выполнения последней воли покойного вождя о снятии Сталина с поста Генерального секретаря, будет уже поздно: запоздалая правда, как и всегда, выглядела подозрительной, а объединение бывших союзников Сталина с тысячекратно заклейменным ими Троцким не могло не казаться вопиющей и, разумеется, не бескорыстной беспринципностью.

Ложь не спасла — погубила. В выигрыше оказался самый лживый

Наверное, и Михаил Иванович Калинин считал, будто что-то спасает, когда после XIV партсъезда в самом начале 1926 года, будучи в числе других руководящих работников послан в Ленинград для довершения разгрома зиновьевцев, обронил на пленуме губкома вопросительно-утвердительную фразу «Что вам стоит для Центрального Комитета объявить белое черным, а черное белым?» Но тем самым всесоюзный староста примирял себя и других с мыслью что правое дело Центрального Комитета иначе чем с помощью обмана восторжествовать не может. А это значит, что сознание Михаила Ивановича было поражено еще более сильной и совсем уж неизлечимой мыслью о том, что Центральный Комитет олицетворяет своими решениями и постановлениями высшую правду, которая может отличаться от обычной, доступной простым смертным примерно так же, как белое отличается от черного

К чему все это вело, современный читатель себе представляет. Хочу добавить лишь один штрих в хорошо знакомую ему картину. Как-то в аудитории, где мне пришлось выступать, встала немолодая уже женщина и рассказала о своем отце — бедном крестьянине, ставшем добросовестным и рьяным служителем Административной Системы, свято поверившим в правоту ее дела. Когда его арестовывали, он сказал: «Если партия считает, что я враг народа, значит, я действительно враг народа». И отправился в никуда — с неверием в себя и непоколебимой верой в правоту партии и ее Центрального Комитета.

Михаилу Ивановичу Калинин у своевременная болезнь помогла выжить. Но для духовного здоровья страны, к руководству которой он был причастен, она оказалась чуть ли не смертельной. Ложь «во спасение» не только расчищала дорогу к власти самому лживому. Она вела к тому, что самый лживый станет в глазах миллионов олицетворением высшей правды.

Не исключено, что и красный прокурор Крыленко, выступая от имени обвинения на сфабрикованных процессах начала 30-х годов, был убежден: для пользы

страны и революции очень важно пугнуть «спецов» и прочую интеллигенцию, входившую или примыкавшую когда-то к политическим партиям, враждебным большевизму. Допускаю, что государственный обвинитель ни минуты не сомневался: несуществующие преступления никогда не существовавших промпартии и меньшевистского «союзного бюро» помогут примирить старую интеллигенцию с недоступными ее профессиональному разумению пролетарскими темпами индустриализации и мобилизовать на нее (индустриализацию) народ, станут простым и общедоступным объяснением ее неудач, которые не будут расслаблять людей, порождая неверие в собственные силы и в мудрость власти, а, наоборот, сплотят их в могучем трудовом порыве для отпора всем и всяким врагам. Если Крыленко так думал, то он вместе со своими вдохновителями и единомышленниками заводил адскую машину, которую, как вскоре выяснилось, невозможно остановить.

Когда-то Достоевский устами Ивана Карамазова спрашивал, можно ли купить право на вход в будущее царство всеобщей гармонии ценой загубленной жизни хотя бы одного невинного ребеночка. Многие люди довоенной поры (и не всегда самые худшие среди них) отвечали: да, можно. Не только мыслью, но и судьбами своими они попробовали испытать путь, который так страшил Ивана, не говоря уже о его брате Алеше, которому был задан тот нелегкий вопрос. Но это «да» свергло их в бездну, которую ни Иван, ни Алеша Карамазовы не могли себе, наверное, и вообразить и ужас падения в которую еще только приоткрывается нашему взору: все это еще ждет своего Достоевского.

Согласившись однажды с тем, что для пользы дела целесообразно осудить хотя бы одного невинного человека, переступив эту черту, мы сразу попадаем в мертвую лагерную зону, где нет никаких юридических и моральных запретов, нет правых и виноватых, есть лишь отбывающие наказание и кандидаты на эту роль. Там, где признается оправданным хотя бы одно человеческое жертвоприношение, там нет никаких препятствий и для второго, третьего, сотысячного, двухмиллионного включенную душегубку нельзя остановить. Сегодня ты подписываешь смертный приговор, а завтра его выносят тебе, как вынесли в свое время тому же Крыленко. И нет никакой видимой логики в этом отборе жертв. И нет ничего, что могло бы тебя защитить, — ни убеждения, ни должности, ни звания, ни заслуги, ни влиятельные родственники, ни болезнь, ни старость. И нелепо жаловаться на несправедливость и доказывать кому-то свою невинность — все это вещи из другого мира, тут они выглядят предрассудками, тут лишь два исхода: либо признавайся, что ты родился шпионом и вредителем, либо уходи из жизни сам.

Но то же самое и с ложью в более широком смысле: при ограниченной, а тем более свернутой демократии, когда истинной может быть провозглашена одна-единственная «генеральная линия», стоит только начать, а там уж пойдет цепная реакция духовного распада, над которой никто не властен. Это кажется очевидным, но осознается не всеми. Откроем известный роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». В нем есть интересный эпизод. Сталин решил переписать историю партии, сделав себя ее (и истории и партии) центральной фигурой, по масштабу и заслугам равной Ленину. Для этого, понятно, нужны были авторитетные свидетели и свидетельства. Генеральный секретарь предлагает Кирову подтвердить, что он, Сталин, был причастен к созданию подпольной типографии в Баку. Киров отказывается, так как сам он в то время в Баку не был, а от других знает, что Сталин никакого отношения к типографии не имел. После этого Сергей Миронович по воле автора предается невеселым размышлениям о том, как несладко все получается. Да, партия сознательно поднимала авторитет своего Генерального секретаря, да, ставила его имя рядом с именем Ленина — как ученика и продолжателя. Нужно было показать народу преемственность руководства, иначе не удалось бы разбить возникшие одна за другой оппозиции. Но теперь, когда все они разгромлены, ложь не только не ушла вместе с ними из жизни, но, наоборот, расплзается вширь и проникает вглубь. Откуда и почему все это? И кто в этом виноват?

Киров (и автор) не находит ответа, так как ищет его там, где его не может быть: в личности Сталина. Возможно, писатель прав и в то время Киров и любой другой человек на его месте иначе думать не мог. Но сегодня ответ должен быть другим. Вступая в диалог с Сергеем Мироновичем и зная все, что было потом, мы должны сказать ему и себе: при партийно-государственной монополии на информацию, когда в неправде некому уличить, разумной меры у лжи нет и быть не может.

В такой обстановке нельзя «немножко» обмануть полтора миллиона человек, «немножко» схитрить, а потом начать честную игру. Нет, это «немножко» успеет войти в жизнь, укорениться в ней, ему успеют поверить. И чтобы что-то изменить, вам придется принародно признаться, что раньше вы «немножко» гнали. Но как вы докажете, что не лжете снова? И разве люди, которые благодаря вам успели подняться наверх, не позаботятся о том, чтобы, отводя удар от себя, скомпрометировать вас окончательно? Тем, кто сомневается в этом, могу еще раз напомнить об опыте с печальным исходом, который первыми проделали над собой Зиновьев и Каменев.

При тоталитарном, недемократическом режиме даже капля лжи — это очень много. Мы и сами знаем теперь, как быстро капля превращается в море, на дне которого оказываются погребенными самые великие победы. Мы знаем, как из простого умолчания и небольшого вроде бы преувеличения вырастает ложь доносов, обвинений и признаний, ложь о прошлом, настоящем и будущем, о том, что по ту и по эту сторону границы.

Меньше всего мне хотелось бы, чтобы мои слова были восприняты как обвинительный приговор старой партийной гвардии. Сейчас, похоже, такие приговоры входят в моду. Будь, мол, те же Каменев и Зиновьев людьми иного политического и нравственного калибра, не пошли бы они на обман партии и сделку с таким человеком, как Сталин. Не будь малодушными людьми те почти 300 делегатов XVII партсъезда, которые голосовали против Сталина, они бы не только вычеркнули его имя из списка при тайном голосовании, но и сказали все, что думают, открыто, а не занимались на трибуне постыдным восхвалением и унижительным самобичеванием. И тогда якобы все могло быть совсем, совсем по-другому. Не уверен, что этот скорый суд — самый справедливый. Если мы начнем искать корни тотальной лжи только в том, что где-то дрогнули или чего-то испугались Каменев, Бухарин или Киров, то мы рискуем обмануть себя и других еще раз. Читайте, читайте историю нашей болезни — и вы избавитесь от соблазна легких ответов и скорых приговоров! Мне, например, давно уже не дают покоя несколько загадочных страниц.

Поразительно: все антисталинские оппозиции (троцкистская, «новая» зиновьевско-каменевская, объединенная троцкистско-зиновьевская, бухаринская) при существенных различиях экономических и социальных программ были единодушны в требовании внутрипартийной демократии и в протесте против всевластия сталинского партаппарата. И все были биты: не только аппаратчики но и рядовые партийцы под эти знамя не встали. Еще поразительнее: все оппозиционеры и уклонисты становились «демократами» лишь тогда, когда оказывались в оппозиции. Входя в руководящее большинство Политбюро и ЦК, Зиновьев и Каменев громят сборника внутрипартийной демократии Троцкого, а став оппозиционным меньшинством, обрушиваются на аппаратчиков, дословно повторяя то, что сами совсем недавно клеймили как крамолу. И вот, видя все это и вдоволь посмеявшись над «принципиальностью» оппозиционеров, Бухарин и Рыков спустя год-другой с микроскопической точностью сами повторяют то, над чем смеялись и чем возмущались.

Догадываюсь, что в этом месте к вам снова возвращается ощущение полной ясности и желание побыстрее огласить окончательный приговор. Мне тоже хочется произнести какое-то итоговое и все объясняющее слово. Ну, скажем, «политиканство». Или еще покрепче. Но наберемся терпения. Не будем спешить. Вспомним, что «политиканы» такими не родились. Было время, когда тот же Бухарин мог позволить себе не менять свое отношение к внутрипартийной демократии в зависимости от того, куда он входил — в большинство или в меньшинство ЦК. Когда же и почему произошло поражение и разрушение духовного организма этих людей? Когда и почему началось ничем не остановимое соскальзывание по гладкой наклонной плоскости лжи в пропасть, на дне которой давно уже терпеливо поджидал свои жертвы усмехающийся Коба? Это важно понять: ведь речь идет о нашей собственной истории, о нашей, а не чужой болезни. И потому еще внимательнее присмотримся к ее ходу в тот период, когда она только зарождалась, ко всем ее странным проявлениям. Попробуем, пользуясь преимуществами потомков, обнаружить ее скрытые, еще не ощущаемые больными симптомы.

Люди, входившие в руководящее ядро большевистской партии, отличались редкой силой убеждений, они гордились тем, что их называли твердокаменными. И вот эти люди пришли к власти — и спустя несколько лет стали требовать друг от друга

чего-то совершенно немислимого, отбрасывающего их в духовном отношении ко временам Галилея и предвосхищающего сталинщину задолго до ее утверждения: они стали требовать отречения от взглядов.

Тот, кто когда-либо имел хоть какие-то убеждения, знает, что это абсурдно, так как они не возникают и не меняются по приказу. Даже в том случае, если выполнять приказ предстоит не сразу и не в тюрьме, а в уютном политизоляторе, где у тебя есть время и возможность подумать и посоветоваться с классиками марксизма-ленинизма, труды которых в полном твоём распоряжении. Интеллектуальные лидеры большевиков не могли не понимать этого. И тем не менее вот что происходило в 1927 году на XV партсъезде, где добивали уже исключённых из партии и потому отсутствовавших в зале Троцкого и Зиновьева и присутствовавшего там Каменева и их единомышленников:

«Сталин. Условие у нас одно: оппозиция должна разоружиться целиком и полностью и в идейном и в организационном отношении. (Возгласы: «Правильно!» Продолжительные аплодисменты.) Она должна отказаться от своих антибольшевистских взглядов открыто и честно, перед всем миром. (Возгласы: «Правильно!» Продолжительные аплодисменты.) Она должна заклеить ошибки, ею совершенные, ошибки, превратившиеся в преступление против партии, открыто и честно, перед всем миром... Либо так, либо пусть уходят из партии. А не уйдут — вышибем. (Возгласы: «Правильно!» Продолжительные аплодисменты.)

Евдокимов (представитель оппозиции). Самые широкие рабочие массы, из 100 человек 99, хотя прежде всего, чтобы было сохранено единство нашей партии. (Сильный шум. Голоса: «Без вас!» Голос. «Оно есть и останется!») Но наряду с этим рабочие, конечно, хотят, чтобы внутри партии давали говорить и большинству и меньшинству. (Сильный шум. Голос: «Это меньшевистское меньшинство!») Что, скажете, неправда? Нет, правда. (Шум, голоса: «Ложь!» Голос: «Меньшевистской свободы слова не дадим!») Рабочие хотят слушать не только одну сторону, а обе стороны. (Голос: «Кроме партии не может быть других сторон!») Из 100 человек 99 хотят этого. (Шум. Голос: «Разве это ленинская постанковка?»)... Да, да, нельзя ставить такие требования, которые рабочий класс никогда справедливыми счесть не сможет, требования отказаться от самих себя, отрешиться от своих взглядов. (Смех, шум... Голос: «Что ты говорил с этой трибуны о Троцком пару лет тому назад — вспомни!» Голос: «Ренегат!»)

Киров. Евдокимов все еще по инерции говорит: мы за единство... Можно, конечно, товарищи, на многом играть, но есть все-таки у нас в партии такие вещи, по поводу которых злословить недопустимо ни для кого... Я говорю об единстве партии... Все обвинения нашей партии, все основные пункты наших принципиальных программных разногласий... все это они оставляют незыблемым, оставляют для того, чтобы при первом удобном случае снова и снова развернуть свою оппозиционную платформу, для того, чтобы снова и снова дать лишнюю горячку, лишнюю встряску партии... Для того, чтобы нам успешно, без помехи продолжать наше дело... оппозицию нужно отсечь самым решительным, самым твердым и самым беспощадным образом (Аплодисменты.)

Каменев. Это требование, товарищи, отречения от взглядов никогда в нашей партии не выставлялось. Если бы с нашей стороны было отречение от взглядов, которые мы защищали неделю или две недели тому назад, то это было бы лицемерием, вы бы нам не поверили... Это лицемерие внесло бы гниль в самую суть дела...

Рыков. Основным моментом в выступлении т. Каменева является его утверждение, что требование отречения от взглядов никогда в нашей партии не выставлялось.. Это неверно. Чтобы опровергнуть это утверждение т. Каменева, я напомним о резолюции X съезда Российской коммунистической партии по вопросу «О синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии»... В шестом параграфе этой резолюции, после перечисления ошибочных взглядов и анализа идей «рабочей оппозиции», сказано: «На основании всего этого съезд РКП, решительно отвергая указанные идеи... постановляет.

1) признать необходимой неуклонную и систематическую борьбу с этими идеями;

2) признать пропаганду этих идей несовместимой с принадлежностью к РКП (б)».

...Каменев — не молодой член нашей партии, а все же, выступая здесь по воп-

росу о «свободе совести» в ВКП(б), он забыл одну маленькую деталь — постановление X съезда, принятое при его активном участии.

Сталин. Каменев уверяет, что нельзя требовать от оппозиционеров отказа от некоторых их взглядов... Но допустим на минутку, что т. Каменев прав. Но что же тогда получается?... У партии составилось определенное убеждение о том, что оппозиция должна отказаться от своих антиленинских взглядов, что без этого она будет вынуждена вылететь из партии. Если нельзя требовать от оппозиции отказа от ее убеждений, то почему можно требовать от партии отказа от ее взглядов и убеждений насчет оппозиции?... Тов. Каменев уверяет, что оппозиционеры являются мужественными людьми, отстаивающими свои убеждения до конца. Я... мало верю в мужество, например, Зиновьева или Каменева (смех), которые вчера разносили Троцкого, а сегодня с ним лобызаются. (Голос: «Привыкли в чехарду играть!») Но допустим на минутку, что некоторая доля мужества и принципиальной выдержки осталась еще у лидеров нашей оппозиции. Какое есть основание предполагать, что у партии имеется меньше мужества и принципиальной выдержки, чем, скажем, у Зиновьева, Каменева или Троцкого? Какое имеется основание предположить, что партии легче будет отказаться от своих убеждений насчет оппозиции, насчет несовместимости ее меньшевистских взглядов с идеологией и программой партии, чем у лидеров оппозиции, меняющих то и дело свои взгляды, как перчатки? (Смех.)».

Читаешь все это и не можешь отделаться от ощущения, что спорят люди двух разных культур и потому слова одних не входят в сознание других, выталкиваются из него, слышатся, но не воспринимаются, как звуки неизвестного языка. То, что одним кажется абсурдом, для других — норма. И наоборот. Но самое страшное в том и состоит, что перед нами люди одной, а не разных культур. Самое страшное в том, что они могут сегодня считать что-то абсурдом, а завтра — нормой. И наоборот.

Впервые мысль, которую Каменев справедливо считал беременной лицемерием, была обнародована в 1924 году, на XIII партсъезде. При Ленине такого еще не было — Рыков зря цитировал известную резолюцию, в ней говорится не о том, вернее, не совсем о том. Запретить пропаганду взглядов и требовать публичного отречения от них — это, как говорится, две большие разницы. Одно дело — молчать, зная (или думая), что ты прав, другое — зная (или думая), что прав, заявить на весь мир о своей неправоте. Нет, впервые открытая проповедь лицемерия прозвучала не в 1921, а в 1924 году, и произнес ее не кто иной, как ближайший сподвижник и единомышленник Каменева Григорий Зиновьев. И тогда никому из них она не казалась ни сомнительной, ни фальшивой. В то время зиновьевцы шли еще в одной упряжке со Сталиным против Троцкого, игра которого была уже проиграна, и тогда-то, чтобы закрепить победу, Зиновьев и предложил ему выйти на трибуну и признаться, что он, Троцкий, ошибался, а партия в споре с ним оказалась права. А ведь знал Зиновьев, прекрасно знал, что его противник оставался при прежних взглядах!

Да, переход из одной культуры в другую был делом обычным, чужой язык быстро становился родным и так же быстро забывался. Постоянным, незыблемым было одно — зависимость мысли и поступков от принадлежности к большинству или меньшинству. Здесь, в этой точке, и образовалась глубочайшая культурная пропасть, и если одни и те же люди могли так разительно меняться, попадая в другой лагерь, то это симптом духовного разрыва с цивилизацией, чреватого катастрофой, возвращением к варварству. Это самовыключение из культуры, потому что нет и не может быть культуры там, где нет устойчивости традиции или индивидуальных убеждений.

Только один человек и один только раз попробовал перекинуть мост через пропасть, один только раз в лагере большинства раздался негромкий призыв остановиться, не переходить черту, отделяющую разум от безумия. Это было на том же XIII съезде, где против Зиновьева выступила Крупская. Она сказала что «психологически это (отказ от убеждений. — И. К.) невозможно» и потому вполне «достаточно заявления оппозиции о желании совместной работы...» Но этот голос, это предупреждение не были услышаны. Зиновьев тут же возражал, признание ошибок успокоило бы съезд и всю партию, все поверили бы, что троцкисты наконец-то кончили, «перестали бузить». А так, мол, никакой уверенности нет, напряжение сохраняется, что, конечно же, не на пользу делу.

Это первый открытый призыв ко лжи «во спасение» (партии и ее дела) после того, как при сокрытии ленинского «Завещания» она была примерена к собственной

совести, и та ничего, выдержала. Это исток лицемерия и холуйства последующих десятилетий.

Я думаю, что голос Надежды Константиновны и не мог быть в то время услышан. Но не потому, что старая партийная гвардия погрязла в политиканстве, забыв якобы о принципах, о «том, во имя чего». И не потому, что каждый из входивших в нее людей будто бы только и думал что о личной власти и ее преимуществах. И не потому, что все они одним лыком шиты и одним миром мазаны, как говорят порой сегодня, ставя их в один ряд и на одну доску со Сталиным. Убежден: едва ли не все они были и оставались служителями и подвижниками идеи и по своему духовному и нравственному развитию принадлежали к другой, чем Сталин, категории людей. У него источник лжи находился внутри. У таких деятелей той поры, как Каменев, Бухарин или Рыков, она вырабатывалась и постоянно подпитывалась ложностью и двусмысленностью положения, в котором после окончания гражданской войны оказалась старая партийная гвардия

Ложность и двусмысленность заключались в том, что большинство, кто бы в него ни входил, было обречено на свертывание внутрипартийной демократии и ущемление меньшинства. Это обнаружилось еще при Ленине. Партия считала себя демократической организацией, демократизм — это гарантия права меньшинства на критику и свободное выражение своих взглядов, но она-то (гарантия) и не могла быть, как выяснилось, обеспечена. Обнаружилось, что демократия в массовой партии без демократии в обществе наталкивается на непреодолимые препятствия. Обнаружилось, что неоднородные, противостоящие друг другу интересы и настроения различных социальных слоев, не получая политического выражения, находят отклик в стоящей у власти организации, в том числе среди ее руководства. Обнаружилось, наконец, что при сколько-нибудь серьезных разногласиях в руководстве партия существовать и править не в состоянии: сверху трещина тут же ползла вниз, а там при отсутствии демократической культуры все моментально разваливалось, оборачивалось неразрешимыми проблемами, вина же, как и всегда при неукорененной демократии, целиком возлагалась на «начальство», на вождей, которые не могут договориться и навести порядок. Ясно, что это было по авторитету руководящего слоя, на котором (авторитете) в то время, по словам Ленина, все и держалось.

Демократия и партийное единство — вот две идеи, два коренных принципа, которые жизнь столкнула в острейшем противоборстве. Резолюция X съезда, к которой Рыков отсылал Каменева, была попыткой утихомирить враждующие стороны, призвав к порядку одну из них. Она открыто отдавала предпочтение единству, существенно ограничивая демократию.

Но конфликт двух принципов ликвидирован не был по той простой причине, что ликвидирован быть не мог. Он все время давал о себе знать и в Политбюро и в ЦК, проявлялся в обострении личных отношений по поводу малейших разногласий, и не было, пожалуй, вопроса, который больше беспокоил Ленина, чем этот, и вовсе неспроста намечал он в «Завещании» расширение состава ЦК за счет рабочих, и двигала им, я думаю, не идея демократии, как многие сегодня считают, а идея единства, мысль о предупреждении раскола среди вождей с помощью людей, которые единство ставят выше демократии, а не наоборот.

После смерти Ленина конфликт двух принципов быстро перерастает в войну на уничтожение. Никто еще этого не видит, все надеются совместить их, но демократия уже понимается неодинаково. Для одних она — в безусловном и безоговорочном подчинении меньшинства большинству (можно ли что-то делать вместе, если делать разное и по-разному?), для других — в праве меньшинства на свободное выражение своей позиции (как можно подчиняться и отстаивать перед людьми то, с чем ты не согласен?). Но там, где люди не могут мирно договориться, решающим доводом становится сила. Сила же, как нетрудно догадаться, при сохранении в партии формальных демократических процедур всегда у большинства. И в тот день и час, когда Зиновьев призвал Троцкого к отречению от убеждений, смысл слова «подчинение» (меньшинства большинству) начал меняться, резко сблизившись с содержанием слова «подавление».

Но, похоже, даже на XV съезде, то есть три года спустя (перечитайте приведенные мною выдержки из стенограммы), люди, гребущие «отречения», не понимают еще, что с ними происходит, какую они перешли границу. И только Сталин, кажется, смотрит дальше и видит больше, отдавая себе отчет в том, что борьба

окончательно перемещается на территорию, где нет никаких моральных ограничений, где он, Сталин, поэтому непобедим, где никакие соперники ему не страшны. Они в атмосфере всеобщего лицемерия должны были задохнуться. Он о ней мог только мечтать. Ему ли, Сталину, бояться лицемерия, если он и без того считал лицемерами всех?

Он пришел к себе. Те, кто пошел с ним, от себя ушли.

Я понимаю, что это домысел. Но мне известно многое из того, что случилось потом. И потому я вижу Сталина и его сторонников на том съезде такими, какими вижу, и вычитываю в их речах то, что вычитываю

В двусмысленном положении, в котором, не замечая того, оказались Рыков, Киров и их единомышленники, все они однозначно серьезны в своих требованиях, они обеспокоены судьбой партии, они уверены, что только так, только настояв на «отречении», можно предотвратить ее раскол и развал, прекратить борьбу, давно уже захлестнувшую и низовые ячейки. Но в этой, как и в любой монотонной и однотонной серьезности чувствуется внутренняя скованность. И лишь Сталин выглядит абсолютно свободным в царстве двусмысленности, он здесь — король, он и внутри ситуации и над ней и он может позволить себе лукавую, почти добродушную мефистофельскую казуистику (см. стенограмму), в которой улавливается насмешка не только над побежденными противниками, но и над близорукими соратниками. Они еще не подозревают, что вместе с ним, со Сталиным, узаконили право большинства на подавление любого внутрипартийного инакомыслия, в том числе и своего собственного. Тем более не знают они о том, что там, где объявляется опасным и недопустимым инакомыслие явное, таковым может быть объявлено и инакомыслие скрытое, а так как спецслужбы читать в сердцах еще не умеют, то инакомыслием может стать любая мысль и даже ее отсутствие.

Если организация, обладающая монополией на власть, допускает подавление меньшинства, то она открывает дорогу личной диктатуре, перед которой оказывается безоружной. Подавление меньшинства — начало конца демократии. Конец демократии — начало тирании.

Голосование против Сталина еще семь лет спустя, на XVII съезде, — это уже агония умирающей внутрипартийной демократии, это неловкий перевод ее в нечто совсем другое, в своего рода тайный заговор против убившего ее режима, тем более жалкий, что в нем сделана ставка на такое ненадежное и не годящееся для противодиктаторского заговора средство, как избирательный бюллетень. Сталин популярно объяснил заговорщикам, что такое власть лжи, окончательно победившей, — он приказал фальсифицировать результаты голосования. Но, вспоминая с тягостным чувством эту последнюю отчаянную попытку скинуть с партийного олимпа уже недостижимое жуткое творение собственных рук, воздержимся от нелепых обвинений кого-то в том, что он не вышел на трибуну и не произнес обличительную речь. Не думаю, что «съезд победителей» стал бы его слушать, что ему вообще дали бы говорить. Но если бы даже сказал — не услышали бы, как давно уже не слышали в партии никого, кто оказывался в меньшинстве. А большинства у противников Сталина на XVII съезде быть не могло: те 292 человека, которые решились выступить против него тайно, не составляли и седьмой части делегатов.

Внутрипартийная демократия умерла, утвердилась диктатура. Но оставались люди с демократической совестью, способные иметь самостоятельные убеждения и сохранившие внутреннюю сопротивляемость лакейству. Не надо быть очень уж прозорливым, чтобы догадаться: люди такого склада и голосовали против Сталина. Думаю, что стремление обезопасить себя от единственной оставшейся демократической процедуры (тайного голосования при выборах в ЦК) сыграло не последнюю роль в решении Сталина устроить чудовищную массовую резню. Каменев, предупреждавший о лицемерии, которым прорастет принудительное отречение от убеждений, не мог, однако, предположить, что это лицемерие будет объявлено главным врагом и вытравлять его начнут каленым железом. Как коротка оказалась дорога от лжи, проводящей лицемерие, до лжи, объявляющей лицемером каждого, кого захочется!

«Демократов» нельзя было выявить, так как их всех давно уже заставили замолчать. Поэтому и была объявлена охота на «лицемеров» и «двурушников», скрывающих под маской друзей звериный вражий оскал. Зона юридической вины стала беспредельной — вырезали не противников режима, а целую человеческую генерацию,

в которую зачисляли каждого, в ком можно было заподозрить непридрасположенность к холоуыству и хоть какой-то намек на индивидуальность.

Массовые репрессии — закономерный итог сталинской диктатуры. Сталинская диктатура — закономерный итог победы принципа единства над принципом демократии. Победа принципа единства — закономерный итог заболевания сознания, которое в один прекрасный день начинает демократическое подчинение меньшинства большинству толковать как право большинства на подавление меньшинства. Чтобы использовать это право для установления личной диктатуры, нужно не так уж много: желание, воля и — вхождение в большинство.

Сталин, похоже, очень хорошо понимал это. Он был единственным из состава ленинского Политбюро, кто после смерти Ленина никогда не оставался в меньшинстве. Он не вступал в открытую борьбу до тех пор, пока не сколачивал большинство в высших органах партии, но, получив его, он уже не ждал, пока его противники организуются, а подталкивал их, порой просто провоцировал созревание оппозиций и уклонов, чтобы побыстрее учинить разгром.

Сталин шел к диктатуре, выставляя себя самым убежденным и последовательным демократом. Поэтому он всегда побеждал. Поэтому получал поддержку в партии независимо от того, какую выдвигал программу. Он мог менять свои взгляды еще чаще, чем его соперники, мог врать и перевернуть сколько хочет, но ему это сходило с рук, потому что в содержании политической борьбы рядовой и даже средний партиец разобратся не мог, а правила арифметики наводили его на мысль, что в меньшинстве может оказаться лишь меньшевик (еще раз отсылаю к выдержкам из стенограммы XV съезда)

Конечно, на Сталина работал гигантский партийный аппарат, умело управлявший механизмом внутрипартийной демократии. Но дело не только в этом. Я расспрашивал старых партийцев, которые в 20-е годы сознательно поддерживали Сталина, а потом прошли через сталинские лагеря. Мне важно было понять, почему они именно его предпочли авторитетным, популярным вождям, даже такому, как «любимец партии» Николай Иванович Бухарин. И слышал в ответ: не потому, что он был Генеральным секретарем, и не потому, что очень уж любили (его не любили), а потому, что всегда был в большинстве, принадлежность к которому считалась символом правоты, вполне достаточным основанием для того, чтобы говорить от имени партии.

Надеюсь, читатель составил себе представление и о роли лжи в недемократически устроенном обществе, и о том, почему она рано или поздно становится здесь чуть ли не тотальной. А это значит, что и сама демократия (слово слишком популярное, чтобы можно было вычеркнуть его из словарей) неизбежно превращается в ложь. Как и положено при тотальном обмане, ее (демократию) тоже провозглашают не жертвой, а победительницей, выхолощенную и приспособленную для наглядной демонстрации «несокрушимого единства», ее объявляют «демократией высшего типа».

Сегодня мы, кажется, кое-что поняли, и нас так просто уже не проведешь. Но мы еще, похоже, не осознали, что реабилитация поверженного принципа демократии (в партии и обществе) восстанавливает его старый конфликт с победившим принципом единства.

Это только кажется, что внутрипартийная демократия не столкнется с трудностями, если не будет свободы образования фракций (свернута резолюцией X съезда) и выдвижения политических платформ (ликвидировано в середине 20-х годов). Вспоминается недавнее время споров с Ниной Андреевой и ее вдохновителями: о фракциях и платформах ничего не было слышно, как не слышно и сейчас, разногласия между руководителями сводились к внешне не очень существенным расхождениям в понимании «принципов» и в оценках вчерашнего и позавчерашнего бытия, а сколько шуму было, какие страсти кипели!

Да уже намека на внутрипартийную демократию достаточно, чтобы снова обнаружилось: не так-то все просто с ней там, где партия всего одна и правит только она одна. Не могу забыть, как люди вполне либеральных умонастроений призывали руководителей к «единству». А на какой интерес, основе могли они объединиться? На перестроечной? А если они саму перестройку понимали не совсем одинаково? И что самое существенное может ли, и если может, то долго ли, «монолитное единство» руководителей сочетаться с демократическим полководьем среди подчиненных? Надо все же отдавать себе ясный отчет: на всем протяжении послереволюционной истории не было у нас плюрализма на нижних этажах партии без плюрализма.

на верхних. А там, наверху, даже при Ленине с его огромным авторитетом плюрализм (демократия) с единством не очень-то уживался. И сейчас уживается лишь до тех пор, пока демократия находится у единства на положении домработницы, взятой для выметания сора. Когда же она поднимает голову и позволяет себе высказаться о домохозяевах и о том, как они ведут хозяйство, ее ставят в угол.

«Дело Ельцина» — первая (но не последняя) после начала перестройки серьезная победа принципа единства над принципом демократии. А плотная дымовая завеса неправды вокруг этого дела — до боли знакомое проявление их старого и до сих пор не разрешенного конфликта.

Вторая победа — процедура и результаты выборов на XIX партконференцию.

Третья — закрытие вопроса о привилегиях, то есть о материальном фундаменте «единства», заложенном в свое время таким мастером сплочения партийных рядов, как Иосиф Виссарионович Сталин.

Я не собираюсь выписывать еще один скороспелый рецепт, который помог бы нам раз и навсегда излечиться от лжи. Моя задача скромнее — в меру собственного разумения приоткрыть истоки болезни, ее жизненные, или, говоря ученым языком, системные, корни. Это, понятно, еще не лечение. Но это, быть может, поможет кому-то проникнуться спасительным недоверием к политическому знахарству, обещающему моментальное исцеление волшебным словом «демократизация» и вызывающему после быстрой эйфории смертельную тоску.

Соскальзывание в ложь неизбежно, если действует ее системный источник. А он действует. И лучше признать, что это так, чем скрывать от себя и других. Это, конечно, добавит нам сомнений, которых и без того хватает, но зато убавит иллюзий, которых, быть может, меньше, но вреда от них намного больше.

Короткое отступление о разделении труда между двумя аппаратами

Говорят не только о демократии в партии и обществе. Говорят о том, что демократическими должны стать ее отношения с обществом, с другими организациями. Говорят, что ее нужно поставить под контроль закона, нужно «вывести» ее из экономики, нужно, чтобы она занималась своим делом, не подменяя государство и хозяйственные органы.

Все вроде бы логично и здраво. Но ни одна правящая партия ни в одной из социалистических стран не спешит почему-то возложить на себя юридическую ответственность за свою деятельность. Почему-то все они избегают и каких-либо объяснений на тему о том, в чем же заключается их «руководящая роль», если попытаться выразить ее на языке конкретных прав и обязанностей, а не общих идеологических деклараций. Вас это смущает? Меня тоже. Я предполагаю, что здесь может быть скрыта лазейка для обмана. И, не дожидаясь, пока кто-то в нее устремится, начинаю искать системный источник этого будущего неудержимого стремления.

Или вот это — «не подменять государство»... До сих пор перед глазами схваченные телекамерой растерянные лица некоторых делегатов партийной конференции и большинства тех, с кем приходилось в то время обмениваться мнениями. Как же так, недоумевали люди, ведь партийные органы и так все подменяют и подминают, ведь договорились, что с этим надо кончать, а что предлагается? Предлагается расширить их полномочия! Дать им не только «телефонную», но и узаконенную власть в Советах!

Но прошло всего несколько дней, и умные люди стали хвататься за головы: да как же мы сразу не догадались? И начали с жаром втолковывать ближним и дальним, как это все замечательно придумано. Наконец-то, мол, найден реальный, а не утопический способ демократизации и партии и всего общества. Наконец-то можно будет поставить партийных лидеров под надзор Советов, а значит, и всех нас, так как в Советы выбирают и беспартийных, а кого выбрать, решать тоже нам. Не захотят наши представители (то есть опять же мы сами) иметь председателем Совета партийного секретаря — значит, не быть ему и партийным секретарем!

Не спорю логика в этих рассуждениях есть. Но почему любое руководящее решение вызывает у нас предчувствие очередного чуда, а не предощущение новых проблем? Поменьше возрадов и побольше трезвости. Поменьше бодряческого оптимизма и побольше здравого смысла и взвешенных, рациональных прогнозов. По-

меньше опасений, что прогнозы эти могут убить веру в перестройку, и побольше ясности в вопросе о том, что перестройке нужна не вера в нее, а знание и умение думать, что иначе никакая она не перестройка и что на месте хоть единожды обманутой веры возникает обычно не мысль, а пустота.

А опасность снова обмануться (и обмануть) существует. Потому что помимо нашей с вами логики есть логика Административной Системы, которая (система) отменена пока лишь в нашем воображении и которая (логика) будет преподносить нам сюрпризы до тех пор, пока мы не научимся понимать ее.

Хроническое самонепонимание — еще одно заметное проявление нашей общей болезни. И быть может, хуже всего уразумели мы смысла того, что вбито в наши головы лучше всего, — я имею в виду такие обычные и такие привычные, почти стертые слова, как «руководящая роль». Удивительно: сколько всего наговорили о бюрократизме, всевластии аппаратчиков, об Административной Системе вообще, но до сих пор, насколько могут судить, не задались вопросом: а зачем в этой системе две организации и два аппарата — государственный и партийный? И почему одна организация взяла на себя руководящую роль, не объяснив толком, что это значит, и не обременяя себя никакой реальной ответственностью за ее исполнение, а другая согласилась не только подчиняться, но кое за что и отвечать? Очевидно, по той простой причине, что правила игры чем-то ее устраивали.

Административное планирование и управление возникло и утвердилось под флагом сознательности, противостоящей анархической «стихии рынка». Но очень быстро выяснилось, что эта система, в которой благодаря сознательной целенаправленности действий все должно быть управляемо и стопроцентно предсказуемо, еще меньше застрахована от стихийности и непредсказуемых последствий, чем какая-либо другая. И что никакая бюрократия, даже если рекрутировать в нее все взрослое население и вооружить не только самой передовой идеологией, но и сверхсовременными компьютерами (представим, что их изобрели на полвека раньше), не в состоянии учесть многообразные и непрерывно меняющиеся общественные и личные потребности.

Но если все убеждены, что хозяйственная жизнь не только должна, но и может регулироваться сознательно, а в результате регулирования получается все же черт-те что, то какой, интересно, сделаете вы вывод? Вы скажете, наверное, что задумано все очень хорошо, а вот регулировщики, к сожалению, недостаточно сознательны для того, чтобы осуществлять сознательное регулирование. Поэтому каждое не оправдавшее себя решение должно быть названо головотяпством, за которое надо строго наказывать.

Но и чиновник-регулирущик, будьте уверены, не глупее нас с вами. Играть по таким правилам не заставила бы его никакая сила, он убежал бы с руководящей сцены в дворники и даже в нищие, если бы не нашел способ уклониться от принятия принципиальных решений и не отвечать за их последствия, которые невозможно предвидеть. Он удрал бы моментально, если бы наши упреки в «несознательности» грозили ему серьезными неприятностями.

Да, но кто же возьмет на себя бремя решений? Для этого, как нетрудно догадаться, нужны другие чиновники, входящие в другой аппарат, который от государственных и хозяйственных органов отличается тем, что имеет право принимать самые ответственные решения, не неся за них никакой юридической ответственности, а вину за последствия может свалить на плохих исполнителей, которые «обюрократились», «оторвались от народа», «отстали от жизни» или способны в самый неподходящий момент испытывать «головокружение от успехов».

Часто маленькая деталь, небольшой штрих проясняют суть дела лучше, чем самые убедительные рассуждения. Вспомните: коммунист, привлеченный к уголовной ответственности, исключается из партии до суда. Это выглядит странным и несурзным: ведь только суд может определить, насколько человек виновен и виновен ли вообще. И тем не менее я сам знаю несколько случаев, когда людей исключали из партии, а потом — еще в ходе следствия — выяснялось, что судить их не за что. И все же, если вдуматься, для Административной Системы нелепость эта очень даже логична. В несовпадении закона и устава организации выразилась принципиальная неподсудность этой организации, ее юридическая привилегированность и неподконтрольность.

Жизнь показала, что разделение труда между партийными и государственными органами хотя и не гарантирует никому полного спокойствия, но вполне устраивает

обе стороны, обеспечивая тот минимум взаимопонимания и взаимовыручки, который необходим для любой совместной работы.

А теперь самое время вспомнить о том, что мы говорили о конфликте двух принципов, и сделать важный вывод. В партии, какой она сложилась в сталинскую эпоху, принцип демократии был подмят принципом единства в том числе и потому, что это позволило партаппарату присвоить себе двойное монопольное право. принимать решения и не отвечать за них ни перед кем, кроме самого себя и своего партийного вождя. Как мы теперь знаем, реабилитация репрессированной демократии при сохранении фундамента Административной Системы ведет ко всякого рода незапланированным выступлениям не только внизу, но и на самом верху, которые воспринимаются болезненно, оцениваются как покушение на единство и даже очень симпатичных и порядочных людей выталкивают на привычную стезю бюрократического обмана. Но ведь это только первые, еще очень робкие шаги, ведь реабилитировано пока лишь слово, ведь никаких реальных прав, кроме права голоса, репрессированному не возвращено! А что произойдет, если лишить партийные органы их главной привилегии, то есть поставить их под контроль населения, которое заставит их держать ответ за все, что они делают и не делают? Думаю, что на такое они никогда не согласятся, а если найдется сила, способная их заставить, выразив тем самым демократическую зрелость всего нашего общества, то ей придется позаботиться и о трудоустройстве труженников аппарата — те не станут ждать неприятностей, подадут «по собственному желанию» немедленно. Но пока им, похоже, ничего такого не грозит. Скорее всего они сумеют развернуть свою старую лодку по новому курсу. Это не так уж сложно, потому что закона о партии пока нет, ее полномочия и неполномочия не очерчены. Не уверен, что совмещение должностей председателя Совета и первого секретаря партийного комитета затрагивает прежнее разделение труда между государственными и партийными органами. Может быть, центр принятия решений несколько сместится в сторону первых, но это значит, что на них усилится давление со стороны вторых, реальная ответственность которых не только не увеличится, но даже уменьшится. Если же случится так, что какой-то Совет не выберет партийного секретаря своим председателем, то это будет обычная персональная замена, которая никакого принципиального значения не имеет и иметь не может. Пока Административная Система живет и здравствует, пока реформы и перемещения идут внутри ее, оставляя нетронутыми ее устои, коренных сдвигов произойти не может. Кого бы и куда бы ни выбирали, какие бы должности ни создавали и ни совмещали, люди будут делать лишь то, что позволяет система, а позволяет она не очень много, и потому не очень много пока успехов у перестройки.

Можно, правда, предположить, что при допущении свободных выборов в Советы резко возрастет демократическое давление на партийный и государственный аппарат. И это можно было бы только приветствовать. Но свободных выборов пока нет, и я не уверен, что скоро будут. Это во-первых. А во-вторых, если партийные органы почувствуют угрозу своей неподсудности и неподконтрольности, если увидят, что оказываются под надзором общества, то они постараются такое положение ликвидировать, объявив о том, что оно благоприятствует покушению (разумеется, со стороны «отдельных экстремистов» и «антиперестроечных групп») на святая святых — на «руководящую роль».

Я преувеличиваю? Фантазирую? Но вспомните, как встретили многие партийные функционеры гласность, как зашумели они, как забеспокоились, оказавшись незащищенными под обстрелом прессы. Сколько слов было сказано о «подрыве авторитета», о безответственных выступлениях безответственных журналистов в безответственных органах печати! И сколько будет еще сказано! А ведь критика в прессе — это пчелиный укус, не больше. Ведь если и напишут плохо, то где-нибудь в центральной или республиканской газете, а эта беда каждый день не сваливается, если повезет, ее можно и избежать, а здесь, на месте, тебя никто не тронет, своя-то печать у тебя в кармане: любой редактор хорошо знает, что такое «партийная ответственность», а если забыл, можно и напомнить. А что будет, когда партийные органы начнут не иногда, а постоянно и ежечасно контролироваться не «чужими», а «своими», и не только журналистами, но и всем населением, его выборными органами, и придется отвечать за каждый свой шаг?! Не уверен, что это не приведет к появлению новых Ельциных, но уже не на левом, а на правом фланге, которые окажутся поумнее и порешительнее несколько старомодных, хотя с виду и грозных консерваторов образца

1988 года. Не убежден и в том, что даже самые симпатичные и порядочные люди останутся при этом на высоте и не возобновят движение по наклонной плоскости лжи.

К таким поворотам судьбы надо быть готовыми. А быть готовыми—значит, помимо прочего, усвоить раз и навсегда: ни одной серьезной проблемы Административная Система разрешить не может и не сможет и, пока она не сломана, источник лжи сохраняется. Поэтому, находясь внутри ее, правду говорить очень трудно, а в сложные для системы минуты и просто невозможно. Объяснять, что полная правда от нее и ее служителей исходить не может,— это и значит говорить правду. Это только и значит идти вперед, глядя дальше тех границ, внутри которых позволено действовать реформатору Административной Системы.

Но тут я подхожу к самому, пожалуй, главному. Чтобы правда была услышана, мало произносить ее вслух. Нужно еще, чтобы люди хотели ее слышать. Между тем не только в коридорах власти, но и в коридорах общественных, коммунальных и отдельных квартир не всегда к этому предрасположены. Поэтому правду трудно говорить даже тем, у кого хватает для этого мужества и внутренней свободы.

Обмануть кого-то (отдельного человека или целый народ) можно лишь тогда, когда он готов принять ложь за правду. Происходит же это не всегда потому, что его держат в неведении. Бывает даже, что неведение его больше устраивает, чем осведомленность. Вопрос слишком серьезный, можно сказать — корневой, и потому разговор о нем должен быть особый и неспешный.

О пользе и вреде самообмана

Обману народов предшествует их самообман. Самообману предшествует неблагополучие жизни и желание перекрыть ее.

Двое моих знакомых — оба серьезные исследователи — в разное время и независимо друг от друга сделали любопытное наблюдение. Они сравнили общество, в котором мы живем, с тем, как представляли себе социализм Энгельс, написавший известную книгу «Анти-Дюринг», и ее главный герой, сурово раскритикованный и ядовито высмеянный Энгельсом, то есть сам Евгений Дюринг. Сравнили — и были ошеломлены своим открытием: наш социализм построен по Дюрингу, а не по Энгельсу!¹ Первый не обещал современникам и потомкам освобождения ни от денег, ни от таких вещей, как армия, полиция, суды, жандармы. Все останется, говорил он, чудес в жизни не бывает. А Энгельса это сместило. В его глазах Дюринг выглядел, наверное, человеком, который, сидя в болоте, не в силах представить себе, что могут быть и другие места обитания и что люди, добравшись до них, смогут смыть с себя болотную гниль.

Так что же — зря так долго ругали мы вслед за Энгельсом бедного Евгения, не желавшего о будущем говорить красиво? Выходит, он был прав? Отвечу вопросом же: а вы стали бы строить баррикады, штурмовать неприступные крепости и дворцы, зная, что новая жизнь, к которой вы рветесь, будет скроена по старой выкройке? Да, наше общество построено скорее по проекту Дюринга, чем Энгельса, но строиться по этому скучному проекту оно не могло — не нашлось бы ни строителей, ни добровольцев для расчистки почвы от старого хлама. И поэтому Дюринга мы помним только благодаря тому, что когда-то его раскритиковал автор «Анти-Дюринга».

Плохо, когда целые народы обманываются насчет того, что они делают и что из этого может получиться. Грустно смотреть назад, если видишь там: люди хотят возвести прекрасный храм, светлая мечта о нем согревает их озябшие души, когда они, не зная сна и не ведая усталости, корчуют пни, роют котлованы под фундамент, таскают камни и возводят стены, а закончив работу, вдруг обнаруживают, что вместо храма построили барак или казарму. Грустно, но примерно так человечество до сих пор в основном и развивалось. Идеалы, одухотворявшие его, становясь действительностью, окарикатуривались до неузнаваемости, но без этого из раза в раз и из страны в страну повторяющегося самообмана, который Гегель очень точно назвал иронией истории, не было бы современной цивилизации. Идеалы не становились действительностью, но со временем все же обнаруживалось, что новая действительность имеет перед старой существенные и неоспоримые преимущества.

¹ На это совсем недавно обратил внимание и Г. Лисичкин, сопоставивший идеи Дюринга со сталинскими представлениями о социализме и их практическим воплощением (см «Новый мир», 1988, № 11).

Да, самообман — общая судьба почти всех народов, которым в последние три столетия пришлось пережить революционные потрясения и обновление жизни. Сначала всеобщее воодушевление, когда кажется, что дорога, ведущая в волшебное царство свободы, равенства и братства, наконец-то найдена и остается лишь двигаться по ней быстро и решительно, не смотря по сторонам и не оглядываясь назад. Потом — всеобщее же отрезвление при виде картины, открывавшейся взору после того, как ворота в желанное царство удавалось взломать или сорвать с петьель, оставив на подступах к ним горы трупов и моря крови. Вместо Карла или Людовика людей ждали Кромвель или Наполеон, готовые заменить казненных монархов. Вместо прежней знати — выскочившие на авансцену денежные тузы. Отменялись феодальные поборы, но скоро они кое-кому начинали казаться раем по сравнению с «язвами пролетариата». Уходили в прошлое обиды и унижения, которые позволяли себе по отношению к своим слугам и работникам бывшие хозяева жизни, но эти старые несправедливости выгладили детскими игрушками на фоне возникшей всеобщей продажности, взаимоотчуждения и бездушия. Потом жизнь станет лучше, сытнее, свободнее, но сначала все вызывало разочарование и уныние, ощущение грандиозной и непоправимой катастрофы.

Поэтому таким привлекательным и заманчивым стал выглядеть в глазах многих другой идеал — социалистический. Казалось, теперь-то уж обмана быть не может, надо лишь позабиться о том, чтобы вовремя устранить главных обманщиков — собственников с их имуществом и деньгами, а заодно собственность и деньги вообще, а вместе с ними рынок с его стихийностью и неуправляемостью, для него в свою очередь нужно опереться на людей, у которых нет ни собственности, ни денег, но зато есть организованность, дисциплина, сплоченность, достаточные для того, чтобы вывести человечество из тупика, — нужно опереться на наемных рабочих. Это была великая мечта, великая вера в народные силы, и люди, принявшие ее, не могли не отбросить в сторону любого, кто, как Евгений Дюринг, видел на горизонте не звезду свободы и счастья, не мастерскую и лабораторию, где народ сам, без чужой помощи и помех по четкому плану творит свою жизнь, а то же самое, что вокруг себя, лишь чуть-чуть лучше.

Но судьба социалистического идеала оказалась еще трагичнее, чем у его предшественников. По замыслу, он должен был стать реальностью прежде всего в странах, которые дальше других продвинулись по пути прогресса и где капитализм исчерпал свою созидательную энергию. Этого не случилось. Идеал жил, он притягивал рабочих, воодушевлял на борьбу за улучшение и изменение жизни, но как-то так выходило, что капитализм, часто отступая и идя на уступки, не слабел, а укреплялся, накапливал силы и богатства, приручал пролетариев, постепенно вытравлял их революционный пыл, создал невиданные производительные силы и теперь, на очередном витке технологической революции, отгеснил индустриальное производство и индустриальных рабочих на обочину экономики и готов с ними расстаться навсегда.

Зато под социалистическим знаменем была одержана победа в отставшей России, а потом в других странах, которые не успели вовремя прорваться в буржуазную цивилизацию и в которых капитал не только не доделал, а едва начал свою историческую работу. «Реальный социализм» провозгласил себя более совершенным по сравнению с этой цивилизацией человеческим сообществом, оставляющим в прошлом все ее противоречия и пороки, считал ее возможности исчерпанными, а свои — неисчерпаемыми:

С памятник ростом
будут
наши капуста
и наши моркови,
будут лучшими в мире
наши
коровы
и кони

На деле же все оказалось сложнее. Вместо того чтобы снисходительно оглядываться на оставаемых позади и безнадежно отстающих, а то и сходящих с дистанции соперников, приходилось гнаться за ними, напрягая все силы и насилая организм, приходилось платить такую цену, какую никто никогда и ни за что не платил и о которой нельзя вспомнить без содрогания, а догнать все равно не получалось и не получалось до сих пор: к соперникам в критические минуты все время приходило второе дыхание, а мы его каждый раз обретали с трудом и все чаще задыхались в этой сумасшедшей гонке по дорогам XX века.

а военный коммунизм — это впервые практика. И потому именно там вижу я мировоззренческий исток и идеологическое зерно сталинщины, не сумевшее тогда прорасти и дать всходы, так как не было еще нужных условий.

Многие до сих пор считают, что политика тех лет воспринималась ее инициаторами как временная, вынужденная гражданской войной. Но если бы так было, то Ленин не стал бы называть военный коммунизм ошибкой. Нет, это была сознательная долговременная линия. Это была невиданная попытка трансплантации органов войны в ткань мирной жизни. Да, тогда произошло отторжение, операция не удалась, и кончилась она, к счастью, не смертью пациента, а свертыванием эксперимента, решительным отказом от всей этой губительной затеи. Но военно-коммунистическая идеология не исчезла, осталась в головах, ждала своего часа. Что же она собой представляет?

Идеология трансплантации и соответствующая этой идеологии политическая линия впервые была детально разработаны на исходе гражданской войны тогдашним наркомом по военным делам Троцким. Факт известный. Вспоминают его, часто делают вывод: Троцкий и есть главный идейный вдохновитель и инициатор сталинщины. Это если и верно, то лишь отчасти. Во-первых, программа Троцкого разделялась руководством партии и была утверждена на IX ее съезде в присутствии и при поддержке Ленина. Во-вторых, в годы нэпа взгляды Троцкого хотя и отдавали по-прежнему левизной, но так далеко, как Сталин, он никогда не заходил, а идея насильственной коллективизации ему и просто не приходила в голову, наоборот, он был ее (коллективизации) непримиримым противником. Но факт остается фактом, главным идеологом трансплантации был наркомвоен. Он продумал предстоящий эксперимент до мелочей. Он всесторонне обосновал его и был убежден в его успешном осуществлении. Он считал, что предлагаемая им программа полностью соответствует основным принципам социализма, и страстно отстаивал свои убеждения в спорах с многочисленными противниками. Поэтому, изучая историю нашей болезни, мы не можем избежать обращения к Троцкому. Идеология зарождающегося трагического самообмана изложена им по-военному четко, без обиняков, с ясностью почти прозрачной. Полнее всего, пожалуй, эта позиция представлена в сегодня совершенно забытой, а когда-то шумевшей, привлекшей внимание мировой общественности полемике Троцкого с Каутским — крупнейшим теоретиком германской и международной социал-демократии.

В 1919 году Каутский выпустил книгу «Терроризм и коммунизм», в которой резко раскритиковал большевистский режим, в том числе и его методы хозяйствования. Через год Троцкий ответил книгой под таким же названием, где пытался отвести критику и обосновать правомерность военно-коммунистической политики, доказать ее соответствие принципам социализма. Еще через год появился ответ Каутского под заголовком «От демократии к государственному рабству».

Мне кажется, современного читателя могут заинтересовать обе позиции. Критика Каутского вскрывает как очевидные слабости и несообразности военно-коммунистической доктрины, так и слабые позиции самого критикуемого, историческую ограниченность той «демократической» разновидности социалистической идеологии, которую представлял оппонент Троцкого. В споре столкнулись не истина и самообман, а два самообмана, и оба они поучительны по сей день, так как ни один из них не может служить лекарством от другого, потому что оба они — болезнь. Чтобы не быть голословным, я и хочу предоставить слово и Троцкому и Каутскому. Для этого попробую воспользоваться приемом своего рода литературного монтажа, к которому уже обращался в своей статье в «Новом мире» (1987, № 11) при изложении взглядов сменовеховцев. Отрывки из книг Троцкого и Каутского я постараюсь соединить в вязные тексты и столкнуть в прямом диалоге. Академической ценности такая публикация иметь, разумеется, не будет, но могу поручиться, что информацию о противостоящих друг другу позициях вы получите не искаженную. Чтобы при чтении не возникало никаких затруднений, на всякий случай поясню, что Троцкий спорит не только с Каутским, но и с разделяющими его взгляды российскими меньшевиками и одним из их лидеров, Абрамовичем. Итак, слово участникам спора, из которого я выбрал лишь один тематический сюжет, касающийся военно-коммунистической, то есть принудительной организации труда и оценки такой меры, как всеобщая трудовая повинность.

Троцкий. Как только обозначился просвет мира — после разгрома Колчака, Юденича и Деникина, — мы поставили перед собой в полном объеме вопросы организации хозяйства... Перед нами при этом встали совершенно новые вопросы и новые труд-

ности в сфере организации труда. Социалистическая теория на эти вопросы не имела готовых ответов и не могла их иметь. Решения приходилось находить на опыте и через опыт проверять. От разрешаемых Советской властью задач каутскианство отстало на целую эпоху. В виде меньшевиков оно пугается под ногами, противопоставляя практическим мероприятиям нашего хозяйственного строительства мещанские преграссудки и интеллигентский бюрократический скептицизм.

Организация труда есть по существу организация нового общества: каждое историческое общество является в основе своей организацией труда. Если каждое прошлое общество было организацией труда в интересах меньшинства... то мы делаем первую в мировой истории попытку организации труда в интересах самого трудящегося большинства. Это, однако, не исключает элемента принуждения во всех его видах, в самых мягких и крайне жестких.

По общему правилу, человек стремится уклониться от труда. Трудолюбие вовсе не прирожденная черта: оно создается экономическим давлением и общественным воспитанием. Можно сказать, что человек есть довольно ленивое животное. На этом его качестве, в сущности, основан в значительной мере человеческий прогресс, потому что если бы человек не стремился экономно расходовать свою силу, не стремился бы за малое количество энергии получить как можно больше продуктов, то не было бы развития техники и общественной культуры... Не нужно, однако, делать отсюда такой вывод, что партия и профессиональные союзы в своей агитации должны проповедовать это качество как нравственный долг. Нет, нет! У нас его и так избыток. Задача же общественных организаций как раз в том, чтобы «леность» вогнать в определенные рамки, чтобы ее дисциплинировать, чтобы подстегивать человека...

Ключ к хозяйству — рабочая сила... Казалось бы, ее много. Но где пути к ней? Как ее привлечь к делу? Как ее производственно организовать? Уже при очистке железнодорожного полотна от снежных заносов мы столкнулись с большими затруднениями. Разрешить их путем приобретения рабочей силы на рынке нет никакой возможности при нынешней ничтожной покупательной силе денег, при почти полном отсутствии прокуров обрабатывающей промышленности... Единственным способом привлечения для хозяйственных задач необходимой рабочей силы является проведение трудовой повинности.

Самый принцип трудовой повинности является для коммуниста совершенно бесспорным. «Кто не работает, тот не ест». А так как есть должны все, то все обязаны работать. Наши хозяйственники и с ними вместе профессионально-производственные организации имеют право требовать от своих членов всей той самоотверженности, дисциплины и исполнительности, каких до сих пор требовала только армия... Рабочий не просто торгуется с советским государством, — нет, он повинен государству, всесторонне подчинен ему, ибо это — его государство... Рабочее государство считает себя вправе послать каждого рабочего на то место, где его работа необходима.

Меньшевики выступают... против трудовой повинности. Они отвергают эти методы как «принудительные». Они проповедуют, что трудовая повинность равносильна низкой производительности труда... Это утверждение подводит нас к самому существу вопроса. Ибо дело, как мы видим, идет вовсе не о том, разумно или неразумно объявить тот или другой завод на военном положении, целесообразно ли представить военно-революционному трибуналу право карать развращенных рабочих, ворующих столь драгоценные для нас материалы и инструменты или саботирующих работу. Нет, вопрос поставлен меньшевиками гораздо глубже. Утверждая, что принудительный труд всегда малопродуктивен, они тем самым пытаются вырвать почву из-под нашего хозяйственного строительства... Ибо о том, чтобы перешагнуть от буржуазной анархии к социалистическому хозяйству без революционной диктатуры и без принудительных форм организации хозяйства, не может быть и речи... Плановое хозяйство немислимо без трудовой повинности...

Что свободный труд производительнее принудительного — это совершенно верно по отношению к эпохе перехода от феодального общества к буржуазному. Но надо быть либералом или — в наше время — каутскианцем, чтобы увековечивать эту истину и переносить ее на эпоху перехода от буржуазного строя к социализму... Весь вопрос в том, кто, над кем и для чего применяет принуждение.

Трудовая повинность имеет принудительный характер, но это вовсе не значит, что она является насилием над рабочим классом. Если бы трудовая повинность наткалась на противодействие большинства трудящихся, она оказалась бы сорванной и с

нею вместе советский строй... Что трудовая повинность... не насилует воли трудящихся, как это делал «свободный» труд, об этом лучше всего свидетельствует небывалый в истории человечества расцвет трудового добровольчества в виде субботников. Такого явления не было нигде и никогда.. Субботники являются не только превосходной манифестацией коммунистической солидарности, но и вернейшим залогом успешного проведения трудовой повинности.

Русский капитализм, в силу своей запоздалости, несамостоятельности и вытекающих отсюда паразитических черт, в гораздо меньшей степени, чем капитализм Европы, успел обучить, технически воспитать и производственно дисциплинировать рабочие массы. Эта задача сейчас целиком ложится на профессиональные организации пролетариата. Хороший инженер, хороший машинист, хороший слесарь должны иметь в Советской Республике такую же известность и славу, какую раньше имели выдающиеся агитаторы, революционные борцы, а в настоящий период — наиболее мужественные и способные командиры и комиссары. Наши трудовые мобилизации не войдут в жизнь, не укоренятся, если мы не захватим за живое все, что есть честного, сознательного, одухотворенного в рабочем классе.

Более глубокие слои... вышедшие из крестьянской толщи... еще слишком бедны инициативой. Чем болен наш русский мужик — это стагнацией, отсутствием личности, то есть тем, что воспело наше реакционное народничество, что восславил Лев Толстой в образе Платона Каратаева: крестьянин растворяется в своей общине, подчиняется земле. Совершенно очевидно, что социалистическое хозяйство основано не на Платоне Каратаеве, а на мыслящем, инициативном, ответственном работнике. Эту личную инициативу необходимо в рабочем воспитывать. Личное начало у буржуазии — это корыстный индивидуализм, конкуренция. Личное начало у рабочего класса не противоречит ни солидарности, ни братскому сотрудничеству. Социалистическая солидарность не может опираться на безличие, на стагнацию

...Абрамович нам глубокомысленно доказывал, что при социализме принуждения не будет, что принцип принуждения противоречит социализму, что при социализме будет действовать чувство долга, привычка к труду, привлекательность труда... Это бесспорно. Но только эту бесспорную истину нужно расширить. Дело-то в том, что при социализме не будет самого аппарата принуждения, государства — оно целиком растворится в производительной и потребительной коммуне. Тем не менее путь к социализму лежит через высшее напряжение государства. И мы с вами проходим как раз через этот период... Никакая другая организация, кроме армии, не охватывала в прошлом человека с такой суровой принудительностью, как государственная организация рабочего класса в тягчайшую переходную эпоху. Именно поэтому мы и говорим о милитаризации труда.

«Чем же ваш социализм,— восклицает Абрамович,— отличается от египетского рабства? Приблизительно таким же путем фараоны строили пирамиды, принуждая массы к труду». Неподражаемая для «социалиста» аналогия! При этом упущена все та же мелочь: классовая природа власти! Абрамович не видит разницы между египетским режимом и нашим... Не крестьяне египетские через свои Советы решали строить пирамиды,— там был иерархически-кастовый общественный строй,— а трудящихся заставлял работать враждебный им класс. У нас принуждение осуществляется рабоче-крестьянской властью во имя интересов трудящихся масс. Вот чего Абрамович не заметил.

Каутский. Если бы было правильным утверждение Троцкого, что социализм нельзя осуществить без того принуждения к труду, о котором он говорит,— то дела социализма были бы очень печальны. Но это не так... Троцкий ошибается, полагая, что человеческий прогресс основан на природной лениности, так как развитие техники вытекает-де из стремления уменьшить количество работы.

В столь общей форме этого сказать нельзя. Машины, сберегающие труд, появились лишь на довольно высокой ступени технического развития. Начало технического прогресса вытекает из потребности в более надежной защите против опасностей и случайностей жизни, из стремления к более регулярному получению пищи, к более солидной защите против непогоды и врагов и, наконец, из потребности в усилении уже известных наслаждений или открытии новых... Когда люди открыли, что поджаренная каша из раздробленных зерен вкуснее, нежели сырые зерна, то это открытие обозначало для них огромное увеличение работы благодаря необходимости растереть или раздавливать хлебные зерна в ступе или при помощи жернова. (Избавить

себя от этой работы при помощи водяных мельниц люди научились лишь в более поздние времена.)... Если бы люди действительно были прирожденными ленивцами, то они бы сторонились всей этой работы, как чумы, и никогда не дошли бы до изобретения и изготовления орудий и утвари.

Правда, с развитием техники образуется постепенно и известное различие. Работа распадается на два рода: на работу, которая сама по себе уже является удовольствием или страстью, и на труд, который сам по себе неприятен и которым приходится заниматься лишь ввиду его конечного результата.

Рабство и крепостной труд, а не сберегающие труд машины — вот те средства, при помощи которых сильной части человечества удалось обеспечить себя необходимыми продуктами труда, не обременяя себя неприятными работами... Это приводит к тому, что раб и крепостной рабочий ненавидят свою работу, саботируют ее, стараются от нее увильнуть где только можно, так что их можно удержать за работой лишь при помощи кнута и жестоких наказаний.

Раб на одном полюсе, ничего не делающий эксплуататор на другом — вот настоящая ленивцы: один в действительности, другой в своих мечтах. Но это не имеет ничего общего с утверждениями Троцкого, что человек — лентяй от природы и нуждается поэтому в принуждении к труду. Верно как раз обратное. Человеческая леньность является следствием принудительности труда.

Леньностью подневольного рабочего объясняется и ничтожная производительность его труда. Он не только работает неохотно и спустя рукава, он и невнимателен, небрежен по отношению к рабочему скоту и рабочим орудиям. Ему можно доверить только самые грубые и простые орудия и инструменты.

Это положение не изменилось до настоящего времени. И подневольных рабочих Советской Республики можно применять лишь для самых примитивных работ как, напр., для рубки леса, торфяных болот, очистки железнодорожных путей и т. п.

Если бы западноевропейским рабочим сказали, что когда наступит социализм, то правительство сможет всякого нужного ему рабочего оторвать от семьи, посадить в военный поезд и сослать на неопределенный срок в административную ссылку, то нет ни малейшего сомнения, что рабочие дали бы совершенно недвусмысленный ответ московским теоретикам социализма

Конечно, свобода передвижения, свобода выбора профессии и фабрики суть «либеральные» свободы, точно так же как и свобода печати, собраний и т. п. Но это не значит, что рабочие должны от этих свобод отказаться, а значит лишь, что их для рабочего класса недостаточно... Троцкий очень ошибается, если думает, что рабочий согласится в социалистическом государстве отказаться от той свободы, которой он сейчас добивается в буржуазном государстве, на том основании, что это «его» государство. И что он поэтому будет ему «всячески подчиняться».

Мы отлично понимаем, что одними средствами экономической борьбы рабочий не сможет победить капитал и что рабочим необходимо для этого овладеть государственной властью. Но сильная власть нам нужна лишь для искоренения засилья капитала. Строительство же социалистического производства нельзя передать в руки государственной бюрократии. Наоборот, чем меньше в это дело будет вмешиваться государственная бюрократия, чем большее участие путем свободной самостоятельности в нем будут принимать как рабочие отдельных производств, так и весь рабочий класс в целом, — тем лучше для этого производства.

Когда пролетариат всего ожидает от «государства», приписывая последнему чудодейственную способность исцелять все недуги, и забывает, что государство.. не может иметь больше того, что создаст рабочий класс сверх необходимого для его собственного существования, — то это свидетельствует лишь о незрелости пролетариата.

Из всех европейских наций англичане в этом отношении более всех созрели для социализма.. Нигде в мире уважение к личности, самостоятельность и энергия не развиты в пролетариате в такой степени, как в Англии... В России, напротив, население больше, чем в каком-либо другом из крупных государств Европы, привыкло ожидать избавления от всех своих зол сверху, от государственной власти.

Нужно только удивляться тому, что Троцкий... на русской стагнации собирается строить социалистическое общество. С нашей точки зрения эта стагнация не только объясняет крах большевистского социализма (Каутский имеет в виду

начавшийся переход от «военного коммунизма» к нэпу.— И К.), но и успех большевистской диктатуры и зарождение идеи трудовой повинности «Мыслящие, богатые инициативой и сильные сознанием ответственности рабочие» не дали бы себе навязать ни того, ни другого

Троцкий прав, когда говорит, что на стадности не построишь социализма, но разве диктатура является подходящим средством для превращения стадных натур в свободные и сильные личности? Напротив Диктатура не терпит таких личностей. ей нужны лишь послушные орудия. Кто проявляет самостоятельность характера тот становится неудобным и должен уйти с дороги, или же его воля должна быть сломлена.

Но разве принуждение к труду не вытекает из самой сущности социализма, которая говорит, что кто не трудится, не должен есть? Рассмотрим этот вопрос. Указанный выше принцип вытекает из стремления рабочего не работать на другого и не давать ему возможность жить, не работая... Правило «кто не работает, тот не ест» ни в коем случае не может быть истолковано так, что кто не работает там, где приказывает военный министр, не должен есть. Тем менее можно из этого правила сделать вывод, что тот, кто не выполняет подобные работы, должен быть не только лишен про довольствия, но и подвергнут военному наказанию за нарушение дисциплины.

...Вопрос о трудовой повинности как средстве для правильного распределения рабочей силы по стране не является очень важной проблемой для социализма... Гораздо важнее другая проблема связанная с вопросом о трудовой повинности Это вопрос не о том, как достать рабочую силу для тех или иных предприятий, а о том как добиться того, чтобы рабочие, занятые в предприятии, работали усердно и добросовестно.

Какими средствами располагает для этого социалистическое общество, стремящееся сохранить уважение к личности рабочего и не желающее поэтому прибегать к внешнему принуждению? Вот эта-то проблема — вопрос о том, чем заменить принуждение к труду (а не о том, как его организовать), сильно занимал многих социалистов...

Самым сильным стимулом, возбуждающим наибольшую охоту к труду является, конечно, сознание, что работаешь на самого себя, что результат твоего труда пойдет в твою собственную пользу. Этого стимула, который существовал у свободного работника до капиталистического времени, в социалистическом обществе, разумеется, в полном объеме быть не может.

Для того, чтобы его восстановить, надо было бы отказаться от всех огромных технических преимуществ крупного машинного производства Социализм поэтому может на место индивидуального рабочего поставить лишь коллективного рабочего, который тогда сливается со всем обществом, и его сделать собственником всей совокупности средств и продуктов производства... В социалистическом производстве от лениности или халатности отдельных рабочих страдает не капиталист, а их собственные сотоварищи, которым благодаря такому их поведению достается меньше продуктов и больше работы.

Ввиду этого всякий, кто будет намеренно плохо работать на фабрике, будет пользоваться такой же гурной славой среди своих сотоварищей, как теперь штрейкбрехер, и это моральное давление будет на него действовать тем сильнее, что он не сможет даже, как теперь штрейкбрехер, сослаться в свое оправдание на голод.

Я думаю, что любой, даже неподготовленный читатель, познакомившись с этими выдержками, быстро сообразит, что Каутский, хотя и был в то время далек от большевиков, в оценке военного коммунизма к истине был значительно ближе, чем его идеолог Троцкий И не только потому, что политику эту пришлось отменить, но и потому, что было ее второе — исправленное и дополненное, сталинское издание, и оно-то уж не оставило никаких сомнений: нельзя заставить быть свободным ни человека, ни чарод, даже если заставляют не египетские фараоны, а люди, действующие от имени самого передового класса и искренне верящие, что все другие классы свою роль уже сыграли: нельзя принуждением воспитать сознательное отношение к труду, а можно лишь отучить от него и вызвать к нему отвращение. Страх в состоянии обуздать порок Но ему не дано превратить порок в добродетель Страх может заставить ленивого работать. Но ему не дано сделать лень трудолюбием. Все это сегодня вещи очевидные,

азбучно бесспорные. Но подготовленный читатель, прочитав старый диалог Каутского и Троцкого, заметит, наверное, и кое-что еще. Он обнаружит, что спорящие стороны при всем их непримиримом друг к другу отношении в чем-то существенном очень близки и — несовременны. И это действительно так.

Обратите внимание: спор у них — не о социализме, не о том, что он такое, а о том, как к нему двигаться, от какой точки начинать (русской или английской) и какую дорогу избрать. Насчет пункта назначения — полное единомыслие. И «диктатор» Троцкий и «демократ» Каутский не сомневаются, что социализм — общество без товарно-денежных отношений и рынка, что люди, живущие в нем, будут проявлять трудовое усердие не ради презренного металла, а из соображений более высоких и благородных. В этом они ошиблись оба. Не в том, разумеется, смысле, что нетоварное ведение хозяйства невозможно вообще, в принципе. Об этом можно спорить и сегодня. Тут история своего последнего слова еще не сказала. Но она сказала вполне определенно: индустриальное общество на бестоварной основе успешно развиваться не может. Создать движущие силы научно-технической революции — тем более. Она сказала не менее определенно, что индустриальный рабочий, с которым связывали свои надежды и Троцкий, и Каутский, и не только они, не в состоянии осуществить прорыв в принципиально новую цивилизацию — ни в Англии и других западных странах, где ему так и не удалось победить, ни в России и последовавших ее примерах государствах, где после пролетарских революций возникали военно-бюрократические режимы сталинского типа. Уходя с исторической сцены, уступая место новому работнику эпохи НТР, он передает преемникам и свой идеал, а они, если примут наследство, от чего-то, наверное, в нем откажутся, а в чем-то приумножат и обогатят его. Но это тема другая и особая. Пока же я еще раз обращаю ваше внимание на совпадение взглядов Троцкого и Каутского. Мне это важно, так как позволяет выявить степень научной добросовестности и гражданской честности иных авторов научно-популярных журналов, внушающих нам, что истоки всех наших бед нужно по-прежнему искать за пределами отечества, то есть в завезенных из-за рубежа идеях нетоварного хозяйства, и развязностью тона пытающихся убить в себе и в читателе такой естественный и столь необходимый для нашего духовного возрождения вопрос: почему же чужеземные идеалы эти на их родине не прижились и не восторжествовали не только во времена Каутского, но и до сих пор, а в нашей стране укоренились и успели принести столько бед?

Мне хотелось бы лишний раз указать на совпадение взглядов Троцкого и Каутского еще и для того, чтобы оттенить глубокий смысл так часто цитируемой сегодня ленинской реплики: переход к нэпу, то есть к товарной экономике, означает «коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм».

Что это было? Гениальное заблуждение? Или прорыв в новую и неизведанную реальность, который требовал уникального маневрирования и который некому было поддержать и возглавить, когда Ленина не стало? Эти вопросительные знаки еще долго будут тревожить наш ум и воображение. Определенно же можно сказать лишь одно: так получилось, что нэп, призванный заменить военный коммунизм, создал условия для его возрождения и прочного утверждения. В 1920 году операция по пересадке органов войны в мир с треском провалилась и в деревне (крестьянские восстания) и в городе (забастовки рабочих в Петрограде и Москве, кронштадтский мятеж). В 1929 году она прошла — для властей — вполне успешно. Город перенес ее благополучно и почувствовал даже — несмотря на опустевшие магазины и карточки — прилив новых сил, а деревня хотя и содрогнулась, взвывала от ужаса и страшной, нестерпимой боли, но была быстро успокоена сталинскими хирургами. Чтобы выяснить и объяснить другим, почему это стало возможно, нужно писать не статьи — тома.

Ясно, что Сталину удалось осуществить свой кровавый эксперимент над народом не только благодаря жестокости и решительности тех, кто исполнял его волю. И не только потому, что он внес некоторые поправки в старую программу Троцкого: если для крестьян они означали усиление гнета даже по сравнению с временами продрозверстки, то военно-коммунистические опыты по переброске с места на место рабочих Сталин возрождать не стал, а для массовых трудовых десантов использовал второе свое уникальное изобретение, во всех отношениях не уступающее коллективизации, — трудовыми лагерей.

Дело в том, что помимо насилия и варварских изобретений была еще идеологическая психотерапия, смутившая народную душу.

Еще раз о тех, кто вне культуры — «внизу» и «наверху»

Город поверил, что коллективизация — это победа великой идеи, светлый праздник освобождения деревни, добровольно устремившейся в «новую зажиточную жизнь». Город не знал или не хотел знать, что хлеб, который он получал по карточкам, а потом и без них, вырван изо рта сельских ребятишек. Он не знал или не хотел знать, что карточки и прочие неудобства — не от зловредности «кулаков» и иных врагов, а от той политики, плоды которой называли в газетах победой колхозного строя. Эта психотерапия расколола не только деревню и город, сняв угрозу рабочих выступлений, сорвавших военно-коммунистические планы начала 20-х годов. Она расколола и саму деревню, где безлошадную бедноту (около трети сельских жителей) удалось воодушевить идеей коллективизации — добровольной для нее, бедноты, и насильственной для тех, кто согласно идеологическому диагнозу страдал недугом собственничества и подлежал принудительному лечению.

Да, это был обман, равных которому в истории не сыщешь. Но я уже говорил: нельзя обмануть того, кто не готов обмануться. На не желающего быть загипнотизированным гипноз не действует. Троцкий был квалифицированным идеологом военного коммунизма и понимал это. Вспомните его мысль: принуждение невозможно, если народ сопротивляется ему. Говоря иначе, принуждение может быть успешным, если ему сопутствует воодушевление, энтузиазм, добровольничество: наркомвоен не случайно напомнил о субботниках, они были точкой опоры всей его идеологической конструкции.

Интересно, что Каутский этой «точки» не заметил, и потому его критика недостаточна, она не изнутри, а как бы со стороны, что скажется и потом, когда он так и не сможет объяснить причины устойчивости сталинского режима, будет все время ждать, что тот вот-вот рухнет, и торопить этот крах, и предсказывать его в книгах и статьях, но так и не дождется, а всерьез обсуждать столь непривычные для западного человека материи, как «массовый энтузиазм» и «трудовой героизм», так и не согласится.

Между тем военный коммунизм первого призыва потому и лопнул, что энтузиазма и героизма оказалось недостаточно. Люди готовы были безвозмездно отдавать свои свободные часы государству, чтобы приблизить победу над врагом. Но когда победа была одержана и врагов уже рядом не стало, а желанный мир оказался таким голодным и холодным, источник воодушевления иссяк. И сразу померк свет в конце туннеля: манящий образ будущего исчез, растворился в безысходных буднях, непомерная, нечеловеческая усталость согнула, не давала распрявиться. И тут же отказала вся система принуждения.

Да, пересадка органов войны в мирную хозяйственную жизнь невозможна, если нет внешней угрозы (подлинной или выдуманной), а внешняя угроза никого не сплотит и не мобилизует, если ее носители живут где-то далеко за рубежом и замыслы свои никак не обнаруживают, если постоянно не напоминают о себе тем, что вредят, шпионят, плетут сети заговоров. В 1920-м почти все реальные враги были изгнаны, а додуматься до мысли, что их можно выводить искусственным путем, ни главный идеолог военного коммунизма Троцкий, ни кто-либо другой не сумели. Пройдет каких-нибудь десять лет, и Сталин восполнит этот пробел концепции, добавит недостающее ей звено, создаст гигантский агрегат для массового производства врагов и будет включать его не только для перемалывания возможных и невозможных соперников, но и для подпитки бдительности и сплоченности, для стимулирования трудового порыва.

Не прекращается
злой
и классовый
бой,
бой,
бой!²

Сегодня спорят: можно ли отделить плюсы Административной Системы от ее минусов? Одни говорят, что можно. И вписывают в графу «плюс» Магнитку и энтузиазм, а в графу «минус» — репрессии и прочие «ошибки». Другие возражают: даже

² Читатель, разумеется, знает, что все использованные в этой статье стихотворные строки взяты из произведений Маяковского. Но, возможно, не все помнят, что произведения эти написаны в одном и том же 1929 году, который известен как год «великого перелома».

вопрос так ставить нельзя, потому что никакого деления на «хорошее» и «плохое» по отношению к сталинскому правлению не может быть вообще, все «хорошее» — не благодаря системе, а вопреки ей.

Я не могу согласиться ни с первыми, ни со вторыми. Сказать, что энтузиазм вырабатывался помимо Административной Системы и совершенно независимо от нее, я бы не рискнул. Но Административная Система — это система военного коммунизма. А военный коммунизм — это система, которая вырабатывает энтузиазм и героизм лишь в той мере, в какой они служат (или кажется, что служат) достижению победы над явным или мнимым врагом. Но раз так, то можно ли безоговорочно считать их плюсом?

Однако и это еще не все. Если мы хотим оставить военный коммунизм в прошлом, если хотим преодолеть его и заменить новой, экономической организацией жизни, то лучше поскорее признать: безнадежно устарели не только методы, вызывающие и подстегивающие энтузиазм, но и сам военно-коммунистический энтузиазм. Он неэффективен, нерентабелен, он прикован исторической цепью к слову «больше» и отделен исторической пропастью от слова «лучше», он растворяет «я» в «мы», творчество подменяет репродукцией, тиражированием достигнутых кем-то и где-то количественных (не качественных) образцов, именуемых распространением передового опыта. Грустно? Да, грустно. Но такая уж у человечества судьба: грустить, расставаясь с прошлым, а не оставаться в нем, чтобы не грустить. Поэтому оно, человечество, продвигается вперед. Поэтому сохраняет память о том, что было. Неужели и в этом отношении нам надо быть ни на кого не похожими?

Но я, кажется, ушел от вопроса, который сам поставил. Ведь выдуманные враги могут вызвать у меня трудовой порыв только в том случае, если я поверю, что они враги невыдуманные. Поэтому снова и снова: почему людей удалось обмануть? И снова и снова: потому и только потому, что они готовы были обмануться.

Не все. Но тех, кто был готов, оказалось достаточно. И, как это ни покажется странным, подготовил их нэп: при военном коммунизме первого издания их не было, вернее, они еще не определились, не осознали до конца, кто они и чего хотят. Война и продрозверстка всех выравнивали: зажиточного и бедняка, трудолюбивого и лодыря, квалифицированного и мало что умеющего. Нэп восстановил различия. Это не могло нравиться ни городским рабочим, с неудовольствием посматривавшим на недоступные им частные рестораны, ни деревенской бедноте, которая землю получила, но к экономическим методам хозяйствования приспособиться не могла и попадала в зависимость от своих энергичных и удачливых соседей. Говоря иначе, именно при нэпе в городе и деревне образовались большие группы людей, которые могли чувствовать себя обделенными революцией и в ком усиливалась поэтому неприязнь к тем, кого нэп экономически поднимал вверх. Так что слово «враг» не надо было выдумывать, оно витало в воздухе, у многих было уже на языке, его оставалось лишь произнести вслух.

И оно было произнесено. В высших эшелонах политической власти не могло не найтись людей, которые не поняли бы рано или поздно, какое это удобное слово. Ведь если кто-то внизу чем-то недоволен, если он склонен винить во всем не себя и не власть, а соседа, то почему бы не пойти ему навстречу? Это же так просто: все, что хорошо, добыто режимом, все, что плохо, — «происки врагов».

Так утверждалась, пробивала себе дорогу в жизнь, питаясь и усиливаясь идущими из нее импульсами, сталинская логика, в которой у него не было предшественников. Она была близка и понятна многочисленному слою людей на верхних и средних этажах системы, выдвинувшихся благодаря своим заслугам в гражданской войне и убежденных, что раз Перекоп можно было взять штурмом, то все прочие проблемы уж во всяком случае не сложней, а не решаться они могут лишь из-за наличия «контрь». Но самое главное — она, логика эта, находила живой отклик в еще более многочисленных группах рабочего класса, и прежде всего среди его новобранцев, устремившихся в индустриализирующийся город из нэповской деревни, к которой они не могли приспособиться, где были обречены на жалкое и зависимое существование. На них был огромный спрос, они быстро заполняли заводы и стройки и очень скоро стали задавать там тон. С ними считались, на них оглядывались все политические лидеры 20-х годов. Но ставку на них сделал только Сталин.

Он их не идеализировал подобно Троцкому, Зиновьеву, Каменеву, которые подтягивали их настроения к своим романтически-книжным представлениям о рабочем классе. Но он и не заблуждался подобно Бухарину насчет возможности приспособо-

бить их к нэпу, к рыночной экономике. Он оказался выдающимся эксплуататором их иллюзий и предрассудков, их исторического самообмана.

Это были люди, выброшенные из одной культуры, не принятые ни в какую другую и не создавшие никакой новой. Они готовы были всем пожертвовать, все отдать, они могли работать столько, сколько надо, и намного больше, если им говорили, что они-то и есть настоящие хозяева страны, что им, а не кому-то принадлежит власть и что наградой за их труд будет такая жизнь, какой ни у кого и никогда не было. Они могли слиться с «общим делом», раствориться в нем, могли забыть о себе, мечтая о «городе-саде», но сегодня, отдавая должное их подвижничеству и цельности, мы все же должны признать: им легко было отдавать все, что имели, так как они не имели почти ничего. Не было личного быта, его заменяли казенные койки в бараках, общежитиях, вагончиках, не было ни вещей, ни знаний, ни развитых индивидуальных потребностей, не было ни прошлого, которое они презирали, ни настоящего, которое ощущали чем-то временным, походным, подготовительным к чему-то, что и есть самое главное. Они могли жить только будущим, только мечтой о том счастье состоянии, которое выражалось словом «социализм», и потому торопили, подстегивали своих лидеров: быстрее, дальше, вперед! И недоброжелательно косились на тех, у кого было что-то свое, кто чем-то дорожил, будь то достаток или собственное мнение, кто выделялся из ряда, кто пробовал жить и работать для себя, а не только для «всеобщего счастья» и «освобождения человечества». Они называли это мещанством, несознательностью, но были готовы к тому, чтобы несознательных занести в списки врагов. Нетрудно догадаться, что совместить нэп с социализмом для этих людей означало примерно то же, что совместить будущее с прошлым.

Поэтому отмена нэпа их не смутила и не огорчила — обрадовала. Стало хуже, но другим («врагам») — хуже вдвойне, а значит, стало ближе к равенству. Они были готовы к великому походу и большому скачку. Они готовы были штурмовать историю. Им удалось построить города, заводы и электростанции. Но они обманулись насчет своих сил и возможностей. Поэтому они нуждались в обмане насчет своих успехов. И им шли навстречу. Им говорили, что невыполненные планы перевыполняются, что весь мир смотрит на них с восхищением и надеждой и вот-вот начнет брать с них пример. Он смотрел, но пример брать не спешил. Они ждали и верили — пока не устали. Но даже устав, продолжали верить в своего вождя, главного врага их врагов, заменившего им культурные традиции, которые они обрубали, и сознание своей личности, которое не успели обрести. Он заменил им все, чего у них не было, и подарил ощущение, что они могут все. Поэтому многие из них верят в него до сих пор и думают, что, будь он жив, все давно было бы хорошо. Поэтому правда об Административной Системе кажется им ложью, а разговоры о ее демократизации — подрывающими все, чему поклонялись, за что бились, не щадя себя и других, что создавали, жертвуя всем и не требуя наград.

Они слышали тогда только себя и потому демократию понимали как право быть услышанными и не слышать никого вокруг, или, что то же самое, как право громить тех, кто подрывает единство, под которым они подразумевали единство с ними и ни с кем другим. Читателя, которому эти строки напомнят что-то знакомое, спешу подержать: память его не подвела, все это мы с ним уже наблюдали на верхних этажах, в коридорах власти, стены которых, конечно же, не были звукопроницаемыми, и голоса с улицы улавливались в них очень хорошо.

Да, настроения этого слоя зримо или незримо присутствовали в идеологических и политических столкновениях 20-х годов. И Сталин учитывал их лучше, чем его соперники. Я говорил, что его поддерживали партийные низы, так как он всегда имел большинство наверху, какую бы платформу ни отстаивал. Но все же и большинство он получал не только благодаря интригам и политической изворотливости. Нет, его интриги и маневры только потому и удавались, что он никогда не воспарял слишком высоко над рядовым рабочим той поры, не пытался возвыситься над его «социалистической» прямолинейностью и наивностью.

Даже тогда, когда он вместе с Бухариным выступал за углубление нэпа, за развитие экономических отношений в деревне и установление рыночных связей между нею и городом, а Зиновьев и Каменев попытались стать рупором антинэповских настроений в рабочей среде, — даже в этом случае Сталин точнее учел именно эти настроения. Он понимал, что рядового рабочего волнует не нэп, а то, чем он кончится, сменится ли социализмом, который, разумеется, не нэп. И Сталин сохраняет мечту:

свет в конце туннеля не должен погаснуть. А своих критиков представляет как ее убийц.

Он знает, что теоретическая совесть Зиновьева, как и Троцкого, не может примириться с идеей «социализма в одной стране», да еще не самой передовой. Зиновьев, правда, от Троцкого отмежевался, так как понимал: раз власть в руках у социалистической партии, то она (партия) должна оправдывать свое название, должна видеть и указывать народу перспективу, которая зависит от него самого, а не от троцкистской «мировой революции», которая неизвестно когда произойдет. Но соперник Сталина — лидер Коминтерна и единственный, кто после смерти Ленина открыто претендовал на первую роль, — опасался, наверное, что его могут отлучить от марксистской традиции. И он предлагает компромисс: так как власть у нас, будем строить социализм, но будем и отдавать себе отчет в том, что в одиночку его построить не сможем.

Этого было достаточно, чтобы представить Зиновьева убийцей идеала. Строительство социализма, которое не ведет к построению социализма! Строительство на авось! Строительство без перспективы! Строить, зная, что не построишь! Сталин вел не теоретический, а идеологический спор; нажимая на самую чувствительную клавишу в сознании рядового партийца, выставлял своего соперника один на один с ожиданиями масс, и тот был ими смят, и все, что он говорил потом об опасности углубления нэпа, уже почти не имело значения: всколыхнуло верхний рабочий слой, но вниз не пошло, в глубину не проникло.

Думаю, что и с Бухариным Сталина сближала не приверженность нэпу (на него в середине 20-х годов всерьез никто не покушался и свертывать не призывал), а мысль о «социализме в одной стране». Они победили, потому что мысль эта была близка большинству рабочих. Но Бухарин был легко, почти без борьбы отодвинут в сторону, когда жизнь вплотную подвела к вопросу, каким этот социализм может и должен быть. Сталин победил, потому что военно-коммунистическая идеология была доступнее и ближе миллионам новобранцев индустриализации, чем идеология рынка и товарно-денежных отношений.

Победа Сталина означала, что военно-коммунистические настроения стали официальной директивой и доктриной, предписывающей определенный способ мыслить, чувствовать, существовать. Самообман новобранцев заводов и строек был провозглашен идеологической нормой, высшим проявлением сознательности, его триумф был вписан в политические документы и учебники как триумф «социалистической культурной революции».

Началась жизнь, в которой ни у кого нет и не должно быть настоящего: оно приносит в жертву будущему. Это значит, что слово «жить» по смыслу сблизилось, почти слилось со словом «пережить» (трудности, лишения, войну, ее последствия, войну холодную — всего и не припомнишь). И только теперь мы, похоже, начинаем понимать, какой это был самообман, какая это опасная болезнь — тем более опасная, что до сих пор вспоминается многими как состояние ушедшего душевного здоровья: «Жили тяжело, но хорошо. И была вера что будет еще лучше».

Ведь если все, что со мной сегодня происходит, лишено самостоятельного нравственного значения, если все это лишь средство достичь великой цели, то в настоящем становятся оправданными не только бытовые неудобства, но и предательства родных и друзей, и преступления, и всеобщий страх, и подозрительность (тоже всеобщая), считающая себя бдительностью, и ложь, и слезы детишек, виноватых лишь в том, что их родители чем-то кому-то не угодили. Ведь все это еще как бы не совсем жизнь, а только подготовка к ней, настоящая же жизнь впереди, и там, в будущем прекрасном царстве, все забудется, все спишетса, все простится.

Как-то по телевизору рассказали об обезболивании гипнозом. Человек ложится на операционный стол, и врач-гипнозизер ему внушает: «Ты ничего не будешь чувствовать, ты только будешь слышать мой голос». И — ничего не чувствует. Его режут, а он не чувствует. Самообман сталинской эпохи — как нравственное обезболивание идеологическим гипнозом и самогипнозом. Оперировали топорами утратившую чувствительность народную душу и изрубили ее до того, что до сих пор все в ней кровоточит и не срастается. И — не больно. Или уже начинает болеть?

Это было время всеобщего, тотального временничества. Ощущающего себя посланцем вечности. Все — как на войне. Казенные койки не только в казармах-общешитиях, но и казенная мебель в казенных квартирах офицеров и генералов, о чем

хорошо рассказал А. Бек в «Новом назначении». Ничего своего. Ни у кого. Все временно. Все временщики. Никто не живет, но почти все верят, что жизнь впереди. И потому всем кажется, что живут.

Самая, быть может, горькая и трудная истина, которую нам предстоит уяснить: там, где нет настоящего, где оно лишено нравственного смысла,— там нет (и не может быть) «светлого будущего». Там, где роют котлованы и возводят заводские корпуса не ради людей, не ради того, чтобы им вот сейчас жилось лучше и свободнее, а во имя каких-то далеких целей,— там построенное рано или поздно придется перестраивать.

Вдумайтесь, это же очень просто: если вы лишили себя настоящего, если вы в нем не живете, а «переживаете» его, то что принесете вы в будущее? Только то, что имеете. И ничего больше. Если вы все, что есть в вас своего, индивидуального, неповторимого, успешного и не успешного выявиться, родившегося и еще нет,— если вы все это утопили в океане «общего дела», то как вы вернете утопленное, какой сетью выловите, когда «общее дело» восторжествует? И не придется ли заказывать на торжество траурный оркестр?

Ну а кого не убеждают опыт и логика, вспомните художественное прозрение Андрея Платонова: землекопы роют котлован и мечтают о чем-то смутно-красивом, что придает смысл их работе, а вокруг все совсем не красиво, и они оберегают как ничто на свете девочку-сироту и видят в ней символ будущей всеобщей чистоты и невинности, но девочка умирает, и самый сильный среди землекопов, чугунным кулаком отправляющий в небытие каждого, в ком можно заподозрить врага, погребает ее в «гробовое ложе», выдолбленное в «вечном камне», чтобы удержать ускользающий смысл, сохранить будущее. Но она ведь уже убита кошмаром настоящего, она — труп, и ничто и никогда не оживит ее.

Жизнь без настоящего — это жизнь в духовной пустыне. Это превращение идеала в абстракцию, в миф. Это духовное существование, которое, считая себя выше религиозного, на самом деле значительно ниже его, и их внешнее сходство не должно вводить в заблуждение. Религия хотя и выносит смысл человеческого бытия за его границы, но все же сохраняет его (смысл) и в настоящем, ей ведомо, что такое грех, стыд и вина, и даже индульгенция (отпущение грехов за деньги) при всем своем лицемерии не идет ни в какое сравнение со сталинским «во имя будущего». Что ни говори, а индульгенция, позволяя грешить, все же не убивает способность воспринимать грех как грех, а сталинщина допускает и оправдывает все.

Сегодня нам предстоит нелегкое возвращение в цивилизацию. Но, чтобы вернуться, нужно понять не только то, что нас обманули, но и то, что мы обманулись. Обманулись те миллионы людей «внизу», которые поверили, что можно прыгнуть в будущее, убив настоящее. Обманулись те интеллигенты «наверху», кто, прислушиваясь к их голосам, поверил, что ради будущего можно вернуться в прошлое, ради высшей культуры нырнуть в бездну «внекультурия». Читайте, перечитывайте стенограмму XV съезда, попробуйте вникнуть в те непреклонные требования отречься от самих себя, постарайтесь понять, почему так безбоязненно шли на это интеллигентные, европейски образованные политики, а если вникнете и поймете, то это и станет, быть может, началом нашего с вами исторического самоосознания и самопреодоления.

Излечиться от самообмана значит стать другими. Значит — в нашем случае — отказаться не только от военно-коммунистического насилия, но и от военно-коммунистических иллюзий, от военно-коммунистического воодушевления, от военно-коммунистической слепой веры. Вы спросите: что же теперь — остаться без идеалов вообще? Жить сегодняшним днем и только им? Я полагаю, что нет, отказываться от идеалов не надо, и чуть позже поясню, что имею в виду. Но это уже будет разговор не о болезни, а о методах лечения и о том, в чем заключается здоровье; не о том, что изменять и реформировать, а о том, как и во имя чего это делать.

Но, к сожалению, очень часто мы предлагаем ответы на вопросы «как?» и «во имя чего?», не ответив на вопрос «что?». А он-то, мне кажется, самый главный. Потому что не выяснив своего места в мире, не разобравшись толком, кто мы и откуда, чем похожи на других и чем отличаемся, трудно определить и направление движения, и его цель, и потребные для этого средства. А мы пока не выяснили. Больше того: оторвавшись от одних иллюзий и самообманов на свой счет, мы порой тут же придумываем новые.

Коротко хочу сказать и о них.

Как нам себя называть?

Много споров о словах. Например, спрашивают: можно ли считать наше общество социалистическим? У кого-то сам вопрос вызывает недоумение: а как же, мол, иначе? Другие сравнивают осуществившийся («реальный») социализм с задуманным и говорят: нет, это не то. Но почему-то тех, кто говорит «не то», очень мало интересует, что же это такое.

Я имею в виду не термин, не имя. Терминов предлагается немало: и уточняющих (социализм казарменный, бюрократический) и переименовывающих (административно-командная система). Некоторые, как и я, советуют вернуться к старому имени «военный коммунизм». Но ведь это пока разговоры ни о чем. Как имя человека ничего не говорит о том, что он собой представляет и чем отличается от других, так и название общества, если не ясно, что за этим названием скрывается. Феодализм — понятно. Капитализм — тоже. Капитализм государственный — более или менее. А мы кто такие? Чем отличаемся от других? Чем похожи? На какой ступени находимся?

Конечно, чему-нибудь и как-нибудь все мы учились. Мы насыщены о том, что у нас общественная собственность вместо частной, власть народа вместо господства эксплуататоров, реальная демократия вместо формальной, и о прочих наших преимуществах. Но лет двадцать с лишним назад (а кто-то и раньше) мы начали понимать, что это самообман. Преимущества проверяются достижениями, а если их нет или становится все меньше, если другие уходят в отрыв и нет сил за ними угнаться, то преимущества уже не преимущества, а нечто из другой оперы. И тогда-то, в пору крушения старых и обретения новых иллюзий, впервые возникло желание оправдать и очистить социализм, отмежевывая от него общество, сложившееся в сталинскую эпоху. Если социализм во всех отношениях должен быть выше капитализма, а этого не получилось, значит... значит, создали не социализм, а что-то другое!

Хорошо помню тогдашние споры, помню читательские письма в газеты (я работал тогда в «Комсомольской правде») с обоямами цитат из классиков насчет социализма. До высоких научных трибун волна эта, правда, не докатилась, первая либеральная весна наша была не такой уж теплой, но в студенческих аудиториях, общественных собраниях, в редакционных кабинетах, в кулуарах ученых собраний и симпозиумов все бурлило, хлопотало и пенилось.

Первый акт самоанализа — сравнение себя с другими. Мы тоже первым делом стали оглядываться назад и по сторонам, примеряя себя к соседям, а их к себе. Помню и первые результаты той примерки, первые наши «теоретические» открытия: братцы, у нас же не социализм, а государственный капитализм!

Казалось — похоже. У них государство вторглось в экономику и у нас тоже. У них все держится на деньгах, но и мы их не отменили, наоборот, все громче говорим о материальной заинтересованности. Но всмотрелись в себя, присмотрелись к соседям и поняли: не то. Государство у нас, конечно, «вторглось», но не в частный капитал, исчезнувший вместе с нэпом, а в то, что ему же, государству, и принадлежит. И деньги наши совсем не те. А главное, если мы — это они, а они — это мы, то почему они давно уже не знают наших проблем?

Не обнаружив ничего подходящего рядом, стали искать сзади. Взгляд скользнул по векам и эпохам — и быстро добрался до древнего Востока. Показалось — вот оно наконец-то, то самое, вот они, наши истоки. Понятно, что и это открытие не дошло до трибун и печатного станка ни в 60-х, ни тем более в 70-х. Но зато сейчас оно тиражируется широко и беспрепятственно: у нас не социализм, у нас — «азиатский способ производства»!

Это уже теплее. Но еще не горячо. Да, азиатский способ производства — это замкнутое натуральное или мелкотоварное хозяйство, это регулирующая роль государства в экономике при культе первого лица, наделенного неограниченной властью. И все же... Все же азиатский способ производства — дитя сельскохозяйственной, а не индустриальной цивилизации. А самое главное — азиатское государство, регулируя хозяйственные связи между общинами, не вмешивается в их внутреннюю экономическую жизнь. Но у нас-то совсем другое, у нас — всепроникающее, тотальное огосударствление!

Может быть, суть дела схватывается в таком случае иноземным словечком «этатизм», которое в буквальном переводе и означает не что иное, как всеобщее огосударствление? Это еще теплее. Но... но ведь и государство у нас фактически подчинено партии, а точнее — партийному аппарату!

Так нынешние споры о словах подводят общественную мысль к самой сути, к тем системным корням и истокам, о которых я уже начинал говорить. Поэтому воздержусь от участия в конкурсе имен. Называйте как хотите или не называйте никак (за неизменением чего-либо лучшего сойдет и «реальный социализм» или «Административная Система»), но сначала уясните, к чему вы подбираете или отказываетесь подбирать имя.

Партия (в том виде, в каком она сложилась при Сталине) — мозг и хребет Административной Системы. И потому нельзя успешно продвигаться по пути реформ, нельзя избавиться от обманов и самообманов, не разобравшись до конца в том, что такое «руководящая роль». Я уже попытался кое-что сказать об этом, размышляя о двухаппаратности Административной Системы, о разделении труда между партийными и государственными органами. Но это еще не все и, быть может, не главное. «Руководящая роль» сталинской партии — это особые полномочия ее жрецов не только в государственно-хозяйственном аппарате управления. Наоборот, ее неограниченные полномочия в коридорах власти только потому и стали возможны, что она внедрилась в фундамент, добралась до корней, взяв на себя миссию посредника между базисом и надстройкой, между экономикой и сознанием человека, между его трудом и его душой, между действительностью и идеалом.

Административное управление экономикой на нетоварной основе в индустриальном обществе не может быть таким же, как в обществе доиндустриальном. Натуральное и мелкотоварное хозяйство тут немислимы, потому что значительные слои населения должны производить не для себя и не для ограниченного обмена, который в доиндустриальные времена тоже в конечном счете служил личному потреблению. Поэтому хозяйственное управление после свертывания нэпа не могло быть не командно-приказным, а организация труда — не принудительной.

Но известные истории способы принуждения использовать было нельзя. Не годилось ни рабство в своем классическом виде, не годился его троцкистский военизированный вариант, а сталинские лагерные трудармии хотя и сгодились, но не везде и не для всех работ. Каутский был прав: чем квалифицированнее труд, тем чувствительнее он к несвободе.

Индустриальное производство с его дорогостоящим оборудованием и скоплением миллионов людей в городах не может стимулироваться только кнутом и страхом хотя бы потому, что не позволяет довести полицейско-бюрократический контроль сверху до каждого рабочего места (даже при наличии небывалого по численности административно-репрессивного корпуса). К тому же тотальное прямое принуждение вызвало бы массовый протест, так как слишком очевидно не соответствовало бы тем идеалам и ожиданиям, которые посеяны были пролетарской революцией.

Нужно было как-то совместить одно с другим, нужно было, чтобы принуждение воспринималось как свобода, нужно было перевести его в режим самопринуждения. Во времена военно-коммунистических замыслов Троцкого требуемого числа желающих для этого не нашлось. Спустя десять лет их оказалось вполне достаточно. Но Сталину не удалось бы подхлестывать их воодушевление и поддерживать их оптимизм, не имея он в своем распоряжении особую организацию, которая уже успела завоевать авторитет своими победами и могла восприниматься как провидческая, наделенная высшей — правда, не божественной, а «научной» — силой, знающая, куда и как вести народ. Такой организацией и стала в его руках партия. Массовые призывы в нее рабочего молодняка во второй половине 20-х годов, стремительный рост ее рядов, разумеется, не случайны: сказав «а», взяв курс на «социализм в одной стране», да еще не самой развитой, вынужденной догонять других, приходилось произносить «б» и все последующие буквы.

Подобно церкви в средние века, сталинская партия пыталась — под знаменем культурной революции — осуществить идейное, духовное сплочение народа, мобилизовать его на достижение выдвинутых ею «конечных целей». Без партии Сталин не только не смог бы поддерживать социальный восторг рабочих и деревенских активистов, но — и это главное — ему не удалось бы идеологически нейтрализовать и примирить с «социализмом» и его ценностями основную массу населения, прежде всего городского, что особенно важно для стабилизации любого режима. В реальности великой мечты поверили и те, кто не свешивал надрываться ради ее приближения. Ждали, что она осуществится. Ждали даже те, кто по меркам тех лет считался обывателем.

Я написал «подобно церкви» вовсе не случайно. Вождя народов, который, опи-

раясь на армию (аппарат) «священнослужителей», беспощадно отсекал любое инакомыслие, вовсе не коробила эта достаточно «еретическая» аналогия. Ведь не кто-нибудь, а он сам сравнил партию с «орденом меченосцев»! Ведь не кто-нибудь, а он сам красной нитью вплеl в свою речь, посвященную памяти Ленина, совсем не красное слово «заповедь»!

Догадываюсь, что подкованный читатель начнет протестовать. Он скажет, наверное, что ни одна религия и ни одна религиозная организация не оставили потомкам такой духовной пустыни как сталинская «церковь». Он напомнит, что никакие прошлые гонения по числу жертв не идут ни в какое сравнение с подвигами сталинских палачей. Я с этим спорить не буду. Добавлю только, что ни одна церковь не ставила перед собой задачу, которая для сталинской партии была едва ли не основной: создать особые духовные побуждения к труду, заменить материальное стимулирование идейным, пропитать идеологией весь хозяйственный быт. Думаю, что здесь, в этой точке, сходятся лучи всех нынешних споров независимых от того, осознают это спорящие или нет. Думаю, что здесь главный узел сегодняшних и будущих противоречий, который разрубить совсем, совсем не так просто.

Партия десятилетиями играла роль хозяйственной «церкви», обладая монопольным правом на истолкование смысла нашего повседневного труда и всей жизни, выступала как бы послем будущего в настоящем, полпредом идеалов и целей. Но если такая организация резко меняет курс, если она спускается с небес на землю и провозглашает: работайте лучше, чтобы больше зарабатывать, чтобы вы и ваши дети сейчас, а не когда-то жили в достатке, ищите смысл своего бытия не за горизонтом, а рядом с собой, — если она решается признать, что ценность человека и его работы должна измеряться не начальством, действующим от ее имени, а независимым от нее потребителем, то она сама с собой вступает в конфликт.

Закрывать на это глаза было бы непростительным легкомыслием и очередным самообманом, за которым неизбежно появятся очередные обманы. Надо отдавать себе отчет в том, что известная статья «Не могу поступиться принципами», опубликованная в «Советской России», — не просто рупор чьих-то интересов (хотя и рупор, конечно), что за «принципами» скрывается не просто жажда «объективности» по отношению к Сталину и его «достижениям», а желание сохранить партию в ее прежней роли садовника, пересаживающего идеалы и цели («принципы») из идеологического питомника в повседневное наше существование.

Стоило бы, наверное, задуматься, почему трещина конфликта прорезала прежде всего сферу идеологии, почему не затронула (пока) экономику и политику. Не потому ли, что «руководящая роль» прежде всего до сих пор и заключалась в идеологической оккупации и экономики и всего остального? И не следует ли отсюда, что «манifestам антиперестроечных сил» могут успешно противостоять лишь такие «перестроечные» манифесты, в которых изложена новая концепция партии?

Надо сказать, что конфликт этот возник не сегодня и даже не вчера (хотя некогда раньше он не был таким острым). У него тоже есть своя биография, своя история с великим множеством сопутствующих обманов и самообманов.

Впервые с ним столкнулись еще в 30-е годы. Когда социализм или то, что под ним подразумевалось, победил «по всему фронту», когда завершилась коллективизация (тоже, как известно, «победа социализма»), когда было объявлено, что первый пятилетний план перевыполнен и созданы недостающие нам современные отрасли промышленности, когда все «враги» приказали долго жить, когда с триумфом, по крайней мере внешним, прошел «съезд победителей», — тогда-то со всей остротой и встал вопрос: а что же дальше? Туннель проскочили, добрались до конца его — куда теперь? И зачем? Нужно было или менять всю систему жизненных стимулов, или создавать новый идеологический туннель на манер старого.

Сталин пошел во второму пути. Вы помните, как он все тогда хорошо обосновал и объяснил. Социализм хотя и победил полностью, но еще не окончательно: возможна интервенция. Надо быть готовыми ко всему. Враг не дремлет. Чем больше у нас успехов, тем сильнее его злоба и ненависть. Классовая борьба усиливается. Будьте бдительны. Вокруг вас кишмя кишат троцкистские и прочие лицемеры и двурушники. Мы их уже ловим...

Но люди начинали уставать от походного бытия, энтузиазма и рвения становилось все меньше, и Сталину, чтобы взбодрить их, пришлось в полунищей стране с разоренной деревней объявить курс на коммунизм, а одновременно — усиливать во-

енно-коммунистическую принудительность и (тоже одновременно) искать другие стимулы: в конце 30-х годов заговорили даже об усилении «материальной заинтересованности». И неизвестно еще, как бы все пошло, если бы не война, к условиям которой военно-коммунистическая организация жизни была приспособлена гораздо лучше, чем к спокойному, мирному существованию.

Хрущев, придя к власти, понимал, что образ внутреннего врага свою стимулирующую роль давно отыграл. И он его похоронил. Эпоха Хрущева — это не только массовые реабилитации. Мне кажется, ни в чем так отчетливо не проявилась смена курса, как в том, как устранили Берия. Да, он — в духе известной традиции — был объявлен английским шпионом. Но впервые за долгие годы крупный иностранный разведчик оказался без разветвленной сети вражеской агентуры по всей стране. Устранение Берии означало не возрождение образа врага, а его ликвидацию.

Но без образа внутреннего врага нет и оправдания военно-коммунистического образа жизни вообще. Хрущев начал ломать его. Людям стали возвращать настоящее, приподняли значимость их личной жизни и индивидуальных интересов. Робко, осторожно, двигаясь как в потемках, легализовывали материальную заинтересованность. Нанесли первый серьезный удар по казарменному коллективизму общежитий и укладу коммуналок: хрущевские пятиэтажки открыли новую эру — индивидуального городского быта.

Но Хрущев оставался пленником военно-коммунистического идеала. Он пытался его очистить, очеловечить, уничтожить его «военную» составляющую, но он не покушался ни на казарменную уравниловку, в которой ничего казарменного не усматривал, ни на сам принцип государственно-партийно-идеологического стимулирования и регулирования экономики. Ничего другого он не мог себе и представить; слово «рынок» вызывало у него зубовой скрежет. И потому он, реабилитировав настоящее и индивидуальную жизнь, продолжал указывать на коммунистический свет в конце туннеля и требовать подчинения личных интересов общественным.

Грустно вспоминать строки, вписанные тогда в партийную программу и так повредившие репутации нашего реформатора, — строки о том, что нас отделяют от коммунизма всего два десятилетия упорного труда. Но если судить человека по тем законам, которым он сам себя подчинил, то Хрущев был последователен и не так уж безнадежно примитивен.

Перед ним были две дороги: или ломать административный механизм и форсировать переход к экономическим методам хозяйствования, или начать капитальный ремонт этого механизма, по ходу меняя одни детали и целые узлы на другие и одновременно усиливая идеологическую экспансию в хозяйственную жизнь. Как Сталин в середине 30-х годов выбрал то что ему привычно и знакомо, так и Хрущев выбрал второе, потому что к первому был не готов, оно страшило его своей неизведанностью и несовместимостью с полученным им политическим воспитанием.

Да и спросим себя положа руку на сердце: так ли уж исчерпан был тогда прежний способ жизни — жизни будущим без настоящего? Ведь была целина, были сибирские стройки, и новая, постсталинская молодежь рвалась куда-нибудь посережнее и повосточнее, искала в палаточных трудностях и испытаниях свое гражданское призвание и завидовала старшим, что они все построили и всех победили, оставив детям так мало настоящего дела. Было все это, было! А раз так, то, быть может, Хрущев не столько обманывал, сколько обманывался сам? Быть может, искренне верил, что есть в народе нерастраченные молодые силы, способные на чудеса, если поверят, что чудеса достижимы? Или обещание скорого коммунизма было той соломинкой, за которую ухватился уже утопающий лидер?

Как бы то ни было, оглядываясь назад, всматриваясь в молодые лица целинников и строителей Братска будем трезвы в своих суждениях и оценках. Лукавил Хрущев или нет — не так уж важно. Важнее понять, в чем он ошибся. Та короткая и яркая вспышка энтузиазма и подвижничества, которую ему удалось вызвать (впервые без образа врага!), была одновременно и проявлением глубокого, не осознаваемого еще кризиса. Если самые энергичные молодые люди из обжитых отстроенных районов рвались в необжитую Сибирь, то это значит, что построенное при Сталине общество их не удовлетворяло, что оно не давало простора для инициативы и творчества, это значит, что оно могло развиваться только вширь, а не вглубь. Это значит, что и хрущевские реформы были недостаточны, что они всколыхнули общество, но не перепахали его, не сообщили ему новых импульсов, не зарядили другими, более современ-

ными видами энергии, и потому волна воодушевления быстро спала и страна с неодобрением и насмешками стала отворачиваться от Хрущева.

Он был реформатором без новой идеи. Поэтому многим он казался разрушителем, а не творцом. И чем ниже падал его престиж, тем крепче держался он за сталинское наследство, тем больше волновался за устои системы и громил всех, кто, как ему казалось, подтачивает их.

Но идеологическое стимулирование экономики можно уже было сдавать в архив. Романтика сибирского первопроходчества стала угасать, за энтузиазм все чаще приходилось приплачивать, но признавались в этом неохотно, непорочность идейного бескорыстия пытались сохранить (иначе как воспитывать других?), а чтобы совместить несовместимое, начали, как нетрудно догадаться, привирать. Почитайте газеты начала 60-х — и вы, быть может, удивитесь тому, как старались журналисты доказать, что в Сибирь едут не за длинным рублем, а за туманом и запахом тайги, с одной стороны, и ради того, чтобы внести свой вклад в общее дело и принести пользу людям, — с другой.

При Брежнев, который ради внешней стабильности загнал вглубь все противоречия, примирив все со всем и всех со всеми, вранье стало нормой. Жизнь и идеология окончательно разошлись, жертвовать настоящим ради будущего уже никто не хотел, но исхитрились, демонстрировали редкую словесную изворотливость, и получалось, что никакого конфликта нет, что все движется в нужном направлении. Человек хочет жить лучше? Так это же хорошо, это соответствует нашим идеалам. Все для человека! — вот наш принцип и наш лозунг. Хорошо, что люди хотят иметь отдельные квартиры и красивую мебель, хорошо, если растут их потребности. Энтузиасты не хотят больше мерзнуть в палатках? Что ж, надо к ним прислушаться, требования их законны, следовало бы подумать о том, чтобы сначала строить дома, а потом уже заводы.

Но как-то так получалось, что жизнь лучше не становилась, проблемы не решались, а виноватых вроде бы и не было, вернее, виноватыми объявлялись как раз те, кому было плохо. И действительно: откуда всему взятись, если сами не сделаем, если работаем спустя рукава? А у нас, что скрывать, это еще случается. Поэтому будем еще сознательнее, еще усерднее, будем больше думать о наших общих целях и идеалах, будем чаще выходить на субботники и не будем лично ставить выше общественного (это чтобы за хорошую работу не платить больше, чем за плохую, а за нужную — больше, чем за ненужную, то есть чиновничью).

Никогда еще, пожалуй, столько сил и средств не бросалось на то, чтобы внедрить идеологию в жизнь, как во времена застоя. И никогда еще экспансия эта не была столь бесплодной. Ей никто не оказывал сопротивления, но она натыкалась на глухую стену равнодушия и апатии, способную устоять перед любым штурмом и выдержать самую длительную осаду.

Миллионы людей, десятилетиями лишенные быта, освободившись от страха быть уличенными в мешанстве и несознательности, скинувшие с себя бремя военно-коммунистических привычек и ценностей переставшие гордиться бедностью и стыдиться достатка, бросились устраивать свою частную жизнь. Это был невиданный всплеск бытоустройства — импульсивного, жадного, неумелого, в чем-то ущербного, поглощающего все душевные силы. Могло ли быть иначе если свет в конце туннеля видели только те, кто указывал на него с трибун, если нормальная жизнь не приходила так долго, а обустроить ее было так трудно?

Этому не мешали, но — осуждали. Мирились с тем, что так есть, но не уставали напоминать, что так быть не должно. И когда наша городская проза с пониманием, тоской и болью начала выписывать происходящее в столовых и спальнях, в обменных бюро и мебельных магазинах, то это не понравилось: быт не должен подменять бытие! Получалось, что раньше было бытие, а теперь оно разрушается бытом. Получалось, что уходящая военно-коммунистическая безбытность — это и есть бытие. Получалось, что перед нами не мучительный и болезненно-надрывный прорыв к новому бытию и новому смыслу, а утрата бытийности и всякого смысла.

Брежневское время — это, конечно, застой. Но застой лишь потому и постольку, поскольку он был следствием окончательного разложения военно-коммунистического образа жизни, и прежде всего самоисчерпания военно-коммунистических стимулов трудовой активности. Людям разрешили хорошо жить, реабилитировали личное «хочу»,

подмятое безличным «надо». Но это только в быту, на работе «надо» ничем не заменили, и потому за порогом квартиры всем стало ничего не надо. Все хотели всего, но все остановилось.

На пороге духовной революции

Перестройка должна заменить безличное «надо» личным «хочу» не только в быту, но и на работе. Иначе она ничего не перестроит. Это значит, что предстоит ломка всей системы ценностей, всей военно-коммунистической идеологии стимулирования, доставшейся нам от сталинской поры. Ломка, а не очищение! Тогда тоже говорили: лучше работать, чтобы лучше жить. Но подразумевали: лучше работать сейчас, а лучше жить — потом. Подразумевали: жить лучше — значит, всем жить одинаково хорошо. Вот это-то и предстоит изменить. Формула перестройки: сегодня работаю хорошо — сегодня же хорошо и живу; работаю лучше другого — имею право лучше другого и жить; кто из нас чего стоит — решать не начальству, а покупателю нашей продукции. Ничего нет проще этого. И нет ничего сложнее. Не только потому, что тут затрагиваются принципы, на которые не посмели поднять руку ни реформатор Хрущев, ни консерватор Брежнев, — принципы идеологического стимулирования хозяйственной деятельности, бывшие для сталинской партии действительно основополагающими, краеугольными и непререкаемыми; поступаться ими значит действительно идти дальше, чем многим хочется и может. Это сложно и потому, что принципы оберегаются не одними лишь чересчур принципиальными функционерами и добровольцами, готовыми помочь им своими перьями.

Военно-коммунистическая идеология выветрилась из сознания многих людей не целиком, а лишь наполовину. Остались в прошлом энтузиазм и трудовой порыв, вызванные навязанными ощущением или предощущением военной угрозы, но «коммунистическая» составляющая этой идеологии обосновалась в головах прочно и основательно. Миллионы людей приучены к тому, что чем дальше вперед, тем ближе к полному равенству. Хрущев не случайно взял курс на преодоление разрыва в оплате труда — он шел за массовыми ожиданиями. Этим ожиданиям относительно будущего соответствует уравниловка настоящего. Но как совместить идеал равенства с углублением различий, к которому неизбежно приведет оплата по труду и ориентация на потребителя?

Я думаю, что надо сказать себе ясно и определенно: совмещение невозможно. И — отказаться от него. Правда трудная, признавать ее боязно, но скрывать — опасно. Нужно резко и открыто сместить акценты с будущего на настоящее. В Китае первыми сделали действительно решительный, действительно смелый шаг в этом направлении: там объявили, что социализм будет построен у них лишь через сто лет, да и то не полностью, а лишь в основном. Такая передвижка идеала далеко вперед при одновременном занижении и приземлении его означает начало идеологической революции. Это не отказ от идеологии и идеалов вообще. И даже не отказ от идеологического стимулирования хозяйственной активности. Нет, это лишь отказ от такого идеологического стимулирования, которое претендует на замену экономического. И это поиск такой идеологии, которая помогла бы человеку приспособиться к экономическим стимулам принять их, переопределила бы их в осознанные мотивы, превратила в устойчивую духовную реальность.

Военно-коммунистический идеал, отбрасывая настоящее ради будущего, лишает нас будущего. Потому что военно-коммунистическая экономика использует человека, не развивая его; эксплуатирует его физическую и психическую энергию, а потом выбрасывает. Наоборот, современный идеал — это идеал индивидуального саморазвития, самодвижения к высшей квалификации, высшему качеству, к высшим проявлениям творчества.

Конечно, деньги и рынок на службе у идеала могут смущать; кто-то, возможно, обнаружит, что слуги во всех отношениях ниже хозяина и могут дурно повлиять на него, что тут есть противоречие. Все так, кто же спорит? Да только противоречие это живое оно ведет нас вперед, а военно-коммунистическое непротиворечивое бескорыстие ведет в тупик застоя.

Поэтому еще и еще раз: без идеологической перестройки нам не обойтись. И еще и еще раз: нет ничего сложнее, чем осуществить ее. Это не ответ, который нужно срочно пропагандировать, а проблема, которую всем нам предстоит решать. И первый

шаг здесь — ясное ее осознание, высвобождение ее из густой паутины опутывающих ее «принципов».

Переход от нетоварного хозяйства к товарному никогда и нигде не осуществлялся легко и безболезненно, он всегда сопровождался (и превосходил!) глубочайшими духовными сдвигами. У одних народов (например, у японцев) идеологическая революция проходила относительно спокойно и мирно, так как новая цивилизация находила общий язык с существующей национальной культурой. Вступала с ней в живой и плодотворный диалог, питалась ее соками и одновременно обогащала и преобразовывала ее, приспособлявая к себе. Другие (скажем, западные европейцы на исходе средних веков) оказались не столь удачливыми, они пережили резкое столкновение культурных материков, когда новый духовный уклад в виде протестантизма решительно противопоставил себя культурной традиции. В этой борьбе было пролито немало крови, но протестантизм дал миру новую личность нового — ответственного и дисциплинированного — работника, которому западная цивилизация обязана многим, если не всем.

Нам очень важно внимательно присмотреться сегодня к опыту духовных революций и эволюций, которые в разное время проделали другие народы. Но все же чужой опыт не заменит собственного. Каждая страна по-своему вступает в современную цивилизацию, каждая обретает там свое неповторимое лицо. И вот эту-то свою дорогу и свой особый вариант нам предстоит отыскать. Задача уникальная по своей новизне и оригинальности — ведь никто и никогда еще не пробовал вводить развитые товарно-денежные отношения в обществе, где несколько десятилетий существовал военно-коммунистический режим, только потому и утвердившийся, что он уничтожил товарное производство и рынок. Мы на пороге духовной революции не только глубокой, но и своеобразной, которая потребует от нас предельного напряжения и подлинного творчества.

Пока, похоже, уникальность и ответственность предстоящего (начавшегося?) поворота не очень-то осознаются. «Товарники» взахлеб расписывают преимущества рынка с точки зрения эффективности и рентабельности, но он, рынок этот, берется многими из них как бы вне времени и пространства, в отрыве от наших культурных традиций и привычек, нашего духовного склада, нашего военно-коммунистического прошлого. Если бы так было, что любой народ в любое время готов принять и пустить в ход самые эффективные и рациональные средства и методы хозяйствования, если бы одни национальные организмы не отторгали лекарства которые уже оздоровили их соседей, то рыночные отношения установились бы у нас еще во времена Московской Руси, они давно стали бы реальностью в Азии, Африке, на всем белом свете.

И как реакция на абстракцию эффективности — абстракция национальной самобытности. Не нужны, мол, нам эти заморские штучки, не привьются они, не та почва, как-нибудь обойдемся без «торгашества». Да, но чем нам все же те заморские диковины заменить, как сделать, чтобы и у нас были свои компьютеры, а также коровы, пусть и не лучшие в мире, но способные нас прокормить, а также хлеб, который не черствел бы задолго до того, как его довезут до булочной?

За ответом «самобытники» отсылают к национальным традициям и истокам. И сами не замечают, как желание отыскать в нашем культурном прошлом нечто уникально высокое, способное заменить «торгашество» и превзойти его, ведет их к реставрации военно-коммунистической идеологии, от которой они отрешиваются как от чумы.

Некоторые среди них берут за основу ее «военную» составляющую. Говорят: мы долгими послеоктябрьскими десятилетиями и дооктябрьскими столетиями приучены жить и работать «на оборону», это стало особой нашей культурной реальностью, поэтому глупо и расточительно было бы выбрасывать за борт наше «оборонное сознание», наоборот, только из него и можем черпать мы силы для нового рывка, оно и сегодня остается аккумулятором нашей национальной энергии.

Все это выглядело бы очень даже заманчиво, если бы не одна заковыка. То «оборонное сознание», которое нам известно, только потому и могло быть реальностью, что реальностью были казарменная организация жизни и образ врага. Как же нам так изловчиться, чтобы «хорошее» сохранить, а «плохое» устранить? Пока, насколько могу судить, такой ловкости никто не обнаружил.

Других в той старой идеологии привлекает «коммунистическое» звено. Конечно, тоже без издержек, свойственных сталинской эпохе, без жертвенности и пренебрежения человеком. Это все предлагается отбросить. Сохранить же надо уходящие во

времена общинного существования традиции человечности, взаимопомощи, коллективизма. Надо, чтобы человек работал не из эгоистических побуждений, не ради личного преуспевания и богатства, возвышающих его над собратьями, а из чувства любви к людям, желания быть им нужным. И это все выглядит очень привлекательно, и я готов подписаться под каждым словом, если мне объяснят, почему все-таки до сих пор без «издержек» не получалось, почему равенство, коллективизм и справедливость, выставляемые против вызываемых «торгашеством» расслоения, индивидуализма и несправедливости, вели не к торжеству всеобщей любви, а к казарменной уравниловке, всеобщему обезличиванию и эскалации ненависти? Не испытывая никаких симпатий к «торгашеству», я все же хочу знать, почему желание поставить себя выше него заканчивалось до самого последнего времени погружением в варварство? И почему мы должны верить, что ничего такого впредь случиться не может?

Лучше, по-моему, попробовать все же найти свою дорогу в мировую семью народов, чем очередной раз тщиться вознестись над ними. Пока мы ее не нашли. Пока мы пытаемся осуществить перестройку, используя то, что само нуждается в перестройке. Мы хотим, чтобы прорыв к новому способу хозяйствования осуществили энтузиасты у станков и в руководящих кабинетах, не отдавая себе отчета в том, что массовый энтузиазм — порождение той самой военно-коммунистической организации хозяйства, от которой мы и стремимся избавиться. Мы хотим, чтобы бюрократы проявляли небюрократическую сознательность и подкладывали динамит под собственные кресла.

Но иллюзии постепенно исчезают. Их место заполняет накапливающаяся усталость от долгих ожиданий. Еще острее, чем раньше, встают конкретные вопросы о товарах, которых нет или которые по-прежнему никуда не годятся, о ценах, которые растут, не дожидаясь объявления об их повышении. Все чаще слышатся голоса: нужен реальный, всеми осязаемый успех, иначе запас оптимизма насчет перестройки окончательно иссякнет, а без него не будет и перестройки.

С этим трудно спорить. И успех нужен и оптимизм тоже. Но не будем очередной раз обманывать друг друга: оптимизм можно вызвать и искусственно (скажем, закупив дефицитные товары за границей), но к перестройке он никакого отношения иметь не будет.

Перестройка — это слом Административной Системы, это формирование современного работника, современной экономики, создание демократической политической системы. И оптимизм может стать чем-то устойчивым и прочным, когда люди увидят, что это, во-первых, возможно, а во-вторых, что в результате жизнь становится лучше, чем была.

Пока оснований для такого оптимизма не очень много. Поэтому по-прежнему так трудно говорить правду. Поэтому она остается символом и лозунгом перемен.

ЛЕВ ТИМОФЕЕВ



ФЕНОМЕН ВОЗНЕСЕНСКОГО

Опыт анализа одного поэтического мотива

С чего начинается потребность в поэтическом видении мира? Ответ, как и многие другие ответы на вопросы, которые будут нас интересовать, находим у Пушкина: «Духовной жаждою томим...» Духовная жажда сродни жажде познания. Но если, говоря о последней, мы имеем в виду познание внешнего мира, потребность заполнить белые пятна в объективной картине мира, то духовная жажда возникает прежде всего как результат обращения человека к самому себе, как результат рефлексии, как результат работы совести.

Итак, начнем с того, что будем искать работу совести.

Есть в поэзии Вознесенского один сквозной мотив, к которому стоит прислушаться повнимательнее,— сквозной мотив творческой несвободы и связанной с этим вины: поэт пишет стихи, но тут же сам заявляет, что стихи эти далеки от идеала... создает поэму, но тут же жалуется, что лучшую-то поэму он убил... Работа совести, чувство вины — свидетельство живой души. К этому свидетельству и обратимся — не оно ли поможет нам понять нечто, связующее поэта и читателей? А заодно, может быть, и нечто важное в мироощущении нынешней интеллигенции.

Обратимся к совести поэта, или, вернее, к совести его лирического героя, поскольку поэт нам и знаком только как герой собственных стихов.

1

Начнем с детективного сюжета: нам предстоит разобраться в истории одного убийства... Честно говоря, я рад этому обстоятельству (не убийству, а художественному приему поэта). Детектив — не

скучная игра. Детектив — игровая модель современной жизни. Правильно построенная схема расследования банального преступления всегда совпадает со схемой исследования души человеческой и самого времени — это доказано и Шекспиром, и Достоевским, и Толстым, и Фолкнером.

Итак, мы будем иметь дело с последствиями некоего преступления. Или с его причинами. Начинается же все явкой с виновной — лирический герой, несомненно, современный советский интеллигент, утверждает, что совершил убийство:

Плач по двум нерожденным поэмам

Аминь.

Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!
Хороним.
Хороним поэмы. Вход всем посторонним.
Хороним.

На черной Вселенной любовниками
отравленными
лежат две поэмы,
как белый бинокль театральный.
Две жизни прижались судьбой
половиной —
две самых поэмы моих
соловьиных!

Вы, люди,

вы, звери.

пруды, где они

зарождались
в Останкине,—

встаньте!

Вы, липы ночные,

как лапы в ветвях хиромантии,—

встаньте,

дороги, убитые горем,

довольно валяться в асфальте,

как волосы дыбом над городом,

вы встаньте.

Раскройтесь, гробы,

как складные ножи гиганта,

вы встаньте,—

Сервантес, Борис Леонидович,

Данте

вы б их полюбили, теперь они тоже останки,
встаньте.

И вы, член Президиума Верховного Совета
товарищ Гамзатов,

встаньте,
погибло искусство, незаменимо это.
и это не менее важно,
чем речь
на торжественной дате,

встаньте.
Их гибель — судилище. Мы — арестанты.
Встаньте.

О, как ты хотела, чтоб сын твой шел чисто
и прямо,
встань, мама.

Вы встаньте в Сибири,
в Париже,
в глухих городишках,
встаньте,
мы столько убили
в себе,
не родивши,

встаньте,
Ландау, погибший в косом лаборанте,
встаньте,
Коперник, погибший в Ландау галантном,
встаньте.
вы, девка в джаз-банде,
вы помните школьные банты?
Встаньте.

геройские мальчики вышли в герои, но
в анти,

встаньте
(я не о настратах — о самоубийцах,
кто саморастратил

святые крупицы),
встаньте.

Погибли поэмы. Друзья мои в радостной
панике —

«Вечная памяти».
Министр, вы мечтали, чтоб юнгой
в Атлантике плавать,

вечная память,
громовый Ливанов,
ну, где ваш несыгранный
Гамлет?

Вечная память,
где принц ваш, бабуся? А девственность
можно хоть в рамку обрмить,

вечная память,
зеленые замыслы, встаньте как пламень,
вечная память,
мечта и надежда, ты вышла на паперть?
Вечная память!

Аминь!

Минута молчанья. Минута — как годы.
Себя промолчали — все ждали погоды.
Сегодня не скажешь, а завтра уже
не поправить.

Вечная память.

И памяти нашей, ушедшей как мамонт,
вечная память.

Аминь!

Тому же, кто вынес огонь сквозь
потраву, —
Вечная слава!
Вечная слава!

Разберемся в этой запутанной истории
с убийством. И не с одним. Пара трупов
сразу налицо — их предъявляет наличный
текст: «...любовниками отравленными ле-
жат две поэмы.» — и поначалу кажется,
что мы приглашены лишь затем, чтобы
увидеть этих двух несчастных. Но не бу-
дем торопиться. Не тот ли здесь детек-
тивный прием, когда автор бросает трупы
уже сразу на пороге, хотя легко можно
догадаться, что это не только не един-
ственные жмурики в доме, но и далеко не
самые значащие?

Нет, погибли не просто две поэмы. Да
и что вообще такое — две поэмы? Стоит
ли из-за них созывать на тризну миллио-
ны читателей? Так ли Пушкин горевал, что
не дописал «Вадима» и «Братьев разбойни-
ков»: «Разбойников я сжег — и поделом».
Нет, здесь все куда серьезнее: погибло
дело жизни нашего героя, его «Евгений
Онегин», его «Медный всадник» — две са-
мых поэмы его соловьиных. Мечта и на-
дежда вышли на паперть? Плач не по поэ-
мам, похоже, плач — по самому себе. По-
гибла жизнь. Погибла сама возможность
жить «чисто и прямо». Но даже эта груст-
ная потеря не слишком ли мала, чтобы
поднимать набатный звон, чье звучание
заставляет вспомнить куда более страшные
утраты, чем гибель двух поэм:

Я — Гойя!
Глазницы воронок мне выклевал ворог,
слетая на поле нагое.

Я — Горе.

Я — голос
войны, городов головни
на снегу сорок первого года.

Я — голод.

Я — горло
повешенной бабы, чье тело, как колокол,
было над площадью голой...

(«Гойя»)

Ритмическая переключка «Плача...» с
этими строками, о которых поэт не раз
говорил как о весьма значимых в его твор-
честве, не может быть случайной. Нет,
понятно, на такой колокольной ноте вести
речь только о «личной судьбе» одного на-
шего лирического героя невозможно. Не
два трупа здесь и разрушенная судьба ге-
роя, но когда судьба героя сопоставляется
с иными судьбами и когда он заявляет:
«...мы столько убили в себе, не родивши», —
за этим уже какое-то чудовищное, фантас-
магорическое множество несостоявшихся
жизней. Массовое убийство совести и во-
ли... Тут уж в набат! В набат!

Есть и еще один труп, о котором автор замечает походя, но присутствие которого (то есть присутствие трупа и отсутствие того, что сделалось трупом) уже само по себе показывает бездну совершенного преступления: «погибло искусство, незаменимо это». Что там «Вадим», «Евгений Онегин», две соловьиные поэмы — убито искусство как таковое. Плевать на то, что наш герой почему-то не может жить «чисто и прямо», — поплачет и утешится. Но искусство — не факт биографии рефлектирующего интеллигента Искусство — инструмент самосознания общества в целом, народа (ведь значит же что-нибудь это слово!). Вечные, проклятые вопросы «что делать?», «кто виноват?», «куда идти?» без искусства не только не найдут ответа, но просто не будут заданы. Да что уж там вечные и проклятые — не будет задан элементарный вопрос, отличающий человека от зверя: кто мы такие?

Плач-то не по поэмам. Не по поэту или его герою — плач по народу. По России плач.

Все у нас как в настоящей детективной повести: началось с двух трупов на пороге — так, убийство районного масштаба, — а что же теперь? Теперь перед нами жуткая кровавая баня, преступление тысячелетия — убийство души целого народа? Так, что ли?

Но подождите, состоялось ли убийство? Или самоубийство («...кто саморастратил святые крупичи...»)?.. Да и вообще пора задуматься, правильно ли мы трактуем стихотворение Вознесенского.

Нам лучше на время забыть, что наш герой явился с повинной, и проследить, не возникает ли тот же самый мотив в других произведениях поэта. И если да, возникает, то как трактует его сам автор?

2

Я много раз замечал, что по газетным и журнальным публикациям не могу составить правильное представление о стихах Вознесенского. На бегу поданное и на бегу принятое: все кажется несерьезно его творчество, и стихи как каблуки быстрых деревянных сабо по пустым ступенькам — перестук живого ксилофона... Но когда собирается книга, понимаешь: то, что казалось недостатком поэзии, есть лишь недостаток твоего слуха.

Вознесенский — поэт больших периодов. Нужны полторы сотни стихов, полторы сотни его признаний, полторы сотни поворотов его мысли, чтобы по дробинке на-

полнилась пригоршня тяжелым веществом поэзии — суммой идей. Мне это не кажется недостатком. В современном мире, в котором люди, события, идеи мелькают, как спицы в колесе бешеной повозки, любая значащая мысль должна быть многократно исследована, должна стать сквозным мотивом творчества — лишь это заставит читателя заметить ее. Вознесенский, к его достоинству, — поэт сквозных мотивов, и о некоторых из них мы еще вспомним... но сейчас нам важен лишь один из них — мотив несвободы.

Каждый художник творит свой мир. Мир художника возникает как определенная творческая система — как система определенных символов, знаков, соотношений, ценностей. Мир художника возникает как миф со своей иерархией богов... Мифический мир Вознесенского — мир абсолютной несвободы. Не свободен художник: «Тюремные стены. И нем рассвет...» Не свободна женщина: «Браслеты — как наручники и бусы как петля...» Не свободны бобры, олени, исторические личности и бухие битники, не свободна даже стрела — в стене, а не в полете...

Но более всего не свободен лирический герой Вознесенского — интеллигент: «Сколько свинцового яда влитó, сколько чугуновых лжей... Мое лицо никак не выжмет штангу ушей...»

Его несвобода не физическая, но духовная — несвобода творческого самовыражения. Мысль об убитом искусстве, о принципиальной невозможности жить чисто и прямо, которая выражена в «Плаче...», постоянно возникает — то мыгчанием боли: «Открою рот завьгть — вцепилась в глотку кляпом орава комаров», — то в частушке: «Ночь такая — очи выколи. Мою лучшую строку, нападающую — выкрали... Ни гуту» («Украли»), — то снова развернуто в одном из программных, должно быть, стихотворений поэта, «Похороны Гоголя Николая Васильича»: «Поднимите мне веки, соотечественники мои...»

Значит, все-таки мысль об утраченной свободе самовыражения не нами навязана — похоже, поэту она привычно дорога, он не хочет или не может с ней расстаться на протяжении всего творческого пути, и в «Плаче по двум нерожденным поэмам» она нашла лишь наиболее откровенное выражение.

Что же, все-таки убийство? Да, несомненно об убийстве говорит наш герой... Но не будем торопиться. Если убийца и показывает сам на себя, то с добросовестного следствия это еще не снимает обязан-

ности доказывать его вину. А то ведь вот в других-то цитированных стихах он ссылается на некую безликую силу: влято... выкрали. Да и в «Плаче...» есть намек на эту силу как на истинного виновника: именно к ней, к этой силе, обращена «галантность» Ландау, противоположенная, надо полагать, грубой бескомпромиссности Коперника; именно этой отрицательной силе должны были активно противостоять геройские мальчики, но увы — «вышли в герои, но в анти»; именно эта сила вдруг является в маске аллегории — то как «непогода», то как «потрава»... Нет, похоже, наш герой убийцей себя не считает. Ну, поэму — это еще ладно, это он возьмет на свою совесть, а больше — нет.

Но мы-то взялись искать виновного — не отказываться же теперь от кропотливой работы литературоведческой криминалистики. Сейчас, например, нам предстоит... опознать труп и установить, в какой момент было совершено убийство.

Действительно, если наш герой утверждает, что убита сама возможность идеального творческого поведения, то для начала надо познакомиться с идеалом в лицо. Что, собственно, наш герой имеет в виду, когда говорит о возможности жить «чисто и прямо»? И когда, в какой момент эта возможность утрачена?

3

Вот еще один сквозной мотив творчества Вознесенского: в каждой книге неоднократно поэт утверждает мысль, что поэтическое творчество есть напряженная нравственная деятельность с явной общественной, гражданской направленностью: «Как стыдно, мы молчим. Как минимум — сдохшим. Мне стыдно писанин, написанных самим... Обязанность стиха — быть органом стыда». Или еще: «В воротничке я — как рассыльный в кругу кривляк. Но по ночам я — пес России о двух крылах. С обрывком галстука на вые, и дыбом шерсть. И дыбом крылья огневые. Врагов не счесть...» Или вот прямой ответ на пушкинское «жрецы ль у вас метлу берут?»: «Работающий затворником поэт отрешен от праха, но поэт, что работает дворником, выше по иерархии!»

Такая декларация гражданственности традиционна для русской поэзии и для русской интеллигенции вообще — в поговорку вошло: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Не быть гражданином значило не быть интеллигентом. Сама возможность жить «чисто и

прямо», похоже, предполагает эту гражданскую бескомпромиссность.

Поэт-гражданин — вот как выглядел в старину идеал нашего героя. Не над его ли безжизненной тенью рыдает он теперь? Когда же случилась беда? Когда же румяный идеал сделался бледной тенью несостоявшихся возможностей?

Если говорить о каждом единичном творческом акте, то момент гибели идеала определить довольно легко. Обратимся опять к Пушкину-мыслителю, у которого находим известное исследование творческого процесса:

И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем...

Где же здесь, в какой момент наш-то герой оплошал? А в самый последний — «минута — и...»:

Минута молчанья. Минута — как годы.
Себя промолчали — все ждали погоды.

Нет, не надо думать, что факт убийства понимается лишь как молчание, — в стихах столько наговорено, что, понимая молчание как крайний, может быть, наиболее гуманный из возможных способов убийства, мы не должны обойти вниманием и другие — скажем, не абсолютное молчание, но различные фигуры умолчания. Себя промолчали не единожды, но всякий раз, когда надо было преодолеть путь от замысла к воплощению, от мысли к слову, от намерения к поступку.

Поступки поэта — его стихи. И даже в тех случаях, когда сам поэт настоятельно требует, чтобы его творчество рассматривалось как нравственное поведение лишь определенного уровня («Мою лучшую строку, нападающую — выкрали» — увы!), когда он требует, чтобы читатель сопереживал по поводу невысказанных истин, мы можем откликнуться на это, понять это, лишь анализируя истины высказанные, структуру и смысл произведений уже состоявшихся. Узнать, о чем поэт и его герой промолчали, мы сможем только тогда, когда узнаем, что и как уже высказано. И здесь нам поможет тот несомненный факт, что любая мысль, декларативно высказанная в стихе, сама по себе еще не есть состоявшийся нравственный поступок. Как только мысль поэта воплощается в слово, она поддежит оценке с точки зрения эстетической цельности того произведения, в котором она высказана, с точки зрения эстетического идеала, который

только и способен вполне выразить в искусстве идеал этический. Но обратимся же к стихам: «Я не стремлюсь лидировать, где тараканы бега. Пытаюсь реабилитировать вокруг понятие греха» («Грех»). Вот серьезное заявление, заявка! Прочитай первые строки стихотворения, читатель как бы включается в языковую, понятийную систему автора, настраивается на стиль и интонации. На что же мы должны настроиться, если помним, что наш герой — «пес России»?

Грех — осознанное преступление нравственных норм. Осознание собственной греховности необходимо, если мы стремимся к духовному очищению, к воскресению духа. Люди могут и не заметить твоего греха, но совесть не простит. Это очень важно: для человека, нравственно отупевшего, для человека без совести понятия греха не существует... Понятие греха неизменно связано со страхом перед карой. Но это не страх перед государственной пенитенциарной системой — суд совести карает куда тяжелее, чем любой трибунал. Страшно осознавать собственный грех — и не отвести его покаянием. Человеку это грозит гибелью. Страшно осознавать и грех общественный — и не отвести его общественным покаянием: это грозит гибелью обществу.

О чем же будем говорить, пытаясь реабилитировать понятие греха? О грехе лжи и потворстве лжи — грехе едва ли не всеобщем для нашего общества? О слабости духа, трусости, предательстве идеалов — грехах всеобщих для нашей интеллигенции? О грехе духовного и физического разврата? Или нет, здесь есть еще один поворот темы: может быть, наш герой почувствовал, что понятие греха все менее совпадает с юридическим понятием преступления? То, что понимается как преступление законов юридических, теперь перестает быть преступлением законов морали, перестает быть грехом. Это важная особенность жизни общества: протестовать против определенных политических, административных, экономических или социальных порядков — и попасть за это в тюрьму, пойти в лагерь, быть заключенным в психушку — в наше время не почитается за грех. Этого боятся, но не стыдятся, а бывает, и гордятся этим. Грех — молчать... Закон нравственный и закон государственный не вступают ли здесь в противоречие?..

Но не предлагаем ли мы нашему интеллигентному герою нечто совершенно чуждое всему строю его мышления? Не навя-

зываем ли мы ему свой взгляд на мир — взгляд, который ему совершенно чужд? Вроде бы нет: ведь он же сам заявлял о желании взять высокую, общественно значимую ноту в этой теме («...не стремлюсь лидировать, где тараканы бега»), а еще раньше показал, что прекрасно понимает, что «обязанность стиха — быть органом стыда», понимает, что «поэт виноват набатно, что совесть не пробудил». Словом, наше многолетнее знакомство с лирическим героем Вознесенского, знакомство с его декларациями подготовило нас к определенному восприятию темы греха.

Да уже и сама цитированная нами четырехстрочная заявка показывает серьезность намерений автора. Отрицание суеты, бытовизма, мелких личных интересов (все эти понятия содержатся в словах «тараканы бега») — прием вот уже двести лет как традиционный для высокой гражданской лирики: «Не украшение одежда моя днесь муза прославляет...» (Г. Державин, «Вельможа») — и так далее. В то же время реабилитировать в наши дни значит полностью восстановить в правах несправедливо осужденного, вывести его из сферы террора, из-под власти террора; в этом смысле «реhabilitировать понятие греха» значит так или иначе противоположить это понятие духовному террору, спасти, вывести за пределы зоны духовного террора...

Итак, двух-трехударный тактовый стих энергичен, мысли в голове волнуются в отваге, минута — и... «Я не стремлюсь лидировать, где тараканы бега. Пытаюсь реабилитировать вокруг понятие греха. Душевное отупение отъевшихся кукарек — это не преступление — великий грех. Когда осквернен колодец или Феофан Грек, это не уголовный, а смертный грех. Когда в твоей женщине пленной зарезан будущий смех — это не преступление, а смертный грех... Но было б для Прометея великим грехом — не красть. И было б грехом смертельным для Аннушки Керн — не пасть. Ах, как она совершила его на глазах у всех — Россию заморозивший бессмертный грех! А гениальный грешник пред будущим грешен был не тем, что любил черешни, был грешен, что — не убил».

Посмотрим внимательно... Намерение автора декларативно обнажено: исследовать смысловое противопоставление «грех — преступление» Условный жанр стихотворения — с т а н с ы. По законам жанра тема должна быть решена многократно, но каждый раз в пределах одной

строфы и каждый раз по-новому — к этому и стремится автор. Понятно, что стансы, где задача автора — многократно и каждый раз по-новому противопоставить два отвлеченных понятия, требуют лапидарного языка, близкого к афоризму, эффективных (может быть, даже эффективных) образно-ассоциативных средств и четкой ритмико-композиционной системы... Но нет, здесь поэтическая задача остается нерешенной.

Лексика стихотворения чрезвычайно бедна. Опорные слова четырех строф из семи — в кругу шаблонов поэтического языка: оскверненный колодец, набор как бы самозначимых имен, имен-знаков (Феофан Грек, Прометей, Анна Керн, Пушкин) — все это многократно использовано в поэзии, и автор оказывается не в состоянии вывести эти понятия за предел шаблонных ассоциаций. И десять строк о Пушкине и Керн лишь привносят какую-то разухабистую бестактность в наши представления о том, что давно и исчерпывающе описано: «Я помню чудное мгновенье...» Наигрыш «грешник — грешен — любил черешни» — лишь форма глухого умолчания по существу темы.

Можно и уступить напористой силе слова: давайте преступление впредь называть грехом, а грех преступлением — жалко, что ли? Но что же из этого следует? А ничего... Реабилитация не состоялась. Так, помолчали минуту...

Но, разбираясь в этих фактах умолчания, в этих случаях «убийства нерожденных поэм», мы все время должны иметь в виду, что обращаемся лишь к какой-то части творческой системы поэта...

Поэт нигде не декларирует необходимость быть искренним в своих элегиях, и тем не менее пока предмет его лирики — мотивы интимных утрат и сожалений, его стих свободен и строен, поэт выговаривается до конца. Его «Осень в Сигулде», или «Скульптор свечей», или «Автолитография» — безусловно высокие образцы современной русской элегии.

Но как только мы обращаемся к жанрам, которые декларативно провозглашены как важнейшие в поэзии («выше по иерархии»), — как только мы обращаемся к гражданской лирике, где наш герой почитает себя не последней фигурой общественного процесса («...мой язык — что слезы слизывал России»), поэтическое дыхание стесняется, речь становится бесцветной, а то и пошла, а пафос по меньшей мере ненатурален. И чем важнее тема, чем громче запови, зачин... тем глубже умолча-

ние по существу. Отчего же так? Прежде чем мы начнем искать ответ на этот вопрос, прочитаем внимательно еще одно стихотворение, важность которого очевидна уже с первой строки:

Есть русская интеллигенция.
Вы думали — нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.

Есть в Рихтере и Аверинцеве
земских врачей черты —
постольку интеллигенция,
поскольку они честны.

«Нет пороков в своем отечестве».
Не уважаю лесть.
Есть пороки в моем отечестве,
зато и пророки есть.

Такие, как вне коррозии,
ноздрей петербургской вздет,
Николай Александрович Козырев —
небесный интеллигент.

Он не замечает карманников.
Явился он в мир стереть
второй закон термодинамики
и с ним тепловую смерть.

Когда он читает лекции,
над кафедрой, бритый весь —
он истой интеллигенции
указующий в небо перст.

Воеет с извечной дурью,
для подвига рождена,
отечественная литература —
отечественная война.

Какое призванье лестное
служить ей, отдавши честь:
«Есть, русская интеллигенция!
Есть!»

По теме, по замыслу, по заявке, пожалуй, нет в творчестве Вознесенского стихотворения, более соответствующего уже знакомым нам гражданским устремлениям нашего героя («пес России»). В первых четырех строках — ах, какие мысли волнуются в отгае! Функция общественной совести действительно всегда была присуща русской интеллигенции. Но исполнялась она куда как неравномерно. Возникшая двести лет назад на скрещении французского материализма и православной нравственной традиции, интеллигенция русская в любой год и день этого двухсотлетия была одновременно ничтожной и героической, рабской и бунтарской, трусливо слепой и пророчески пронизательной, ту-по индифферентной и стоически смиренной — и все это была русская интеллигенция, неотъемлемая часть столь значимой в нашей истории понятийной триады «народ — интеллигенция — власть». Нет, пожалуй, в книгах поэта и другого такого стихотворе-

ния, где молчание по существу заявленной темы было бы столь глубоким.

Как же это происходит? В качестве опорных слов берутся слова-знаки «русская интеллигенция», «совесть страны» и так далее, которые при малейшем движении речи сразу порождают огромное количество ассоциаций: любой мало-мальски грамотный человек способен написать небольшой трактат и об интеллигенции и о совести,— но поэт не только не исследует глубину этих столь важных для всех нас понятий, но как бы намеренно сужает, умаляет их семантическое богатство, исследует всего один-два признака, да и то далеко не самые значимые...

...Еще Достоевский замечал, что «честность» и «совесть» не синонимы. Не означает ли совесть, раз уж речь зашла об интеллигенции, общественную причастность к самым большим проблемам (к самым большим!), как причастны к ним Александр Солженицын и Андрей Сахаров? Ведь тот же Сахаров и без своей публицистики и без своей общественной деятельности был бы нашим великим современником (ученый, организатор науки...), но стали бы мы тогда говорить о нем как о совести страны? Так почему же именно Козырев, интеллигент с чистой совестью и незаурядный ученый и мыслитель,— но почему именно он — персонафикация столь многозначного русского понятия пророк? Какие его пророчества о судьбе общества, о судьбе страны, о путях нашего общественного движения,— какие его пророчества об этом мы знаем?

В двух последних строфах недоразумение, вызываемое стихотворением, достигает предела. О какой «извечной дури» идет речь? С чем, с кем воевали и воюют все эти генералы от Союза писателей, мы хорошо знаем — достаточно вспомнить имена Б. Пастернака, А. Солженицына, В. Некрасова, А. Синявского, Ю. Даниэля, А. Галича, Б. Чичибабина и многих, многих других, исключенных в разное время из Союза... Если же здесь имеется в виду прямо противоположное «генералам» направление отечественной литературы, то у тех-то писателей противника никак не обозначишь легковесным словом «дурь». За этой ли «дурью» значатся десятки миллионов жизней и сотни миллионов судеб — по лагерям, по голодным, выморочным годам, по братоубийственным войнам? Тут говорить о «дурю» — только глаза замазывать читателю. Если «извечная», то черная подлость духа, хотя и оформленная в идеи новейшего времени.

Вот и получается, что отечественная литература — никакая не «отечественная война», а если уж и война (что само по себе сомнительно), то война гражданская — и здесь не оговорка, не небрежность, но прямо противоположная мысль (прямо противоположная!) той, что заявлена в первой строфе, где о совести и чести.

Вот и поговорили... Или помолчали?

Да если человек задается вопросами об исторической роли и судьбах русской интеллигенции или вопросами похожими, а отвечает на них так, как в разобранном сейчас стихотворении, как же ему не ощущать своей вины, если он хоть немного чуток и совестлив! Как же не ощущать ему творческой несвободы! «Я тоскую по сильным глаголам — жить — думать — дышать — мчать,— как форвард госкует по голу, когда окончился матч» («Новогодние ралли-стоп»)

Никто и никогда не смел бы упрекнуть Вознесенского, если бы он вообще не обратился к этим темам, честно говоря, гражданином-то поэту быть вовсе не обязательно, и знаменитый спор о том, кто истинный поэт — Некрасов или Фет, имеет сегодня лишь исторический интерес. Поэт и только поэт выбирает, о чем и как ему говорить, и каждое истинное слово поэта перекликается с вечностью, о чем бы ни говорилось. Не для житейского волнения, не для битв — что ж, пожалуй... Но нет, Вознесенский постоянно задается именно гражданскими вопросами. Что заставляет поэта каждый раз обращаться к гражданской теме, хотя в большинстве случаев ответы его явно неудовлетворительны — ни эстетически, ни по сути проблемы? Отчего так? Эпоха, что ли, такая? Или традиция — все-таки интеллигент?

Но как бы то ни было, а мы должны помнить и то, что промахи ощущаются самим поэтом и его героем-интеллигентом как величайшая трагедия — и личная и общественная...

Нет, нет, не склонен я взваливать на одного поэта вину за то, что «погибло искусство» Пожалуй, внимательно надо вглядеться в фигуру его двойника-интеллигента. Но поскольку понятие интеллигент — понятие родовое, то надо бы посмотреть, как именно поэт и интеллигент связаны мировоззренчески. Поэт, его двойник-герой, интеллигенция... — кто же виновен? Может быть, не поэт, а мы — все мы? Поколение? Русская интеллигенция? Общество? Мировоззренческая традиция? А то ведь как само собой разумеющееся мы пред-

полагаем, что художник может выбирать свое творческое поведение. «Убил я поэму...» А мог бы и не убить? Выбирал, что ли, сам — убить или не убить? Тут надо разобраться, а точно ли существует возможность такого выбора. И если да, существует, то в какой момент творческой биографии поэта такой выбор наиболее важен? И как именно такой выбор сказывается в творческой системе художника?

Сам Вознесенский, кажется, не раз писал, что художник не имеет права собственности на созданные им вещи. Пожалуй, не ошибемся, если и больше скажем: созданные вещи имеют право собственности на душу художника. И право это тем крепче, чем более последователен художник в своем творческом мировоззрении. Каждый последующий творческий акт, каждое последующее высказывание мотивировано и предыдущим, и всей системой в целом. Какая уж тут свобода: система требует! И чем более зрелым предстает перед нами художник, тем больше его зависимость от собственной творческой системы. В некоторых случаях зависимость эта диктует не только творческое поведение, но и включает в систему бытовые и общественные поступки художника, всю его жизнь:

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

(Б. Пастернак)

Или, наоборот, — в зависимости от того, каковы системообразующие принципы, — требует только читки, и ничего всерьез системой не предусматривается, и актер готов скорее «убить искусство» (хотя бы в какой-то части), чем погибнуть самому. Тут уж или — или.

Система требует. Что же система требует от поэта А. Вознесенского и его героя-интеллекта — система, самим же поэтом и созданная? Может быть, как раз той самой половинчатости, которая воспринимается поэтом как трагическая несвобода искусства?

Для того чтобы попытаться ответить на этот вопрос, чтобы понять феномен нерожденных поэм, посмотрим на поэмы рожденные, живые.

Для начала обратимся к ранней поэме «Мастера».

4

Вознесенский начал с ноты, которая ему (а в какое-то время и нам, его читателям) казалась «набатной»: в поэме «Мастера»

он всенародно провозгласил романтический культ творческой личности, культ бунтующего художника. Человека-творца он поместил в центре своего космоса. Свободный духовно творец противостоял тирану: «Художник первородный — всегда трибун. В нем дух переворота и вечно — бунт». «Мастера» датированы 1957 годом. В то время интеллигентный читатель с сочувствием воспринял пафос произведения, оно читалось как развернутая метафора времени: в послесталинскую эпоху конфликт тирана и художника понимался вполне однозначно, и в поэме увидели прежде всего это противопоставление — ее читали как «антикультурскую».

«Мастера» Вознесенского явились своевременно. Рамки поэтического текста раздвигались в жизнь. Это была поэма бунта, отрицания, и тогда казалось не важно, с каких позиций и что именно отрицается в тексте — все работало на отрицание внетекстовое: на чтение стихов Вознесенского и на «Мастеров», в частности, молодежь ходила как на политический митинг.

Но время шло, общественная реальность менялась, семантика поэмы возвращалась в рамки художественного текста, и вот теперь текст перед нами как художественный факт сам по себе и как часть художественного факта более обширного — творческой системы поэта А. Вознесенского. Разберемся в этой безусловно гражданской поэме. Посмотрим на нее глазами людей, прочитавших уже и позднюю гражданскую лирику поэта — и «Грех», и «Есть русская интеллигенция...», и другие стихи того же ряда.

Попытаемся понять, отчего и после этого бунта, и после многих ему подобных все же возникло то фатальное ощущение несвободы, которое заставило Вознесенского прибегнуть к метафоре крайней степени трагедийности: «...мы столько убили в себе, не родивши... погибло искусство...» — к метафоре и к мотиву, видимо хорошо понятному и близкому современной интеллигенции, а иначе как объяснить популярность поэта? Бунтовать-то бунтовали — как же теперь получилось, что «погибло искусство»?

Итак, основная идейная мотивировка поэмы — право на бунт. Но против чего именно? Что есть добро и что есть зло? Духовного против бездуховного? Гражданская война? Но кого с кем? Художник против тирана?

Добро и зло в поэме жестко разграничены. настолько жестко, что для их обозначения используются совершенно различные

художественные средства — еще до сшибки в сюжете конфликт четко обозначается уже в языке:

о добре — напевно, песенно: «Их было смелых — семеро, их было сильных — семеро, наверно, с моря синего или откуда с севера, где Ладога, луга, где радуга-дуга»;

о зле — иронично, частушечно, по-коморошья: «Жил-был царь. У царя был двор. На дворе был кол. На колу не мочало — человека мотало! Хвор царь, хром царь, а у самых хором ходит вор и бунтарь».

Конфликт развивается как столкновение скупых символов:

символ добра — города, которые мастера собираются построить: «Один — червонный, башенный, разбойный, бесшабашный. Другой — чтобы, как девица, был белогруд, высок. А третий — точно деревце, зеленый городок!»;

символ зла — храм, который собирается построить царь: «...и велел государь, чтоб на площади главной из цветных терракот храм стоял семиглавый — семиглавый дракон».

Мир поэмы прост и нагляден. Кажется, поэт использует стилистику лозунгов: отдельные понятия по своей широте близки абстракциям, и модель бытия в поэме предельно схематична. В известном смысле можно сказать, что эта модель удобна в широком обращении. Видимо, в семантической широте, схематичности и лозунговости художественного языка и заключается причина столь точного соответствия поэтического текста общественным нуждам тех лет. Тут обретались те общие понятия и те лозунги, которые и нужны были тогдашней интеллигенции¹.

По своим жанровым признакам «Мастера» очень близки к романтической поэме — здесь тоже чрезвычайно туманно, размыто обозначены художественные категории времени и пространства: «Жил-был царь. У царя был двор» — или: «Их было смелых — семеро... Они ложили кладку вдоль белых

берегов». Вот и все о том, где и когда случилось то, что описано, что составляет сюжет поэмы. Да и что именно описано? Ведь последовательного описания сюжетных событий здесь нет. Да, собственно, и самих событий — нет! Нет событий, а есть лишь эмоциональный отклик на события. Вся поэма — это как система двойных зеркал, где отражается уже отраженное, и до нас доходят не событийные подробности во всем их объеме, но в лучшем случае одна-две детали. Достаточно произнести «плаха» и через строку сказать: «И руки о рубахи отерли палачи» — и готово описание казни.

Эти знаки событий и понятны-то только потому, что речь идет о хорошо знакомом всем сюжете ослепления мастеров-строителей, легендарном сюжете, широко бытовавшем в странах Европы.

Центральное лицо поэмы существует и как рассказчик и как семеро мастеров. И нужды нет, что мастеров семеро, а рассказчик один (для поэзии Вознесенского и вообще не проблема: «Я — семья, во мне как в спектре живут семь „я"»), — суть в том, что эти семеро — двойники поэта, как и должно в романтической поэме. В самый трагический момент сюжета понятие «мастера» и понятие «поэма» сливаются воедино, рассказчик как бы разделяет судьбу своих героев: «Тюремные стены. И нем рассвет. А где поэма? Поэмы нет. Была в семь глав она — как храм в семь глав. А нынче безгласна — как лик без глаз. Она у плахи. Стоит в ночи... И руки о рубахи отерли палачи».

Двуединный центральный персонаж поэмы — художественное воплощение положительных понятий: добра, свободы, творческой силы. Но положительные понятия эти существуют в поэме не сами по себе, а лишь в постоянном конфликте со злом. Рассказчик бунтует и судит — мастера бунтуют и строят. Даже единственная портретная черта, данная в поэме, обретает силу художественного символа и символизирует как раз глубокое отчуждение и бунт: «Очи — ой, отчаянны! При подобной силе — как бы вы нечаянно царство не спалили!..»

Ю. Тынянов писал, что порой «достаточно знака героя, имени героя, чтобы мы не присматривались в каждом данном случае к самому герою». Но здесь уже сам герой лишь символ, «маска», даже знак непрекращающегося бунта, и это тоже вполне в традиции романтического мировоззрения вообще и романтической поэмы в частности.

Ради чего же бунт? Ради идеала. И по-

¹ В своем стремлении к функционально удобному, психологически упрощенному изложению (каламбур, частушка, раешник) Вознесенский последовательно воспринимает некоторые традиции русской литературы XIX века, традиции Некрасова в частности: «Одною из причин широкой и необыкновенно ранней усвоимости Некрасова было то, что он называет вещи необыкновенно широкими именами, говорит схемами, категориями, именно так, как говорит толпа, улица, говорит просто-напросто и говорят дети» (В Розанов, «Некрасов в годы нашего ученичества». — «Русское слово», 1908, 10 января, стр. 2).

сколько нас занимают именно гражданские мотивы и поэму мы рассматриваем как произведение граждански мотивированное, для нас проблема идеала особенно важна.

Идеал привносится в художественный текст и звне — из опыта, предшествовавшего поэтической речи, или из опыта предшествовавшей поэтической речи. Идеал — генеральная мотивировка текста. В известном смысле можно сказать, что идеал формирует художественный язык, хотя и на себе испытывает диалектическое влияние текста. Сама поэтика любого художественного произведения — и романтической поэмы тоже — тесно связана с отношением к идеалу.

Герой романтической поэмы, бунтарь, переживающий глубокое отчуждение по отношению к той исторической и социальной среде, в которую помещает его автор, получает возможность лишь мечтать о недостижимом идеале, лишь пытаться постигнуть его духовным зрением. Для него это даже не кантовский вопрос о соотношении сущего и должного — сущее просто «сделано из иной субстанции», чем идеал. И вот поэтому для обозначения отношения к идеалу в романтической поэзии широко использовалось понятие «даль», «далекое».

Далекое понималось в трех возможных смыслах: далекое — как то, чего нет рядом в пространстве, но что есть где-то в неопределенной географической дали; далекое — как миновавшее, прошлое, бывшее прежде, но ныне невозвратно утерянное (или — революционный вариант — неопределенное будущее); и, наконец, далекое — горнее, в материальном мире принципиально недостижимое.

Почему в романтической поэме не столь важны категории места и времени, могут отсутствовать бытовые и социальные подробности, характеры могут быть очерчены весьма общо или даже вовсе быть скупо символичны, почти маски (не герой, а знак героя)? Да потому что отчуждение героя, невозможность обретения идеала заставляют художника более подробно говорить о переживаниях героя в его конфликте с миром, чем описывать детали и подробности «реальности», которая для героя просто не существует при его устремленности вдаль, или, вернее, существует лишь как объект борьбы, как то, что отрицается. Строители идеальных семи городов, городов мечты, не только не видят деталей московского быта времен баснословного «Мичурина шестнадцатых веков», но, похоже, не обращают внимания и на детали собственной казни. Кажется, эта «реальность» сотворена из

субстанции принципиально иной, чем идеал, и единственно возможное отношение к ней — бунт, хоть с кельмой и резцом, а хоть и с топором в руках: «А мужик стоял да подсвистывал, все посвистывал, да поглядывал, да топор рукой все поглаживал...»

Теперь мы подходим к самой важной части наших рассуждений: «даль» как художественная категория, как структурный элемент текста, делая этический идеал достижимым в сюжете романтической поэмы, в то же время помогает достигнуть эстетически идеальной структуры художественного текста.

Парадокс в том, что, отказывая своему герою в «счастье» обретения идеала, относился идеал вдаль, автор-романтик тем самым счастливо обретает эстетический идеал для себя, достигает идеальной художественной гармонии. Ведь вовсе без обозначения идеала сам бунт был бы и бессмысленным и невозможным — ради чего? В то же время достижение идеала прекращает движение — какой уж тут «дух переворота и вечно — бунт»!.. Вот тут-то и важно не упускать идеал из виду... но держать его вдаль и постоянно отодвигать его вдаль.

Дихотомный, чреватый конфликтом, взрывом мир романтической поэмы именно этой отдаленностью идеала эстетически собирается воедино, скрепляется; сюжет поэмы открывается в даль, в вечность; противоположности примиряются в универсуме; вечность, универсум входит в художественную картину мира...

Вот этой-то «фатальной», но столь необходимой отдаленности идеала в поэме «Мастера» и нет. Напротив, видимая легкость его обретения заявлена впрямую: «И завтра ночью тряскою в 0.45 я еду Братскую осуществлять!» Сюжет поэмы закрывается. Финал почти счастливый — счастье вот оно, рукой подать, а ни в какой не дали.

Но откуда взялся счастливый конец, откуда взялось это светлое будущее, откуда взялся комсомольской внешности персонаж «с хрустящим дипломом» и в «фуфайке колючей», самозванно называющий себя Вознесенским-рассказчиком и указующий на родство с мастерами, — откуда все это взялось, если никакого признака всего этого не было ни в частушечно-скоморошьем мире рабов и тиранов, ни в трагическом мире художника-бунтаря?..

Нет, все-таки был признак, была надежда, знак надежды, мимо которого мы было прошли, не придав ему значения: мужик с топором — что же это как не знак социальной революции, знак, понятный не то

что интеллигенту с традицией, но и любому советскому школьнику. Но разве мужик с топором («Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный». — А. Пушкин), да хоть и сама социальная революция — разве они останавливают, завершают движение жизни? Разве они отнимают у художника стремление к вечному бунту, а у тирана — стремление к насилиям и убийству?

Нет, здесь не «мужик с топором», здесь нужна была напористая воля нашего героя-интеллигента — воля и власть! — на то, чтобы погасить бунт поэта, художника; эстетическим законам он противопоставляет нормы грубо идеологизированных текстов: бунт был в прошлом, теперь отбунтовался...

Все-таки что-то мешает, заявив во вступлении «вечный бунт» как определяющий признак художника, снять это заявление в финале картиной полного обретения идеала. Города еще только будут! «Над ширью вселенской в лесах золотых я, Вознесенский, воздвигну их!» Но «даль» (со всем ее поэтическим богатством) как структурный фактор исчезает из поэмы. Ее заменяет ближайшее будущее: уже нынешнее поколение советских людей будет жить при воплощенном идеале. История еще не установилась (или еще не остановилась), но вот-вот... Художник еще, может быть, не перестал бунтовать, но того гляди... Тираны еще пошаливают, но не это уже предмет поэмы. А что же теперь ее предмет?

Понятно, что эта «музыка для духовых» создает глубокий эстетический диссонанс. Диссонанс, который, думаю, чуткий художник и сам не может не ощущать — то ли осознанно, то ли в виде смутного чувства творческой несвободы.

Нет, на этот раз появившийся в финале поэмы герой-интеллигент «Вознесенский с хрустящим дипломом» не сумел все-таки убить поэму поэта Андрея Вознесенского но все же несколько покалечил ее. Не убийство, а покушение...

Но сам механизм злого умысла, кажется, начинает нам открываться.

5

Продолжим разговор о жанре.

Пытаясь проникнуть в смысл «Плача по двум нерожденным поэмам», мы сосредоточились на детективной стороне дела: ищем убийцу! А между тем мы молча прошли мимо слова «плач» в заголовке стихотворения: плачет, мол, человек — оно и понятно, не до смеха ему, когда «убито ис-

кусство». Теперь же, когда мы знаем, сколь большое значение для понимания произведения, для понимания характера нашего героя-интеллигента имеет точное представление о жанре, пришло время приглядеться к заголовку: ведь плач, причитание — это литературный фольклорный жанр со своими мировоззренческими законами.

Социальная функция плача в том, чтобы восстановить утраченные было связи, объективировать факт смерти, сделать смерть человека явлением осознанным, поставить ее в ряд с другими явлениями — и таким образом сохранить всю систему наших представлений о жизни в целом, как бы заделав появившийся со смертью прогал тем самым материалом, из которого и сотворена система, — словом.

Именно охранительная функция плача и определяет ту его особенность, что здесь всегда много подробностей быта (вплоть до перечисления личных вещей умершего, которые раздаются родственникам и знакомым, — мотив «вещного инобытия») и очень часто — подробный рассказ об обстоятельствах трагического события. Вот почему В. Я. Пропп считал: «В плачах имеется иное отношение к действительности, чем в эпических жанрах. По сказкам восстановить жизнь русской деревни нельзя. По плачам восстановить эту жизнь можно в таких деталях, какие по другим источникам нам неизвестны». Более того, вопленица, бывало, далеко уходила от настоящего и создавала для него широкий социальный и нравственный фон — скажем, подробно рассказывала о том, «как, отколь в мире горе объявилось» (из «Плача о писаре» И. А. Федосовой).

Однако что же «Плач по двум нерожденным поэмам»? Если бы в этом стихотворении мы могли найти все черты и особенности жанра плача, нам бы не пришлось проводить никаких дополнительных расследований... Но, увы, будучи, можно сказать, воплем нашего интеллигентного героя, стихотворение не только не рассказывает нам, как и откуда объявилось горе — горе как принципиальное родовое понятие, — но и о конкретном-то событии («Убил я поэму») трактует скорее эмоционально, чем со смысловой внятностью. Это нас и заставляет теперь, используя косвенные пути, как раз и доискиваться, «как, отколь в мире горе объявилось» — в мире русского интеллигента, поэтически воссозданном Вознесенским, горе настолько сильное, что заставляет нашего героя усомниться в правильности всего жизненного пути: «...мечта и надежда, ты вышла на паперть?»

Но раз этот жанр — жанр плача — позволяет восстановить жизнь в таких подробностях, какие по другим источникам неизвестны, не поискать ли нам другой плач у Вознесенского? И легко найдем!

Есть у поэта произведение, которое вполне подпадает под жанровое определение причитания. Я говорю о поэме «Лед-69». Поэма — плач о двадцатилетней студентке Светлане Поповой, погибшей нелепо, замерзшей во время туристического похода.

Мы не станем анализировать все то, что есть в поэме общего с традиционным плачем. (А по внешним признакам общего много — от отчаянного «отпустите доченьку в кольском льду!» до мотива «вещного инобытия»: «...мама Светланы из Джоинной шерсти мне шапку связала, связала из горечи и из кручины, такую ж, как дочери перед кончиной».) Не вдаваясь в частности, заметим главное для нас: поэма — и это близко к традиции плача — строится как некая замкнутая «система жизни», в которую встраивается «факт небытия». Системообразующее понятие здесь — «лед». Бытие как бы замораживается, принижается до уровня небытия. Горестному событию, казалось бы вполне личному, частному, придается широкий социальный и исторический фон. Лед, холод, погубивший девочку, — понятие того же ряда (если вообще не тождественное), что и «лед» всемирно-исторического греха и горя. По сути дела, поэт и задается традиционным вопросом: «...как, отколы в мире горе объявилось?» — но ответ, как увидим, весьма далек от жанровой традиции.

Разговор о смерти заслоняется в поэме мотивом социального зла, а социальное зло приводит за собой и другой важный для нас мотив — широкой социальной вины и ответственности. Звучит знакомая тема романтического интеллигентского бунта — в иронизированной лермонтовской инструментровке, — причем на этот раз так будет бунтовать естественная среда, природная жизнь:

Лед, лед растет неоплатимо,
вину всеобщую копя.
Однажды прорванной плотиной
лед выйдет из себя!
Вина людей перед природой,
возмездие вины иной,
Дахау дымные зевоты
и капля девочки одной
и социальные невзгоды
сомкнут над головою воды —
не Ной,
не божий суд, а самосуд,
все, что надышано, накоплено,
вселенским двинется потопом.

Ничьи молитвы не спасут.
Вы захлебнетесь, как котят,
в свидетельствовании нечистот,
вы, деятели, копящие
незащищенный небосвод!

Вы, жалкою толпой обслуживающие
патронов,
свободы, гения и славы палачи,
лед тронется
по-апокалиптически!
Увы, надменные подонки,
куда вы скроетесь, когда
потопом
сполочет ваши города?!

В народной традиции плача вопленица действительно могла размышлять, как, отколы в мире горе объявилось, и заканчивала философской притчей. Ее мир един. «Мы» едины перед грехом. Вина, если и есть, то на нас на всех. «Мы» едины и перед небытием...

Много множество е в мире согрешенья,
Как больше того е в мире огорченья
Хоть повыстанем по утрышку

ранешенько,
Не о добрых делах мы думу думаем,
Мы на сонмище бесовско собираем,
Мы во тяжких грехах да не прощаемся!
Знать, за наше за велико беззаконье
Допустил Господь ловцов да на киян-
море;

Изловили они рыбоньку незнамую,
Повыняли ключи да подземельные,
Повыпустили горюшко великое!

(И. А. Федосова)

Но в поэме «Лед-69» наш герой-интеллигент размышляет над вопросом куда более дерзким: как и по чьей вине в мире горе зародилось? Сам-то вопрос нигде прямо не поставлен, но поэтический текст отвечает именно на такой вопрос, причем ответ жестко детерминирован социальной дихотомией, делением мира на «мы» и «они» или же на «я» и «вы» («Вы, жалкою толпой обслуживающие патронов...»).

Вся «реальность» поэмы находится в замкнутой причинно-следственной связи: зло копил лед; лед — причина смерти; но увеличение количества зла (льда) приближает суд и возмездие; суд и возмездие осуществят жертвы зла: «И мессиянски и судейски по возмутившимся годам двадцатилетняя студентка пройдет спокойно по водам»².

² Поэтическая интуиция не подвела А. Вознесенского: «...возвращение умершего в антропоморфном облике иногда связывается с пересечением водного пространства» (В. А. Чистяков, «Представления о дороге в загробный мир в русских похоронных причитаниях XIX—XX вв.» — «Обряды и обрядовый фольклор» М «Наука», 1982, стр. 124).

Однако такой социально обусловленный, жестко детерминированный, замкнутый мир поэмы хоть и соответствует мировоззрению автора (вспомним двоичный: «мы» — «они», — мир поэмы «Мастера»), но с жанровыми принципами плача он в противоречии.

В плаче всегда есть изначальная незамкнутость мира, непостижимое таинство судьбы и смерти:

Вдруг по нашему великому несчастью,
По судьбы, видно, нашей бесталанной,
За тяжкое велико согрешенье,
По Божьему Господню повеленью
С-под холодной с-под сиверной

сторонушки

Вдруг облака скорешенько сходились...

(И. А. Федосова, «Плач о потопишх»)

Более того, вопленица всегда хорошо понимала, что плач — лишь часть погребального ритуала, куда среди прочего входило также и отпевание с его глубоким философским вопрошанием: «Плачу и рыдаю, когда думаю о смерти и красоту нашу, по образу Божию созданную, вижу во гробе лежащей, безобразной, бессловесной, не имеющей вида. О чудо, что же за таинство происходит с нами? Как предадимся тлению? Как примыслим себя к смерти?»

Не бытие — всегда вопрос и всегда остается вопросом, таинством. Вопленица прекрасно понимала, что само причитание есть лишь печальная игра. Бытовое мышление и поведение никогда не были его единственной «реальностью». Душевная расположенность вопленицы к овдовевшим и осиротевшим никогда не заслоняла духовного взгляда на смерть как на вечный вопрос, ответ на который найти в повседневном и бытовом принципиально невозможно. Таков был один из существенных жанровых принципов русского плача. Плач был посредником от душевного к духовному, от обыденного, временного к универсальному, вечному.

Перед автором поэмы «Лед-69» стояла задача непростая: с одной стороны, привычное гражданское мировоззрение его героя-интеллигента — а поэма решается именно как гражданская — требовало жесткой социальной дихотомии, требовало жестких причинно-следственных связей, прослеженных вплоть до «исторического будущего» и замкнутых в этом «историческом будущем» (вспомним поэтику «Мастеров!»), но, с другой стороны, автор, видимо, ощущал, что законы гармонии законы жанра в частности, требуют иного. Не поэтому ли в финале поэмы в текст вводится отрывок из сочинения Светланы Поповой: «Человек не

имеет права освобождать себя от ответственности за что-то. И тут на помощь приходит Искусство... Да, Искусство с его поисками Красоты, потому что Красота — это всегда добро, всегда справедливость. Красота не только произведение искусства, природы, но и красота жизни, поступков. Меня и биология интересует больше с гуманитарно-философской точки зрения».

Вслед за этим вовлеченным в поэтический текст отрывком понятие Красоты могло бы разомкнуть мир поэмы, дать выход читательскому воображению в некую универсальную систему представлений, в которой есть место таким важнейшим мировоззренческим понятиям, как вечное, бесконечное, абсолютное, без чего уход из жизни не станет для человеческого разума осознанным таинством, но всегда будет лишь уродливым нарушением картины человеческого всемогущества, тем более мучительным, что оно неизбежно.

Но нет, обратившись к понятию Красоты, поэт придает ему не универсальный, а скорее социально-прикладной смысл. Ограничившись прозаической вставкой, которую мы цитировали, автор как бы подтверждает ее почти молитвенными строками: «На асфальт раставшего пригорода сбросивши пальто и буквари, девочка в хрустальном шаре прыгалок тихо отделилась от земли. Я прошу шершавый шар планеты, чтобы не разрушил, не пронзил детство обособленное это, новой жизни радужный пузырь!» Но, пожалуй, эти трогательные строки не столько подтверждают мысль Светланы Поповой, сколько умаляют, уводят в сторону. Образ «шершавый шар планеты» возвращает нас все в ту же замкнуто-социальную сферу интеллигентского мышления, из которой, казалось бы, почти уже — вот вот! — вытолкнула нашего героя потребность в законченной поэтической гармонии.

Мысль, над которой автор заставил трудиться сознание читателя, остается недодуманной. Уровень работы души снижается. Некая мировоззренческая заданность, ответственная социальная мотивировка мешает исследовать и проявить все возможное многообразие смысловых связей, но требует прямого, грубого столкновения оппозиционных понятий.

И тут, видимо, пора сформулировать вопрос, который давно уже содержится в самих наших рассуждениях: не вступает ли в противоречие понятие о прекрасном в сознании поэта с чувством прекрасного в его душе? Не вступают ли в противоречие поэт, художник и его лирический герой-интеллигент, наделен-

ный вполне определенным социальным мировоззрением? Не это ли противоречие ставляет и художника и его лирического героя трагически ощущать феномен несостоявшейся поэзии нерожденных поэтов, убитого искусства?

6

Теперь мы должны будем перешагнуть через полтора десятилетия и обратимся к одной из недавних крупных публикаций Вознесенского — к поэме «Ров».

В основе сюжета поэмы уголовное преступление. Дело № 1586: некие люди «систематически похищали ювелирные изделия из захоронения на 10-м километре... Кто был в деле? Врач московского института АН, водитель Межколхозстроя, рабочие, два члена партии, местная шпика, прикативший на собственной «Волге», привезенной из заграничной командировки. Возраст 28—50 лет. Отвечали суду, поблескивая золотыми коронками. Двое имели полный рот «красного золота»...

На десятом километре под Симферополем во рву захоронено 12 тысяч евреев, расстрелянных в декабре 1941 года. Показывает очевидец: «Привозили их в крытых машинах. Раздевали до исподнего. От шоссе шел противотанковый ров. Так вот, надо рвом их и били из пулемета. Кричали они все страшно — над степью стон стоял. Был декабрь. Все снимали галоши. Несколько тыщ галош лежало... Многих закапывали полуживыми. Земля дышала»

И вот теперь над успокоившейся степью трудятся мародеры.

О чем же поэма? Не о случае мародерства только — то была бы тема газетной корреспонденции; на этот раз и не о состоянии общественной морали исключительно — к этому поэт сводил вопрос в тех поэмах, которые мы уже разбирали; нет, речь должна пойти о духовном видении и: «Духовный процесс» — таков подзаголовок.

Сосредоточимся на некоторых особенностях композиции поэмы и, в частности, на мотиве творческой неудовлетворенности, который, понятно, интересует нас специально: ради него мы и затеяли наше исследование. Мотив этот звучит в поэме как заклинание: «Что хочу? Новый взгляд, так, что веки болят. Что хочу? Ренессанс. Стань, Одесса, Рязань, духовной Госканой для нас!»

Потребность в возрождении, в новом взгляде возникает, очевидно, тогда, когда «старый взгляд» осознается как слепота, а нравственные ценности, на которых держится общественное и эстетическое миро-

понимание, обесцениваются или вовсе оказываются изначально ложными.

Нам прежде уже приходилось видеть: в одних произведениях творческая несвобода поэта проявлялась эстетически, в других же он заявлял об этой своей несвободе и о творческой неудовлетворенности. Здесь, в поэме «Ров», — уже хорошо знакомые нам принципы гражданской поэзии Вознесенского, но одновременно рефлексия по поводу этих принципов. Здесь радикальная, непримиримая социальная позиция, но одновременно — сомнение в эффективности и своей позиции и своего слова. Здесь уже знакомый нам герой-интеллигент, социальный боец, но одновременно — лирический герой иного плана: сомневающийся, тоскующий.

Главный конфликт поэмы основан на принципах, нам хорошо знакомых, — на принципах жесткой социальной дихотомии, выражением которой должна стать антитеза «алчь — Речь»:

Вызываю тебя, изначальная алчь!
Хоть эпоха, увы, не Ламанч.
Зверю нужен лишь харч.
Человек родил алчь.

— Это алчь, это алчь,
первородная алчь,
я нужна организму, как желчь,
на костях возвела я арнады палацц,
основала Канберру и Керчь.
Как надвинусь я, алчь,
все окутает мрачь,
будет в литературе помалчь...

Что богаче, чем алчь?
Слаб компьютер и меч.
Да и чем меня можешь ты сжечь?
— Только Речь, что богаче тебя,

только Речь,
только нищая вещая Речь.

Но в этом двойственном мире уже нет знакомого нам лирического героя в его прежнем обличье — того самого, который, убивая иронией своих противников, «завтра» непременно одержит решительную победу, отправившись очередную «Братскую осуществлять». Здесь появляется тень Дон Кихота Ламанчского. Лирический герой скорее обречен на борьбу, чем уверен в победе: «Лязг зубов и лопат. У 10-й версты нас закапывают мертвецы, Старорыль с новорылом, копай за двоих! Перевыполним план по закопке живых!.. Мертвецы и творцы, мертвецы и творцы — вечный бой: вечный риск, вечный дых! Искры встречных лопат от Тверцы до Янцзы, схватка мертвых лопат и живых».

Но Дон Кихот не был бы верен себе, если бы и в схватке с ветряными мельницами не искал победы. Композиционные прин-

ФЕНОМЕН ВОЗНЕСЕНСКОГО

ципы Вознесенского заставляют его и на этот раз закончить поэму картиной социальной гармонии в светлом будущем: «В веке чистом, как алт, спросит мальчик в читалке, смутив дисплей: „А что значит слово „алт“?“»

Я бы сказал, что этим финалом завершается не вся поэма — хотя текст именно так заканчивается,— но завершается этим финалом лишь мотив Дон Кихота. Вместе с тем еще в самом начале поэмы рядом с мотивом Дон Кихота появляется мотив Гамлета. Дон Кихот и Гамлет в поэме постоянно шествуют рядом: «Симферопольский не прекратился процесс. Связь распалась времен? Психиатра — в зал! Как предотвратить бездуховный процесс, что условно я «алчью» назвал?!»

Эти строки — во «Вступлении» к поэме, и поэтому они особенно важны как установочные, как знак мотивировки для всей поэмы. Разберемся.

«Связь распалась времен?» — это вопрос из репертуара Гамлета: сомнение, потребность анализа, глубокое понимание нравственных основ. Но тут же возглас: «Психиатра — в зал!» Возглас принадлежит скорее всего Дон Кихоту: потому требуется психиатр, что зло — патология, человечеству потребна терапия (уж не шоком ли?!), и Дон Кихот, конечно же, готов взять на себя функцию лекаря... Однако упоминание бездуховного процесса дает новый поворот мысли: психиатр лечит душевно больных, больным духовно нужен духовный пастырь, а уж им, понятно, не может быть ни Дон Кихот, ни Гамлет...

Этот разноречивый смысл выражает некоторую растерянность нашего героя перед глубиной проблемы. Но в данном случае растерянность — благо. Растерянность, неуверенность в себе заставляют автора больше внимания уделять в сюжете мотиву Гамлета, гамлетовскому движению духа, работе совести. И пока Дон Кихот стремительно мчится к светлому финалу, где он расправится с «алчью» чуть ли не словесным оружием Маяковского («отсюда до Камчатки»), — Гамлет (шекспировский ли, пастернаковский ли — или оба вместе?) куда как далек от всякого прекраснотушия!

Тут нам, пожалуй, уместно вспомнить, что вообще-то мы говорим не о Дон Кихоте Сервантеса и не о Гамлете Шекспира — Пастернака, не о литературных героях, но о традиционных персонажах русской общественной мысли. Толкование этих литературных имен в истории русской интеллигенции имеет давнюю традицию:

«...что выражает собою Дон-Кихот? Ве-

ру прежде всего; веру в нечто вечное, неизбежное, в истину, одним словом, в истину, находящуюся в не отдельного человека, но легко ему дающуюся, требующую служения и жертв, но доступную постоянству служения и силе жертвы. Дон-Кихот проникнут весь преданностью к идеалу... Нам скажут, что идеал этот очерпнут расстроенным его воображением из фантастического мира рыцарских романов; согласны — и в этом-то состоит комическая сторона Дон-Кихота; но самый идеал остается во всей своей нетронутой чистоте...

Что же представляет собою Гамлет?

Анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверье... Сомневаясь во всем, Гамлет, разумеется, не падит и самого себя; ум его слишком развит, чтобы удовлетвориться тем, что он в себе находит: он сознает свою слабость, но всякое самосознание есть сила; отсюда проистекает его ирония, противоположность энтузиазму Дон-Кихота. Гамлет с наслаждением, преувеличенно бранит себя, постоянно наблюдая за собою, вечно глядя внутрь себя, он знает до тонкости все свои недостатки. презирает их, презирает самого себя — и в то же время, можно сказать, живет, питается этим презрением... Но не будем слишком строги к Гамлету: он страдает — и его страдания и больнее и извительнее страданий Дон-Кихота. Того бьют грубые пастухи, освобожденные им преступники; Гамлет сам наносит себе раны, сам себя терзает; в его руках тоже меч: обоюдоострый меч анализа»³.

Гамлет и Дон Кихот (или по крайней мере знак Дон Кихота — «Сервантес») уже встречались в одном и том же тексте, и было это как раз в «Плаче по двум нерожденным поэмам», помните: «...вы встаньте,— Сервантес, Борис Леонидович, Данте...» и «...громовый Ливанов, ну, где ваш несыгранный Гамлет?» Но то были нерожденные герои, то был плач по их отсутствию — и в дальнейшем они не сходились вместе. Геройствовал в гражданских стихах двойник Дон Кихота — отсутствовал Гамлет. Появлялся рефлектирующий Гамлет, но рефлексия его казалась не вполне искренней, поскольку при первом же появлении гражданина Дон Кихота Гамлет куда-то напрочь исчезал...

И вот в поэме «Ров» они вместе. Дон Кихот, одержимый идеей — идеей, легко

³ И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения. М. «Наука». 1980, т. 5, стр. 332—334.

ему дающейся и потому еще с детства хорошо усвоенной,—упрощает свою задачу и вместо поисков истинного зла и идеалов истинного добра черпает их из «фангастического мира» собственного литературного опыта и интеллигентской традиции... И Гамлет — он еще не умеет хорошо использовать «обоюдоострый меч анализа», но уже болен сомнением и безверием, и сама задача кажется ему мучительно сложной.

Дон Кихот видит своим врагом «алчь» и изобретает скорее эффектную, чем продуктивную оппозицию «алчь — Речь»... Гамлет понимает, что не только его анализирующая мысль, но все наше земное бытие упирается в нечто инфернально темное, что он определяет как бы предварительным, как бы неясным пока словом «ров», и понимает, понимает все яснее, что для постижения этого нечто нужен новый взгляд.

Для Дон Кихота душевное и духовное — синонимы. Говоря о бездуховности, он имеет в виду как раз отсутствие элементарной душевной отзывчивости, и, напротив, верх духовности для него «в том, кто в зараженный шел объект, реактор потушил, сжег кожу и одежду. Себя не спас. Спас Киев и Одессу. Он просто поступил, как человек».

Гамлету этого недостаточно. Как бы мы ни приветствовали в жизни такое самоотверженное поведение, как бы ни стремились сами вести себя именно так, для духовного постижения истины в искусстве такой герой вовсе не идеал. А Гамлет ищет именно глубокого духовного прозрения и понимает, что без такого прозрения никакие душевные отношения между людьми не будут прочны и «ров» будет тянуться вечно, и вечно будет наполняться трупами, и вечно будет оскверняться теми, кто и сам внутренне готов убивать и топтать дышащую землю.

Мотив Дон Кихота разрешается, как мы уже видели, оптимистическим финалом... Мотив Гамлета — воплем боли: «Во мне стоны и крик, лютый холод миров. Ты куда ведешь, ров?» Какой из этих взглядов более продуктивен для искусства? Думаю, творческое мировоззрение Гамлета. Хотя бы потому, что не дает поспешных, ложнозначительных ответов.

Что же касается Дон Кихота с его умением перепутать золотой плем с бритвенным тазиком, а романтический путь в вечность с романтикой комсомольской путевки, то не такая ли путаница и была причиной тех самых эстетических утрат, ко-

торые заставляли поэта заявить о гибели поэзии и самого искусства?

Словом, я готов был уже сказать, что убийцей оказывается добрый Дон Кихот, если бы сам не чувствовал собственной принадлежности к той же части интеллигенции, что и рыцарь печального образа, — «мы столько убили в себе, не родивши»... Сюжет нашего детектива, как ручей, уходит в песок времени... Будем надеяться, что Дон Кихоту будет случай покаяться. Что Гамлет обретет новый взгляд... Да и нужен ли какой-то особенный новый? Не довольно ли того, каким традиционно наделена была русская поэзия:

Будущего недостаточно.

Старого, нового мало.

Надо, чтоб елкою святочной

Вечность средь комнаты стала.

(Б. Пастернак)

Вот и все, что надо. Да мы увидим, что Вознесенский и сам хорошо это знает.

7

Но почему же именно «Плач по двум нерожденным поэмам»? Почему же не по двум балладам плач, не по элегиям? Что заставило поэта точно обозначить жанр несостоявшегося разговора с читателем? Да то, что художественные противоречия, которые ощущаются самим поэтом как несостоявшееся, «убитое» искусство, — эти противоречия имеют жанровый характер. Это противоречия, присущие гражданским поэмам, ораторской, одической лирике Вознесенского. Любовные стихи поэта, его элегии свободны от противоречий такого рода. В чем тут секрет?

Разговор о жанре — всегда разговор о мировоззрении⁴. Вспомним более чем полуторавековой давности спор о том, какой жанр в поэзии важнее — ода или элегия. Вспомним полувековой давности — да уж и в более позднее время — подозрительное отношение, а то и запрет на любовную лирику: дескать, упаднический жанр в эпоху бодрого строительства... И вот что интересно и важно для нас: требования запрета на те или иные жанры, иерархия жанров являются тогда и только тогда, когда хотят насильно внедрить, вбить в искусство то или иное мировоззрение, сделать то или иное мировоззрение всеобщим и обязательным, словно чувствуют, что не всякий жанр всякое мировоззрение примет

⁴ Сошлюсь на книгу В. Турбина «Пушкин. Гоголь, Лермонтов. Об изучении литературных жанров». М. «Просвещение», 1978.

Для непредубежденного художественного мышления иерархии жанров не существует: «Все жанры хороши, кроме скучного». Мы уже вспоминали, что Пушкину одинаково близка и гражданская декларация и эстетическая позиция поэта из стихотворения «Поэт и толпа». И все-таки он хорошо знал, что область поэтического не безгранична. Мирозрение может быть и оригинально и притягательно политически, оно может верно отражать какие-то стороны бытия и может быть оформлено в стройную теорию... но не быть материалом для поэзии: «Ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя. Она была направлена против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов, а любимым орудием ее была ирония холодная и осторожная и насмешка бешеная и площадная».

Однако вернемся к Вознесенскому... Почему же все-таки — поэма? Ну ода с ее гражданской мотивировкой поэтического слова — еще понятно. Но поэма?

Потому и «Плач по двум нерожденным поэмам», что поэма как жанр, видимо, и породила у автора наиболее глубокое чувство творческой неудовлетворенности. Жанр обманул. Поэма, казалось бы, предоставила поначалу неограниченные возможности для определенной идейной мотивировки, но, увы, когда текст завершен, оказывается, что «лучшую строку, нападающую — выкрали!» Кто выкрал? Да никто, в частности, — оказалось, что мотивировка просто не соответствует жанру: мотивировка требует одной структуры, жанр — другой; мотивировка, скажем, требует замкнутого художественного времени и счастливого финала, жанр — финала открытого, может быть, даже трагически открытого...

Но не можем ли мы утверждать, что если существуют мотивировки, которым художественный язык того или иного жанра активно сопротивляется, то существуют и такие мотивы, которые органичны художественным возможностям жанра? Думаем, можем.

Обратимся к элегии «Автолитография».

Этому стихотворению и сам автор придает, видимо, особое значение: в трехтомнике Вознесенского оно не только завершает стихотворный корпус одного из томов — положение, уже нагружающее текст добавочным смыслом, — но и в оглавлении это одно стихотворение выделено как самостоятельный раздел.

Элегия построена на осмыслении оппо-

зиции «вечное — временное». Мотив вечного, вневременного, космического возникает в тексте уже с первых строк:

На обратной стороне Земли,
как предполагают, в год Змеи,
в частной типографийке в Лонг-Айленде
у хозяйки домика и рифа
я печатал автолитографии,
за станком, с семи и до семи.
После нанесенья изошрифта
два немногословные Сизифа —
Вечности джинеовые связисты —
уносили трехпудовый камень.
Амен.

Значительность событий очевидна: состояния здесь глобальны, время измеряется астрологическим календарем, Сизифы приводят на память не только наказание за гордыню, но и победу над смертью. Сам характер «событий» — прекрасная основа для эгегической медитации: момент печатания литографий — момент материализации времени. Время останавливается. Вечность начинает жить в мгновенном отпечатке. И напротив, наша жизнь отпечатывается н а в е ч н о, запечатлевается.

Легкий флер иронии не мешает появляющимся в тексте церковнославянским словам «зерцало», «аз» и «твердь», «аминь» сохранить присущую им возвышенность, поэтичность и обращенность во вневременное... Ценности этой жизни проявляют свою относительность. В них видно парадоксальное стремление перетекать в противоположные, о п п о з и ц и о н н ы е словесные формы:

«Тьма-тьма-тьма» — врезал я по овалу,
«тьматьматьма» — пока не проступало:
«мать-мать-мать». Жизнь обретала речь.

Жизнь открывается как таинство, сопряженное с вечностью. В наших собственных словах нам раскрываются значения неожиданные — те, что мы туда не закладывали. Противоположные понятия стремятся к единству. В предощущении вечности привычные социальные дихотомии «я — не я», «мы — они» теряют свою силу. И «мы» и «они» — сообщники созиданья. Даже если за этими понятиями в наше время хорошо всем знакомая и наиболее резкая социально-политическая оппозиция «мы — Америка»: «Мне открылось, как страна живет... Не понять Америку с визитом праздным рифмоплетам назиданья, лишь поймет сообщник созиданья, с кем преломят бутерброд с вязигой вечности усталые Сизифы, когда в руки вьелся общий камень Амен»

В двух разных по времени публикациях этого стихотворения (июль 1979-го и март

1984-го) есть разночтения, показывающие, как поэт работал над элегией уже после ее обнародования. Тенденция этой само-редактуры очевидна: убирается обычное для Вознесенского, но здесь, видимо, ощущаемое как излишнее буйство иронии. Так, среди прочего исчезли бывшие в финальной строфе две строки: «Что запомнят сизы Сизифы, покидая возраст допризывный?» Здесь ирония конкретизирует, снижает, возвращает в суету обиденного столь важный для общего строя элегии образ «вечности усталых Сизифов», и поэтому строки изымаются. Остается только то, что работает на главный мотив стихотворения — мотив плодотворного ощущения таинства жизни в ее соотносительности с Вечностью. Именно это ощущение и позволяет герою обрести новый взгляд на мир: «Мне открылось...» Это ощущение свободы.

Парадокс в том, что ощущение свободы приходит одновременно с осознанием таинства Вечности, Универсума. Здесь-то и возникает связь времен, примирение противоположностей, всеобщая сила Любви. Причем само понятие таинство не означает, что у нас нет инструмента для его постижения. Просто оно не постижимо вполне в виде законченных теорий и формул. Постигает его лишь искусство, поэзия — и порой сам ответ имеет форму вопроса, но это не мешает нашему герою и нам вместе с ним ощущать духовное освобождение:

Что же отпечатается в памяти
матери моей на Юго-Западе?
Что же отпечатает прибой?
Ритм веков и порванный «Плейбой»?
Что заговорит в Раушенберге?
«Вещь для хора и ракушек пеня?»
Что же в океане отпечаталось?
Я не знаю. Это знает атлас.
Что то сохраняется на дне —
связь времен, первоначаль какая-то...
Все, что помню — как вы угадаете,
— только типографийку в Лонг-Айленде,
риф, и исчезающий за ним
ангел повторяет профиль мамин.
И с души отваливает камень.
Аминь.

Увидев, что герой стихотворения обретает новый взгляд на мир, мы, конечно же,

должны будем спросить себя: не тот ли это «новый взгляд», который лирический герой поэмы «Ров» будет искать позже, через девять лет после написания элегии? Не тот ли это новый взгляд, который преврет затянувшуюся на годы и десятилетия «минутой молчания» русского интеллигента?

Не знаю.

Но мы вправе предположить, что именно такой степени духовное освобождение, некогда промелькнувшее в душе нашего героя и запечатленное в элегии, теперь мучит его потребностью в ренессансе. Закончим исследование мотива творческой (а значит, и духовной) несвободы в поэзии Андрея Вознесенского и, следовательно, в нашей с вами жизни такими строками:

Я умираю от простой хворобы
на полдороге,
на полдороге к истине и чуду,
на полдороге, победив почти,
с престолами шутил,
а умер от простуды,
прости,
мы рано родились,
желая невозможного,
но лучшие из нас
срывались с полпути,
мы — дети полдорог,
нам имя — полдорожье,
прости.

Родилось рано наше поколение —
чужда чужбина нам и скучен дом.
Расформированное поколение,
мы в одиночку к истине бредем.
Российская империя — тюрьма,
но за границей — та же кутерьма.
Увы, свободы нет ни здесь, ни там
Куда же плыть? Не знаю, капитан

Прости, никто из нас
дороги не осилил,
да и была ль она,
дорога, впереди?
Прости меня, свобода и Россия,
не ододел я
целого пути.

Прости меня, земля, что я тебя покину.
Не высказать всего...
Жар меня мучит, жар...
Не мы повинны,
в том что половинны,
но жаль...

(«Предсмертная песнь Резанова»)

Точно ли всегда «не мы повинны»?

ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

М. Злобина. Версия Кёстлера: книга и жизнь.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Вс. Вильчек. Зигзаги и ловушки теории.

Литература и искусство

ВЕРСИЯ КЁСТЛЕРА: КНИГА И ЖИЗНЬ

Артур Кёстлер. Слепящая тьма. «Нева», 1988, № 7—8.

Мощь пролетарского государства сказывается не только в том, что оно разгромило контрреволюционные банды, но и в том, что оно внутренне разлагало своих врагов, что оно дезорганизовало волю своих врагов. Этого нет нигде и этого нельзя иметь ни в одной капиталистической стране.

Из последнего слова Н. Бухарина.

Партия обещает вам только одно — после окончательной победы, когда это не сможет принести вреда, секретные документы будут опубликованы. Тогда весь мир узнает, что легло в основу того Процесса — или того балагана, как вы его называете, — в котором вы участвовали по велению Истории... И тогда вы — а также некоторые из ваших друзей — получите от широких масс чувство жалости и симпатии, в которых вам отказано на сегодня.

А. Кёстлер, «Слепящая тьма».

Вот еще одно табу снято: знаменитый роман Артура Кёстлера, опубликованный на тридцати двух языках, а у нас ходивший в самиздатских списках, наконец-то вышел в СССР — в стране, где происходит описанная автором трагическая история. Все персонажи «Слепящей тьмы», впрочем, вымышлены, однако «исторические обстоятельства, определившие их поступки взяты из жизни. Судьба Н. З. Рубашова вобрала в себя судьбы нескольких человек, которые стали жертвами так называемых московских процессов. Кое-кого из них автор знал лично. Их памяти он и посвящает эту книгу».

Написанная полвека назад иностранцем (венгерским евреем), «Слепящая тьма» не

откроет нам никаких новых фактов. К тому же нынешний искушенный читатель обнаружит в романе ряд мелких неточностей, по которым безошибочно определит, что автор не был знаком с советскими тюрьмами. Однако исследование Кёстлера, лучшее многих документов, позволяет найти разгадку процессов. А сверх разгадки (почему они признавались?) роман предлагает ответ и на главный вопрос, над которым мы теперь бьемся, как вообще такое оказалось возможным? Версия Кёстлера поражает почти математической выстроенностью доказательств, но это отнюдь не умозрительные выкладки стороннего наблюдателя. Бывший коммунист, Кёстлер пережил драму «преданной революции» как личное горе и

раскрыл истоки этой драмы с той выстраданной пронизательностью, которая дает ся лишь обманутой любви.

Дж. Оруэлл не преувеличивал, когда утверждал, что «русская революция была центральным событием в жизни Кёстлера». С юности он жил под знаком Октября, предопределившим его политический выбор и судьбу. Он верил (как и миллионы других — социализм был «доминирующей религией» «красных тридцатых»), что в стране победившей революции героическими усилиями свободного народа строится самое разумное, справедливое и счастливое общество. В 1932-м двадцатисемилетний Кёстлер приезжает к нам и с радостью берется писать книгу о советских достижениях под условным названием «СССР глазами буржуазного журналиста». (Он был правда, коммунистом, но «партия решила», что для пользы дела это лучше скрыть.) Энтузиаст «включенный в пятилетний план». Кёстлер искренне старался замечать лишь хорошее, а все плохое относил за счет «пережитков прошлого». Но его смущали толпы оборванных, голодных, измученных людей (ему, конечно, объяснили, что это кулаки), пустые прилавки в магазинах и спецраспределители для иностранцев, поклонение Сталину, всеобщая подозрительность, идиотизм пропагандистских клише и т. д. Все это, не допущенное «внутренним цензором» в текст, наверно, как-то ощущалось в подтексте, тоне — книга была отвергнута заказчиком...

Кёстлер уехал, полный смятения, однако победа Гитлера сообщила новый импульс его пошатнувшейся было вере: в СССР он видел единственную силу, способную противостоять коричневой чуме. Борьба с фашизмом, надолго ставшая главным делом его жизни оттеснила на задний план все остальное. О процессе Зиновьева — Каменева Кёстлер прочел — с отвращением и отчаянием — уже на пути в Испанию. Потом была франкистская тюрьма, девяносто пять дней и ночей в ожидании казни, от которой Кёстлера спасли энергичные действия его жены Дороти и давнего товарища по партии Андре Симона, организовавших мощную кампанию протеста. Затем — гриумфальное возвращение героя выступления на митингах, книга об Испании, работа в антифашистских организациях, роман «Гладиаторы». Жизнь выстраивала парадоксальные сюжеты: в то время как Франко под давлением мировой общественности выпустил из тюрьмы «агента Коминтерна» Кёстлера, получившего убежище в буржуазной Франции, испанские коммунисты безжалостно расправлялись со своими товарищами по

оружию — анархистами, а в Москве исчезали немецкие антифашисты (в том числе брат Дороти), и не было такой силы, которая могла их спасти... В 1938 году Кёстлер вышел из компартии (из-за сталинского режима, массовых репрессий, засилия бюрократии и т. д., как он объяснял в своем письме в ЦК КПГ). Таковы предыстория и жизненная основа «Слепящей тьмы».

Из этого беглого перечня больших и малых событий выделим крупным планом тюремный эпизод, сыгравший решающую роль в духовной биографии писателя. Там, в камере смертника, Кёстлеру было дано пережить нечто вроде мистического откровения — непосредственное постижение высшей реальности, которое он назовет вслед за Фрейдом «океаническим чувством» (я которым наградит перед казнью, как последней милостью, своего героя, атеиста Рубашова). Духовный опыт, вынесенный из «диалога со смертью», не пройдет бесследно. Существование высшей, не доступной человеческому разуму реальности, которая одна лишь придает смысл нашей жизни, отныне принимается им за данность: «Это как текст, написанный невидимыми чернилами, и хотя мы не можем его прочесть, сознавая, что он есть, достаточно, чтобы изменить самую основу нашего существования и привести наши поступки в соответствие с этим текстом». Для неверующего Кёстлера это значило жить так, словно Бог есть.

Навсегда останется с ним и другое открытие, сделанное в камере смертника: он ощутил ценность каждой человеческой жизни. «Отныне слова «тюрьма» и «казнь», прежде вызывавшие в сознании лишь абстрактные клише типа «фашистский террор» или «революционная диалектика», рождали в памяти эхо» — ему чудились стоны и крики его товарищей по заключению («...кричит помогите... кричит помогите... ведут вырывается зовет на помощь передайте...») — лихорадочно выстукивает в «Слепящей тьме» стеной «телеграф», и Рубашов вместе с другими заключенными барабанит в дверь, горжественно-яростным «тамтамом» прощаясь с очередным приговоренным). То был мученический дар, призывание или болезнь — Кёстлер действительно слышал их: узники и жертвы всех режимов взывали к нему из тюрем и концлагерей, и он тоже кричал, будоражил общественное мнение, требовал правосудия, сострадания, милосердия. Много лет спустя в Англии, гражданином которой он стал, Кёстлер писал: «Каждый раз, когда в этой мирной стране на виселице корчится мужчина или женщи-

на, моя память начинает кровоточить, словно плохо зажившая рана. Мне не знать пока, пока не перестанут вешать». Его документально-публицистическая книга «Размышление о повешении» (1954) взволновала тысячи англичан, включившихся в организованную им «Национальную кампанию за отмену смертной казни». В 1956 году старый английский закон, согласно которому за всякое убийство независимо от обстоятельств отправляли на виселицу, был пересмотрен и смягчен (а в 1965 году отменен). Эта выигранная Кэстлером битва завершает первую половину его жизни, когда потребность участвовать в Истории подкреплялась верой в силу писательского слова. Однако после венгерских событий 1956 года Кэстлер постепенно отходит от политики и посвящает себя научно-философской публицистике, стремясь понять человека, вместо того чтобы пытаться переделать мир. Но что бы он ни делал, его, в сущности, всегда вело одно и то же чувство, один и тот же нравственный императив — и когда он боролся за идеалы Октября, и когда вышел из компартии, и когда сражался с фашизмом или разоблачал сталинизм. В «Спящей тьме», вобравшей главные кэстлеровские разочарования и прозрения, особенно отчетливо слышен «звон путеводной ноты» (если воспользоваться выражением В. Набокова).

Сцена ареста, с которой начинается роман, словно бы перекидывает мостик от гитлеровской тюрьмы к сталинской, от одного тоталитарного режима к другому. В то время как чекисты ломятся в московскую квартиру Рубашова, ему снится его последний арест в Германии, и спросонья он не может сообразить, кто — Усач или Усатик — на этот раз добрался до него. Так в мутной невинтице кошмара приоткрывается истина, которую Кэстлер еще не решался выговорить, — о «глубинном подобии двух диктатур». От полубредовой ночной сцены ареста потянется прерывистым пунктиром намеков и ассоциаций эта невысказанная мысль-вопрос, чтобы под занавес вспыхнуть еще раз в затухающем сознании героя, настичь вместе с пулей — как последний и окончательный ответ.

Кэстлер предпослал «Спящей тьме» два эпиграфа — из Макиавелли и Достоевского, сразу же обозначив полюсы конфликтного напряжения: политика против нравственности. Но если сентенция Макиавелли («Диктатор, не убивший Брута, и учредитель республики, не убивший сыновей Брута, обречены править временно») выпрямую связана с темой и сюжетом, то слова Мар-

меладова: «...ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели», — в контекст романа не вписываются. Ссылка на Достоевского — своего рода пароль, символ веры — потребовалась здесь еще и для того, чтобы заявить об авторском отношении к герою. Можно сказать, роман Кэстлера и был тем местом, где Рубашова выслушали и пожалели. Хотя судит его автор со всей строгостью, твердо и неуклонно ведя к осознанию вины.

Речь идет, конечно, не о том признании, которого добиваются и в конце концов добьются от него следователи. Для Кэстлера Рубашов не только жертва, но в какой-то мере — в этом трагическая ирония истории — и соучастник «могильщика революции», по приказу которого будет расстрелян. Как и другие представители старой гвардии, ликвидированные один за другим. Они сами вырастили Главного режиссера, и «ужас, который внушал им Первый, укреплялся прежде всего потому, что он, весьма вероятно, был прав» («...у каждого из нас, сидящих здесь, на скамье подсудимых, — говорил на процессе Бухарин, — была своеобразная двойственность сознания, неполноценность веры в свое контрреволюционное дело», и искренность его слов, если, конечно, отбросить ритуальный эпитет «контрреволюционное», не вызывает сомнений).

Кэстлер не берется гадать, когда, на каком конкретно перекрестке следовало повернуть направо, а не налево, чтобы выйти к обещанному царству Разума и Свободы (или к Храму, как модно говорить нынче), и насколько реальны были другие альтернативы. И не только потому, что в те годы почти все — и друзья и враги (за исключением разве троцкистов) — считали сталинский вариант единственно возможным, то есть «исторически неизбежным». Кэстлер убежден, что ни одна из предложенных дорог не могла привести к Храму из-за отказа от общечеловеческих нравственных ценностей. Свободная от этих «буржуазных предрассудков», уверенная в своей революционной миссии, партия прокладывала путь к цели, не имея иного критерия, кроме интересов Дела, возведенных в ранг исторической необходимости. Печально знаменитая в веках формула — «цель оправдывает средства», — которая то и дело упоминается в романе как общепризнанный партийный принцип, насколько мне известно, не провозглашалась у нас с высоких трибун. Но разве не учили нас, что наша нравственность полностью подчинена интересам классово-политической борьбы пролетариата? Разве не твер-

дили десятилетиями, ссылаясь на слова Ленина, сказанные в 1920 году, то есть в эпоху «военного коммунизма» и гражданской войны, что нравственность «служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, созидającego новое общество коммунистов.. для коммуниста нравственность вся в этой сплоченной солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против эксплуататоров. Мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем. Нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше... В основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма?»

Целые поколения выросли на этом катехизисе, убежденные в своей исторической правоте. А решать, в чем состоят интересы классовой борьбы, досталось Сталину, и уж он сумел воздвигнуть на этой основе общедоступную, как таблица умножения, систему аморализма. Что же удивляться кровавым всходам и вопрошать на развалинах Храма, как мы дошли до этого?.. И не надо строить иллюзий и окружать нимбом святости старую гвардию — все они, с гордостью называвшие себя солдатами революции, исповедовали то же кредо со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но воздадим должное лучшим из них за интеллигентскую раздвоенность сознания и так называемые гуманитарные соображения (в коих признался на суде Бухарин). Наверно, они потому и были обречены на поражение в борьбе со стальным Усачом, что не могли освободиться от «химеры, называемой совестью». Вот уровень рассмотрения проблемы, которую предлагает нам Кёстлер.

Совесть — Немой Собеседник, или личное Я, годами игнорируемое Рубашовым, — подает голос, едва лишь он оказывается в тюремной одиночке. «Теперь-то уж я расплачусь за все» — в этой словно бы невзначай сорвавшейся фразе, сперва как бы машинально повторяемой героем, заявлена главная тема Немого Собеседника. Разум, единственное мерило, которому доверяет Рубашов, сопротивляется этой явной бессмыслице. Но у Немого Собеседника — иные мерки. Он не признает никаких резонансов, освобождающих от личной ответственности, будь то историческая необходимость или благо человечества. И одного его присутствия достаточно, чтобы лишить смысла ту строго логическую систему рассуждений, с помощью которой можно «легко доказать, что человек, не согласный с линией партии,

«объективно» является агентом фашизма... даже если «субъективно» он погиб в фашистском концлагере».

В отличие от следователей Немой Собеседник не формулирует обвинений, он «насылает» на Рубашова «пытку памятью». Вот Рихард, немецкий рабочий-коммунист, за которым охотятся фашисты, глава небольшой партгруппы, продолжающей отчаянную борьбу после победы Гитлера; Рихард, посмеивший отвергнуть коминтерновские брошюры, в коих бодро говорилось о «тактическом отступлении», и в собственных листовках призывавший объединиться всех врагов тирании. Они встретились в тихой картинной галерее, и старый революционер внушительно объяснил молодому подпольщику, что Партия никогда не ошибается, что позиция Рихарда объективно на руку врагам, а посему решением ЦК он исключен из ее рядов и уже не может пользоваться партийным убежищем... (Тут возникает непредусмотренная переключка с романом В. Гроссмана: подобно Рубашову, комиссар Крымов отправляется, рискуя жизнью, на линию огня — в дом Грекова, чтобы искоренить «партизанщину», то есть свободу, и покарать воюющего по собственному разумению героя. Знаменательно также, при всем различии обстоятельств и характеров, глубинное сходство судеб: Рихард и Греков погибают в бою с фашизмом, Крымов и Рубашов — в советской тюрьме.) Другое навязчивое воспоминание — Малютка Леви, председатель партийной ячейки докеров бельгийского порта, куда Рубашова послали с особо деликатным заданием. Ему предстояло убедить докеров снять бойкот, начатый до советско-германского пакта по инициативе Москвы, и разгрузить советские танкеры, привезшие горючее молодой хищной диктатуре: дескать, помочь Стране Победившей Революции — святой долг всех рабочих. (Этот эпизод уже был написан, когда Кёстлер прочел бесстыдную речь Молотова, объявившего войну «за уничтожение гитлеризма» не только бессмысленной, «но и преступной», и европейские компартии, подчиняясь приказу Москвы, прекратили антифашистскую борьбу.) А поскольку докеры — вернемся к роману — не пошли на сделку, пришлось исключить из партии непокорных комитетчиков, а Малютку Леви объявить агентом-provокатором. Он повесился три дня спустя, зато советские суда были разгружены и агрессор получил нефть... Да, волна движения катилась к цели «извилистым путем», и «на всех поворотах оставались трупы».

Впрочем, по части трупов личный вклад

Рубашова (если не считать гражданской войны) не так уж велик. Кроме тех двоих, была еще Арлова, секретарь и возлюбленная, арестованная за участие в оппозиции (мнимое) и принесенная им в жертву — не только ради «спасения собственной шкуры», как утверждают следователи, но и потому, что его, рубашовская, жизнь несомненно ценнее для Партии, которой он еще может понадобиться. Он и понадобился — в качестве очередной искупительной жертвы, и в тюрьме на первом же допросе услышал от своего боевого товарища Иванова, волей случая оказавшегося его следователем, те же доводы, которыми руководствовался сам, обрекая на смерть Рихарда, Леви или Арлову.

В споре с Ивановым, происходящем как бы в присутствии Достоевского, Рубашов с мукой и гневом говорит о последствиях «революционной этики», которую умом по-прежнему принимает: «...посмотри, в какое кровавое месиво мы превратили нашу страну». Он говорит «мы», хотя автор позаботился обезпечить ему алиби: Рубашов несколько лет сидел в гитлеровской тюрьме — как раз в те годы, когда утвердилась диктатура Первого. Но, признавая свою моральную ответственность, он на правах смертника предъявляет счет Иванову: миллионы уничтоженных, сознательно умеренных голодом, согнанных в каторжные лагеря; рабопенное почитание вождей, всеобщий страх и доноительство, бесправие, нищета и т. д. «Мы гоним хрипящие от усталости массы — под дулами винтовок — к счастливой жизни, которой никто, кроме нас, не видит... И, знаешь, мне иногда представляется, что мы, ради нашего великого эксперимента, содрали с подопытных кроликов кожу и гоним их кнутами в светлое будущее...»

Рядом с этой всенародной бедой много ли везят три загубленные жизни, терзающие Рубашова? Столько же, сколько все остальные, вместе взятые,— рискну я ответить за Немого Собеседника. Ибо если ради некой высшей цели позволено устранить одного безвинного, то с тем же основанием можно ликвидировать и миллион. Дело не в количестве, хотя шестизначные цифры впечатляют сильнее, но одновременно и развращают, обесценивая одну-единственную жизнь. Дело в принципе. Либо мы признаем вместе с Раскольниковым, на трагический опыт которого ссылается Рубашов, что нельзя убить даже вредную старушонку-процентщицу, либо согласимся с прагматическим подходом Иванова: «Если бы твой малахольный Раскольников прикончил ста-

руху по приказу Партии — для создания фонда помощи забастовщикам или для поддержки нелегальной прессы,— логическое уравнение было бы решено». (Сталин, как известно, в молодости занимался «экспроприациями».)

«...Если б... «доказал» кто-нибудь из людей «компетентных», — писал Достоевский,— что содрать иногда с иной спины кожу выйдет даже и для общего дела полезно, и что если оно и отвратительно, то все же «цель оправдывает средства», — если б заговорил кто-нибудь в этом смысле, компетентным слогом и при компетентных обстоятельствах, то, поверьте, тотчас же явились бы исполнители, да еще из самых веселых». У Кёстлера исполнители отнюдь не из веселых и не из беспринципных. Автор берет — для чистоты эксперимента — идеализированный вариант и показывает, что личные качества людей, обслуживающих такую систему, по сути, ничего не меняют. Чекисты в романе — убежденные коммунисты, сражавшиеся за свои идеалы на фронтах гражданской. Как и главный герой, они прежде всего солдаты Партии, с общим мировоззрением, понятием о долге, языком, и при всех разногласиях понимают друг друга лучше, чем тот же Рубашов своих случайных товарищей по несчастью — офицера-монархиста или темного, покорного и сугубо условного мужика (того самого «подопытного кролика», который не имеет ни малейшего представления о смысле и цели сей социальной хирургии). В общем, следователи в «Спящей тьме» — люди в полном смысле слова идейные. Таков интеллигентный, с налетом грустного цинизма Иванов с его «вивисекторской моралью» и пафосом революционных преобразований — один из тех «лично честных», искренне желающих «добра народу» большевиков, которые, как писал в 1918 году ужаснувшийся Горький, «производят жесточайший научный опыт над живым телом России». Таков примитивно-цельный, суровый Глеткин, прошедший школу нищеты и классовой ненависти, «монстр, вскормленный нашей же логикой» (по определению Рубашова), «но сейчас нам нужны именно монстры».

Иванов, дружески уговаривающий Рубашова «признаться», прекрасно знает, что тот не совершал приписываемых ему преступлений. «...Но пойми, мы убеждены, что ваши идеи приведут страну и Революцию к гибели... Это — суть... Мы не можем позволить, чтобы нас запутали в юридических тонкостях и хитросплетениях». Глеткин, сменивший арестованного Иванова, хоть и счи-

тает Рубашова опасным врагом, тоже вроде бы не верит в те несурзаци, на которых строится обвинение. Впрочем, для хода и исхода дела это не имеет никакого значения, как и вообще «субъективная» честность — то есть невиновность. Разве сам Рубашов верил, что Леви — агент-provocateur? «Я мыслил и действовал по нашим законам, — пишет он в дневнике, — уничтожал людей, которых ставил высоко, и помогал возвыситься низким, когда они были объективно правы. История требовала, чтобы я шел на риск; если я был прав, мне не о чем сожалеть; если не прав, меня ждет расплата». Однако «наша логика», на которую делает ставку Иванов, как и «жесткие методы» Глеткина, вряд ли заставила бы Рубашова капитулировать, если бы Немой Собеседник, истязаящий его воспоминаниями, не требовал, со своей стороны, расплаты.

Реконструкция Кёстлера, основанная на глупом понимании этого особого, ныне вымершего (либо истребленного), человеческого типа, может вызвать недоверие современного читателя, показаться слишком сложной, даже надуманной. Здравомыслящие реалисты, которым наиболее достоверной представляется, как правило, самая низкая истина, не видят в поведении Рубашова (точнее, его исторических прототипов) никакой загадки: «Просто их нещадно избивали и пытали». Неандерталец Глеткин тоже убежден, что любого можно «раздавить морально и физически» — все дело лишь в «физической конституции... А остальное — сказки». Сам Кёстлер, не раз подчёркивавший, что его объяснение относится лишь к типу старого большевика, чья «преданность партии абсолютна», в той же «Слепящей тьме» продемонстрировал и другие варианты. Молодой Кифер, будто бы готовивший, по наущению Рубашова, убийство вождя, дает показания после чудовищных многодневных пыток. Этот несчастный «сообщник», появляющийся на очной ставке уже обработанным, написан воистину милосердным пером, с таким бережным состраданием, словно автор боится неосторожным прикосновением причинить ему боль. Да, Кёстлер знает: человек слаб, и нельзя требовать, чтоб он вынес невыносимое. Но он знает также, что это слабое уязвимое беззащитное существо способно — во имя некоего высшего долга, веры, идеала — противостать любому насилию шантажу пыткам. Он встречал таких в Испании у него были друзья и товарищи выдержавшие испытание гитлеровскими и сталинскими лагерями. Словом, он имел возможность убе-

диться, что даже в век тоталитарных систем сила духа есть такая же несомненная реальность, как, скажем, страх, жестокость, предательство. «Патетически безоглядное отречение от себя» прославленных революционеров, соратников Ленина, находилось в вопиющем несоответствии с их героическим прошлым.

Концепция Кёстлера, по сути, снимает это противоречие. Рубашову нечего противопоставить тем, кто судит его именем Партии — их общего божества («Ибо, когда спрашиваешь себя: если ты умрешь, во имя чего ты умрешь? И тогда представляется вдруг с поразительной яркостью абсолютно черная пустота, — говорил в своем последнем слове Бухарин. — Нет ничего, во имя чего нужно было бы умирать, если бы захотел умереть, не раскаявшись»). Но, отрекаясь от себя и согласившись сыграть на подмостках суда роль лубочного врага — козла отпущения, Рубашов сохраняет верность тому «единственному абсолюту», которому служил всю жизнь. И когда наконец он подписывает последний пункт обвинения, признав себя «платным агентом мирового капитализма», Глеткин, впервые назвав его «товарищем», торжественно произносит: «Надеюсь, вы понимаете, какое доверие оказывает вам Партия».

«Ну, это уж слишком», — возразит все тот же здравомыслящий читатель и снова ошибется. Хотя в поведении персонажей романа иной раз и впрямь ощущается налет некой дурной театральщины, автор в сем неповинен: таковы были правила игры, вкусы и стиль, принятые в этом театре абсурда. Кроме воспоминаний В. Кривикого («Я был агентом Сталина»), которые цитирует в подтверждение своей версии сам Кёстлер¹, сошлюсь на документальное «Признание» Артура Лондона, приговоренного в 1952 году к пожизненному заключению за участие в «антигосударственном заговоре» генерального секретаря ЦК КПЧ Рудольфа Сланского и реабилитированного в отличие от «главарей» еще при жизни, в 1956 году. Среди одиннадцати повешенных был и Андре Симон, тот самый, кто некогда выгасил Кёстлера из франкистской тюрьмы. Следя по газетам за процессом автор «Слепящей тьмы» с беспомощным отчаянием узнавал в «признаниях» своего бывшего друга (естественно, отрекшегося от него после выхода романа) собственный текст — последнее слово Рубашова. Но вернемся к «Признанию» Лондона. Когда читаешь эту поразительную исповедь, снова и снова вспоминаешь книгу Кё-

¹ «Литературная газета», 1988, 3 августа.

стлера: «жесткие методы» и бесстыдная апелляция к коммунистической сознательности «врагов», от которых требуют, чтобы — во имя интересов дела! — они признали себя участниками антипартийной группы, контрреволюционерами, вредителями, — все та же бредовая логика (Впоследствии Кёстлер назвал этот способ мышления «контролируемой психозфренией».)

Свидетельство Лондона, бывшего интербригадовца, участника французского Сопротивления, узника Маутхаузена, особенно впечатляет, потому что гитлеровцам не удалось вырвать у него ни слова. Но арестованный своими, этот закаленный боец в конце концов — правда, после многомесячных истязаний и яростной «битвы во тьме» — капитулировал. Прежде всего потому, что был «безоружен перед представителями этой партии... этого строя, созданию которого помогал в течение стольких лет борьбы и жертв». Накануне процесса Лондона, признавшего себя агентом гестапо, сионистом, американским шпионом и прочая, посетил член Политбюро, министр госбезопасности Бацилек, чтобы заявить (совсем по Кёстлеру!): партия ожидает, что он будет руководствоваться ее интересами. И перед выходом на сцену Лондон услышит от следователя сакраментальное напутствие: «Партийное руководство... надеется, что все обвиняемые окажутся на высоте!» Они оказались на виселице.. Когда в 1968 году всех казненных реабилитировали, из архивов МГБ были извлечены их прощальные письма, в которых мы найдем слова, звучащие почти цитатой из «Спящей тьмы». «Я признавался потому, что считал это своим долгом и политической необходимостью» (К. Шваб) «Я признавался потому, что хотел по мере сил выполнить свой долг перед трудящимися и Коммунистической партией Чехословакии» (Л. Фрейка). Они оказались на высоте...

Как и Рубашов. «Лучшие молчали (имеется в виду — не использовали трибуну суда для обвинения обвинителей. — М. З.), чтобы выполнить последнее партийное поручение, то есть добровольно приносили себя в жертву», — подводит итог Кёстлер. По мере того как проясняется и набирает силу эта тема, роман обретает масштабы и дыхание трагедии. Сквозь темное марево кошмара, опутавшего героя, робко пробивается какой-то далекий свет, мерцающий в конце его жертвенного пути. Публичный позор и унижение Рубашова, когда он «преклоняет колена перед партийными массами», жаждущими его крови, автор не показывает. Мы узнаем о суде из газетного отчета, который

читает дворнику Василию, в молодости воевавшему в рубашовской бригаде, его дочь Вера. Василий слушает и не слушает ее. Он вспоминает гражданскую войну и своего лихого командира, вспоминает тысячные толпы, приветствовавшие товарища Рубашова, когда он «вырвался живым от иностранных буржуев», и под оголтелое газетное улюлюканье бормочет с детства знакомые слова из Библии, выброшенной на помойку идейно бдительной Верой: «...И одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него... И били его по голове тростью, и плевали на него...»

А тем временем Рубашов, которого должны расстрелять еще до полуночи, шагает по камере, подводя последние итоги. Спящая тьма помрачавшая его разум, рассеялась, растаяла, и на душу нисходит ясная, дотоле неведомая тишина. Заключительная глава называется «Немой Собеседник» — с ним, то есть со своим истинным Я, герой проведет отпущенные ему до казни часы. Свободный от долгов и обязательств (а может быть, просто свободный?), Рубашов пересмотрит и переоценит свое прошлое, поставит под сомнение все, во что верил. «Так во имя чего он должен умереть? На этот вопрос у него не было ответа» Он знал лишь, что «теперь он действительно расплатился за все»... Автор подарил герою больше, чем легкую смерть, — покой: «Набежавшая волна — тихий вздох вечности — подняла его и неспешно покатила дальше».

На этом можно было бы вместе с Кёстлером поставить точку, если б его книга не давала нам ключ к еще одному историческому феномену, не менее загадочному, чем признания обвиняемых на московских процессах. Настолько загадочному, что иные всерьез поговаривают о всемирном заговоре левой интеллигенции против России, в котором участвовали А. Барбюс, Р. Роллан, Л. Арагон, Т. Драйзер, Б. Шоу, Л. Фейхтвангер, Ф. Жолио-Кюри, настоятель Кентерберийского собора Хьюлетт Джонсон и другие (а из наших — В. Маяковский, М. Горький, И. Эренбург и, конечно же, М. Кольцов, сказавший Арагону перед отъездом в Москву в предчувствии ареста: «Запомните, что Сталин всегда прав») Не буду обсуждать сей детективный сюжет, подозрительно смахивающий на те антисоветские заговоры, которые сочинялись на Лубянке. Но отношение интеллектуальной элиты Запада к этим грубо сфабрикованным фальшивкам, к массовым арестам и ко всему, что происходило в те страшные годы в нашей стране, упорство, с которым именитые, уважаемые писатели игнорировали преступления ста-

линского режима и тем самым покрывали их (а кое-кто даже славил советские «лагеря по перевоспитанию граждан» как «замечательное достижение социализма»), ошеломляет и требует объяснения. Что это было? Какая «спящая тьма» застила им глаза?

Все та же: мы обнаруживаем здесь «синдром Рубашова» в чистом виде — ведь им-то не угрожали пытки!.. Они верили — или хотели верить,— что в СССР «закладывается фундамент великого счастья всего человечества», и ради взлелеянной ими мечты оберегали и поддерживали миф, созданный сталинской пропагандой. «Так уж получилось,— с горечью говорил Бухарин одному из своих парижских знакомых,— что Сталин стал как бы символом партии». Или символом социализма, могли бы сказать зарубежные друзья Октября. «Получилось», добавлю, не без их соучастия. Однако в отличие от Рубашова и его товарищей эти высклобыте гуманисты пользовались всеми правами и благами мнимой свободы, которых была лишена страна, воплощавшая их социальный идеал!. Загипнотизированные альтернативой «кто не с нами, тот против нас», они позорно провалились на экзамене Истории и, когда их грозно спросили: «С кем вы, мастера культуры?» — выбрали Сталина.

«Какова бы ни была природа нынешней диктатуры в России — несправедливая или какая хотите... пока нынешнее напряженное военное положение не смягчится... и пока вопрос о японской опасности не прояснится, я не хотел бы делать ничего такого, что могло бы нанести ущерб положению России. И, с Божьей помощью, не сделаю», — заявил в 1933 году Драйзер, объясняя свой отказ заступиться за группу арестованных «троцкистов», коим, впрочем, «очень сочувствовал». А Жюлио-Кюри, который в 1938 году по просьбе Кёстлера написал письмо Сталину в защиту арестованного в СССР австрийского физика-коммуниста Вайсберга (впоследствии переданного в соответствии с советско-германским договором гестапо), в конце 40-х, когда во Франции вышла «Спящая тьма», а Вайсберг вернулся из концлагеря, публично клеймил Кёстлера как очернителя и клеветника! Еще десять лет спустя, после официального разоблачения «культы личности», тот же Жюлио-Кюри признался Эренбургу что давно видел все «изъяны», и добавил: «Пожалуйста, при детях расскажите о том хорошем, что у вас делается. В сущности, и к своему народу и ко всему человечеству эти интеллигалы относились, как к детям, которым надо рас-

сказывать лишь о хорошем, чтобы они не разочаровались в социализме!.. Да, они ведали, что творят, и во имя ложно понятого долга предали не только себя, но и нас. Они изменили заветам европейской культуры и тому главному долгу, который диктовал Золя его знаменитое «Я обвиняю» и побуждает каждого истинного интеллигента при виде несправедливости братья за перо и бить тревогу.

Лишь немногие из прогрессивных решились говорить правду о «стране победившей революции». Мы теперь даже представить себе не можем, сколько мужества требовалось этим «вероотступникам», как поносили и проклинали этих, по словам Кёстлера, «падших ангелов, которые имели бестактность разгласить, что рай находится не там, где предполагалось». Случай сугубо беспартийного «перебежчика» Андре Жида весьма показателен в этом отношении. Известный французский писатель, издали видевший в СССР «пример того нового общества, о котором мы мечтали, уже не смея надеяться», был глубоко разочарован советской реальностью. В предисловии к «Возвращению из СССР» (1936) он пытался объяснить, что, поддерживая ложь, «лишь причинил бы вред Советскому Союзу и одновременно тому делу, которое он олицетворяет в наших глазах»; что, относясь с симпатией к России, долго колебался, прежде чем пришел к такому решению, ибо так уж сложилось, что «правду об СССР говорят с ненавистью, а ложь — с любовью».

Книга Кёстлера написана в уверенности, что спасение только в правде, и написана с любовью к стране и народу, задыхающемуся под игом сталинской диктатуры. Впрочем, народ, оставшийся фактически за рамками изображения, обозначен в романе заведомо условно. Схематизм этих образов, особенно очевидный и, возможно, даже обидный для русского читателя, объясняется просто тем, что автор не смог художественно освоить «народный» (и инородный) материал. И однако же Кёстлер сумел с редкой для заезжего иностранца пронизательностью разглядеть сквозь казенный оптимизм, пропагандистский лак и немоту страха живую душу народа. В «Невидимых письменах», автобиографической книге, написанной двадцать лет спустя, мы найдем поразительные слова о прямых, надежных, бесстрашных людях, чьи гражданские доблести противоречат самой сути режима и на которых, по убеждению Кёстлера, держится наша страна. «Я встречал таких первоклассников в СССР. Эти люди, коммунисты или беспартийные,— патриоты в том смысле, в каком

это слово было впервые употреблено при Французской революции... В стране, где каждый боится и избегает личной ответственности, они чувствуют себя в ответе за все; проявляют инициативу и независимость суждений там, где в норме слепое повиновение; верны и преданы друзьям, близким в мире, где верность и преданность требуются лишь по отношению к начальству и государству. Им присущи личная честь и естественное достоинство поведения там, где понятия эти неуместны и нелепы... Их существование представляется мне почти чудом. И в том, что они таковы, как есть, несмотря на революционное воспитание, я вижу торжество

неразрушимой человеческой сути над обесчеловечивающим окружением».

Хочу отметить напоследок, что именно к этой категории людей принадлежал Андрей Кистяковский, в чьем замечательном переводе мы читаем сегодня «Спящую тьму». Он работал над переводом без всякой надежды на публикацию, во времена, когда подобная самодеятельность считалась уголовным преступлением. Впрочем, под действие Уголовного кодекса подпадало и дело милосердия — помощь политзаключенным и их семьям, — которое Кистяковский взял на себя после ареста очередного распорядителя фонда. Но это уж другая история.

М. ЗЛОБИНА.



Политика и наука

ЗИГЗАГИ И ЛОВУШКИ ТЕОРИИ

Иного не дано. Сборник под общей редакцией Ю. Н. Афанасьева. М. «Прогресс». 1988. 675 стр.

Издательство «Прогресс» осуществило смелый эксперимент, выявляющий реальное состояние нашей общественной мысли. Результат любого эксперимента легче интерпретировать, если в нем проверяется та или иная гипотеза. На мой взгляд, хорошо работающая гипотеза сформулирована здесь в статье Д. Фурмана «Наш путь к нормальной культуре». Автор пишет, что сейчас нет ничего более важного, чем оживление марксистской мысли: она пострадала сильнее всего. И это не парадокс, напротив — закономерность: «...чем дальше по содержанию какое-либо идейное течение от догматической идеологии, тем больше шансов, что догматики его «пропустят», не заметят. Догматики способны увидеть только еретиков...» В царской России был издан «Капитал», но А. С. Хомяков и В. С. Соловьев свои богословские работы печатали за границей. Так было, так, подчеркивает автор, продолжает быть: кого легче издать — П. А. Флоренского или Л. Д. Троцкого? Что безопаснее: объявить себя ревизионистом или славянофилом? Словом, чем ближе к философскому эпицентру догматизма, тем более печальное зрелище должна являть собой наша мысль; эта гипотеза, к сожалению, подтверждается экспериментом «Прогресса».

Догматизм, конформизм — мишень статьи Г. Водолазова «Кто виноват, что делать и какой счет?». Автор показывает, как с помощью реактивного принципа, освоенного еще амебой (поглотить — вытолкнуть; про-

возгласить гениальным вкладом — отвергнуть как догматическое извращение), можно было вознестись в доктора, академика, вице-президенты АН. Слава гласности — расчищен путь для свободной мысли! Но едва автор делает шаг-другой по пути, пробитому его критическим зарядом, как совершается нечто невероятное: грозный преследователь оказывается верным последователем.

«XX столетие, — пишет Г. Водолазов, — переломное в истории человечества. Речь идет о «переломе» всемирно-исторического масштаба, об изменении самого типа исторического развития...» Происходит, поясняет далее автор, своего рода перманентная революция, делящая целую историческую эпоху; перестройка — один из ее этапов, одна из фаз перехода от капитализма к социализму, становления нового типа цивилизации. Точно так же и капитализм не сразу вытеснил феодальное общество, а разрушал его и преобразовывал сериями «перестроек».

Едва ли эта идея что-нибудь объяснит в перестройке да и в историческом процессе вообще. Капитализм шаг за шагом наращивал свои отличия от феодального общества, а мы шаг за шагом воссоздаем присущие современному индустриальному обществу формы организации жизни: рыночные регуляторы производства, парламентную демократию, плюралистическую модель культуры, — конвертируем, сколь ни скомпрометирован этот термин.

На наш взгляд, ловушка, в которую попадает мысль не только одного Водолазова, коварна, но не столь уж сложна. Дело в том, что мы продолжаем догматически мыслить социализм как посткапиталистическую формацию — первую, низшую стадию коммунизма, а не высшую фазу эволюции индустриального общества. Нас весьма привлекают успехи капитализма, но очень пугает слово «капитализм». Почему?

Капитализм, охарактеризованный Марксом как господство системы наемного труда (принудительный — лучше?) и товарно-денежных отношений, — это органически присущая индустриальному способу производства регуляторная система. Он развивается от стихийного (частного) ко все более организованному состоянию: монополистическому, затем государственному, то есть социалистическому, означая, что государство становится «главным диспетчером» в экономике. Поэтому социализм не проще, а сложнее и многовариантнее низших фаз капиталистического развития; он не упраздняет рыночные регуляторы производства, а надстраивает над ними экономические и политические регуляторы более высокого ранга, побуждающие хозяйственный организм ориентироваться на достижение демократически выработанных социальных программ

Таким и рисуется желанный социализм в наиболее, как мне кажется, зрелых, серьезных экономических статьях Г. Попова и В. Селюнина. Эти авторы боятся не слов, не идеологических жупелов, а того, скажем, что страна наша торгует по преимуществу товаром богоданным и превратила Америку, как остряк мрачные оптимисты, в свой аграрный придаток. Ориентиром авторам здесь служили не догмы, а пример человека, который вскоре после социалистической революции, вдохновленной утопией безгосударственности, отмены денег, торговли и т. д. и т. п., нашел в себе мужество заявить о полной перемене воззрений на социализм, сказать, что «госкапитализм выше социализма». (Видимо, Ленин имел в виду тот социализм, каким он мыслился в первые послеоктябрьские годы, ибо госкапитализм не может быть ни выше, ни ниже социализма, то есть себя самого, увиденного в плане экономического устройства.)

Другой вопрос всякий ли социализм является госкапитализмом? Не всякий — только социализм развитого индустриального общества. В рабском и феодальном — и социализм иной. В рабском — рабский социализм, или госрабство (характерный при-

мер — империя инков). В феодальном — феодальный социализм, или госфеодализм (десятки их скрыты под псевдонимом «азиатский способ производства»). Нехитрая логика, но она многое позволяет понять и в том, почему нэповский путь развития имел — в этом я согласен с одним из авторов сборника, А. Бовиным, — меньше шансов, чем «азиатский», сталинский, и в самом феномене сталинизма, анализируемом едва ли не в большинстве статей.

Россия не прошла классического пути капиталистического развития. Она была своего рода самоколонией: симбиозом стагнирующего феодального общества, которое не успел цивилизовать отрубам дальновидный Столыпин, и крупного капитализма, имевшего в России весьма хищнический и чужеродный облик. Ускоренное развитие таких обществ, всяческие «большие скачки», чем бы они ни подхлестывались (реальными или мнимыми угрозами извне, теоретическими иллюзиями, традициями этатизма, авантюризмом лидеров и т. д.), всегда чреваты трагедией. Огосударствление безусловно порождает социализм. Но опять-таки какой? А. Бовин и некоторые другие авторы сборника определяют сталинский социализм как «индустриальный феодализм». Это хороший образ, но теоретически он не совсем точен. В реальности возникает не «индустриальный феодализм», а синтез индустриального и феодального социализма на более низком, практически рабском уровне. Подобный рисунок исторического процесса не запрещен теорией и практически воплотим. Вспомним, что и ранний капитализм частично воспроизводит рабство (негры американских плантаций, демидовские рабочие). Тут действует принцип «отрицания отрицания», «конструктивного регресса» — прообраз более высокой исторической формы, как бы ее негатив, создается путем якобы возвращения (квази-возвращения) к формам далекого прошлого. Эта логическая возможность и реализовалась в феномене сталинизма, который может быть определен как квазирабский социализм. Возникло парадоксальное общество, существующее в некоем внеисторическом, «прошлобудущем», времени, отрицающее настоящее, мыслящее его лишь как переходную стадию к идеальному, обожествляемому грядущему, но с логической неизбежностью воспроизводящее характернейшие черты древних обществ.

Понимая специфику рабских обществ, наивно спрашивать: случайность ли культ

личности Сталина, почему социалистическое государство оказалось тоталитарным, зачем сокрушали храмы, отчего «научная идеология» была столь нетерпима к религии (наука обычно индифферентна к вере), почему огромную массу людей охватывало безумие подозрительности, охоты за колдунами-вредителями, откуда эта фанатичная, рабская преданность государству, смесь энтузиазма и страха, готовность к жертвам и кровавым жертвоприношениям, что за мания возводить грандиозные, хотя экономически малорентабельные объекты?.. А почему христиане уничтожали языческих идолов? А какова экономическая рентабельность истуканов острова Пасхи?

Постижение этой глубинной, исторической сущности сталинизма — вот то главное, новое, что отличает ряд статей сборника от публицистики, не шедшей дальше идеи «контрреволюционного заговора», «злоупотребления властью», «искажения истинного завета» и представлений о командно-административной системе.

«По сути, сталинизм явился коллективным идолопоклонничеством огромных масштабов»... Система «расположилась внутри нас: поселилась в умах, завладела душами, «вживилась» в сокровенное «я» наших личностей», — пишет Л. Карпинский в статье «Почему сталинизм не сходит со сцены?». «Личность стала мифом, а миф обрел силу реальности», — вторит ему В. Киселев в небольшой, но очень содержательной статье «Сколько моделей социализма было в СССР?». Незбежной оборотной стороной мифологизации жизни, замечает автор статьи, вспоминая Платонова, становятся «принципы обезличения человека с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия». Такими «абсолютными гражданами» и были люди архаических обществ.

Генезис двухформационного общества отчетливо проявляется в двойственности, мистифицированности структур и отношений социального бытия. Например: право на труд — оно же обязанность, закупка — она же взимание дани, наука — она же идеология, свобода — она же необходимость, выборы — они же проверка лояльности, искусство — оно же госмифология. Всюду, куда ни кинь взгляд, — один и тот же мучительный парадокс «прошлобудущего»: вершина — она же и котлован, по горькому замечанию Л. Карпинского.

Квазирабский социализм в определенных отношениях эффективен. Например, он позволяет интегрировать на основе «науч-

ной» мифологии различные этносы империи, отмобилизовывать, не считаясь ни с какими издержками, огромные материальные и трудовые ресурсы, даже давать миллионам людей ощущение высокого смысла жизни. Но чем бы ни казался квазирабский социализм мистифицированному сознанию, объективно он является аномальным состоянием общества, негативом, который не может перейти ни во что другое кроме как в собственный позитив — госкапитализм, то есть нормальный социализм индустриального общества.

Необходимость радикальных реформ была осознана много раньше апреля 1985 года. Что же обрекало реформы? Об этом в сборнике — ряд предельно острых и, пожалуй, наиболее дискуссионных статей.

Прямо и смело излагает свою точку зрения на этот вопрос И. Виноградов в статье «Может ли правда быть поэтапной?». Необходимо, считает автор, действительный, недвусмысленный переход от власти парткомов к советской власти, то есть демократически избираемому парламенту, без чего все разговоры о правовом государстве — это «два пишем, три в уме». «...если мы всерьез говорим о необходимости развития демократии, и прежде всего политической демократии как условия действительного полновластия Советов народных депутатов, то мы неизбежно должны будем прийти к предоставлению общественным организациям и союзам... полновесных политических прав... В том числе... на свободное соревновательное участие в выборах... регулируемое лишь общими принципами Основного Закона страны, конституционно закрепляющего социализм в качестве свободно избранного волей народа и являющегося его неприкосновенным состоянием общественного строя».

Одно здесь не совсем понятно: какой социализм свободно избран волей народа — образца «военного коммунизма»? нэпа? коллективизации и Гулага? сегодняшней перестройки? Кто будет определять степень социалистичности претендентов на власть: не они ли сами, добившись власти? Ведь и национал-социалисты тоже не покушаются на «неприкосновенное достоинство», хотя и маршируют с криками «хайль!».

Словом, я не могу согласиться с И. Виноградовым, хотя искренность его мысли внушает глубокое уважение.

Иные чувства пробуждает статья Л. Баткина «Возрождение истории», посвященная той же теме. Статья написана с артистизмом, но перестройка — слишком ответ-

ственное и сложное дело, чтобы использовать ее строительные леса в качестве эстрадных подмостков. Л. Баткин тоже хорошо понимает, что «полновластие под руководством» — это софистика. Однако в отличие от И. Виноградова печется не столько о Советах, сколько о партии, ее влиятельности как политического авангарда общества: «Речь идет не о чем ином, как об интересах партии... Пусть партия во имя своего будущего и будущего нашего народа перестанет отождествлять себя с государством, командовать экономикой и всем остальным, сколько о партии, ее влиятельности как политического авангарда общества: «Речь идет не о чем ином, как об интересах партии... Пусть партия основывает свое могущество исключительно на моральном авторитете и идейном влиянии своих членов... Иной опасливо скажет (про себя, конечно): а захочет ли население подчиняться авторитету, не подкрепленному властью и принуждением? В таких опасениях не очень-то много доверия и уважения к партии. Они циничны и ужасны, эти невысказанные опасения. Нет худших противников КПСС, чем люди в ее собственных рядах, которые от души полагают, основываясь, впрочем, на трезвой оценке своих духовных и интеллектуальных возможностей: убедительность силы не заменить силой убедительности».

Энгельс некогда говорил, что этикетки в политике подчас обманывают не только покупателя, но и самого продавца. Тут уникальный случай: только продавца, хотя и это сомнительно. Я около тридцати лет в партии. Следовательно, это и от моего имени народу было обещано скорое восшествие в рай земной, замененное в указанный

срок Олимпиадой-80. Да, тогда я тоже верил. Но в 1968-м, когда танки в Праге утюжили всходы нынешней перестройки, уже кое-что понимал, как и многое другое потом. Так какие теперь у меня основания полагать, что избиратели предпочтут кандидата моей партии, а не любого другого, отличающегося хотя бы одним: меньшей ответственностью за прошлое?

Трудно поверить в искренность пассажир Л. Баткина, как и назвать продуманным заявление еще одного автора сборника, А. Миграяна, что все классы и социальные группы сегодня разделяют основные, базисные ценности марксизма и социализма. Гораздо взрослей, серьезней другое утверждение того же автора: «Проводимая реформа политической системы должна исходить из императивного требования наличия в политической системе такого центра силы, который на каждом этапе реформы при возможных конфликтах и противоречиях и возможных потрясениях в обществе смог бы гарантировать политическую систему от распада... Подобным центром силы в нашей политической системе является партия».

Это данность, реальность, которая обуславливает не право КПСС на власть, а ее историческую обязанность находиться у власти во имя углубления демократического и правосстановительного процесса. Дело за механизмами, делающими эту власть конструктивной, законной и подконтрольной как обществу в целом, так и самим членам партии.

Вс. ВИЛЬЧЕК.

КОРОТКО О КНИГАХ



ВИКТОР КУРОЧКИН. Записки народного судьи Семена Бузыкина. «Нева», 1988, № 5.

Пытаясь определить роль и место Курочкина в волне возвращенных произведений, всякий раз заходишь в тупик. Существовало с 30-х годов банальное и как будто опровергнутое временем требование социализма: изображать действительность нужно чуточку лучше, чем она есть на самом деле. От этого, мол, сама жизнь только выиграет и станет лучше. И вот уже полвека наиболее здоровая часть нашей литературы с этим утопизмом спорит.

Но как быть с Виктором Курочкиным? Всю свою сознательную жизнь — а была она очень трудной — он вроде бы только тем и занимался, что искал светлые стороны в действительности. Нежная любовь к персонажам, почти без исключений, просто не позволяла ему трезво и жестко на них взглянуть. Вот и в «Записках народного судьи...»: «Почему мы не ищем с таким усердием в человеке хорошие, добрые начала и не развиваем их? Уверен, если бы мы так поступали, и жизнь бы наша была намного светлее и отраднее...» И это не просто позиция судьи Семена Бузыкина. Это нравственный стержень всей прозы Курочкина. Автор твердо знает, что он своим героям не судья.

Скажем, председатель колхоза «Труд Ленина» Илья Антонович Голова. Этот сталинский руководитель — настоящий монстр, по селу разъезжает на лошади и плеткой (!) выпоняет колхозников на работу. Сам же ничего делать не умеет и в жизни знает только две страсти — охоту и макаронны. На праздник самолично спойл всю деревню, а самого приказал гнать из отборной колхозной пшеницы. И вот Илья Антонович уже перед судом, и строгий судья Бузыкин смотрит на него недреманным государственным оком.

Но почему же судье, а вместе с ним и читателю так жалко бездарного Голову, а весь суд начинает казаться нелепым фарсом? Ведь, с другой-то стороны, что с него возьмешь, с Ильи Антоновича, который всю жизнь только и делал, что воевал! Из революции — в гражданскую, отсюда — в партизаны на Великую Отечественную... И вот стоит он, голубчик, перед судом, трезвый и осознавший, «по стойке смирно, в начищенных до солнечного блеска сапогах... Прямо на фуфайку он нацепил все свои регалии, а сбоку повесил полевую сумку». Судите бывшего командира! И вот пойдет этот сталинский вояка под

сталинский же суд и загремит в сталинские лагеря, откуда — судья Бузыкин хорошо это знает — с его могучим темпераментом люди не возвращаются...

Определить качество прозы Курочкина можно, пожалуй, так: отсутствие какой бы то ни было тенденции. Это не ее достоинство и не ее недостаток, это — качество. Самое удивительное, что многие большие вопросы, волнующие по сей день деревенскую прозу и публицистику, он поставил одним из первых. Так, рассказ «Яба» о глупом администраторе, мешающем нормальной жизни в колхозе, появился в альманахе «Молодой Ленинград» в 1956 году, в то же самое время, что и «Рычаги» А. Яшина! А замечательная повесть «Заключенный дом» о трудностях послевоенной деревни вообще относится к 1954 году, когда деревенский очерк только зарождался.

И все же закономерно, что Курочкин тогда не оказался на стремнине литературного процесса. Среди его героев не было правых и виноватых. Тот же предисполкома по прозвищу Яба скорее трогательно смешон и жалок в своем административном рвении.

Вот и повесть «Последняя весна» (1962) — об уходе деревенского старика из жизни — появилась задолго до «Последнего срока» В. Распутина. Но кто из критиков мог заметить вещь, где ни одна из волнованных общество проблем не ставилась напрямую? Просто умирает старик...

Но самая обидная судьба ожидала повесть «На войне как на войне», которая, не боюсь это утверждать, уже входит в отечественную классику. Она была напечатана в 1965 году с невинным посвящением какому-то Ванюше Кошелкину. И образ главного героя Сани Малешкина почему-то очень не понравился критике. «Литературная газета» обвинила его в легкомыслии и инфантильности, а Курочкина в незнании законов войны. А «Известия» в статье, защищавшей социализм от посягательств «схематизма» и «бездуховности», в качестве особо вопиющего примера приводила наряду с западными модернистами и... Виктора Курочкина.

Не вошел автор в славную плеяду «прозы лейтенантов», как и не вошел вообще ни в одну из плеяд. Не потому ли, что, закончив «На войне как на войне», он словно забыл о военном прошлом и написал повесть «Урод»? О красивом и бездарном киноартисте и его замечательно талантливой собаке. Пронизанная чеховскими инто-

нациями городская проза Курочкина за-долго предвосхитила волну сорокалетних...

Судьба жестоко распорядилась с писателем. За семь лет до смерти он перенес кровоизлияние в мозг, после чего уже не мог ни писать, ни читать, ни говорить. Незаконченной осталась его главная повесть о войне — «Двенадцать подвигов солдата» В 1976 году его не стало.

Что за странная писательская судьба! И сколько таких вот судеб уже было в России! Чего-то в ней трагически не хватает, логики, что ли, или, может, завершенности. Очень она напоминает мне судьбу другого писателя — однокашника Курочкина по Литинституту Юрия Казакова. Идут годы, а книги Казакова и Курочкина зачитываются до дыр, и значение их как-то незаметно растет. Незаметно оказался классиком Ю. Казаков. Незаметно, неброско, но, если приглядеться, настойчиво восходит в нашей литературе имя — Виктор Курочкин.

Павел Басин.



РУССКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ И. С. ТУРГЕНЕВА. СОТРУДНИКИ. ДРУЗЬЯ. ПОЧИТАТЕЛИ. Сборник статей. Париж. 1987. 158 стр.

РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ. ЖУРНАЛЫ И СБОРНИКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 1920—1980. Сводный указатель статей. Париж. 1988. 661 стр.

В своих мемуарах «Люди, годы, жизнь» И. Эренбург рассказал о Русской общественной библиотеке в Париже, которая существовала там с 1875 года.

Тургенев, живший в Париже, горячо откликнулся на призыв Г. Лопатина, первого переводчика «Капитала» на русский язык который жаждал чем-то помочь своим соотечественникам из числа революционно настроенной молодежи, осевшим во Франции. Для многих из них доступ к высшему образованию в России был закрыт из-за полицейских репрессий. Автор «Отцов и детей» материально поддержал новое детище, снабдил библиотеку собственными книгами, помог наладить связь с отечественными издателями, откуда на парижский адрес стала поступать русская периодика. После смерти писателя библиотеке было присвоено его имя.

Услугами Тургеневки пользовались представители нескольких поколений русской революционной эмиграции. К ее помощи прибегал и сам Эренбург в пору студенческой юности, прошедшей на берегах Сены. В своих мемуарах он упомянул и о дальнейшей драматической судьбе этой уникальной библиотеки. В начале второй мировой войны, свидетельствует автор воспоминаний, многие русские писатели-эмигранты передали на хранение в библиотеку свои архивы, но после вступления гитлеровцев в Париж по приказу А. Розенберга, считавшегося ценителем «россияки», библиотека была вывезена в Германию.

Повествование о Тургеневке И. Эренбург завершает рассказ посетившего его в конце войны советского офицера. Последний принес мемуаристу несколько его старых

писем из архива парижской библиотеки. По словам офицера, на одной из немецких железнодорожных станций он обнаружил распотрошенные ящики: русские книги с библиотечными парижскими штампами, рукописи, письма, валявшиеся на земле. Таков был, заключает писатель, «конец Тургеневской библиотеки»

Печальное известие о ее ликвидации гитлеровцами тяжело переживалось многими эмигрантами. «Горе русских в Париже», «Гибель библиотеки», «Хождение по мукам» — вот заголовки некоторых статей, появившихся по этому поводу в русской зарубежной печати.

Но, к счастью, сообщение о конце уникального книжного собрания оказалось не совсем точным. Возможно, как раз осознание тяжести такой утраты и помогло группе энтузиастов-«тургеневцев» восстановить библиотеку. Ведь недаром русский прозаик М. Осоргин, обращаясь к истории этого уникального культурного института и как бы предвидя его нелегкую судьбу, писал в самый канун войны: «Тургеневская библиотека — учреждение старое, чисто культурное... По историческим данным и по преданиям, ее посещали, кроме Тургенева, Лев Толстой, Достоевский и еще много русских писателей прошлого и современности, ее созданию отдавали силы Герман Лопатин и Петр Лавров, в ней работал и Ленин. Она — памятник русской культуры в Париже целого ряда эпох и им должна остаться в будущем». Из материалов, помещенных в рецензируемом мемориальном сборнике, явствует, что библиотека, вывезенная нацистами в Германию, не погибла полностью, часть книг (около 5 тысяч томов) была впоследствии возвращена в Париж, к ним прибавились и некоторые другие русские зарубежные собрания, утратившие своих хозяев (например, библиотека имени Герцена в Ницце). Они-то и составили ядро обновленной Тургеневки, возрожденной в 1959 году. За минувшие десятилетия библиотека значительно увеличила свой книжный фонд. Регулярно поступают сюда наряду с другими литературными новинками и советские издания.

Парижский сборник составлен из разных и довольно пестрых материалов. Тут и библиографические отчеты, и воспоминания, написанные специально для сборника некоторыми хранителями, вернее, хранительницами этого редкого книжного собрания, поскольку за последние десятилетия ими были преимущественно женщины: М. П. Котляревская, А. В. Чехова-Шейнис, Т. А. Осоргина, Т. А. Гаадкова Любопытный факт: наиболее читаемыми в эмигрантской среде (исключая писателей-классиков, которые лидируют в этом перечне) были авторы исторических романов — М. Алданов и С. Минцлов... Здесь весь сборник проходит мысль о значительной роли библиотеки как своего рода очага русской культуры за рубежом.

Эту миссию библиотека продолжает выполнять и ныне. В частности, многие годы она ведет библиографическую работу по учету и систематизации русских изданий за границей. Итогом этого труда явился обширный библиографический справочник «Русская эмиграция. Журналы и сборники на

русском языке. 1920—1980», недавно изданный Тургеневской библиотекой совместно с Институтом славяноведения в Париже. Это объемистый справочный свод, в котором учтено подавляющее большинство журнальных публикаций А. Аверченко, М. Алданова, И. Бунина, Б. Зайцева, А. Куприна, В. Набокова, М. Осоргина, А. Ремизова, Тэффи, В. Ходасевича, И. Шмелева и других выдающихся писателей-эмигрантов. Теперь, когда в отечественную культуру начинают возвращаться многие имена из этого списка, долгое время искусственно отторгнутые от своего читателя на родине, такой справочник явится полезным подспорьем для наших литературоведов, критиков, издателей.

С. Ларин.

★

П. К. ЧУДИНОВ. Иван Антонович Ефремов. 1907—1972. М. «Наука», 1987. 224 стр.

О нем говорили: удачник. И впрямь, все тридцать с лишним экспедиций, в которых ему довелось участвовать (а маршруты их пролегли по горным тропам Урала и Дальнего Востока, таежным чащобам Сибири, степям Оренбуржья, знойным пескам пустыни Гоби), завершались успехом. Открытие новых месторождений, гигантских кладбищ динозавров, составление основополагающих геологических карт тех мест...

Сам он объяснял собственную удачливость тем, что неизменно отправлялся в путь с верой в успех. Но дело, разумеется, не только в этом. Как напоминают нам слова одной песни, «удача — награда за смелость». Помимо храбрости, мужества, без которых в дальних экспедициях было не обойтись, И. А. Ефремову была присуща смелость мысли. Из каждой экспедиции он привозил, помимо образцов минералов и ископаемых останков, свежие идеи, которые становились либо фундаментом, либо подкреплением нетривиальных, нсваторских теоретических построений и обобщений. А еще — заметки, наблюдения, темы для будущих рассказов, повестей и романов...

Почти каждый читающий скажет вам, кто написал «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы», «Таис Афинскую». Автора же монографии «Тафономия и геологическая летопись» назовут разве что ученые-палеонтологи да кое-кто из геологов, хотя ее выход в свет знаменовал собой рождение новой научной дисциплины, находящейся на стыке биологии, геологии и палеонтологии, — тафономии, учения о закономерностях захоронения органических остатков. А между тем и то и другое принадлежит перу одного человека — доктора биологических наук, профессора палеонтологии Ивана Антоновича Ефремова.

Литературному творчеству И. Ефремова посвящены статьи и книги. Что же касается его научной деятельности, она широкой

публике почти неизвестна. Тем с большим интересом открываешь книгу П. Чудинова. Хотя автор не литератор и не популяризатор науки, а ученый-палеонтолог, книга, при всей ее научной доброкачественности, не страдает академической сухостью. Будучи учеником, ближайшим сподвижником и другом Ефремова, П. Чудинов в каждой строку вкладывает искреннее тепло, стремясь передать читателю свое пристрастное, в лучшем значении этого слова, отношение к герою, восхищение им.

Рассказ о научной деятельности Ефремова автор начинает с его знакомства с академиком П. П. Сушкиным, у которого пятнадцатилетний юноша, заинтересовавшийся статьей в журнале «Природа» за 1922 год о коллекции уникальных ящеров с севера России, попросил аудиенции. Эта встреча определила дальнейшую судьбу молодого человека, отдавшего свое сердце палеонтологии. При всем том научные интересы Ефремова оставались на удивление широкими — от изучения ископаемых позвоночных до космических исследований (одна из его статей, «удивительно яркая», по оценке академика Б. С. Соколова, так и называлась: «Космос и палеонтология»), от зоологии до экологии, от археологии до футурологии.

«Жизненность творчества Ефремова, — пишет автор, — в его философской позиции гуманизма и социального оптимизма. То и другое вытекает из его мировоззрения ученого и всегда найдет отклик и понимание вдумчивого читателя».

Наука и литература переплелись в творчестве Ефремова нерасторжимо, одно оплодотворялось другим. Уже первые, «геологические», рассказы («Алмазная труба», «Белый Рог», «Юрта Ворона» и другие), основанные на автобиографическом материале, на личном опыте, вынесенном из экспедиций, наполнены вымыслом, фантазией, которые, однако, не уводят от реальности, становясь источником научного предвидения. Так, фантастическая гипотеза писателя о месторождении якутских алмазов, изложенная в рассказе «Алмазная труба», нашла впоследствии практическое подтверждение. Другой пример. Рассказ Ефремова «Тень минувшего» побудил советского ученого Ю. Н. Денисюка заняться проблемой объемного изображения, которая в конце концов привела к созданию знаменитой голографии. Многие ли писатели-фантасты могут похвастать тем, что их идеи вдохновили ученых, инженеров, геологов на поиски, завершившиеся конкретными открытиями, практическими результатами?..

В краткой рецензии невозможно, да и вряд ли нужно, рассказывать обо всем богатом научном наследии Ефремова. Хочется лишь заверить читателей, далеких от геологии и палеонтологии, что отсутствие специальных знаний не помешает им с интересом и с пользой прочесть эту книгу.

И. Зорич.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. К характеристике экономического романтизма 143 стр. Цена 15 к.

Время действий, время практической работы. Сборник материалов о поездке М. С. Горбачева в Красноярский край 95 стр. Цена 20 к.

Е. Парнов. Под ливнем багряным Повесть об Уте Тайлере («Пламенные революционеры») 447 стр. Цена 1 р. 50 к.

Этическая мысль. 1988. Научно-публицистическое чтение 384 стр. Цена 1 р. 50 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Б. Ахм дудина. Стихотворения 334 стр. Цена 1 р. 30 к.

Э. Ветемаа. Ревюем для губной гармошки Маленькие романы Перевод с эстонского 448 стр. Цена 2 р. 30 к.

Д. Новруз. В стоемние лед летящих Стихи Поэмы Перевод с азербайджанского 254 стр. Цена 1 р. 80 к.

В. Тушнова. Избранное Стихотворения Поэма 543 стр. Цена 2 р. 30 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Воспоминания о Михаиле Булгакове. 528 стр., с илл. Цена 2 р. 20 к.

И. Друца. Одиночество пастыря 431 стр. Цена 1 р. 70 к.

В. Тендряков. Покушение на миражи Роман, повесть, рассказы 397 стр. Цена 1 р. 40 к.

В. Шаламов. Стихотворения 255 стр. Цена 70 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Л. Андреев. Избранное 334 стр. Цена 2 р.

С. Зальгин. Позиция 284 стр. Цена 90 к.

С. Мозз. Каталина. Перевод с английского («Художественная и публицистическая библиотека атеиста») 480 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Передерев. Любовь на окраине. Стихотворения. 158 стр. Цена 80 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Н. Павленко. Полудержавный властелин Историческая хроника 384 стр. Цена 1 р. 30 к.

Повесть-87. 652 стр. Цена 2 р. 70 к.

А. Сегаев. Похоронный марш Роман в рассказе 366 стр. Цена 1 р. 60 к.

Ю. Черниченко. Дальняя поездка 173 стр. Цена 55 к.

«ИСКУССТВО»

И. В. Гёте, Ф. Шиллер. Переписка В 2-х тт («История эстетики в памятниках и документах») Перевод с немецкого Т. 1. 540 стр. Цена 2 р. 60 к.

Мой любимый актер. Писатели, режиссеры публицисты об актерах кино 384 стр. Цена 2 р.

М. Цветаева. Театр 381 стр. Цена 3 р. 20 к.

«НАУКА»

А. Анникст. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века 311 стр. Цена 2 р. 70 к.

В. Войтов. Наука опровергает вымысел. О Бермудском треугольнике и «Море дьявола». («Человек и окружающая среда») 141 стр. Цена 30 к.

Н. А. Добролюбов и русская литературная критика. 238 стр. Цена 2 р. 70 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В. Высоцкий. Стихи Проза Ашхабад «Туркменистан» 255 стр. Цена 3 р.

М. Загоскин. Москва и москвичи («Литературная летопись Москвы») М «Московский рабочий» 623 стр. Цена 3 р. 20 к.

Л. Петрушевская. Вессмертная любовь. Рассказы М «Московский рабочий» 223 стр. Цена 85 к.

П. Хаавансон. За семейным столом Стихи Перевод с эстонского Таллин. «Ээсти раамат». 182 стр. Цена 90 к.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.

Главный редактор **С. П. Зальгин**

Редакционная коллегия:

Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов**, **Д. А. Гранин**, **И. Я. Зиедонис**, **В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин**, **Д. С. Лихачев**, **П. А. Николаев**, **Б. И. Олейник**, **Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **И. Б. Роднянская**, **В. И. Селюнин**, **М. В. Тимофеева**, **О. Г. Чухонцев**, **В. А. Ярошенко**

Адрес редакции 103806 ГСП Москва К-6 Малый Путинковский пер., д. 1/2 Тел 200-08-29

Сдано в набор 21.11.88 г. Подписано к печати 04.01.89 г. А 09802
Формат бумаги 70×108^{1/16} Бумага кн. журн. Высокая печать Объем 17 п. л.
(23,8 усл печ л., 24,0 усл кр-отт.). 27,02 уч-изд. л.

Тираж 1 568.000 экз (1-й завод 1—338.000 экз.). Зак. 3882. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798 Москва "З. Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. 103798. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

ISSN 0130-7673 Новый мир, 1989, № 2, 1—272.